

1858

КАВЕНЬЯК<sup>1</sup>

## I

По случаю смерти Кавеньяка в иностранных газетах явилось много статей, обзорающих его государственную деятельность; находя интересными факты, представляемые в некоторых из этих статей, мы приводим здесь, так сказать, свод их. Дела эти нам совершенно посторонние, мы не можем иметь никакого особенного сочувствия ни к одной из партий, участвовавших в событиях, которым подвергалась Франция в последнее время; мы видим только, что каждая из этих партий наделала много ошибок и что вследствие того события имели гибельный ход. Читатель заметит, что этот взгляд господствует в представляемой статье; он заметит также, что этот взгляд нимало не принадлежит нам, — мы только передаем то, что находим в источниках, которыми руководствовались.

Изгнанный из Франции переворотом 2 декабря<sup>2</sup>, через несколько времени тихо возвратившийся на родину, чтобы закрыть глаза умирающей матери, потом несколько лет живший в уединении, чуждаясь политических дел, суровый победитель июньских дней долго оставался почти забыт молвою. Последние выборы, на которых его имя было выставлено символом начинающегося противодействия декабрьской системе<sup>3</sup>, [споры его друзей и противников о том, дозволяет ли ему честь дать присягу правительству, законность которого он не признает, худо скрываемые опасения людей 2 декабря, что он, воспользовавшись их собственным примером, произнесет требуемую присягу как формальность, не имеющую внутренней силы, и через то получит возможность явиться в Законодательное собрание представителями протеста против 2 декабря, честная решимость Кавеньяка не

делать никакой, даже внешней, уступки тому, что в его глазах было беззаконием, — все это снова привлекло] на бывшего диктатора внимание не только Франции, но и целой Европы. Несколькими месяцами все европейские газеты наполнялись соображениями о том, какое значение имеет выбор его в депутаты. Несомненные признаки показали, что приближается время политического оживления для Франции, [что предводители ее политических партий, на время удаленные от государственной деятельности утомлением и апатиею народа, снова будут призваны к участию в исторических событиях требованиями нации, пробуждающейся от дремоты]. Кавеньяку очень многие предназначали одну из значительнейших ролей в движении, близость которого равно предвидится во Франции людьми всех мнений. Потому внезапная смерть предводителя «умеренных республиканцев»<sup>4</sup> Франции для многих его соотечественников была тяжелою потерей, для многих других — облегчением опасностей. Друзья Кавеньяка прямо выразили свою печаль, но враги его не отважились обнаружить своей радости: боясь признаться в шаткости своего положения тем, когда выразят удовольствие, что смерть Кавеньяка освободила их от одного из их страхов, они поспешили принять вид также огорченный и присоединить свои притворные сожаления к искренней скорби друзей покойного. «Moniteur», «Constitutionnel»<sup>5</sup> и другие органы декабрьской системы наравне с «чистыми республиканцами» превознесли его «великие, безмерные услуги» Франции, называя его даже «спасителем отечества».

Но если многочисленны во Франции друзья и противники партии, предводителем которой был Кавеньяк, то еще многочисленнее люди, смотрящие на эту партию со спокойным беспристрастием, как на историческое явление, уже отжившее свой век, как на бесцветный остаток старины, бессильный в будущем и на добро и на зло, обсуждающие прошлую ее деятельность без всякого увлечения надеждами или опасениями. Они думают, что в панегириках над гробом Кавеньяка, внушенных одним искренностью чувства, другим — соображениями приличия и расчетливости, гораздо больше реторики или ослепления, нежели основательности. Они находят, что Кавеньяк, заслуживавший полного уважения, как частный человек, качествами своего характера, вовсе недостоин ни удивления, ни даже признательности как государственный человек; что при всем своем желании быть полезным родине он во время своего диктаторства принес ей гораздо больше вреда, нежели пользы, потому что убеждениям, руководившим его действиями, недоставало практичности, и действия его не соответствовали потребностям общества, которым привелось ему управлять. Его образ мыслей испортил все дело. Высокая честность, энергическая воля, добрые намерения — этих качеств совершенно достаточно для почтенной деятельности в размеренном круге частной жизни, где все определяется обычными

отношениями и объясняется многочисленными примерами. Этими достоинствами обладал Кавеньяк; но их мало государственному человеку, который постоянно находится в отношениях очень многосложных, в положениях, неразрешимых прежними случаями, потому что в истории ничто не повторяется, и каждый момент ее имеет свои особенные требования, свои особенные условия, которых не бывало прежде и не будет после. Без достоинств, уважаемых обществом в частном человеке, государственный человек не будет полезен родине; но, кроме их, ему нужны еще другие, высшие достоинства. Он должен верно понимать силы и стремления каждого из элементов, движущих обществом; должен понимать, с какими из них он может вступать в союз для достижения своих добрых целей; должен уметь давать удовлетворение законнейшим и сильнейшим из интересов общества как потому, что удовлетворения им требует справедливость и общественная польза, так и потому, что, только опираясь на эти сильнейшие интересы, он будет иметь в своих руках власть над событиями. Без того его деятельность истощится на бесславную для него, вредную для общества борьбу; общественные интересы, отвергаемые им, восстанут против него, и результатом будут только бесплодные стеснительные меры, которые необходимо приводят или к упадку государственной жизни, или к падению правительственной системы, чаще всего к тому и другому вместе. Так было и с Кавеньяком. Он наделал ошибок, которые дорого стоили Франции и низвергли его собственную власть. В нем не было качеств, нужных государственному человеку.

Не говоря теперь о том, хороши или дурны были цели Кавеньяка, скажем только, что имени государственного человека заслуживает единственно тот правитель, который умеет располагать свои действия сообразно этим целям; а у Кавеньяка каждое правительственное действие противоречило его целям, служило в пользу не ему, а его противникам. Вся его государственная деятельность обратилась только в пользу Луи-Наполеону. Тот плохой государственный человек, кто работает во вред себе, в выгоду своим противникам.

Но ответственность за ошибки Кавеньяка не должна падать исключительно на него. Она падает на всю ту партию, представителем которой он был, потому что он действовал не по личным своим расчетам и выгодам, а только как служитель известного образа мыслей, общего ему со всею партией «чистых республиканцев»; он постоянно руководился мнениями этой партии; ошибки его — не его личные ошибки, а заблуждения целой партии; ими обнаруживается несостоятельность для Франции того образа мыслей, которого он держался, «Чистые республиканцы» забывали, что политическая форма держится только тем, когда служит средством для удовлетворения общественных потребностей; они воображали, что слово «республика» само по себе чрезвычайно

привлекательно для французской нации; они хлопотали о форме, не считая нужным позаботиться о том, чтобы форма принесла с собою исполнение желаний французского народа; они мечтали, что народ, не получая от формы никаких существенных выгод для себя, станет защищать форму ради самой формы. И форма упала, не поддерживаемая народом.

С начала нынешнего века эта ошибка повторялась всеми партиями, господствовавшими во Франции. Каждая, увлекаясь своими формальными пристрастиями, воображала, что и нация разделяет ее пристрастие к известной форме ради самой формы, между тем как нация с восторгом приветствовала новую форму только потому, что ждала от нее блага себе; каждая система воображала, что нация не может жить без нее, и забывала о том, каковы были ожидания нации. Ни от одной системы не дождалась Франция исполнения своих надежд, и как только распространялось в нации мнение, что система не оправдывает надежд, на нее возлагавшихся, система падала. Так покинут был сначала Наполеон, потом покинута реставрация, потом июльская династия, потом и республика Кавеньяка и его друзей. Из истории всех наций и всех эпох выводится точно такой же результат: форма держится, пока есть мнение, что она приносит благо; она падает, как скоро распространяется мнение, что она существует только ради самой себя, не заботясь об удовлетворении сильнейших интересов общества. Форма падает не силою своих врагов, а единственно тогда, когда обнаруживается ее собственная бесплодность для общества.

История диктаторства Кавеньяка очень поучительна потому, что в ней с особенною ясностью раскрывается эта истина. Не силою своих врагов, не стечением неблагоприятных обстоятельств пало правительство Кавеньяка и чистых республиканцев: восторжествовавший противник был совершенно бессилен сам по себе, все обстоятельства благоприятствовали продолжению власти Кавеньяка уже во всяком случае не менее, нежели возвышению Луи-Наполеона; единственно ошибки Кавеньяка погубили его.

Правление Кавеньяка было, как мы сказали, правлением партии чистых или умеренных республиканцев. Он стал ее предводителем, конечно, благодаря отчасти собственным талантам; но еще более обязан он своим возвышением в этой партии тому уважению, которое имела она к его отцу и особенно к его старшему брату.

Отец диктатора Жан-Батист Кавеньяк был сначала, как и многие другие политические люди Франции, адвокатом. При начале первой революции он сделался жарким ее приверженцем и был избран членом Национального конвента, в котором поддерживал все решительные меры, казавшиеся тогда нужными для борьбы с вандейцами, эмигрантами и европейскою коалициею. Несколько раз он исполнял важные поручения при армии и в провинциях и, всегда действуя твердо, не запятнал, однако же, себя жестокостя-



ми, которыми повредили общему делу некоторые из его товарищей по убеждениям. Он оставил детям имя, уважаемое французскими республиканцами, но знаменитость этому имени дали блистательные таланты его старшего сына Годфруа, который был одним годом старше второго брата, впоследствии сделавшегося диктатором Франции.

Годфруа Кавеньяк, один из замечательнейших публицистов французской республиканской партии при Луи-Филиппе, был сперва, подобно отцу, адвокатом и, подобно отцу, рано оставил для политической деятельности адвокатуру, которая при его чрезвычайных талантах обещала ему огромные богатства. В июле он сражался против Бурбонов<sup>6</sup>, был очень недоволен, когда низвержение Бурбонов послужило только к возвышению Луи-Филиппа, и один из первых начал восставать против новой конституционной формы. Через год орлеанское правительство уже предало его суду, как президента республиканского общества «*Amis du Peuple*»<sup>\*</sup>. Он воспользовался этим случаем, чтобы громко объявить себя республиканцем, — решимость, которую имели тогда очень немногие и которая тем больше доказывала силу его характера, что пылая речь в защиту республики была им сказана перед судом, уже за одно это признание имевшим власть осудить его. Заключенный потом в тюрьму, он бежал из нее подземным ходом, который тайком был прорыт в его комнату из соседнего дома. Товарищем его по тюрьме и бегству был между прочим Арман Марра<sup>7</sup>, впоследствии содействовавший возвышению его брата. Пять лет Годфруа прожил в Англии изгнанником. Республиканская партия во Франции была тогда еще очень слаба, и Луи-Филипп совершенно нерасчетливо придавал ей ожесточенными гонениями важность, которой она без того не имела бы. Общественное мнение, возмущенное излишеством этих гонений, вынуло, наконец, амнистию политическим преступникам. Годфруа Кавеньяк долго не хотел ею пользоваться; но крайние республиканцы, находившие, что «*National*»<sup>8</sup>, до той поры важнейший республиканский журнал, не довольно демократичен, убедили Годфруа возвратиться во Францию, чтобы быть главным редактором решительнейшего демократического журнала, который он вместе с Ледрю-Ролленом и стал издавать под именем «*La Réforme*»<sup>9</sup>. Отличаясь от редакторов «*National*»<sup>я</sup> большею резкостью мнений, Годфруа Кавеньяк был, однако, и от них признаваем главою республиканской прессы во Франции. Действительно, после смерти Армана Карреля она не имела столь даровитого публициста. Изнуренный волнениями политической борьбы, Годфруа умер в 1845 году, за три года до февральских событий. Над могилою его различные партии французских республиканцев клялись забыть все раздоры, их разделявшие. Более нежели

\* «Друзья народа». — Ред.

кто-нибудь другой после Армана Карреля Годфруа Кавеньяк способствовал распространению республиканских убеждений во Франции при Луи-Филиппе до 1845 года. Все отделы этой партии чрезвычайно уважали его.

Эжен Кавеньяк, младший его брат и воспитанник по убеждениям, родился 15 декабря 1802 года. Окончив курс в Политехнической школе, он сделался офицером; при июльских событиях он первый в своем полку объявил себя против Бурбонов; подобно брату, он был недоволен тем, что июльская революция кончилась в пользу Луи-Филиппа, и вообще известен был в армии как ревностный республиканец. Думая поставить его в затруднительное положение, полковник однажды предложил ему официальный вопрос, прикажет ли он своим солдатам стрелять по народу в случае восстания против Луи-Филиппа. Кавеньяк, не колеблясь, отвечал: «нет». Правительство не могло оставить без наказания офицера, который прямо отказывался защищать его, но с тем вместе не отваживалось и предать военному суду молодого штабс-капитана, который уже пользовался большим уважением в армии. Дело кончилось тем, что полковнику сделали выговор за неуместный вопрос, а Кавеньяка перевели в Алжирию. За республиканский образ мыслей и в особенности за то, что страшный Годфруа Кавеньяк был его брат, Эжену Кавеньяку всячески старались не давать хода, по возможности обходили его чинами, несмотря на блестящие подвиги. Вот один пример. Первым замечательным делом Кавеньяка была защита Тлемсена в 1836—1837 годах. Оставленный в этом отдаленном передовом укреплении с одним батальоном, без запасов провианта и амуниции, он целый год выдерживал блокаду и отбивал приступы многочисленных арабских отрядов, терпя недостаток во всем<sup>10</sup>. Продовольствие доставалось гарнизону только с битвы. Когда солдаты не могли получать полных порций, Кавеньяк сам брал себе порции еще меньше солдатских, своим примером ободряя их терпеть голод. Алжирская армия удивлялась геройской защите форта, но правительство не хотело награждать республиканца и его отряд. Все представления алжирского главнокомандующего о наградах тлемсенским офицерам были отвергаемы военным министром. Наконец нужно же было наградить Кавеньяка, — ему сказали, что он получит следующий чин; он отвечал, что не примет награды, если не будут награждены также все офицеры его отряда. Мнение армии вынудило эту уступку у министерства.

Несмотря на все затруднения, делаемые министрами Луи-Филиппа служебной карьере республиканца, бывшего братом ненавистному Годфруа, Эжен Кавеньяк в начале 1848 года был бригадным генералом и губернатором Оранской провинции, потому что равно отличался и военными и административными дарованиями. О благосостоянии своих солдат он чрезвычайно заботился; арабы прозвали его «справедливым султаном»; в армии

считался он одним из лучших генералов и едва ли не лучшим администратором. Если бы не опальное его имя и не республиканские мнения, он, вероятно, подвинулся бы гораздо быстрее в продолжение своей 14-летней воинской деятельности. Теперь пока он оставался не более как одним из генералов, занимавших в алжирском управлении вторые места после генерал-губернатора. В январе 1848 года никто не предполагал, чтобы скоро ему пришлось сделаться значительным человеком в государстве.

Но события 24 февраля 1848 года передали управление Францией в руки республиканцев, и господствующей во временном правительстве партией была именно та партия, к которой принадлежал по своим убеждениям Эжен Кавеньяк, — партия умеренных или чистых республиканцев, иначе партия «National'я». Эжен Кавеньяк, хотя и чрезвычайно любил брата, не был таким революционером, как Годфруа; он был, подобно ему, демократом, но вовсе не крайним демократом. Именно таково было и большинство временного правительства, — Марра, Мари, Гарнье-Паже, Араго, Кремье, Дюпон де л'Ор. Все они были друзьями Годфруа Кавеньяка, все сохранили очень сильное уважение к нему, хотя он иногда и упрекал их за то, что они несколько отставали от него.

Алжирская армия, в которой принцы Орлеанского дома имели многих людей, лично им преданных, и вообще пользовались популярностью, внушала временному правительству беспокойство в первые дни нового порядка вещей.

Надобно было отдать команду над нею испытанному республиканцу; из всех алжирских генералов ни на кого временное правительство не могло положиться с такой уверенностью, как на Кавеньяка, и одним из первых декретов, подписанных новыми правителями Франции, было назначение Кавеньяка генерал-губернатором Алжирии.

Он имел столько скромности и прямодушия, что сам понял и откровенно высказал причину своего быстрого возвышения в прокламациях, обнародованных им при вступлении в новую должность. «Вы, точно так же, как и я, — говорил он в прокламации к жителям Алжира, — знаете, что память о моем благородном брате, живущая между гражданами, меня избравшими, побудила их вручить мне управление делами Алжирии». То же самое выражал он и в прокламации к жителям Орана: «Моим назначением правительство хотело от имени нации почтить память доблестного гражданина, моего брата».

Этим прямодушным сознанием очень хорошо определяется и личный характер Кавеньяка, и его справедливое понятие о степени своих достоинств. Он сам указывает, что далеко не имеет гения, каким отличался его старший брат; что если бы не блеск, сообщенный его имени деятельностью брата, он не был бы замечен как человек, которого надобно выдвинуть вперед; но только человек, вполне уверенный, что своими достоинствами оправдает

выбор, которым обязан постороннему обстоятельству, уверенный, что никто не назовет его недостойным занятого им места, может так прямо и громко говорить, что еще больше, нежели самому себе, одолжен он своим выбором заслугам другого.

Вскоре представился Кавеньяку другой случай выказать редкую честность своих правил. Жители Алжира хотели выбрать его своим представителем в Национальное собрание. Он решительно отказался от этой чести, говоря, что его положение в Алжирии не позволяет ему принимать голоса, подаваемые в его пользу его подчиненными. Он хотел сохранить себя совершенно чистым от всякого подозрения в искомстве, в честолюбии, в желании пользоваться данной ему властью для какой-либо личной выгоды.

Парижское временное правительство давно знало бескорыстие его характера, его недоступность никаким соблазнам. Алжирская армия уже доказала, что вовсе не имеет намерения поднимать междоусобные смуты: она безусловно покорилась правительству, признанному Францией; временное правительство могло оставить Алжирию без Кавеньяка, воспользоваться его военными и административными талантами и редкими качествами его характера в должности еще более важной. Парижские работники, оружием которых восторжествовало восстание и в июле 1830 и в феврале 1848 года, волновались, не видя исполнения своих надежд от нового правительства, поставленного их содействием. Большинство временного правительства состояло из людей, желавших ограничить переворот 24 февраля чисто политическими преобразованиями без изменений в гражданских отношениях между классом капиталистов с одной стороны, классом, живущим наемной работой, — с другой стороны; эти изменения казались невозможными большинству временного правительства, а между тем их требовали парижские работники, поддерживаемые полным сочувствием своих сотоварищей по всей Франции. Для сопротивления им большинству временного правительства нужно было иметь и сильное войско, и хорошего военного министра, на которого могло бы оно положиться. В правление Луи-Филиппа система подкупов и фаворитизма расстроила военную администрацию, как и все отрасли государственного управления; беспорядки военного управления были таковы, что новое правительство не нашло в конце февраля 20 000 человек, готовых к открытию кампании в случае внешней войны, хотя армия считала 400 000 солдат. Нужен был хороший администратор для поправления этих беспорядков. Но потребность в армии на случай внешней войны была в глазах большинства временного правительства еще не такой настоятельной нуждой, как необходимость приготовиться к подавлению восстаний в самом Париже. После 24 февраля войска, побежденные инсургентами, были выведены из Парижа как по требованию победителей, опасавшихся реакции, так и для того, чтобы эти войска, нравственно униженные своим поражением, могли оправиться

духом вдали от улиц, напоминавших им о их разбитии. Нужно было теперь снова ввести сильный гарнизон в Париж, сосредоточить войска в окрестностях столицы, сделать заготовления амуниции и т. д. на случай междоусобных смут. Это мог исполнить только такой военный министр, который вполне разделял бы убеждения большинства временного правительства, потому что при малейшей нерешительности он легко мог быть задержан в своих вооружениях усилиями меньшинства временного правительства, находившегося в раздоре с большинством. Кроме всего этого, нужно было в военном министре совершенное бескорыстие, чтобы он, имея в своих руках фактическую силу, не поддался соблазнам властолюбия, остался верным сановником правительства, а не покушался быть его властелином. Всем этим условиям удовлетворял Кавеньяк. Характер его представлял совершенное ручательство, что он не употребит против правительства силы, которую ему дадут; он был известен как хороший генерал и отличный администратор. Нашлись бы и кроме него генералы, обладающие этими качествами, но было еще условие, которому никто не соответствовал столько, как он. Много было генералов, с радостью готовых драться против «черни», la canaille; но эти генералы были преданы Орлеанскому дому и враждебны республике; было несколько и республиканских генералов, но почти все они поколебались бы двинуть войска против своих соотечественников. Кавеньяк был несомненный республиканец, но с тем вместе готов был повести войско против граждан, сошедшихся принуждать республиканское правительство к уступкам, которых оно не хотело делать. Недаром, когда жители Алжира выразили желание, чтобы в Алжирии военное управление было заменено гражданским, он сделал им строгие упреки и сказал: «Энергия, состоящая в том, чтобы опираться на мнение масс, не исполняя своих обязанностей, — гнусная энергия, я отвергаю ее. Самый дурной закон лучше беспорядка». Ему послали назначение явиться в Париж для принятия должности военного министра. Он сказал, что примет ее только тогда, если ему позволено будет сосредоточить сильную армию около Парижа, — это было еще в марте, меньшинство временного правительства было тогда еще довольно сильно; оно воспротивилось этому требованию, соответствовавшему желаниям большинства, и Кавеньяк отказался от министерского портфеля. Прошло два месяца; отчасти ошибочные действия, еще более нерешительность и бездейственность очень ослабили влияние меньшинства во временном правительстве; выборы в Национальное собрание, произведенные под впечатлением этих ошибок и бездейственности, доставили решительный перевес партии умеренных республиканцев; когда временное правительство сложило свою власть перед Национальным собранием, Собрание передало ее «Исполнительной комиссии»<sup>11</sup> из пяти членов, между которыми только один не был из умеренных республиканцев; они

теперь стали полновластными правителями государства. Требование Кавеньяка сосредоточить сильное войско в Париже, прежде помешавшее вступлению его в министерство, теперь было новой рекомендацией для него, и когда он, избранный в Национальное собрание депутатом от департамента Ло, прибыл в Париж, Исполнительная комиссия тотчас же назначила его военным министром (17 мая).

В Национальном собрании он не был особенно блестящим оратором, но деятельность его по управлению министерством соответствовала надеждам, которые имели на него умеренные республиканцы. Он неутомимо заботился о том, чтобы иметь наготове такие силы, с которыми можно было бы в случае восстания подавить инсургентов.

Случай употребить в дело собранные силы не замедлил представиться. С небольшим через месяц после того, как начал Кавеньяк свои приготовления, восстание вспыхнуло, и вспыхнуло в таких ужасающих размерах, каких не достигала еще ни одна междоусобная битва в Париже, видевшем так много страшных междоусобиц. В продолжение четырех месяцев легкомысленное бездействие и разноречащие распоряжения временного правительства и его наследницы, Исполнительной комиссии, раздражали массу, обманываемую в своих надеждах, исполнение которых было ей формально обещано. Каковы были эти надежды, разумны или неразумны, все равно; дело в том, что их исполнение было формально обещано, дело в том, что были формально подтверждены ожидания, и когда гнев овладел людьми, не видевшими исполнения этим ожиданиям, когда отчаяние овладело людьми, увидевшими, что у них отнимается всякая надежда, удивляться тут нечему. Неудовольствие массы росло с каждым днем, и наконец меры, принятые Исполнительной комиссией по повелению Национального собрания для закрытия так называемых «Национальных мастерских» (Ateliers Nationaux), произвели взрыв.

История Национальных мастерских и трагического их окончания — самый печальный и вместе самый нелепый эпизод в печальной истории столь обильных нелепостями событий, следовавших за февральской революцией. Кого надобно винить за Национальные мастерские? Обстоятельства были так запутаны, ошибок было сделано столько всеми партиями, участвовавшими в управлении Францией после 24 февраля, что ни одна из партий этих не может похвалиться государственным благоразумием в деле Национальных мастерских, как увидим ниже. Но если ответственность за гибельную нелепость должна падать преимущественно на тех людей, которыми она была придумана, которые заведывали ее исполнением, которые не допускали других сделать ничего для ее отстранения, то ответственность за Национальные мастерские прямым образом падает на партию чистых республиканцев. Дело происходило таким образом.



Республика была провозглашена во Франции по настоянию республиканцев и работников. Республиканцы шли впереди, но их требования не имели бы никакой силы, если бы не были поддерживаемы работниками. Но работники увлекались вовсе не теоретическими рассуждениями о качествах республиканской формы политического устройства, — они хотели существенных изменений в своем материальном быте, и когда республиканцы, достигшие власти их силой, показали вид, что хотят ограничиться изменением политической формы, работники потребовали от них на другой же и на третий же день после победы принятия мер к улучшению материального положения низших классов. Способ, которым работники предполагали улучшить свой быт, — учреждение промышленных ассоциаций при вспоможении правительства, — казался республиканцам химерою; нелепою несообразностью с их понятиями о государстве казалось им и то право, которое во мнении работников служило основанием этому способу, именно «право на труд» (*droit au travail*), право каждого, не находящего себе работы у частных промышленников, получать эту работу от государства, которое таким образом обеспечивало бы средства для жизни каждому, желающему трудиться. Здравый смысл говорил, что если республиканцы не считали возможным удовлетворить этим требованиям, они должны были решительно отвергнуть их. Но отвергнуть их значило бы в ту же минуту лишиться власти, потому что сами по себе республиканцы были бессильны и держались только тем, что опирались на работников. Они решились выпутаться из затруднения обещаниями, рассчитывая выиграть время проволочками, надеясь, что настойчивость работников остынет мало-помалу, что дела как-нибудь уладятся счастливыми случайностями, что временное правительство впоследствии приобретет силу воспротивиться работникам. Первая уступка состояла в том, что на другой же день после переворота временное правительство издало декрет (25 февраля), которым объявляло, что государство обязывается обеспечивать существование работника доставлением ему работы в случае надобности, — «право на труд» было, таким образом, формально признано. Через два дня, точнее собравшись убеждения республиканцев, работники увидели, что не будет принято временным правительством никаких действительных мер к исполнению этого обещания, если исполнение его не будет предоставлено человеку, разделяющему в этом случае идеи работников, — и снова явились (27 февраля), требуя, чтобы для этого дела было учреждено особенное «министерство прогресса» и министром был назначен Луи Блан, глава той социальной школы, мнения которой господствовали тогда между парижскими работниками. Луи Блан был одним из одиннадцати членов временного правительства, но не имел в нем никакой силы, встречая безусловное сопротивление со стороны всех своих соотарищей, кроме одного Альбера, который сам принадлежал к

классу работников. Поручить Луи Блану министерство прогресса значило дать ему власть, значило облечь правительственной силой именно те идеи, которые девятерым из одиннадцати членов временного правительства казались гибельной химерой. Оно не могло согласиться на это, но не могло и совершенно отказать работникам, и вот оно придумало вместо министерства прогресса учреждение «Правительственной комиссии» для работников (*Commission du Gouvernement pour les travailleurs*), которая под председательством Луи Блана составляла бы проекты законов для предложения будущему Национальному собранию. Приняв это поручение, Луи Блан в свою очередь сделал очень важную ошибку. [Он видел, что] эта комиссия, не [имеющая] никакой власти, [учреждается] только для проволочки, с целью замять дело; [это учреждение обманывало] работников наружностью без всякого действительного значения. Нечего уже и говорить о том, что, не имея административной власти, комиссия не могла ничем облегчить состояние работников в настоящем; очевидно было, что и составлять проекты законов временное правительство поручало ей только в той уверенности, что они будут отвергнуты Национальным собранием, — да и сам Луи Блан знал это. Ясно было также, что во всяком случае комиссия вовсе не нужна для составления законов, — их гораздо легче и удобнее было бы обрабатывать без такой многосложной обстановки, какую должны были иметь заседания комиссии. Луи Блан видел, что комиссия придумана только для того, чтобы временному правительству увернуться от требования работников. Ему следовало отказаться от этого обманчивого поручения. Он отказывался и говорил, что должен выйти из временного правительства, которое считает его участие во власти невозможным. Но если бы он не согласился остаться в правительстве, если бы не принял поручения, работники в тот же час поняли бы, что им нечего ждать от временного правительства, они восстали бы против него, произошли бы новые смуты, быть может, новое междоусобие. Это было представлено Луи Блану его товарищами, — и он согласился принять поручение, которое одно могло спасти правительство от разрыва с работниками. Эту уступку с его стороны можно приписывать слабости его характера, если думать, что он, подобно республиканцам, по убеждению не отвращался междоусобий. Но его образ мыслей был таков, что насилие ни в каком случае не может вести ни к чему хорошему, что все в мире лучше, нежели быть виновником смут, — и потому очень может быть, что он уклонился от разрыва не по недостатку характера, а напротив — по твердому убеждению в том, что лучше отказаться от успеха, нежели достигать его путем насилия. В самом деле, Луи Блану тогда нечего было бояться разрыва: в случае борьбы победа несомненно осталась бы на стороне работников, желавших отдать власть в его руки.

Но каковы бы ни были побуждения, заставившие Луи Блана сделать уступку, он уступил. Для комиссии, учрежденной под его председательством, был отведен Люксамбургский дворец, в котором две недели тому назад заседала палата пэров. Для участия в совещаниях о мерах, касающихся быта работников, были избраны работниками всех промыслов двести пятьдесят депутатов. Но составлять проекты законов, которые не имели вероятности пройти через Национальное собрание, было бесполезно, и комиссия скорее имела характер государственной аудитории, в которой Луи Блан излагал свою систему, нежели законодательного комитета. Главной целью речей Луи Блана было внушить собравшимся около него депутатам работников, что насильем они ничего не выиграют и должны надеяться только на мирные средства для улучшения своей участи; что путь убеждения и законных выборов — единственный верный путь для исполнения их желаний. Пока продолжались Люксамбургские конференции, они более нежели что-нибудь другое удерживали работников от насильственных действий. Но, с другой стороны, они составляли для работников самое торжественное свидетельство обещаний правительства позаботиться об их участи. Мало того, работники необходимо приходили через них к мысли, что законы и распоряжения, касающиеся положения рабочего класса, могут составляться не иначе, как по совещанию с этим классом, с его одобрения, при его участии. Легко понять, какое впечатление после таких идей должен был произвести на них тот факт, когда потом вдруг им объявили, что ни одна из их надежд не может быть исполнена, что они требуют нелепости, желая, чтобы правительство заботилось о рабочих хотя наполовину того, как заботится о фабрикантах, и что они должны беспрекословно повиноваться всему, что им приказывают, оставляя их между прочим без средств к жизни<sup>12</sup>.

В то время как на Люксамбургских конференциях работники проникались высокими мыслями о приобретенном ими участии в решении вопросов, касающихся их быта, и беспрестанно вспоминали декреты временного правительства, обещавшего доставление работы от государства тем рабочим, которые останутся без работы у частных промышленников, уже оказались естественные следствия всякого государственного кризиса: торговые дела приостановились, произошло много банкротств, и оттого частные промышленники должны были сократить работу на своих фабриках, а некоторые даже вовсе закрыть их. Произойти это должно было неизбежно: всегда и везде за каждым государственным кризисом следует промышленный. И в Англии при гораздо меньших усилиях к преобразованиям гораздо меньшим бывает то же: и парламентская реформа, и отменение хлебных законов соединены были с промышленными кризисами. То же было во Франции и при начале реставрации, и после июльского переворота, и после декабрьского переворота. Но если при этих последних

кризисах французское правительство могло оставлять на волю судьбы работников, лишившихся работы вследствие промышленного кризиса, нельзя было этого сделать теперь: декрет, признававший право на труд, был еще у всех в руках; работникам еще принадлежало фактическое владычество в Париже, еще не имевшем гарнизона после февральских событий. Нельзя было не позаботиться о тех работниках, которые остались без хлеба. Временное правительство никак не хотело приступить в самом деле к обещанным преобразованиям экономического быта; а все-таки необходимо было сделать то, что должно было, по мнению самих работников, быть только уже результатом этих преобразований, — пришлось дать работу от правительства работникам, оставшимся без занятия на частных фабриках. Временное правительство сделало это так, как делается все делаемое против желания и убеждения, без знания и обдуманности, — сделало так, что вышла совершенно нелепая путаница. Оно поручило одному из своих членов, принадлежавшему к чисто республиканскому большинству и бывшему министром публичных работ, Мари, учредить «Национальные мастерские» для работников, оставшихся без занятия. Имя «Национальные мастерские» было заимствовано из системы Луи Блана, и потому люди, не знавшие о самом факте ничего, кроме его имени, утверждали потом, что «Национальные мастерские» произошли от него или его идей. Напротив, они были учреждены его непримиримыми противниками, управлялись людьми, нарочно избранными для того за личную вражду против него, устроены были совершенно наперекор его понятиям и при всей обременительности своей для государства, при всей гибельности для частной промышленности долго были приятны временному правительству, искавшему в них опоры против Луи Блана. Нелепее тех оснований, на которых они были созданы, невозможно ничего и придумать.

Надобно давать средства для жизни работникам (так рассчитывало временное правительство) не потому, чтобы это было хорошо, напротив — это очень дурно; но что ж делать, без этого произойдет восстание. Они говорят, что хотят работать; но если им дать занятие их обыкновенной работой, это будет подрывом частной промышленности. Потому нельзя ткачам давать ткать материи, столярам делать мебель: нужно дать им занятие, которое не входило бы в соперничество с частной промышленностью.

На этих соображениях были устроены «Национальные мастерские». Единственная работа, которая не подрывала бы частной промышленности, состояла, по мнению умеренных республиканцев, в том, чтобы копать землю, и всех этих людей — ювелиров, фортепьянщиков, слесарей, портных, ткачей, граверов, наборщиков и т. д. — обратили в землекопов.

Копать землю — это прекрасно; но где взять землю, которую нужно копать? В Париже производились различные земляные

работы, особенно по постройке дорог, мостов, укреплений. Еще больше земляных работ предполагалось совершить со временем. Казалось, почему бы не обратить людей «Национальных мастерских» на эти действительно нужные работы, если уж они непременно должны копать землю? Администрация мастерских обратилась к инженерному ведомству, управлявшему всеми земляными работами в Париже, — тут произошла вещь невероятно милая: инженерное ведомство постоянно было во вражде с министерством публичных работ; бюрократическая ссора не постыдилась проявиться и тут, когда дело было так важно для государства: инженеры отвечали, что у них нет никаких работ для администрации Национальных мастерских. Что оставалось делать Мари? Вместо того чтобы призвать на помощь всю силу правительства для усмирения нелепой вражды инженеров, он начал придумывать сам от себя работы, — нужных работ не придумало его министерство никаких, и Национальные мастерские были заняты совершенно пустым пересыпанием земли с одного места на другое, потом опять с этого второго на первое, так, единственно для препровождения времени. Это опять невероятно, но действительно было так. Рабочие Национальных мастерских сначала вырыли рвы и насыпали террасы на Марсовом поле, потом срыли опять террасы и засыпали рвы, потом снова принялись рыть те же рвы и насыпать террасы и т. д.; подобными же упражнениями занимались они и на всех других местностях Парижа, где только было можно потешаться лопатами и заступами.

За это совершеннейшее осуществление нашей поговорки о пересыпании из пустого в порожнее следовало им получать плату от правительства. Таким образом умеренные республиканцы удивительно разрешили задачу: содержать рабочих и заставлять их трудиться, но так, чтобы их труд не был соперничеством частной промышленности.

И сами рабочие, и администраторы Национальных мастерских очень хорошо чувствовали, что их занятия — нелепая пародия труда. Не глупо ли токарю или каретнику копать землю? Заставлять его делать это — значит просто заставлять его бездельничать. Да и вообще заставлять человека делать дело, совершенно ни для чего не нужное, только затем, чтобы потом он мог заняться разделыванием сделанного, — опять-таки нелепость, которой должен совеститься и работник, и надзиратель. Потому очень скоро надзиратели бросили требовать от рабочих труда; рабочим стала омерзительна пошлая возня с лопатами. По общему согласию тех и других установилось, что весь процесс «рабочего дня» состоит лишь в том, чтобы явиться на место работы, как-нибудь провести на этом месте назначенные часы и отправиться назад по окончании их, получив квитанцию за свое присутствие в назначенном месте. Оно действительно так и следовало по самой мысли учредителей.

Не одни люди рабочего класса, но и люди всякого звания предпочтут пользоваться деньгами задаром, если открывается возможность получить задаром столько же денег, сколько и за тяжелый труд. Когда в Национальных мастерских стало нужно только прогуляться от сборного места до какой-нибудь площади поутру и вечером прогуляться с этой площади назад до сборного места, чтобы выдана была квитанция за так называемый «рабочий день», а потом за эту квитанцию выдана была плата не менее той, какая давалась на фабриках, когда таким образом открыты были синекуры для работников, само собою разумеется, что работники стали покидать частные фабрики для Национальных мастерских. И без того вследствие нерешительных, двусмысленных действий временного правительства Париж волновался страхами всевозможных родов, кредит падал, фабрик закрывалось все больше и больше; а тут, привлекаемые даровым жалованьем в Национальных мастерских, многие работники уходили и с таких фабрик, которые могли бы выдержать промышленный кризис. И вот по обыкновению одно бедствие порождало другое и само потом увеличилось от его влияния. Политический кризис привел к промышленному; промышленный кризис окончательно сбил с толку временное правительство, и без того не слишком мудрое; потерявшие голову правители в торопливом смущении основали широкое дело Национальных мастерских для облегчения зла, но основали в таком нелепом виде, что от них зло могло лишь увеличиваться; вследствие превратных мер правительства кризис возрастал, и число людей в Национальных мастерских увеличивалось с страшной быстротой: одни шли туда потому, что не имели работы на фабриках, другие своим уходом принуждали закрывать фабрики и тем увлекали в Национальные мастерские новые толпы людей, лишавшихся работы. В начале марта Национальные мастерские имели 20 000 работников, действительно не находивших занятия на частных фабриках; в середине июня Национальные мастерские считали уже более 150 000 работников, из которых несколько десятков тысяч сами бросили фабрики и тем лишили работы, может быть, сотню тысяч людей, вовсе не желавших быть тунеядцами, но не видевших себе другого спасения, кроме Национальных мастерских.

Расход государства на их содержание был громаден: каждый месяц Национальные мастерские поглощали несколько миллионов, а работы совершалось ими очень мало, да и та не приносила пользы ни на грош, потому что тратилась на предметы вовсе не нужные. Мало того, что расходы эти составляли в настоящем страшную тягость для казны: в будущем они угрожали еще большей разорительностью, потому что число людей в Национальных мастерских умножалось с каждым днем. Все партии с одинаковым беспокойством смотрели на эту колоссальную нелепость.



Все партии, сказали мы, — это выражение не совсем точно: представители партии умеренных республиканцев во временном правительстве, наравне со всеми жалея о страшной растрате денег на Национальные мастерские, находили в этом своем тупоумном порождении одну сторону, которая утешала их за все расходы. Национальные мастерские находились в заведывании министерства публичных работ, а министерством этим управляли вернейшие люди умеренно-республиканской партии, сначала Мари, потом Трела. Администраторы мастерских все принадлежали к той же партии: Мари, который назначил этих агентов, был очень осмотрителен в их выборе. Особенно могла умеренно-республиканская партия положиться на главного администратора мастерских, — то был Эмиль Тома, честнейший умеренный республиканец, по убеждению смертельный враг всех крайних партий, особенно социалистов, сверх того личный враг Луи Блана, который был тогда сильнейшим из предводителей социалистов. Благородный и чрезвычайно гуманный Эмиль Тома пользовался безграничной любовью людей, находившихся под его управлением; он был очень обходителен с работниками своими, заботливо вникал в их нужды, старался во всем помочь им, насколько от него зависело, занимался своими трудными обязанностями с ревностью, доходившей до самоотвержения; его кроткий характер, его ласковая речь, его обязательность привлекали к нему толпы, находившиеся под его начальством. Умеренные республиканцы могли наверное рассчитывать, что его работники пойдут за ним, куда бы он ни повел их.

Это служило им источником великой отрады. В Национальных мастерских умеренные республиканцы видели сильнейшую свою опору против социалистов. В самом деле, работники-депутаты Люксембургских конференций, имевшие громадное влияние на всех других людей своего класса в Париже, были отвергаемы, осмеиваемы, преследуемы работниками Национальных мастерских; многие из этих депутатов были принуждены удалиться из мастерских. Словом, между Люксембургом и Национальными мастерскими не было и не могло быть ничего общего. Восстание социалистов грезилось умеренным республиканцам каждую ночь, каждый день, но они с некоторой самоуверенностью твердили себе: у нас есть против такого восстания громадная армия.

В самом деле, Национальные мастерские с тем и были устроены, чтобы служить армией против социалистов. Сообразно такому назначению эти мастерские были организованы по военной системе: каждыми десятью работниками начальствовал десятник (*piqueur*); пять десятков составляли взвод (*brigade*) с капралом (*brigadier*); несколько бригад соединялось под начальством поручика (*lieutenant*) и т. д.; у бригад и отрядов, из них составлявшихся, были свои знамена; к сборному месту шли работники из своих жилищ военным строем, с знаменами; еще церемо-

ниальнее были их марши от сборного места до места (так называемых) работ и обратно; от сборного места по домам они также расходились военным порядком. Само собой разумеется, эти марши, знамена, это мелочное распределение по чиновничеству и проч. было бы совершенно неуместно, если бы Национальные мастерские устраивались только для прокормления людей, не находящих себе работы; но они назначались также [в случае смут] доставлять защитников умеренным республиканцам, и этому назначению совершенно соответствовала их военная организация.

Но в середине июня умеренные республиканцы чувствовали себя уже столь сильными, что могли обойтись без помощи этих союзников. Робость, овладевшая средним и высшим классами после февральских событий, мало-помалу рассеивалась, когда они увидели, что низший класс в массе ожидает улучшения своей участи от закона, не прибегает к насилию; что предводители этого класса, крайние республиканцы и социалисты, не захватывают силою диктатуру в свои руки, а ожидают достичь торжества путем порядка и законности. Этому спокойствию предводителей крайних партий было много причин: уважение к национальной воле, выражение которой они видели в установленном тогда *suffrage universel*\*; надежда, что результат этого всеобщего права участвовать в выборах будет благоприятен людям, которые считали себя защитниками интересов массы; неуверенность в том, что городские пролетарии будут поддержаны поселянами, Париж будет поддержан провинциями, если фабричные работники в Париже вздумают восстать против буржуазии; несогласия между различными школами и главными людьми этих школ. Мы не можем решить, какое из этих соображений и затруднений имело более силы; противники говорят, что эти люди удерживались опасением восстановить против себя всю Францию присвоением власти; сами они говорят, что только добросовестное отвращение от насилий руководило их действиями; как бы то ни было, но они не прибегли к насильственным мерам, которых ожидали от них противники, — мало того, они все свои усилия направляли к удержанию массы от всякого насилия. За это противники сочли их людьми, не умеющими извлекать выгоду из обстоятельств, людьми, неспособными к практической деятельности; действительно, они без всяких попыток присвоить себе власть дали пройти тем дням или неделям, когда могли быть страшны своим противникам, и противники ободрились. Некоторые слабые движения, возбужденные интриганами вроде Бланки, увлекшими вслед за собой опрометчивых [энтузиастов] вроде Барбе и Гюбера, послужили, однако же, поводом выставить честолюбцами, опасными для общественного спокойствия, и тех, которые на самом деле старались предотвратить эти волнения. Неко-

\* Всеобщее голосование. — *Ред.*

торые ошибочные меры, принятые временным правительством против их совета, были приписаны их теориям или желаниям. Таким образом предводители крайних партий были осуждаемы и за волнение 15 мая, когда клубы вторгнулись в Национальное собрание и хотели разогнать его, и за возвышение поземельного налога, декретированное умеренными республиканцами, и за учреждение Национальных мастерских, происшедшее также вопреки их мнениям и вне всякого их участия.

Такие обвинения противоречили фактам, но факты тогда еще не были известны в истинном своем виде, — напротив, они доходили до всеобщего сведения искаженными или преувеличенными. Эти ложные слухи много содействовали упадку меньшинства временного правительства и укреплению власти большинства, состоявшего из умеренных республиканцев. Но всего более, конечно, произошло это просто вследствие естественного закона, по которому за напряжением сил следует усталость, по которому стремительный порыв масс быстро сменяется обычной для них дремотой, по которому люди неопытные беспечно успокаиваются после первого обманчивого успеха. Масса, на сочувствии которой основывалась сила крайних партий, уже воображала себя совершенной победительницей, она воображала, что противники, низвергнутые в феврале, уже бессильны; что умеренные республиканцы, союзники массы в феврале, будут исполнять ее желания, потому что сделали на словах несколько уступок этим желаниям.

Под влиянием всех этих обстоятельств умеренные республиканцы решительно восторжествовали на выборах в Национальное собрание; крайние партии, и прежде имевшие мало влияния на управление делами, совершенно лишились его, когда с открытием Национального собрания временное правительство сложило с себя власть и она была передана Исполнительной комиссии, в которой уже исключительно господствовали умеренные республиканцы.

Теперь эта партия, до сих пор стеснявшаяся в своих действиях противоречием меньшинства временного правительства, могла беспрепятственно принимать меры, казавшиеся ей нужными. Первой из этих мер было призвание сильных отрядов войска в Париж и его окрестности. Крайние партии опирались на парижских работников, — умеренные республиканцы старались, как мы видели, подчинить этот класс своему влиянию; но все-таки он имел других предводителей, его желания были в сущности несогласны с желаниями умеренных республиканцев, его требования казались им гибельными для общества химерами; работники внушали сильное опасение умеренным республиканцам. Для обуздания этих многочисленных недовольных необходимо было войско.

Когда сильное войско было сосредоточено в Париже и его

окрестностях, умеренные республиканцы гораздо прямее, нежели прежде, начали говорить, что преобразования, которых желают работники, нелепы, и правительство не может исполнить их. Разочарование овладело умами и тех из работников, которые до сих пор сохраняли надежду на то, что Национальное собрание постановит законы, изменяющие материальное положение рабочего класса. Предводители крайних партий попрежнему убеждали массу не прибегать к насилиям, ожидать исполнения своих желаний от употребления средств, которые давались к тому законным правом участвовать в выборах. Судя по всему, эти увещания и собственное благоразумие удержали бы низший класс от смут, если бы правительство не приступило к уничтожению Национальных мастерских способом столь же неблагоприятным, как неблагоприятен был способ их учреждения.

Правительство теперь твердо опиралось на армию. Ему уже можно было обойтись без союза с защитниками ненадежными, — надобность, для которой до сих пор содержались Национальные мастерские, прекратилась. Решено было закрыть их. Работники их будут недовольны? Это не важность: при многочисленной армии они не посмеют противиться.

И вот для закрытия Национальных мастерских приняты были быстрые меры — меры, в которых самонадеянное легкомыслие странным образом смешивалось с трусливою торопливостью, грубая жестокость — с изворотливым коварством.

Самый недалекovidный человек мог бы, повидимому, понять, что опасно вдруг отнимать содержание у массы в 150 000 человек, организованной подобно войску, не предоставив этим людям никаких других средств к существованию; но умеренные республиканцы успокаивались надеждой на силу собранной ими армии и без всяких церемоний вдруг объявили, что Национальные мастерские уничтожаются, потому что государство не может содержать на свой счет огромную толпу тунеядцев.

Прекрасно; но в каком положении видели теперь себя эти 150 000 людей, которых до сих пор кормило правительство? Фабрики были закрыты; промышленный кризис продолжался, и не было даже надежды, что он скоро прекратится. Благоразумие требовало бы от правительства, чтобы оно помогло фабрикам возобновить работу и отпускало людей из Национальных мастерских только по мере того, как они могли бы находить себе занятие в частной промышленности. Это не было сделано. Занятий не могли они найти себе никаких. Они оставались без всяких средств к существованию. Они могли только умирать с голоду на улицах Парижа.

Неужели этого не предвидело правительство? Нет, предвидело и потому приняло следующие меры: молодым и здоровым людям предложило оно поступать в солдаты, а тех, которые неспособны сделаться хорошими солдатами, оно приказало развозить из Парижа по провинциальным городам.

Легко было предугадать, какой вид получают в глазах работников эти меры, которые начали приводиться в исполнение без излишнего внимания к желанию или нежеланию воспользоваться ими со стороны работников. «Нас насильно, противозаконно берут в солдаты, нас насильно развозят по разным городам, в которых так же закрыты фабрики, в которых так же нет нам работы, в которых так же останется нам только умирать с голоду, как и в Париже», — иначе не могли думать несчастные. «Нас развозят затем, что в соединении мы сильны; разделив нас, они легче управятся с нами, как хотят».

Ясно было, что Эмиль Тома при своем гуманном характере, при своей заботливости об участи людей, которыми управлял, не согласится быть исполнителем таких мер. Он говорил, что нельзя так круто повернуть этого дела, что надобно приготовить занятия распускаемым работникам, сокращать Национальные мастерские только по мере пробуждения деятельности на частных фабриках и т. п. И вот придумали новую меру, чтобы избавиться от него. Его призывали к министру публичных работ (министром был тогда Трела; Мари, прежний министр, был членом Исполнительной комиссии, руководившей действиями министров), — министр сказал ему, что для закрытия Национальных мастерских нужен администратор с характером более твердым, что если работники узнают об его отрешении, они могут воспротивиться, собраться вокруг прежнего любимого начальника, наделать беспорядков. «Потому немедленно отправляйтесь из Парижа, так чтобы этого никто не знал, оставайтесь в провинции, куда я посылаю вас, пока здесь все будет кончено. Тогда я возвращу вас в Париж». Эмиль Тома доказывал, что его внезапное удаление встревожит работников, усилит их подозрения, — напрасно. Он сказал, что по совести не может повиноваться, зная, что его удаление из Парижа будет иметь гибельные следствия. Тогда министр объявил, что принужден выслать его из Парижа насильно, — призывал чиновников, которым поручил взять его под стражу и немедленно уехать с ним из Парижа. Это было исполнено в ту же минуту, и для лучшего сохранения тайны даже семейству Эмиля Тома не было сказано, куда он исчез.

Следствие было совершенно таково, как предсказывал он.

Любимый начальник, которому верили, внезапно исчез — он пошел к министру и не возвращался более. «Он брошен в тюрьму», — говорили одни работники. «Он убит министром», — говорили другие. «Это потому, что он не хотел выдать нас; что же хотят сделать с нами? Как что, разве это не видно? Нас пошлют в Алжирию, где мы погибнем от климата и от кабилы; кого не пошлют в Алжирию, кого не берут в солдаты, тех насильно отвозят бог знает куда, развозят по провинциям, чтобы легче было поодиночке зажать нам рот, подавить нас; нас бросят без всяких средств к жизни, мы не найдем работы ни здесь, ни

в провинциях — работ нет нигде. Мы обречены погибнуть от голода. Погибнуть от голода! А давно ли даны нам обещания, что каждый, не находящий работы в частной промышленности, получит работу от правительства? Исполняя этот декрет, правительство содержало нас, пока не имело войск, — теперь оно имеет войска и хочет поступить с нами так же, как поступал Гизо. Предатели, они хотят, чтобы мы погибали».

В самом деле, если ни Гизо в феврале, ни Исполнительная комиссия и Национальное собрание в июне не хотели губить работников для собственного удовольствия, то надобно было умеренным республиканцам признаться, что их управление сделало для исполнения требований рабочего класса ровно столько же, сколько и Гизо. Но Гизо по крайней мере не давал обещаний, а теперь дано было формальное обещание декретом временного правительства, еще за несколько недель торжественно подтверждено решением Национального собрания, — надежды были пробуждены, официально признаны справедливыми, — и вдруг правительство совершенно отрекается от всяких обязательств, столько раз данных. [Республиканцы все равно, как и Гизо, говорят: молчите, или мы заставим вас молчать штыками и картечью.]

Сто пятьдесят тысяч человек остаются без всяких средств к существованию, начальник, которого они любили, коварно отнят у них, их насильно берут и увозят из Парижа, им изменили. А между тем они организованы подобно армии, неужели они отдадутся на жертву без сопротивления?

Ошибки правительства привели к неизбежной междоусобной войне.

В тот же день, как было объявлено решение Национального собрания закрыть Национальные мастерские, как исчез Эмиль Тома и начались наборы работников для поступления в солдаты и для рассеяния по провинциям (22 июня), работники послали депутатов протестовать против этих распоряжений. Член Исполнительной комиссии, бывший министр публичных работ, Мари, принял депутатов очень дурно и сказал, что работникам остается только одно — безусловно повиноваться.

На следующее утро (23 июня) вспыхнуло восстание. Целый день оно усиливалось, и вечером Национальное собрание передало исполнительную власть Кавеньяку, который, как военный министр, с самого начала руководил действиями армии. [Париж был объявлен в осадном положении.]

Мы не будем рассказывать подробностей отчаянной борьбы, продолжавшейся три дня; нас, вероятно и читателя также, интересует не стратегическая сторона этого страшного междоусобия, а причины, его вызвавшие, характер его и следствия, к которым оно привело французскую нацию.

Причины мы исчислили; некоторым читателям, быть может,



покажется, что наше объяснение неполно, что мы опустили из виду влияние клубов, интриги так называемых демагогов, честолюбие предводителей крайних партий; действительно, всему этому приписывал очень большое участие в июньских событиях отчет, составленный докладчиком следственной комиссии, назначенной по этому делу, Кентеном Бошаром; но этот доклад, внушенный чувством ненависти, давно отвергнут общественным мнением и тогда же отвергался людьми беспристрастными и проникательными. Мы укажем один случай и приведем одно свидетельство, чтобы читатель мог судить о том, как смотрели еще тогда основательные и справедливые судьи на содержание этого доклада.

Следственная комиссия, составленная наполовину из умеренных республиканцев, наполовину из орлеанистов и легитимистов, которые ободрились после июньских дней, главным виновником смут, обуревавших Францию со времени провозглашения республики до июньских дней, выставила Луи Блана, на которого сваливали также учреждение Национальных мастерских, устроенных будто бы по его плану. Но Луи Блан и Коссидьер, обвиняемый вместе с ним (хотя они были враги между собою), в то время были представителями нации (членами Национального собрания), а представители могли быть подвергаемы судебному преследованию не иначе, как только с разрешения Собрания. Правительство потребовало этого разрешения, — Собранию был предложен вопрос: находит ли оно достаточные поводы подозревать участие Луи Блана в майских и июньских событиях и находит ли нужным предать его суду. Огромное большинство отвечало: «да». Но в числе меньшинства, находившего обвинение неосновательным и улики фальшивыми, был между прочим и Бастиа, известный экономист, который всеми силами боролся против учений, имевших тогда своим представителем Луи Блана. Партия, к которой принадлежал Бастиа, была скандализирована тем, что он подал голос в оправдание Луи Блана, но вот что он писал в тот же вечер к ближайшему из своих друзей, Кудре:

«Ныне на рассвете решено великое дело о докладе следственной комиссии, так тяжело беспокоившее и Собрание и Францию. Собрание дало согласие на судебное преследование Луи Блана и Коссидьера за участие в преступлении 15 мая. У нас, быть может, удивятся, что в этом деле я подал голос против правительства. Я хотел было постоянно отдавать моим избирателям отчет в соображениях, по которым подаю так или иначе голос по каждому делу; только недосуг и нездоровье помешали мне исполнить это; но настоящий случай так важен, что я должен объяснить причины моего мнения. Правительство считало отдачу под суд этих двух представителей необходимою; говорили даже, что только этим оно может удержать на своей стороне национальную гвардию, но мне казалось, что даже и это соображение не даст мне права заглушить в себе голоса совести. Ты знаешь, что учение Луи Блана не имело, быть может, в целой Франции противника более решительного, нежели я. Я убежден, что эти системы имели губительное влияние на образ мыслей и через то на поступки работников. Но разве мы должны

были решать вопрос о справедливости его системы? Каждый человек, имеющий какое-нибудь убеждение, по необходимости считает гибельным противное убеждение. Когда католики жгли протестантов, они жгли их потому, что считали их образ мыслей не только ошибочным, но и опасным. По этому принципу нам всем пришлось бы перерезать друг друга.

Итак, надобно было смотреть на то, действительно ли Луи Блан виноват в фактах заговора и восстания? Мне казался он невиновным, и никто, прочитав его защитительную речь, не может не сказать, что он невиновен. А между тем я не могу не помнить, в каких мы теперь обстоятельствах: у нас осадное положение, правильная судебная власть отстранена, свобода отнята у журналов. Мог ли я выдать двух представителей их политическим противникам в такое время, когда нет никаких гарантий? Это — дело, которому я не могу содействовать, это — первый шаг по пути, на который я не могу вступить.

Я не осуждаю Кавеньяка за то, что он на время отменил действие всех законных гарантий, я думаю, что эта печальная необходимость столь же прискорбна ему, как и нам; притом она может быть оправдана тем, чем оправдывается все, — спасением общества. Но для спасения общества требовалось ли, чтобы двое из наших товарищей были преданы на жертву? Я не думаю. Напротив, мне кажется, что такое дело может только поселить между нами раздор, ожесточить ненависть, положить бездну между партиями не только в Собрании, но и в целой Франции; мне казалось, что при настоящем положении внешних и внутренних дел, когда нация страдает, когда ей нужны порядок, доверие, прочные учреждения, единодушие, — при таких обстоятельствах не время ввергать в раздор представителей нации. Мне кажется, что лучше бы нам забыть о наших жалобах и неприятностях, чтобы позаботиться о благе страны; потому я радовался, что нет ясных фактов в обвинение моих товарищей и что я не обязан выдавать их.

Большинство думало иначе. Дай бог, чтобы оно не ошиблось! Дай бог, чтобы решение, принятое ныне, не сделалось гибельным для республики!

Если ты найдешь нужным, я уполномочиваю тебя послать отрывок из этого письма в газеты.

Через несколько дней, возвращаясь к тому же предмету в другом письме к Кудре, Бастиа продолжает:

«Говорят, что я уступил страху; страх был с другой стороны. Или эти господа (избиратели департамента, представителем которого был Бастиа) думают, что для борьбы против страстей, овладевающих обществом, нужно в Париже менее мужества, нежели в департаментах? Нам грозили гневом национальной гвардии, если мы отвергнем требование судебного преследования. Эта угроза выходила от людей, располагающих военной силой. Стало быть, страх мог заставлять класть черные шары, но не белые шары. Нужна высокая степень нелепости и тупости, чтобы вообразить, будто требуется особенное мужество для подачи голоса в пользу той стороны, на которой стоит насилие, армия, национальная гвардия, большинство Национального собрания, влечение обстоятельств, правительство.

Читал ли ты следственный акт? Читал ли ты показание бывшего министра Трела? В показании говорится: «Я был в Клиши, я там не видел Луи Блана, не слышал, чтобы он был там; но в жестах, в физиономии, в самых звуках голоса работников я видел следы того, что он был там». Выказывалась ли когда-нибудь политическая ненависть с более опасными тенденциями? Три четверти следственного акта составлены в таком духе!

Словом, сказать по совести... я не думаю, чтобы Луи Блан принимал участие в майском и июньском возмущениях, и этим объясняется, почему я подал голос против обвинения».

Свидетельство Бастиа в этом случае не может подлежать подозрению; он был самый резкий, самый отважный и самый

сильный противник тех людей, которых теперь хотел защитить от обвинений.

В самом деле, невозможно читать обвинительный акт, не видя, что он составлен под влиянием страха и ненависти. Эти чувства и прежде руководили действиями чистых республиканцев относительно партий, разделявших с ними власть от февраля до июня; под влиянием этих чувств учредились и потом были закрыты Национальные мастерские, закрытие которых было ближайшим поводом междоусобия. Влиянием этих чувств было и вообще создано то положение государственных дел во Франции, неизбежным результатом которого было междоусобие. Другие причины, о которых они так много говорили, или вовсе не существовали, или оказывали только ничтожное влияние. Предводители партий, благоприятствовавших требованиям рабочего класса, старались всеми средствами удержать работников в пределах законности, старались отвлечь их от всяких попыток к действию вооруженной силой; многие клубы действовали в противном смысле, но влияние их на массу было незначительно; наконец, ничего подобного заговору не было в междоусобии июньских дней: получив отказ 22 июня ввечеру, работники условились открыто, на площади, что завтра возьмутся за оружие.

Именно отсутствием влияний, чаще всего пробуждавших беспокойства во Франции, июньское междоусобие отличается от других парижских междоусобий; в этом отсутствии обыкновенных элементов мятежей и заключается тайна громадной силы, обнаруженной инсургентами июньских дней, и ужаса, произведенного этой резней. Массы шли на битву без всяких предводителей; ни одного сколько-нибудь известного человека не было между инсургентами. Чего хотели они? Это до сих пор остается смутно для того, кто не считает достаточным объяснением их мятежа перспективу голодной смерти, открывшуюся перед ними. То не были ни коммунисты, ни социалисты, ни красные республиканцы, — эти партии не участвовали в битвах июньских дней; чего хотели они? Улучшения своей участи; но какими средствами могло быть улучшено положение рабочего класса, если бы он одержал верх? Это было темно для самих инсургентов, и тем страшнее казались их желания противникам; чего же они хотели, если не были даже коммунистами? [Победители говорили, что они хотели грабить, но они наличными деньгами расплачивались за все, что брали в лавках. Это открылось после; но в те дни инсургенты казались какими-то варварами, цель которых — разрушение общества.] Отчаяние — вот единственное объяснение июньских дней, оно составляет отличительный характер этого восстания. Инсургенты сражались не для ниспровержения или установления какой-нибудь политической формы, — они не имели ни определенного политического образа мыслей, ни определенных требований от правительства или общества, кроме одного

Требования: они хотели иметь работу и кусок хлеба, доставляемый работой, и думали, что противники хотят истребить их, чтобы не давать ни хлеба, ни работы, столько раз торжественно обещанной. Оттого-то и дрались они с таким отчаянным мужеством. Их было тысяч сорок; далеко не все работники Парижа, далеко не все работники Национальных мастерских взялись за оружие: надежды на успех почти не было, инсургенты шли на погибель почти несомненную, и потому к ним не присоединялся никто из работников, сохранивших или хладнокровие в своей горести, или вероятность иметь работу на фабриках. Зато отважившиеся на битву почти безнадежную дрались с энергией, какой не было ни в июле 1830 года, ни в феврале 1848 года. Против них выведены были регулярные войска, гораздо многочисленнейшие, выступала национальная гвардия Парижа, еще более многочисленная, выведена была «подвижная гвардия», *garde mobile*, составленная из отчаянных юношей парижской бездомной жизни, выдвинута была страшная артиллерия тяжелого калибра, — всего было мало, постоянно прибывали по железным дорогам новые войска и новые отряды национальной гвардии из всех городов Франции, и только на четвертый день это громадное превосходство в силах подавило мятеж, — да и этой медленной победой противники инсургентов были обязаны только новой системе борьбы, которую Кавеньяк применил к делу с редким искусством и еще более редкой непоколебимостью.

Система эта состояла в том, чтобы сосредоточивать огромные силы на одном пункте, избранном для наступательного движения, держась на всех остальных пунктах только в оборонительном положении. Наступление имело первой целью разорвать сообщение между различными частями города, бывшими в руках инсургентов; потом, когда эти отрезанные одна от другой части не могли уже подавать помощи друг другу, брать постепенно одну часть за другой. Знатоки военного дела говорят, что этот план был превосходно и задуман и исполнен Кавеньяком и что при всякой другой системе борьбы инсургенты на некоторое время, по всей вероятности, овладели бы всем Парижем. Но и этой системе, доставившей победу, инсургенты долго противились с таким успехом, что 25 июня Кавеньяк еще не руцался за победу и считал опасность столь великой, что вместе с президентом Национального собрания принял меры перенести Собрание и резиденцию правительства в Сен-Клу или в Версаль, если бы инсургенты восторжествовали в Париже. Картечь, бомбы и ядра трое суток осыпали кварталы, занятые инсургентами, — и только это страшное действие артиллерии доставляло перевес регулярному войску. Рукопашные битвы были чрезвычайно упорны. Число убитых с той и с другой стороны остается неизвестным; правительство должно было уменьшить потерю своих защитников и врагов, но и оно показывало ее в пять тысяч; другие известия

говорят о десяти и более тысячах, и, быть может, даже эта цифра не достигает еще ужасной действительной потери. Ветераны наполеоновских времен говорили, что никакой штурм неприятельской крепости во времена Первой империи не был так кровопролитен. Есть положительный факт, слишком достоверно свидетельствующий о верности этого впечатления: из четырнадцати генералов, командовавших войсками, шестеро были убиты, пять других были ранены, и только трое уцелели, — да и из этих последних под Ламорисьером были убиты две лошади.

[Много злодейств было совершено с обеих сторон в ожесточении битвы, потому что с обеих сторон за сражающимися укрывалось много преступников, пользовавшихся бешенством сражения для насыщения своего зверства. Так, несколькими негодьями со стороны инсургентов был убит генерал Бреа, захваченный в плен, но с противной стороны число страшных примеров жестокости было еще значительнее. Рассвирепевшие солдаты и особенно подвижная гвардия, ворвавшись в дом, занятый инсургентами, часто убивала всех, кого там находила, — стариков, женщин, детей; множество совершенно невинных людей, имевших несчастье попасться в руки армии и подвижной гвардии, были расстреляны по подозрению, что они расположены в пользу инсургентов, — и потом оказалось, что они вовсе не имели и мысли об этом; расстреливание пленных инсургентов было в таком обычае, что об этих случаях никто уже и не говорит; словом, читая рассказы об ужасах, совершенных национальной гвардией, подвижной гвардией и солдатами, видишь, что недаром было потом в употреблении у парижан выражение «Кавеньяковские палачи», *les bourreaux de Cavaignac*.]

Как полководец, Кавеньяк в эти страшные дни действовал превосходно. Все знатоки военного дела утверждают это. Кроме стратегических талантов, он выказал качество еще более редкое — непреклонную энергию воли, когда, несмотря ни на какие просьбы, внушаемые нетерпением, твердо следовал своему плану, который один мог вести к победе, и, действуя шаг за шагом, не сделал ни одного опрометчивого движения. Как частный человек, он также вел себя безукоризненно: напрасно враги его обвиняли, что он употребил какие-нибудь интриги для достижения диктатуры: это низкая клевета; он верно служил Исполнительной комиссии, пока она существовала, и когда она была уничтожена Национальным собранием и вся власть передана ему, то было благоразумным решением самого Собрания, и ни сам Кавеньяк, ни его друзья не сделали ни одного шага, чтобы внушить это решение. По окончании битвы он явился в Собрание, возвращая ему власть, которой был облечен на время битвы, и опять совершенно ничего не искал; когда Собрание просило его сохранить власть и сделаться главой правительства, он, приняв это высокое поручение, нимало не утратил простоты своих нравов, продолжал



быть совершенно прежним человеком и постоянно не только говорил, но и действовал совершенно сообразно сущности своих обязанностей, всегда признавая себя только доверенным лицом Собрания, вручившего ему власть, и ни разу не сделав ни одного шага для того, чтобы расширить пределы этой власти или отказать в повиновении Собранию, которое совершенно уверилось его честности. Словом, как частный человек, он выказал характер, достойный Вашингтона. Но как государственный человек, Кавеньяк, к сожалению, не обнаружил ни особенной проницательности, ни особенных дарований: подобно всей своей партии, он поступил вовсе не предусмотрительно и не расчетливо. Великим несчастьем для него и всей партии было уже то, что ее ошибками дела были доведены до июньского междоусобия; но в этом не был виноват Кавеньяк, он не управлял государством, не имел значительного влияния на ход событий до июня, — он ограничивался до той поры почти только своими специальными занятиями по должности военного министра и управлял этой частью хорошо. Потому теперь, когда управление перешло в руки его, человека, непричастного прежним ошибкам, правительство умеренных республиканцев могло бы явиться перед нацией как бы отказавшимся, очищенным от прежних гибельных промахов и восстановить свою популярность. Для этого битву следовало бы вести со всевозможной готовностью к примирению, и тогда генерал, принявший власть среди громов междоусобия, представился бы не столько победителем одного класса своих сограждан во имя других классов, сколько миротворцем. Но Кавеньяк явился не более как только хорошим генералом, смотрящим на гражданские дела глазами своих политических друзей; а политические друзья его, к сожалению, во всем считая себя правыми относительно прошедшего, не находили в самых действиях своего прежнего управления объяснений восстания и потому считали это восстание возникшим единственно вследствие желаний, гибельных для общества; они слишком поверили своей фразе, которую любили повторять в апреле и мае: «варвары у ворот наших» — *les barbares sont à nos portes*; они увидели в жалких, голодных рабочих не несчастных, доведенных до безрассудной дерзости отчаянием, а злодеев, принявшихся за оружие чисто с намерением грабить и резать. Сообразно такому понятию и повели они борьбу против них, — не как против сограждан, а будто против каких-нибудь каннибалов, беспощадно, безжалостно. [Ожесточение со стороны национальной гвардии, составлявшей опору умеренных республиканцев, и зверские поступки со стороны шестнадцатилетних-восемнадцатилетних воинов подвижной гвардии, увлеченных опрометчивостью кипучей молодости и вином, вызвали много примеров такой же жестокости со стороны инсургентов — умеренные республиканцы с каким-то самодовольством ослепились этими отдельными случаями, оправдавшими их мнение, и допустили



себя совершенно забыть о причинах восстания, лежавших в их собственных действиях.

Битва шла зверски с обеих сторон. Она необходимо должна была оставить много ненавистных следов в памяти обеих сражавшихся сторон. Но пусть инсургенты были варвары, пусть имели право умеренные республиканцы не давать им пощады в битве, превратившейся оттого в резню с расстреливанием пленных, — пусть им извинительно было все это в предположении их, что инсургенты взялись за оружие не для защиты себя от голодной смерти, а для прабегза их, умеренных республиканцев; но вот победа стала решительно склоняться на сторону войска и национальной гвардии]. Наконец инсургенты потеряли всякую надежду на успех. Это было на третий день восстания, на другой день ожесточенной битвы 25 июня. В этот момент возникали для умеренных республиканцев новые соображения, которыми должен был бы измениться характер следующего дня, если бы умеренные республиканцы были предусмотрительны.

Надежды противников уничтожены. Пусть прежде инсургенты заслуживали истребления как хищные звери; но следует ли теперь доканчивать их истребление, когда они убедились в неизбежности своего поражения? Продолжение борьбы, уже ненужной для отращения от себя опасности, — опасность уже отвращена, — не введет ли умеренных республиканцев в новую опасность?

С точки зрения собственных убеждений они должны были принять в соображение следующие факты. Они, умеренные республиканцы, хотели утвердить во Франции республиканскую форму правления. Какой класс нации был единственным преданным защитником этой формы? Только класс работников; кроме работников, искренними республиканцами были только немногие отдельные люди, по своей малочисленности не могшие удержаться против высших классов и поселян, желавших низвержения республики. Прежде, положим, работники увлекались гибельными химерами, — теперь исчезли их надежды на осуществление этих других желаний; из всех их чувств остается имеющим практическую силу только преданность республиканской форме. Причины, ожесточившие умеренных республиканцев против них, уже не существуют, существует только одно общее обеим сторонам стремление поддержать республику. Ясно было, что [вчерашние враги должны были теперь искать сближения между собою; ясно, что] умеренные республиканцы должны были постараться прекратить борьбу с ними. И каков будет результат, если борьба продолжится до истребления противников? Подавлен будет класс, который один предан республиканской форме, — она останется беззащитна, она падет, и с нею умеренные республиканцы погибнут сами.

Продолжение борьбы было гибельно для них. Они должны были искать примирения с укрощенными ныне вчерашними противниками.

Они не только не сделали этого, они отвергли просьбу о примирении или хотя просто о пощаде, с которой пришли к ним инсургенты.

Это было в ночь с 25 на 26 июня. К президенту Национального собрания Сенару и к Кавеньяку явилась депутация инсургентов; она говорила, что инсургенты сдадутся, если им дана будет амнистия. Умеренные республиканцы отвечали устами Сенара и Кавеньяка, что это предложение — глупость, что покорность от инсургентов только тогда может быть принята, когда они сдадутся безусловно, на жизнь и на смерть. «Иначе нечего и хлопотать вам, являться ко мне, — сказал Кавеньяк депутации. — Я отвергаю всякие другие предложения».

Инсургенты могли ошибаться в значении слов «безусловная сдача на волю победителей»: быть может, умеренные республиканцы после этой сдачи оказались бы милостивее, нежели были до сих пор; но инсургентам натурально мог представляться в их требовании только один смысл, слишком ясно показанный в два предыдущие дня беспощадным употреблением картечи, расстреливанием инсургентов, попадавших в плен, убийствами людей безоружных, стариков и женщин, неистовствами подвижной гвардии. Они в ответе Сенара и Кавеньяка не могли видеть ничего иного, как требование итти под военный суд, по законам которого каждый инсургент подвергался расстреливанию. Умеренные республиканцы должны были знать, что иначе не может быть понято их требование. Отвергая просьбу о прощении, они сами говорили инсургентам: «Теперь вам не остается уже ничего, кроме как биться до последней капли крови, потому что пощады вам не будет».

То и случилось, к чему принуждали они этим инсургентов. На следующее утро (26 июня) с прежней беспощадностью возобновилась битва и кончилась в половине второго часа пополудни [так, как желали умеренные республиканцы] совершенным подавлением инсургентов.

Истребляемые в Париже, они бежали из города, рассеялись по окрестностям. Повсюду были посланы команды ловить их. Их находили попрятавшихся в лесах, скитающихся по полям, и скоро парижские тюрьмы переполнились пленными, переполнились ими казармы парижских фортов, все укрепленные здания в Париже, так что, наконец, пришлось набить ими даже подземный ход, который вел из Тюльери к Сене и который устроил себе на случай бегства Луи-Филипп. Число этих военнопленных простиралось до 14 000 человек.

Они все были отданы под военный суд, почти все приговорены к ссылке, но еще до судебного приговора было уже сделано распоряжение о ссылке их: они были переведены на понтоны для отправления в ссылку. Можно вообразить себе, каков был военный суд при таких наклонностях умеренных республиканцев, при

таком громадном числе подсудимых, — это было то, что называется по-французски суд на скорую руку, *justice sommaire*. [Нечего говорить о том, много ли было захвачено людей совершенно понапрасну, по ошибке; нечего говорить о том, много ли из этих арестантов, нимало не прикосновенных возмущению, было оправдано и много ли осталось попрежнему арестантами...]

Само собою разумеется, что общественное мнение, возмущенное этой ссылкой целой массы народа, массы, уже отправленной на понтоны без всякой формы суда, скоро принудило умеренных республиканцев к уступкам. Мало-помалу стали выпускать с понтонов одну партию пленных за другой, но все еще по прошествии целого года оставалось на понтонах несколько тысяч человек.

Ни Орлеанское, ни Бурбонское правительство не доходило до такого произвола. С того времени, как Наполеон в начале своего владычества без суда отправил в ссылку людей, ему опасных, не бывало во Франции подобных примеров. Но и наполеоновская ссылка была ничтожна перед этой произвольной мерой: тогда подвергнуты были произвольному наказанию всего сто, полтора-два человека, теперь подвергались многие тысячи людей.

[Таким-то образом началась диктатура Кавеньяка и полное владычество умеренных республиканцев во Франции. Они утвердились беспощадной победой в ужаснейшей из всех междоусобных битв, когда-либо заливавших Париж кровью; победа была завершена чудовищной ссылкой в противность всем понятиям о правосудии.]

Надобно ли говорить, что в этой ссылке еще более, нежели даже в самой беспощадности битвы, выразилась неспособность умеренных республиканцев понимать свое положение, их непредусмотрительность и бестактность? Государственным человеком достоин называться только тот, в ком благоразумие господствует над увлечениями страстей; но если мы даже извиним ослепление страстью во время борьбы, то по крайней мере по достижении совершенной победы рассудок должен вступать в свои права. Пусть умеренным республиканцам казалось нужно не только усмирить, но и совершенно обессилить работников. 26 июня это было сделано, и военные соображения должны были уступить место правительственным. Самое основное правило политического благоразумия говорит, что при внутренних раздорах победоносная сторона может укреплять свое господство только снисходительностью к побежденной, — так действовали все истинно государственные люди, от Юлия Цезаря до Наполеона. Умеренные республиканцы не понимали этого. Если бы после своего полного торжества они дали амнистию побежденным, уже переставшим быть для них опасными, они прикрыли бы этой мантией милосердия многие свои ошибки, привлекли бы к себе многих, отчужденных междоусобием. Они этого не сделали, и озлобление, вселенное ожесточением битвы и ужасами победы, раздра-

жалось и усиливалось холодной неуместностью напрасного мщения над людьми, которые уже не могли быть вредны победителям.

Таково было положение дел, когда умеренные республиканцы с диктатурой Кавеньяка приобрели безграничную власть во Франции. Ужасен и противен всем понятиям, — не говорим уже законности или гуманности, но всем понятиям обыкновенного житейского смысла, — был путь, который привел их к этому господству. Все, в чем некогда обвиняли они предшествовавшие правительства, было совершено ими в громаднейших размерах. Убийства в Трансноренской улице, апрельские судебные преследования<sup>13</sup>, за которые они так осуждали Орлеанское правительство, были ничтожной шуткой сравнительно с июньскими убийствами, расстреливаниями и ссылкой целых масс. Если бы кто-нибудь сказал умеренным республиканцам накануне февральских событий, что они совершат такие дела для сохранения власти, которую тогда готовились они приобрести, они с негодованием отвергли бы такое предсказание как нелепый бред. А между тем все совершившееся в июне было неизбежным следствием той системы, которая привела их к февральскому торжеству. Если бы предусмотрительность их не была помрачена политической страстью, они в начале 1848 года видели бы, что начинают игру слишком двусмысленную и страшную, — игру, которая необходимо приведет их в случае успеха к зверскому истреблению людей, которых они тогда призывали на помощь себе.

Сами они были малочисленны и слабы в начале 1848 года. Они одни не могли ничего сделать против Орлеанского правительства, которое хотели низвергнуть. Они вздумали вступить в союз с работниками и силой этого класса достигли своей цели.

Но чем они могли возбудить работников? Работники желали не перемены политических форм, а преобразований, которыми улучшилось бы их общественное положение. И вот республиканцы уверили их, что эти улучшения будут произведены республикой. Такой ценой приобрели они союз. Но могли ли они в самом деле исполнить свои обещания? Нет, желания работников признавали они несбыточными, гибельными химерами. При этом благоразумен ли был союз? Он основывался на самообольщении с обеих сторон. Работники думали получить себе удовлетворение через людей, которые в сущности были так же враждебны их желаниям, как Гизо и Дюшатель. Умеренные республиканцы воображали, что удержать работников им будет так же легко, как и возбудить их. Известно, каковы всегда бывают результаты союзов, основанных на том, что один союзник надеется достичь цели, которая отвергается другим; эти союзы ведут к смертельной вражде между союзниками. Так было и тут. Возбуждая надежды, которых не могли удовлетворить, умеренные

республиканцы должны были знать, что им придется отвергать требования, которым они льстили. В этих требованиях работники видели вопрос о жизни и смерти для себя — нельзя было не угадать, что для отвержения этих требований нужна будет смертельная битва против работников.

Но формалисты ничего не предвидят. Умеренные республиканцы легкомысленно повели в феврале против Орлеанского правительства людей, с которыми еще гораздо менее могли ужиться в согласии, нежели с Орлеанским правительством. Если бы они предвидели июнь, они отказались бы от вражды против Орлеанского правительства в феврале.

История возвышения партии умеренных республиканцев представляется поразительным примером того, как неизбежно осуществляется историей правило, внушаемое здравым смыслом и так часто забываемое в увлечении политических страстей: нужно подумать о том, каковы существенные желания людей, прежде нежели искать их содействия. Если бы работники и республиканцы понимали друг друга, они ни в коем случае не начали бы вместе действовать против Орлеанского правительства, потому что между ними было противоречие еще более важное, нежели причины их недовольства министерством Гизо.

Союз их был ненатурален, он привел к нелепости, — нелепость в исторических действиях ведет к событиям, губительным для страны.

Правда и то, что противоестественный союз между партиями, смертельно враждебными по сущности своих желаний, был произведен столь же противными здравому смыслу действиями Гизо, его покровителей и партизанов. Только самообольщение [Орлеанской системы] породило самообольщение в противниках, — это очевидно для всякого, кто припоминает историю времен, предшествовавших во Франции февральским событиям, и первая вина за ужасы, совершенные после того, падает на людей, которые довели дела Франции до нелепого положения, породившего февральские события. Здесь не место доказывать это, — мы хотели только изложить, каким рядом обманов и насилий умеренные республиканцы должны были выпутываться из того фальшивого положения, в которое стали для низвержения Орлеанской системы, какие нелепости и ужасы были необходимым условием утверждения их власти над Францией. Теперь нам должно рассказать вторую половину их истории; мы знаем, каким образом достигли они власти, теперь посмотрим, каким образом потеряли они власть; за возвышением их быстро последовало падение, и мы увидим, что падение было неизбежным следствием тех фальшивых или жестоких средств, которыми они достигли власти, и той несоответственности их убеждений с потребностями французского общества, которая с самого начала делала для них невозможным прямой и самостоятельный образ действий.

## II

Июньская победа передала в руки умеренных республиканцев всю правительственную власть над Францией. Ужасным путем достигли они до этого торжества, и мы видели, что неизбежен был для них этот путь после той основной ошибки, которая сделана была в начале 1848 года умеренными республиканцами и парижскими работниками. Две партии, стремления которых были непримиримо противоположны, соединились тогда между собой для низвержения противников, которые по своим убеждениям гораздо менее разнились от умеренных республиканцев, нежели умеренные республиканцы от своих союзников. Результатом обманчивого союза на словах при полнейшем разногласии в желаниях была неизбежная необходимость двум на время слившимся партиям тотчас после одержанной в союзе победы вступить между собою в борьбу гораздо более серьезную, нежели та, в которой общими силами они низвергли Орлеанскую систему. Фальшивые исторические положения всегда дорого обходятся государству, но иногда бывают выгодны для тех, которые ставят в них государство, — это тогда, когда одна из партий, вступающих в обманчивый союз, хитрит и коварствует. Но тут обе партии действовали не по хитрому расчету, а по соображениям при всей своей ошибочности прямотдушным, и потому обе проиграли от ошибки, в которую одна увлечена была другою. Парижские работники за союз с умеренными республиканцами расплатились тем, что надолго остались без куска хлеба и тысячами погибли в битве, тысячами были брошены в темницы. Умеренные республиканцы поплатились тем, что пробудили ненависть к себе во всех тех классах населения, любовью которых дорожили.

Очень трудно было положение умеренных республиканцев после июньских дней, хотя вся правительственная власть была в их руках. Сами по себе они были малочисленны и слабы; они могли держаться, только опираясь на другие партии, которые тогда все сливались в два большие лагеря, почти поровну делившие между собою все народонаселение Франции.

С одной стороны соединились в одну массу все те [партии], идеал которых был не в будущем, а в прошедшем. Некогда они распадалась на враждебные партии легитимистов и орлеанистов, смертельно ненавидевшие друг друга. Но теперь вражда их умолкла под грозою, одинаково страшной для всего, чем дорожили все они одинаково. В прежнее время был между ними спор о том, классу землевладельцев или классу капиталистов владычествовать во Франции, семейным преданиям с придворными нравами и феодальными стремлениями или промышленной спекуляцией с биржевыми правилами и узким либерализмом хитрого эгоизма. Теперь тот и другой интерес подвергался одинаковой опасности, и для своего спасения оба они слились в один инте-



рес — интерес возвращения господства над законами и администрацией тому, что называется превосходством по имуществу или значительностью в обществе. Люди, которым лично выгодно это возвращение, немногочисленны во Франции, [как и везде они немногочисленны]. Но тогда [во Франции, как и почти всегда во всех странах] каждый из них имел за собою более или менее значительное число клиентов, привыкших слушаться или поставленных в необходимость повиноваться ему. Так за капиталистами шли очень многие из людей, зависевших от них по промышленным делам, и голосу их следовало большинство в сословии торгующих людей и рентьеров, хотя эти маленькие люди, если бы ясно сознавали свои выгоды, могли бы заметить, что биржа и банкиры вовсе не представляют их интересов. За большими землевладельцами во многих провинциях шли поселяне; по воспоминаниям феодальных времен и по ультрамонтанским стремлениям заодно с большими землевладельцами было католическое духовенство, пользовавшееся очень значительным влиянием на поселян. Таким образом лагерь, желавший восстановления старого порядка, располагал очень значительными силами.

С другой стороны были люди, желавшие, как мы говорили, изменений в материальных отношениях сословий, желавшие законодательных и административных мер для улучшения быта низших классов. Естественно было бы полагать, что вся масса простолюдинов станет на этой стороне. Но знание о новых мерах, предполагавшихся в их пользу, было распространено только между простолюдинами больших городов. Поселянин во Франции ничего не читал, почти не встречал образованных людей, которые рассказали бы ему, в чем дело. Потому реформаторы имели на своей стороне только городских простолюдинов; из сельского населения, погруженного в совершенное незнание, большая половина следовала за своими обычными авторитетами — землевладельцами и духовенством, и только в немногих, ближайших к большим городам округах поселяне сочувствовали идеям городских простолюдинов.

Посредине между этих двух огромных лагерей стояла немногочисленная армия умеренных республиканцев. С тем и другим станом были у ней сильные причины к несогласию, но с тем вместе и важные точки соприкосновения, подававшие возможность к сближению.

От партий, желавших сохранения общественного быта в прежнем его виде, умеренные республиканцы разделялись воспоминаниями жестокой вражды с конца прошлого века до низвержения Орлеанской системы. Еще важнее было разногласие в мнениях о форме правительства. Реакционеры ужасались слова «республика» — не потому, что в самом деле были искренними монархистами, а просто потому, что представляли республику осуществлением безграничной демократии.

От реформаторов умеренные республиканцы отделялись также воспоминаниями о борьбе, которая была менее продолжительна, но еще более жестока, нежели борьба с реакционерами; притом же и воспоминания эти были свежее; последний и самый страшный акт борьбы только что совершился, и продолжались еще его последствия: осадное положение, арест нескольких тысяч человек, стеснение газет и т. д. О коренном разногласии в идеях мы уже говорили: умеренные республиканцы хотели остановиться на изменении политической формы, реформаторы утверждали, что оно ничего не значит без изменения в сословных отношениях, которое умеренные республиканцы вместе с монархистами называли нелепой и гибельной химерой.

Причины к раздору были, как видим, чрезвычайно важны. Но отношения между тремя лагерями по материальной силе были таковы, что ни один сам по себе не мог управлять Францией нормальным и прочным образом, — получить решительный перевес в обществе могла каждая из трех главных партий не иначе, как в союзе с другой. Впоследствии времени были заключаемы такие союзы, — значит, они были возможны, несмотря на всю силу взаимных несогласий. Так в конце 1849 года умеренные республиканцы действовали дружно с реформаторами против реакционеров, а позднее — заодно с монархистами против Луи-Наполеона. Но тот и другой союз был слишком позднен. Во-время враждебные партии не хотели и слышать о прекращении борьбы, которая поочередно погубила их. Теперь нас занимает история умеренных республиканцев; потому, оставляя в стороне ошибки, сделанные другими партиями, мы посмотрим только, какие ошибки были причиной низвержения этой партии [и какими мерами было бы возможно ей предотвратить несчастье, постигшее Францию].

В половине 1848 года все люди всех партий одинаково чувствовали, что первой необходимостью для Франции было учреждение прочного правительства. Прочность не зависела тут от имени и формы, а единственно от того, чтобы партия, которая управляла бы государством, имела бы на своей стороне решительное и прочное большинство в нации. Ни одна из партий, взятых в отдельности, не имела этого большинства, и всего менее могли обольщаться в этом случае умеренные республиканцы, на каждом шагу получавшие доказательства своей малочисленности. Кратчайшим путем к получению поддержки большинства был бы для них прямой союз с одной из двух многочисленных партий. На каких условиях был возможен тогда этот союз?

Реакционеры ужасались слова республика вовсе не потому, чтобы были искренними монархистами: они скоро примкнули к Луи-Наполеону, сопернику Бурбонов и Орлеанского дома. Истинной привязанности к монархической форме у большей части из них было так мало, что они с удовольствием согласились бы

на республику, если бы только сохранилось в этой республике преобладание высших классов. От республиканской формы умеренные республиканцы не могли бы отказаться ни в каком случае, но этой уступки пока от них и не требовалось бы; возможна ли была уступка, которая действительно требовалась реакционерами? Умеренные республиканцы имели чрезвычайное пристрастие называть себя демократами; вот именно эта-то прибавка к слову республиканец и возмущала реакционеров; а между тем был ли в этой прибавке какой-нибудь реальный смысл? Было ли практическое значение? По правде говоря, вовсе нет. Гордясь именем демократов, умеренные республиканцы гнушались именем демагогов, а демагогами называли всех тех, которые хотели действовать возбуждением масс для достижения целей, сообразных с выгодами масс. Какой же реальный смысл оставался после того за именем демократ? Тот, что умеренные республиканцы не хотели допустить такого преобладания аристократических элементов, какое видели в Англии; им больше нравилось устройство Северо-Американских Соединенных Штатов. Но во Франции аристократические элементы вовсе не имеют той силы, как в Англии, и далеко не имели в 1848 году притязания сделать из Франции Англию; все, чего в сущности желали они, ограничивалось спокойствием на улицах и сохранением прежних сословных отношений. В сущности того же самого желали и умеренные республиканцы. К чему же после того было умеренным республиканцам так шумно кричать о своем демократизме, запугивая этим громким словом добрых людей, не замечавших, что демократ становится пустейшим и бессильнейшим из людей, как скоро придумывает разницу между демократизмом и демагогией? Нерасчетливо было со стороны умеренных республиканцев отталкивать от себя реакционеров словом без реального значения; нерасчетливо было и со стороны реакционеров из-за пустой парадной похвальбы отстраняться от людей, у которых за душой не было в сущности ничего непримиримого с тогдашними потребностями реакционеров.

Та и другая партия забывали об одинаковости своих настоящих желаний из-за споров об именах и исторических воспоминаниях. Они могли бы действовать дружно, но не хотели того. Реакционеры непременно хотели низвергнуть умеренных республиканцев из-за их пустой претензии на демократизм. Если умеренные республиканцы никак не решались отказаться от пустого слова для привлечения на свою сторону реакционеров, то не могли ли они вступить в союз с реформаторами?

Тут недоразумение было еще нелепее. Умеренные республиканцы, восхищаясь своим [ровно ни в чем дельном не состоявшим] демократизмом, еще с большим усердием кричали, что хотя они и демократы, но презирают и ужасаются демагогов. Крик о демагогах был так шумен и производился с таким серьезным

выражением лица, как будто в самом деле в 1848 году Франции угрожали какие-нибудь Иоганны Лейденские и Томасы Мюнцеры или по крайней мере Дантоны. А на самом деле, каковы бы ни были идеи реформаторов, но сами реформаторы никак не должны были бы внушать ужаса, — справедливы или ошибочны, практичны или неосуществимы были их мнения, но сами по себе эти люди нимало не походили на возмутителей, опасных для спокойствия парижских улиц. Это были люди не уличных волнений, а ученых рассуждений в тишине кабинета, заваленного головоломными книгами; даже говорить в многочисленном обществе очень немногие из них были способны, и почти каждый из них был силен только с пером в руке, за письменным столом. Действия таких людей не могли в сущности представлять ничего опасного для материального порядка. Но, быть может, их мнения и требования были неудобноисполнимы или опасны?

О их общих теориях мы не хотим здесь говорить потому, что не их партия служит предметом нашей статьи: мы должны показать только их отношения, в последней половине 1848 года, к партии, главой которой был Кавеньяк. После июньских дней те силы, которыми могли бы осуществляться теории реформаторов, были сокрушены и надолго уничтожена всякая надежда реформаторов иметь правительственную власть. Дела приняли такой оборот, что надобно было ждать чрезвычайного влияния реакционной партии на ход событий. Требования реформаторов не простирались уже до того, чтобы их теории приводились в исполнение правительством; они почли бы себя чрезвычайно счастливыми уже и тогда, если бы хотя половина тех обещаний, которые два-три месяца тому назад давались не только умеренными республиканцами, но и реакционерами, была исполнена. И тут были громкие слова, служившие предметом споров, например «право на труд», но под громкими словами скрывались теперь требования самые скромные: хотя сколько-нибудь действительной заботливости со стороны правительства о помощи стесненному положению низших классов, и реформаторы были бы довольны. Не только умеренные республиканцы, но и все рассудительные люди между реакционерами были убеждены в необходимости позаботиться об улучшении быта низших классов. В большинстве и умеренных республиканцев и даже реакционеров это убеждение было не только внушением расчета, но и искренним желанием. Кроме немногих нравственно-дурных людей, все желали позаботиться о распространении образования между простолюдинами, об улучшении их квартир, об улучшении мелкого кредита, к которому они прибегают, об избавлении их от ростовщиков и т. д. Между умеренными республиканцами не было ни одного, который не имел бы этих желаний, а серьезной заботы об исполнении этих желаний было бы довольно для приобретения поддержки со стороны реформаторов. Но вместо того, чтобы заботиться о вещах,

которые всем казались и полезны и практичны, умеренные республиканцы предпочли спорить против разных призраков и проводили время в опровержении требований, которых никто не предлагал, но существование которых предполагалось умеренными республиканцами. Самая простая, самая легкая мера вызывала против себя крики о невозможности и опасности, потому что под нею всегда предполагалась какая-нибудь громадная теория. Призрак материальной демагогии, за которую не хотел или не был способен приниматься ни один из реформаторов, и призрак утопических теорий, которых никто не хотел приводить в исполнение в тогдaшнее время, — эти илелепые призраки не давали умеренным республиканцам и подумать о союзе с реформаторами, которых им угодно было воображать себе сумасшедшими людоедами.

Таким образом по существенному положению серьезного дела умеренным республиканцам был бы возможен союз с каким угодно из двух враждебных лагерей, разделявших между собою население Франции. Но отчасти воспоминание о прежних причинах вражды, отчасти громкие слова, пугавшие воображаемым значением, которого не имели, препятствовали сближению. Вероятно, если бы в партии умеренных республиканцев предводители были великими государственными людьми, эти затруднения были бы устранены своевременно, и партия умеренных республиканцев приобрела бы прочную опору себе или от реакционеров, или от реформаторов, смотря по тому, с каким из этих лагерей нашла бы она более точек одинаковости в стремлениях. Нам кажется, что если бы умеренными республиканцами руководили такие люди, как Ришелье, Штейн или Роберт Пиль, то она предпочла бы сближение с реформаторами. Несмотря на всю жестокость июньских битв и следовавших за ними проскрипций, реформаторы легче, нежели реакционеры, согласились бы поддерживать умеренных республиканцев: после июньских дней реакционеры стали так самонадеянны, что внушали уже чрезвычайно серьезные опасения реформаторам, и таким образом самая жестокость поражения, нанесенного реформаторам умеренными республиканцами, заставляла этих последних быть склонными к поддержке победителей, за которыми выказывались грозные полчища людей, одинаково враждебных и побежденным, и победителям. Но в партии умеренных республиканцев недоставало государственного благоразумия на вступление в решительный союз ни с той, ни с другой из партий, имевших наиболее существенного могущества. Они вздумали держаться собственными силами. Ошибка эта была очень важна; она основывалась на странном самообольщении относительно своих сил. Умеренные республиканцы как будто не знали, что их образ мыслей, основанный на теоретических соображениях, а не на материальных сословных выгодах и

потребностях, по необходимости может иметь своими последователями только небольшое число тех людей, которые действуют в жизни не по требованию житейских интересов, а по правилам отвлеченной теории; они воображали, что умозаключения, а не интересы руководят людьми. От людей, впадавших в такое отвлеченное заблуждение, едва ли можно ожидать ловкого практического образа действий; но если бы они действовали практично, то могли бы даже без союза с сильнейшими партиями сделать очень многое для утверждения своих идей в государственной жизни французской нации.

Положим, что они были совершенно неисправимы в основном своем заблуждении, в том, что считали себя гораздо более многочисленными, нежели как были на самом деле; но все-таки они очень хорошо знали, что слишком значительная часть народонаселения Франции не сочувствует их политическим мнениям. Они должны были употребить все заботы, чтобы увеличить число своих приверженцев. Приобретать прозелитов своим убеждениям вовсе не так легко, как находить союзников своим интересам; но все-таки искусный государственный человек может довольно быстро распространить свои понятия в массе, если будет заботиться об удовлетворении тех материальных потребностей нации, которые не противны его убеждениям. Умеренные республиканцы имели в своих руках правительственную власть и при малейшем искусстве в парламентской тактике могли верно рассчитывать на поддержку большинства в Национальном собрании; это было уже очень важное преимущество. Несколько месяцев им оставалось для того, чтобы укрепиться в занимаемом ими положении, и если бы они сумели воспользоваться этим временем, они могли бы утвердиться довольно прочно. Люди, которые, управляя делами несколько месяцев, не будут в конце их гораздо сильнее, нежели были в начале, неспособны управлять делами.

Не вступая в союз с многочисленнейшими партиями, умеренные республиканцы не должны были надеяться на помощь от людей, предводительствовавших этими партиями; но масса никогда не имеет непоколебимых и ясных политических убеждений; она следует впечатлениям, какие производятся отдельными событиями и отдельными важными мерами. Эту массу могли бы привлечь к себе умеренные республиканцы, если бы позаботились о том, чтобы их управление производило выгодные впечатления на массу и удовлетворяло тем ее желаниям, которые могли они исполнить, не изменяя своему образу мыслей.

Государственный бюджет всегда составляет одну из самых общих и сильных причин довольства или недовольства в массах. Франция жаловалась на обременительность податей; особенно силен был общий ропот против обременительных налогов на соль и на вино и против пошлин, собираемых в городах с съестных припасов (*octroi*). С самого Наполеона непрерывно шел этот



ропот; каждое правительство, заботясь при своем начале о популярности, обещало отменить налоги на соль и вино; ни одно не считало потом нужным сдерживать это обещание, и при каждом перевороте одной из сильнейших причин того глухого недовольства, которое предшествовало волнению, был ропот на эти налоги. Соль и вино участвовали в падении Наполеона, Бурбонов и Орлеанской династии. Уничтожить городские пошлины с провизии было бы не менее полезно: пока на них роптали только горожане, но зато от горожан зависела прочность правительства еще больше, нежели от поселян; притом, если существование этих пошлин не беспокоило поселян, то уничтожение их скоро было бы признано за благодеяние и поселянами, потому что увеличилось бы тогда потребление мяса, хлеба и т. д. в городах, стало бы развиваться бы торговля сельскими продуктами. Налоги на соль и вино доставляли государству около двухсот миллионов франков, и при огромности французского бюджета было бы легко произвести эту экономию; если же не хотели сокращать государственных расходов, то желания масс указывали источник, из которого было бы легко с избытком получать эти двести миллионов. Как обременительны казались налоги на вино и соль, так, напротив, чрезвычайно популярно было бы учреждение подати с капитала или с дохода. Ничем нельзя было бы в делах финансовых так угодить массе народа, как обращением косвенных налогов в прямые. Пошлины с съестных припасов поступали в городские доходы, — эти пошлины также легко было бы заменить прямыми налогами.

Кроме постоянных налогов, чрезвычайный ропот был возбужден нелепым временным увеличением поземельного налога на 1848 год. Этот временный добавочный налог равнялся почти половине основного налога и по смете должен был доставить до двухсот миллионов франков, но на деле доставил гораздо менее, потому что никто не хотел его платить. В первой статье мы уже упоминали, что он был одной из главных причин реакции, обнаружившейся против февральского переворота. Надобно было отменить эту неудачную меру, через несколько дней после февральской революции придуманную одним из умеренных республиканцев, Гарнье-Паже.

Эти облегчения были бы необходимы даже в том случае, если бы умеренные республиканцы не хотели сокращать государственных расходов, — в таком случае надобно было бы, как мы говорили, заменить уничтоженные косвенные налоги прямыми; но народные желания требовали значительного сокращения бюджета, который был доведен до страшных размеров расточительным управлением Луи-Филиппа, при котором в течение 18 лет государственные расходы и вместе с ними подати увеличились вдвое. Из 1 800 миллионов франков надобно было бы довести расходы не более как до 1 200 миллионов. Благоразумные политико-эконо-

Мисты видели в этом государственную необходимость. Умеренные республиканцы признавали справедливость их слов, но ничего важного не сделали для исполнения этой необходимости.

Другим общим желанием дельных людей всех партий было отменение тех излишеств административной централизации, которые обременяли чиновников и самым утомительным образом стесняли деятельность частного человека, равно никому не принося пользы и ни для чего не будучи нужны. Чтобы починить какой-нибудь дрянной мост через ручей в каком-нибудь селе, надобно было испрашивать разрешения от министра. Постройка домов, мощение улиц — для всего этого нужны были позволения и предписания от парижского правительства. Умеренные республиканцы, конечно, понимали неудобства этого порядка, связывавшего всю Францию, сами реакционеры говорили об этом благоразумно. Но и тут ничего не было сделано.

Стеснительные меры, казавшиеся необходимостью после июньских событий, лишали умеренных республиканцев популярности при начале управления Кавеньяка. Ни одна из тех мер, которые мы сейчас перечислили и которые могли бы уменьшить эту непопулярность, не была принята правительством умеренных республиканцев в продолжение трех или четырех месяцев, следовавших за учреждением их правительства. Быть может, достаточным извинением тому могли быть бесчисленные хлопоты и затруднения, в которые вступывалось новое правительство; во всяком случае умеренные республиканцы надеялись через несколько времени продолжать свое управление лучше, нежели начали его. Они надеялись раньше или позже приобрести популярность, которой лишены были летом и осенью 1848 года. Таким образом, по их собственному мнению, весь вопрос состоял в том, чтобы удержать за собою власть до той поры, когда приобретется ими популярность. Выиграть время — для них было бы выиграть дело.

Было несколько средств для них продлить свою власть. Она вручена была Кавеньяку временным образом от Национального собрания, и Национальное собрание сначала не хотело торопить его прекращением этого положения. Зная свою непопулярность в настоящее время, умеренные республиканцы могли бы прибегнуть к средству, которое надолго упрочило бы их тогдашнее положение и даже сделало бы их любимцами народа. Точно так же, как и все французы, они чувствовали желание, чтобы Франция заняла в Западной Европе то первенствующее положение, которым пользовалась при Людовике XIV и при Наполеоне. Они считали унижением для Франции трактаты 1815 года<sup>14</sup>. Соседние страны представляли много удобных случаев для начатия войны на Рейне или в Италии. Италия нуждалась в помощи французов против австрийцев. Прирейнские области Пруссии и все государства западной Германии находились в таком [волне-

нии], что французская армия могла явиться в Германию союзницею одной из партий, готовившихся вооруженною рукою решать спор о сохранении или изменении порядка дел в Германии. [Нет сомнения в том, что и та и другая война пошла бы удачно для Франции. Слава, которую приобрело бы правительство, польстив победами национальной гордости, придала бы ему и прочность и популярность. Но и на войну не решились умеренные республиканцы.]

Но, не принимая никакой решительной меры, Кавеньяк и его друзья давали проходить одному месяцу за другим, пока уже поздно было вознаграждать потерянное время. Чего же ждали они и на что надеялись? Они, кажется, воображали, что все устроится по их желанию одним магическим действием тех громких слов, в неотразимую очаровательность которых они верили; они, кажется, предполагали, что Франция находит их людьми необходимыми, потому что они сохраняют порядок и с тем вместе защищают слово республика, как будто бы слово республика могло восхищать само собою кого-нибудь, кроме немногочисленных и бессильных теоретиков, и как будто реакционеры не считались гораздо лучшими ревнителями порядка, нежели республиканцы.

Наконец был еще один путь для удержания власти: можно было сохранять свое владычество при помощи [практической] силы, отстраняя формальное выражение национальных желаний. Умеренные республиканцы могли говорить, что партии, разделяющие между собою Францию, находятся в такой вражде между собою, из которой снова легко может возникнуть междоусобная война при первом поводе к тому (и это было бы правда); что потому официальные проявления народной жизни, слишком волнующие массу, как, например, государственные выборы и особенно выбор президента республики, должны быть отложены на некоторое время, пока умы успокоятся. Они не сделали этого, не умели во-время предвидеть результата, к которому приведет выражение народных симпатий и антипатий при тогдашней перепутанности понятий.

Умеренные республиканцы не имели столько благоразумия, чтобы отсрочить на год или полтора года выбор президента республики. Но когда обнаружилось, что их кандидат Кавеньяк не имеет вероятности быть избранным, у них оставалось еще средство в значительной степени уменьшить вредные для них последствия этой ошибки. Они уже предвидели, что исполнительная власть перейдет в руки кандидата противных им партий. Но в Национальном собрании, у которого законодательная власть могла оставаться еще очень надолго, большинство принадлежало им. Политический расчет должен был говорить им, что следует как можно более увеличить влияние законодательной власти и как можно более подчинить ей исполнительную. Они не сделали и этого,

пожертвовав и собственными выгодами, и спокойствием государства отвлеченному соображению о том, что исполнительная власть должна быть сильна и независима.

При самых благоприятных обстоятельствах не могла бы удержать за собою власти партия, действовавшая так непредусмотрительно и нерешительно. В несколько месяцев постепенно исчезло то могущество, которое было утверждено за умеренными республиканцами июньской победой. Напрасно было бы винить в том обстоятельства: если много было в них затруднительного и неблагоприятного, то еще больше было выгодного для умеренных республиканцев; сами по себе они были довольно слабы, но у них в руках было все то могущество, которое дается государственной властью; притом же все другие партии, хотя и более многочисленные, были в то время еще слабее умеренных республиканцев; одни из них были поражены в июне, другие в феврале, и ни одна не успела еще оправиться после поражения. Их слабость доходила до безнадежности, и ни одна не отваживалась даже и предъявлять притязаний на то, чтобы заступить место умеренных республиканцев в управлении государством. И когда пришло время борьбы за власть, единственным опасным соперником умеренных республиканцев явился кандидат, тогда еще не имевший никакого самостоятельного политического значения и обязанный своим успехом преимущественно тому, что его поддерживали люди, в сущности столько же враждебные ему, как и умеренным республиканцам, — поддерживали оттого, что считали его еще гораздо более слабым, нежели были сами. При таком бессилии соперников легко было бы надолго удержать за собою власть умеренным республиканцам, если бы они были хотя сколько-нибудь практическими людьми. Но за блеском и шумом своих отвлеченных формул они не видели и не слышали ничего, и каждое событие было для них неожиданностью, которой они беззащитно уступали до тех пор, пока, наконец, были совершенно оттеснены от власти, которую не умели пользоваться.

Таков общий характер событий французской истории с конца июня до конца ноября 1848 года. Краткий обзор этих событий подтвердит старую истину, что непредусмотрительность и нерешительность в государственных делах губительны бывают и для государства и для людей, не умеющих пользоваться властью.

По укрощении восстания Кавеньяк явился в Национальное собрание и объявил, что возвращает ему ту диктаторскую власть, которую получил от него на время битвы. Собрание решило, что опасность еще продолжается, и потому просило Кавеньяка оставаться главою правительства, предоставив ему право по своему усмотрению составить министерство. Выбором министров и других важнейших сановников Кавеньяк и умеренные республиканцы, им руководившие, показали, какими ошибочными соображениями руководились они, когда решили, что диктатура должна быть про-

должна. Большинство министров было взято из умеренных республиканцев, но некоторые важнейшие посты были вверены людям из старинных партий, управлявших Францией с 1815 до 1848 года. Военным министром был сделан Ламорисьер, друг принцев Орлеанского дома. Этот выбор не был, впрочем, опасен для республики: человек честный, Ламорисьер не интриговал против правительства, участником которого был. Гораздо больше опасности представляло назначение генерала Шангарнье комендантом парижской национальной гвардии: Шангарнье всячески хлопотал о восстановлении системы, разрушенной в феврале, и был известен неумеренностью своих реакционных стремлений. Выбор его на столь важное место доказывал, что умеренные республиканцы хотят опираться на реакционеров, что свою диктатуру они хотят направить исключительно против реформаторов, которых одних считают опасными для государственного порядка.

Это прямо обнаруживалось речами и действиями умеренных республиканцев в Национальном собрании, о котором пора нам сказать несколько слов, потому что с июля до половины ноября от его решения зависели все важнейшие дела.

Из девятисот «представителей народа», составлявших Национальное собрание, до 350 человек принадлежали разным реакционным партиям. Они сидели на правой стороне зала. Около 300 человек, сидевшие в центре, несколько ближе к левой, нежели к правой стороне, были умеренные республиканцы. Наконец левую сторону занимали крайние республиканцы и реформаторы, которых находилось в Собрании до 250 человек. При таком распределении [партий очевидно большинство могло состояться] только посредством соединения двух партий из числа трех. Чтобы проводить свои меры, правительство, кроме прямых своих приверженцев, должно было иметь поддержку или от левой стороны, — в таком случае предложения правительства имели бы за себя большинство около 200 голосов, — или поддержку от правой стороны, и в таком случае большинство доходило бы до 400 голосов. Люди, незнакомые с парламентскою тактикою, могут подумать, что при таком распределении голосов для получения поддержки с той или другой стороны центральная партия должна была делать много уступок той партии, голоса которой хочет иметь. Вовсе нет; ни та, ни другая из крайних партий не могла иметь никакой надежды приобрести большинство своими собственными мерами потому, что они встречали бы сопротивление в обеих остальных партиях, стало быть могли иметь большинство только такие меры, которые выходили бы от центральной партии. Она могла по произволу выбрать себе поддержку с той или с другой стороны, и тут должно происходить нечто подобное тому, как бывает при встрече двух продавцов с одним покупщиком: тот и другой продавец наперерыв друг перед другом понижает

цену до последней крайности и рад довольствоваться самой незначительной выгодой.

Малейшее предпочтение, оказываемое центральной партией правой стороне над левою или наоборот, уже приобретает ей голоса этой стороны. Мало того: нужно только, чтобы центральная партия выказывала больше нелюбви, например, к левой стороне, нежели к правой, и правая сторона будет самым усердным образом поддерживать центр, хотя бы центр и с нею обходился очень сурово. Это преобладание центра в решении дел доходит до того, что искусные парламентские предводители с центральной партией из 50 человек могут управлять решениями собрания, состоящего из 500 человек. Итак, умеренные республиканцы, имея целую третью часть голосов и занимая средину между двумя крайними партиями, почти равносильными, должны были решительно господствовать в Национальном собрании. Им довольно было решительно отталкивать от себя одну из этих партий, чтобы иметь горячую поддержку со стороны другой. Какую же из двух партий будут они преследовать? — вот вопрос, представлявшийся им после июньских дней. Левая сторона была лишена сильнейших своих предводителей в парламенте и потеряла свою армию вне парламента. Она не могла теперь быть опасна, как бы громко ни выражала свой гнев. Всякое снисхождение от центра она приняла бы без всяких условий. Но центр не видел настоящего; ему все чудились страшные призраки июньских дней; он воображал, что завтра, послезавтра могут снова стать на баррикаду сорок тысяч пролетариев, забывая, что уже не осталось в Париже пролетариев, способных драться. Умеренные республиканцы воображали, что через неделю после Иены и Ауэрштета пруссаки могли разбить Наполеона, что Наполеон на другой день после Ватерлоо мог дать новую генеральную битву. Они твердили, что ужасаются страшных замыслов левой стороны. Этим нерасчетливым выражением пустого страха они лишили себя всех выгод своего центрального положения, объявив, что им нет выбора между правой и левой стороной. Естественно стала через это в очень выгодное положение правая сторона. Центр объявлял, что она ему необходима, и она могла дорого продавать свой голос. Под влиянием пустого страха центр так сильно погнулся на правую сторону, что потерял всякое равновесие, и можно было увлекать его все дальше и дальше направо. А между тем опасность ему была после июньских дней справа, а не слева. Силами реакционеров была выиграна июньская победа, и победители, конечно, были гораздо требовательнее, нежели побежденные. Никакие уступки со стороны центра не удовлетворяли правую сторону; с каждым днем она делалась все настойчивее, интриговала смелее и вынуждала у центра новые уступки.

Возвращая диктатуру Кавеньяку, центр прямо говорил, что эта диктатура направлена исключительно против левой стороны



и что для поддержания своей власти он будет опираться исключительно на правую сторону. Он давал веру всем слухам о заговорах и замыслах левой стороны и отвергал как клевету все подобные слухи о правой стороне, выставлял опасными все мелкие беспорядки, при которых слышались крики, бывшие лозунгом левой стороны, и оправдывал все подобные случаи, выходившие с правой стороны. Кавеньяк запретил большую часть газет левой стороны, хотя они нападали только на людей и отдельные распоряжения, а не на самую форму правительства тогдашней Франции, и охранял все газеты правой стороны, хотя они открыто стремились к низвержению той формы правительства, представителем и защитником которой был он, — побежденная революция представлялась ему более серьезным врагом, нежели победоносная реакция. Скоро для обуздания левой стороны были предложены центром три закона: по первому каждая политическая газета была обязана внести в казну 24 000 франков (6 000 рублей серебром) как обеспечение в уплате штрафов, которые могут быть на нее наложены; по второму назначались тяжелые наказания за газетные статьи, противные общественному порядку; по третьему клубы подвергались строгому полицейскому надзору.

Этими законами совершенно разрушалось равновесие между правою и левою стороною в средствах политической деятельности. Уже и прежде правой стороне было дано гораздо больше простора, нежели левой; теперь последняя была чрезвычайно стеснена, между тем как до правой стороны новые законы вовсе не касались. Правая сторона была гораздо богаче левой. Газеты правой стороны без хлопот взяли у своих патронов требуемые обеспечения: вместо 24 000 каждая из них, не стесняясь, нашла бы и 240 000 франков. Те проступки, которые совершались газетами правой стороны, оставались без преследования, между тем как газеты противной партии беспрестанно отдавались под суд и осуждались на штрафы. Клубы для левой стороны были тем, чем балы, большие обеды и фойе Оперы и Французского театра для правой: преследуя те собрания, в которых рассуждали о политике приверженцы левой стороны, полиция предоставляла полнейшую свободу всем собраниям правой стороны.

Просим читателя не забывать точки зрения, с которой мы излагаем события. Мы говорим вовсе не о том, хороши или дурны были убеждения той или другой партии. Наша цель вовсе не теоретический разбор различных политических убеждений, существовавших во Франции в 1848 году; до них нам нет никакого дела; до них мало дела даже и французам настоящего времени: в десять лет все эти убеждения совершенно устарели, и нет теперь во Франции человека, который думал бы о вещах точно так, как думал в 1848 году. Но если вопросы и обстоятельства в различных странах и в разное время бывают различны, то правила

благоразумия во всех странах вечно неизменны. Только эта сторона событий, сохраняющая навсегда интерес для жизни, интересует нас здесь. Каковы были мнения умеренных республиканцев, нам нет дела; мы хотим только знать, благоразумно ли поступали они; каковы были цели, которые имели они в виду, — вопрос посторонний для нас; нам хочется только показать, что они не умели выбирать средств для достижения целей, и из их ошибок вывести некоторые правила [политического благоразумия, — правила] вроде знаменитого латинского стиха, применяющегося ко всему, что делается на белом свете:

*Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem, —*

«Что бы ты ни делал, поступай благоразумно и рассчитывай последствия своих поступков». Быть может, образ мыслей умеренных республиканцев был вреден для государства; лично мы даже уверены в этом. Быть может, для Франции было счастьем, что вместо Кавеньяка правителем Франции сделался Луи-Наполеон, — многие говорят это. Мы вовсе не сравниваем этих двух людей по образу мыслей; мы рассматриваем только, до какой степени надобно приписать Кавеньяку и умеренным республиканцам торжество Луи-Наполеона, и находим, что они постоянно действовали в пользу ему и во вред себе; а так как они хотели вовсе не того, то мы и находим, что они держали себя нерасчетливо; для того чтобы обнаружить эту нерасчетливость, мы должны показывать, в чем должны были бы состоять для них внушения благоразумия. Быть может, правая сторона по образу мыслей была совершенно справедлива; но ее усиление вело ко вреду центра, потому и не расчетливо поступал центр, содействуя ее возвышению. Он должен был или сам принять мнения правой стороны, или бороться с нею, — он не сделал ни того, ни другого. Правая сторона усиливалась его помощью, а между тем продолжала ненавидеть его, и с каждым днем он должен был уступать шаг за шагом власть врагам, которым сам помогал.

Скоро правая сторона не удовлетворялась тем, что некоторые из важнейших мест в правительстве отданы ей; она стала требовать, чтобы из министерства были удалены люди, ей не нравившиеся. Прежде других был удален в угодность ей министр народного просвещения Карно, которого реакционеры не любили отчасти за его имя, отчасти за то, что он издавна был дружен с людьми, которые были подозрительны реакционерам. Не прошло двух недель после июньской победы, как правая сторона уже потребовала его удаления, и место его отдано человеку правой стороны, известному историку Волабеллю. Через три месяца правая сторона снова потребовала отдачи своим предводителям еще двух мест в министерстве. Сенар, министр внутренних дел, бывший президентом Национального собрания, в июне вместе с Кавеньяком принимал самые крутые меры для подавления ин-

сургентов. Тогда реакционеры превозносили его; но в начале октября уже не хотели терпеть в министерстве человека, которого еще недавно называли одним из спасителей общества. Сенар должен был уступить место Дюфору, и его отвержение правой стороной служило очень ясным предсказанием, что скоро будет отвергнут ею и главный из июньских «спасителей общества», Кавеньяк. Дюфор подобно Ламорисьеру не интриговал по крайней мере против порядка дел, существовавшего тогда во Франции. Но другой член правой стороны, вместе с ним вступивший в министерство Кавеньяка, Вивьен, явно стремился к низвержению правительства, в котором стал участвовать.

Эти смены министров правая сторона уже не выпрашивала, как прежде: в октябре она стала так смела, что уже стала отнимать свои голоса у Кавеньяка, когда хотела принудить его к новой уступке. Она уже открыто говорила, что поддержка ее необходима ему, что она чуть ли не из милости держит его президентом исполнительной власти. При таких словах было очевидно, откуда грозит опасность центру; но он оставался непреклонен в своем ужасе перед призраком новых баррикад и делал правой стороне одну уступку за другой.

Вместе с прениями об административных вопросах и текущих происшествиях шли в Национальном собрании прения о конституции. Из всех вопросов о государственном устройстве ближе всего касался судьбы правительства вопрос об отношении исполнительной власти к законодательной. В теории существовало об этом два различные мнения: одни приписывали частые перевороты, раздиравшие Францию в последние 60 лет, тому, что у правительство было будто бы слишком мало силы для сопротивления инсургентам, низвергавшим их одно за другим. Другие указывали на то, что постоянно исполнительная власть во Франции подчиняла себе законодательную и, пренебрегая законным контролем ее, впадала в ошибки, которые и бывали прямой причиной общего неудовольствия, приводившего к насильственным переворотам; из этого они выводили, что для прочности исполнительной власти и сохранения государственного спокойствия законодательную власть во Франции надобно усилить на счет исполнительной, так чтобы контроль первой над последней был действителен. Которое из двух мнений было справедливо в теоретическом отношении, мы не станем рассматривать. Но очевидно было, к которому из этих двух мнений должны были присоединиться умеренные республиканцы. В Национальном собрании они господствовали; каковы будут стремления исполнительной власти, когда она сделается независимой от законодательной, они не знали наверное, но могли предполагать, что она не будет чужда тем преданиям, какие остались от всех французских правительств со времен Наполеона. Эти предания были вовсе не в пользу умеренных республиканцев. Благоразумие ясно указывало им путь.

Пусть их теоретические убеждения были бы в пользу независимости исполнительной власти от законодательной; но они должны были понять, что не время им проводить в дело чистую теорию и надобно принять в соображение настоящие привычки, отлагая полное осуществление теории до той поры, когда изменившиеся понятия самой исполнительной власти о своих обязанностях будут служить достаточным ручательством за то, что она не употребит во зло своей независимости. Это было ясно. Но мы должны повторить факт, на который уже много раз приходилось нам указывать. Умеренные республиканцы были теоретики, не понимавшие условий практической жизни. Они во время прений о конституции постоянно поддерживали всевозможную независимость исполнительной власти от законодательной и возвышали ее силы. Кавеньяк и все министры говорили в этом смысле. Но вот дошла очередь до того параграфа, который определял способ избрания президента республики. Тут было два противные мнения, как и обо всем в государственных делах, у правой и левой стороны. Правая сторона хотела, чтобы президент исполнительной власти был избираем непосредственно нацией, — этим возвышалось величие исполнительной власти; левая сторона хотела, чтобы он был избираем Законодательным собранием, — через это, конечно, он становился ниже его. Тут Кавеньяк и министры заметили наконец, что дело идет о сохранении или низвержении тогдашнего порядка вещей во Франции. Они заметили, что при общем неудовольствии нации на них, умеренных республиканцев, при расстройстве партии реформаторов легко могут восторжествовать при выборах президента реакционеры, если выбор будет предоставлен нации. Кавеньяк и министры подали голос вместе с левой стороной в пользу предложения, чтобы президент республики был избираем Национальным собранием. Но было уже слишком поздно. Умеренные республиканцы слишком уже приучены были своими предводителями видеть на левой стороне смертельных врагов всякого общественного порядка и вслед за реакционными журналами кричать: *Les barbares sont à nos portes!* Они до того приучены были повертываться направо, что когда теперь их предводители вздумали сделать маневр налево, то были покинуты всем своим войском. Большинством четырехсот голосов было решено, что президент республики будет выбран не Законодательным собранием, а голосами всей нации.

Этим почти решена была судьба умеренных республиканцев, подавших голос против самих себя по неумению соображать результаты своих действий. Трудно было им надеяться на успех своего кандидата при выборе президента голосами всей нации, потому что ничего не сделали они для приобретения популярности, а между тем должны были перед общественным мнением нести ответственность за все те материальные невзгоды, которыми сопровождался февральский переворот.

Нельзя отрицать того, что Кавеньяк и его политические друзья искренно желали отвратить все злоупотребления, облегчить все тяжести, на которые жаловалась нация. Но еще неоспоримее то, что ничего не было сделано ими для исполнения этих желаний. Мы уже говорили о тех преобразованиях, какие надобно было бы сделать в бюджете, чтобы удовлетворить жалобам, которые сильно содействовали февральскому перевороту, и ожиданиям, которые были возбуждены этим переворотом. Реформы, нами указанные, были согласны с убеждениями умеренных республиканцев. Но эта партия была по рукам и по ногам связана реакционерами, провозглашавшими непогрешительность бюджета прежних лет и вопиявшими против всякой попытки сократить государственные расходы, которыми они пользовались, или изменить распределение налогов, благоприятное для них. Воображая себя в опасности от людей, убитых, сосланных или изгнанных в июне, умеренные республиканцы не могли энергически приняться и за вопрос о децентрализации, потому что всевозможное натягивание административных пружин казалось им нужно для охранения общественного порядка от опасностей слева, которых уже не было. Охотно приняли бы они какие-нибудь прямые меры для улучшения положения низших классов, но все эти меры уже предлагались реформаторами, каждая мысль которых представлялась умеренным республиканцам чем-то разрушительным для общества; а если и приходила умеренным республиканцам в голову какая-нибудь маленькая идейка о каком-нибудь маленьком законе, который бы несколько полезен был народу, реакционеры поднимали вопль, доказывая, что этот закон был бы подражанием проектам реформаторов, — и действительно нетрудно было доказать это, потому что на самом деле мысли умеренных республиканцев об улучшении состояния простолюдинов были бледными отражениями понятий, высказанных реформаторами, — и бедные умеренные республиканцы с испугом отступались от того из своих сотоварищей, который был обвиняем реакционерами в повторстве реформаторским теориям. Чтобы объяснить нагляднее эту [жалкую] нерешительность, мы укажем на единственную прямую меру, принятую Национальным собранием для улучшения участи работников. Собрание назначило 3 000 000 франков на пособие учреждению ассоциаций между фабричными работниками, то есть для образования чего-то похожего на наши промысловые и ремесленные артели. Повидимому, ничто не могло быть невиннее такого назначения. Но надобно только прочесть доклады и речи, с которыми даны были эти деньги, чтобы понять, с какими чувствами простолюдины должны были встретить этот заем. Вот доклад, представленный Собранию Корбоном от имени комитета, рассматривавшего предложение об этом пособии и рекомендовавшего Собранию принять его.

«Наверное, в нашем Собрании нет ни одного члена, который не желал бы всем сердцем постепенного возвышения сословий, до сих пор сохранившихся в низком положении. С своей стороны мы искренно убеждены, что настанет время, когда большая часть работников перейдет из состояния наемщиков в состояние сотоварищей, как прежде перешли они из рабства в крепостное состояние, из крепостного состояния в вольные наемщики. Но эта перемена будет делом времени и личных усилий работников. Конечно, государство должно помогать ей; но каково бы ни было его участие в медленном осуществлении этого прогресса, участие государства будет в этом деле гораздо меньше, нежели участие, какое в нем должны иметь сами работники. Работник должен быть сыном своего труда, и если он некогда тем или другим способом получит в собственное распоряжение средства для производства своего промысла, этими средствами он должен быть прежде всего обязан собственным усилиям.

Мы знаем, что такой приговор мало удовлетворит ту часть рабочего класса, которую, напротив, уверили, что государство сделает все и что работникам надобно лишь пользоваться его содействием. Недостойны помощи те, которые не имеют мужества помочь сами своим делам, не имеют истинного понятия ни о свободе, ни о равенстве, ни о братстве, те, которые не хотят пытаться поднять себя постоянными и терпеливыми усилиями, а ждут, пока их поднимут другие.

Мы хотим, чтобы государство помогало работникам только пропорционально тем усилиям, которые будут делать они сами для приобретения в свое распоряжение средств к независимому труду.

Мы не исполнили бы всей своей обязанности, если бы не прибавили, что ассоциации, пользующиеся нашей помощью, должны необходимо подчиняться условиям соперничества, без которого нет самой свободы труда. Мы говорим это именно потому, что работников уверили, будто все их бедствия — результаты соперничества. До известной степени это справедливо; но напрасно от злоупотреблений соперничества заключать, что надобно уничтожить самое соперничество.

Для работников полезно будет услышать, что уничтожить соперничество — просто невозможность.

В самом деле, как уничтожить его? Силою власти? Но власть, которая возьмется за это, будет немедленно низвергнута. Посредством ассоциации, которая послужила бы зерном для всеобщей ассоциации? Но — (Корбон доказывает, что это также невозможно).

К счастью, настало время, когда эти важные вопросы будут обсуждены с национальной трибуны, которая своим авторитетом предостережет работников против идей, помрачивших, к сожалению, слишком многие умы.

Наши прения покажут, сколько правды в тех учениях, которые, прикрываясь фермами строгой нравственности, прибегая к языку любви и преданности общему благу, в сущности вызывают только к эгоизму и возбуждают против общества ненависть тем более глубокую, что ими раздражаются все желания у людей, не имеющих и необходимого».

С первого взгляда видно, что этот доклад составлен не столько под влиянием мысли провести меру, полезную для работников, сколько под влиянием заботы не показаться союзниками реформаторов и желания внушить работникам, что их надежды на содействие государства в изменении их быта напрасны. Без всякой надобности Корбон толкует о неизбежности соперничества, о невозможности всеобщей ассоциации работников, которой нет и в помине, твердит, что государство ничего особенного не может сделать для работников, и т. д. Мог ли такой доклад произвести на работников хорошее впечатление? Нет, он представлялся для них



выражением антипатии к ним. И как легко приходили им мысли, которыми опровергались рассуждения доклада. Например, при словах «недостойны помощи те, которые не имеют мужества помочь сами своим делам» (*Ceux là ne sont pas dignes d'être aidés qui n'ont pas le courage de s'aider*), — при этих словах, составляющих основную мысль доклада, кому из нуждавшихся в содействии государства не приходило в голову такое возражение: «Но зачем же и существует государство, как не для охранения человека от бедствий, которых не может отвратить его собственное мужество и сила? Если так, полиция должна бы защищать от воров только того, который сам и без полиции в силах прогнать или убить вора; если же разбойники нападут на труса или больного, полиция не должна защищать от них этого человека, потому что «он не имеет мужества помочь себе». Да разве помощь нужна сильным и мужественным, а не слабым и забитым обстоятельствами?»

Но доклад Корбона был еще очень любезен сравнительно с теми речами, какие говорились по этому делу реакционерами. Корбон думал по крайней мере, что в оказываемом пособии есть что-то хоть отчасти справедливое и хотя несколько полезное. Предводитель реакционеров, знаменитый говорун Тьер, своим пискливым голосом кричал, что все это вздор, что деньги эти бросаются в печь, но что он с удовольствием соглашается бросить их в печь, потому что безуспешностью этой нелепой попытки помогать учреждению ассоциаций докажется нелепость самой мысли об ассоциациях, мысли сумасбродной и безнравственной. «Не три миллиона, а двадцать миллионов следовало бы вам требовать от нас, — говорил он Корбону, — мы дали бы вам их. Да, двадцати миллионов не пожалели бы мы на поразительный опыт, который должен исцелить вас всех от этого колоссального сумасбродства».

Выдачу этих денег считали милостынею и прямо говорили, что бросают их совершенно бесполезно; из этого следовало бы заключать по крайней мере, что пособие оказывается безвозмездно. Вовсе нет: три миллиона назначались вовсе не в безвозмездное пособие, а просто в заем ассоциациям, которые должны были постепенно возвращать в казну сполна всю полученную ими ссуду. Прилично ли, возможно ли кричать, что даришь деньги, когда даешь их взаймы? Прилично ли тут хвастаться своим великодушием? Прилично ли кричать о пропаже денег? Заем, выдаваемый с такими речами, оскорбит каждого, в ком осталось хоть несколько уважения к себе.

Наконец, не говоря уже обо всем этом, какое впечатление должна была производить самая величина ссуды? 700 000 рублей серебром на целое государство в пособие сословию, составляющему гораздо более семи миллионов человек. Скупость доходила тут до иронии. Какое впечатление должны были производить эти жалкие три миллиона франков по сравнению с десятками миллионов, ежегодно выдававшимися от казны на покровитель-

ство биржевым спекуляциям? Но банкиры и биржевые спекулянты как будто от природы получили привилегию на поощрение от французского правительства. Сумм, которые растрачиваются казной для них, не следует сравнивать с деньгами, назначаемыми в пособие черному народу; можно сравнивать по крайней мере величину сумм, назначаемых на разные способы пособия черному народу. В то самое время, как определялось три миллиона для ассоциаций во Франции, ассигновалось 50 миллионов на переселение пролетариев в Алжирию. Речи и обстоятельства, которыми сопровождался закон об этой колонизации, делали это переселение совершенно подобным ссылке, предпринимаемой для удаления из Франции опасных людей, из которых большинству предстоит на новом месте жительства погибнуть от лишений всякого рода и кабилских пуль. В этом смысле и было принято переселение простолюдины; они сочли его не результатом заботливости о них, а следствием желания удалить из Франции предприимчивых и потому опасных простолюдинов. Какое же впечатление производилось на работников сравнением трех миллионов, с упреками и дурными предсказаниями выдаваемых на исполнение задушевного убеждения простолюдинов, и 50 миллионов, назначаемых на ссылку, прикрытую именем колонизации?

Ссуда на учреждение ассоциаций была единственной сколько-нибудь важной мерой Кавеньяковского правительства для приобретения популярности. Очень мало было принято даже и незначительных мер с этой целью, да и те все были обсуждаемы и исполняемы в таком же духе, как выдача ссуды ассоциациям. Очень натурально, что чувство, с которым народ смотрел на Кавеньяка и его партию после июньских дней, нисколько не улучшилось в течение следовавших за тем месяцев. Умеренные республиканцы не сделали совершенно ничего для привлечения к себе народа, и народ продолжал смотреть на них как на людей, от которых нечего ему ждать.

Политика умеренных республиканцев была очень неудачна в делах внутреннего управления. Этот недостаток мог бы до некоторой степени замениться блеском и популярностью внешней политики. Случаев к тому представлялось много, и некоторые из них были до того благоприятны, что самый нерасчетливый человек легко понимал их драгоценность.

Мы укажем только два важнейшие.

Во Франкфурте-на-Майне собрался немецкий парламент с целью дать немецкому народу государственное единство. По правилу, нами принятому, мы вовсе не будем рассматривать, хороша или дурна была эта цель, точно так, как мы вовсе не говорили и о том, хороши или дурны были стремления Кавеньяка и его политических друзей. Мы обращаем внимание только на то отношение, какое существовало между потребностями положения, в каком находилось правительство Кавеньяка, и делами Франкфуртского

парламента, и хотим показать, что Кавеньяк и его партия не умели действовать сообразно с своими выгодами. Франкфуртский парламент искал дружбы Франции; он был проникнут теми же понятиями, как и правительство Кавеньяка, — действовал в духе того демократизма, который против так называемой демагогии враждует гораздо сильнее, нежели против реакции. Подобно правительству умеренных республиканцев во Франции, Франкфуртский парламент вышел из революционного движения; подобно умеренным республиканцам Франции, он утвердил свое значение кровопролитным подавлением революционного движения, из которого возник сам; подобно умеренным республиканцам, он был уже в большой опасности от усиливавшейся реакции (от которой скоро и погиб, подобно им); и подобно им совершенно не понимал и не замечал этой действительной опасности, воображая, что опасность грозит ему совсем не с той стороны. Словом сказать, по своим идеям Франкфуртский парламент занимал среди немецких партий точно такое же положение, как правительство Кавеньяка среди французских партий. Союз между правительствами столь однородными казался бы неизбежным. Франкфуртский парламент, не находивший поддержки ни в одном из иностранных правительств, чрезвычайно дорожил надеждой на дружбу с Францией и готов был чрезвычайно дорого заплатить за эту дружбу. Тайные инструкции, данные на этот случай его агенту в Париже, не обнародованы; но хорошо известны мнения людей, господствовавших во Франкфурте, и не трудно отгадать, на какие важные уступки согласились бы они. [В них была одинаково сильна нелюбовь к Пруссии и идея государства, составленного исключительно из немецких элементов. В Рейнской провинции Пруссия владеет несколькими округами, жители которых французы. При ловком ведении дел не было невозможно французскому правительству надеяться на расширение границ Франции с этой стороны. Ничего не стоило Франции оказать стремлению немцев к политическому единству такие услуги, за которые были бы с радостью даны немцами всевозможные вознаграждения. Дипломатическое содействие, несколько сильных мемуаров, несколько твердых инструкций французским посланникам при европейских дворах — вот все, чего требовалось на первый раз.] Но вместо того, чтобы вступить в выгодный союз, французское правительство даже не приняло посланника от Франкфуртского парламента.

Еще яснее немецкого вопроса был итальянский, еще очевиднее была выгода французских правителей принять в нем участие. Не говорим уже о том, что итальянцы проникнуты были чрезвычайным сочувствием к Франции и выступали с теми же лозунгами, которые находились на знамени тогдашнего парижского правительства, — не говорим об этих соображениях, основанных на фактах настоящего; даже дипломатическая рутина требовала, чтобы Кавеньяк принял сторону итальянцев против австрийцев.

Австрия была всегда соперницей Франции, издавна дипломатические и военные торжества приобретались Францией преимущественно в борьбе против этой державы. Но и тут правительство Кавеньяка не сделало ровно ничего. Не была подана итальянцам материальная помощь, когда они нуждались в ней; а когда после поражения итальянских армий Франция решилась, наконец, принять посредничество с целью противодействовать слишком сильному перевесу Австрии, дело было ведено чрезвычайно слабо и вяло и кончилось совершенно в пользу Австрии и в стыд Франции.

Таков общий характер управления Кавеньяка. Внутренние вопросы настоятельным образом требовали разрешения, — ничего не было сделано для этого, и путь, избранный правительством Кавеньяка во внутренней политике, прямо противоположен был и смыслу обстоятельств, и выгодам правительства. Слава внешнего могущества, блеск дипломатических и военных торжеств мог бы доставить правительству Кавеньяка ту популярность, которой не могла доставить внутренняя политика, — внешняя война отвлекла бы внимание от внутренних вопросов, соединила бы всю нацию под знаменами правительства, но и этого не поняли и этим не воспользовались умеренные республиканцы.

Таким образом, когда настало время выборов президента республики, умеренные республиканцы не могли похвалиться ничем, кроме июньского кровопролития; ничего не сделали они для смягчения ненависти, возбужденной этими жестокостями в одном из двух лагерей, и своим излишним криком об ужасных намерениях этого лагеря ободрили притязания предводителей противной партии. Ничего не сделали они для нации, оттолкнули от себя одни партии и сделали надменными другие партии.

Тем не менее слабость всех других партий была так велика, что ни одна из них не могла выставить своего кандидата с надеждой на успех. На это рассчитывали умеренные республиканцы и ожидали, что все благоразумные люди соединятся около их кандидата за недостатком другого.

Действительно, так поступали многие из людей, желавших поддержать новые формы государственного устройства. За Ледрю-Роллена подало голос только меньшинство из тех, которые принадлежали к партиям, выставившим его своим кандидатом; большинство их политических друзей, видя, что Ледрю-Роллен ни в каком случае не будет избран, подали голос за Кавеньяка, для общего интереса пожертвовав своими неудовольствиями против него и умеренных республиканцев.

Многие из людей, которых преследовало правительство Кавеньяка, поддерживали его из преданности интересам Франции. Не так поступили партии, которым оно делало всевозможные уступки: гордость их возросла до того, что они уже не хотели никаких сделок с республиканцами; они дали ненависти до того

овладеть собой, что выставили вперед человека, по своим стремлениям гораздо более враждебного им, нежели Кавеньяк, лишь бы только низвергнуть Кавеньяка.

Здесь не место излагать историю Луи-Наполеона Бонапарте до декабря 1848 года. Мы должны только показать его отношения к партиям при тех выборах, которыми решалась участь Франции.

Партия бонапартистов никогда не исчезала во Франции, но всегда была чрезвычайно слаба, так что вовсе не могла считаться серьезной политической партией; по своему бессилию она не могла быть никому опасна. Она пользовалась совершенным простором для действий благодаря всеобщему невниманию к ней.

Первое, что придало бонапартизму некоторую важность, были неблагоприятные поступки реакционеров и умеренных республиканцев по вопросу о главе бонапартистов Луи-Наполеоне. В феврале он просил у нового правительства разрешения возвратиться во Францию, из которой был изгнан постановлениями прежних правительств. Он уже тогда считал себя претендентом на французский престол; но его притязания были тогда еще бессильны; люди проникательные говорили, что не нужно придавать ему важность, показывая вид, что его опасаются, и предлагали, чтобы ему было позволено возвратиться. Реакционеры и умеренные республиканцы отвергли этот совет. Следствием этого было повторение просьб и жалоб с его стороны. Благодаря отказу ему удалось возбудить к себе внимание и сожаление во многих. Если с первого раза отказали ему, следовало уже твердо держаться этого решения; но через несколько времени ему позволили возвратиться. Уже успев наделать шума своими просьбами и жалобами, он теперь отважился выставить себя кандидатом в президенты.

Реакционеры не имели кандидата, которого могли бы противопоставить Кавеньяку. Они распались на несколько партий, из которых ни одна не хотела уступить другой перевеса. Притом же все предводители этих партий были на дурном замечании у народа. Надобно было выбрать нейтральное имя, на котором могли бы соединиться ультрамонтанцы, легитимисты и орлеанисты, — духовенство, аристократы и капиталисты; надобно было отыскать такого кандидата, против которого нация еще не имела бы предубеждения и кандидатство которого обозначало бы только протест против партии, управлявшей Францией с февраля, и не означало бы ничего другого, потому что в этом одном были согласны реакционеры. Этот кандидат реакционеров, которого надобно было найти вне реакционных партий, должен был не представляться для них опасным по своей силе, должен был получить власть из их рук, держаться только их поддержкой и без них не значить ничего. Именно таким человеком представлялся им Луи-Наполеон. Ничтожность его собственной партии была причиной, что на нем остановился выбор реакционеров, ко-

торые думали, что как теперь без них он ничего не значит, так и потом ничего не будет значить без них и что они будут управлять его именем.

Таким образом все реакционеры единодушно стали за Луи-Наполеона. Этим приобреталась ему почти половина голосов на выборах.

Тогда масса реформативных партий, увидев, что остается избирать только между Луи-Наполеоном и Кавеньяком, увлеклась ненавистью к умеренным республиканцам за июньские события и решила предпочесть Луи-Наполеона. Умеренные республиканцы доказали, что от них нельзя народу ждать ничего хорошего; Луи-Наполеон будет во всяком случае не хуже, а быть может, окажется и лучше их. Правда, его поддерживают реакционеры, но он сам не принадлежит к ним. Во всяком случае сам по себе он не имеет никакой силы, и его выбор имеет только значение переходного факта, временного перемирия между партиями, из которых еще ни одна не довольно сильна, чтобы одной ей победить умеренных республиканцев и все другие партии. Его власть будет только до того времени, как мы оправимся от июньского поражения, пусть же до той поры, когда мы в состоянии будем надеяться на победу, продолжается перемирие, и пусть будет власть в нейтральных руках человека, который не может помешать нам, потому что сам по себе бессилён.

Точно так же думали и реакционеры. Правление Луи-Наполеона каждая из их партий принимала только как переходную ступень к собственному торжеству, как перемирие с другими партиями до того времени, как она сама станет сильнее всех других.

Для всех подававших за него голос, он казался безопасным орудием для низвержения умеренных республиканцев, казался нейтральным агентом, которому поручается временное ведение дел до той поры, как доверитель сам почтет удобным взять дела из его рук в свои.

Таким образом при выборах президента партии стали в следующее положение относительно трех кандидатов.

За Ледрю-Роллена была только небольшая часть людей левой стороны, — именно только те, которые компрометировали бы свою политическую репутацию, если бы подали голос не за официального кандидата своей партии. Масса этой партии подала голос за Луи-Наполеона.

За Кавеньяка были умеренные республиканцы и сверх того люди, которые никогда не желают никаких перемен, — число последних было в то время разгара политических страстей гораздо менее обыкновенной пропорции.

За Луи-Наполеона были все реакционеры и масса приверженцев левой партии, предводители которой по своему положению



перед общественным мнением не могли покинуть Ледрю-Роллена. Все приверженцы реформаторов, не имевшие своего кандидата, подали голос за Луи-Наполеона.

При этом расположении партий все более или менее предвидели результаты выборов; все знали, что Кавеньяк не получит большинства, все были уверены, что коалиция, избравшая своим орудием Луи-Наполеона, составит большинство голосов.

Тут умеренные республиканцы, покидая власть, в первый раз приняли образ действий, соответствовавший обстоятельствам. Дела дошли до такого состояния, при котором все меры воспрепятствовать выбору Луи-Наполеона остались бы напрасными, и правительство Кавеньяка не позволило себе ни одной интриги, ни одного незаконного действия во вред своему противнику. Честность Кавеньяка и его друзей в этом отношении заслужила им всеобщее уважение, и действительно она была беспримерна в истории Франции. С незапамятных времен в первый раз французы видели правительство, которое закон ставит выше собственных интересов и не хочет злоупотреблять своей силой для продолжения своей власти. Но и тут мы не знаем, понимали ли умеренные республиканцы, что все попытки сопротивления с их стороны были напрасны; действовали ли они как государственные люди, понимающие состояние дел и сознательно отказывающиеся от невозможного, — или они еще полагали, что могли бы удержаться, если бы прибегли к интригам, стеснительным мерам и открытой силе. По соображению всего, что говорили мы о прежней их неспособности понимать обстоятельства, надобно склоняться к последнему предположению.

Как бы то ни было, правительство Кавеньяка оставило полную свободу выборам, неблагоприятный исход которых предвидело, и с благоговением уступило результату выборов.

В выборах приняли участие 7 324 672 избирателя; из них подали голос:

За Ледрю-Роллена . . . . .	407 039
» Кавеньяка . . . . .	1 448 107
» Луи-Наполеона . . . . .	5 434 226

20-го декабря результат выборов был проверен Национальным собранием. Кавеньяк взошел на трибуну, в немногих, но прекрасных словах выразил свою покорность воле нации и сложил с себя власть.

С этого дня умеренные республиканцы потеряли всякое влияние на ход событий, их политическая роль во Франции окончилась.

Полугодовичное их управление Францией даст много уроков людям, думающим о ходе исторических событий. Из этих уроков важнейший тот, на который преимущественно и указывают факты, нами изложенные.

Нет ничего гибельнее для людей и в частной и государственной жизни, как действовать нерешительно, отталкивая от себя друзей и робея перед врагами. Честный человек, стремящийся сделать что-нибудь полезное, должен быть уверен в том, что ни от кого, кроме людей, действительно сочувствующих его намерениям, не может он ждать опоры, что недоверие к ним и доверие к людям, желающим совершенно противоположного, не приведет его ни к чему хорошему. Напрасно стал бы он думать, что какими бы то ни было потворствами может он смягчить партию, которая не одобряет его коренных желаний, — вражда этой партии к нему останется непримирима, и для того, чтобы удержать за собой свои мнимые выгоды, она всегда готова будет погубить человека, намерения которого ей противны [с ними вместе готова погубить государство], — конечно, погибнет потом и сама, как погибли и французские реакционеры при Луи-Наполеоне, но, ослепленная ненавистью, она не разбирает средств и не предвидит будущего.

Государственный человек не должен вверять ведения дел, не должен оставлять влияния на ход событий врагам своих намерений. Только при этом условии дела пойдут так, как он того хочет.

## О НОВЫХ УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО БЫТА <sup>1</sup>

[Статья первая]

Возлюбил еси правду и вознена-  
видел еси беззаконие: сего ради по-  
маза тя бог твой (Псал. XLV, стих. 8).

Высочайшими рескриптами, данными 20 ноября, 5 и 24 декабря 1857 года, благополучно царствующий государь император начал дело, с которым по своему величию и благотворности может быть сравнена только реформа, совершенная Петром Великим. Царствования Петра III и Екатерины II, Александра I и Николая I были ознаменованы многими благотворительными для государства мерами чрезвычайной важности: жалованная грамота дворянству, устройство областного управления, организация центрального правительства учреждением министерств и государственного совета, издание Свода законов, — каждый из этих правительственных актов был великим шагом вперед и принес неисчислимыя блага государству. Но все они далеко не имеют такого всемирно-исторического значения, какое принадлежит делу уничтожения крепостного состояния в России, начатому рескриптами, названными выше. То были меры, без сомнения, могущественным образом улучшавшие нашу государственную жизнь, но все-таки каждая из них касалась только отдельной ветви ее: корень, из которого возникали почти все наши бедствия и недостатки, оставался нетронутым. [Первая величайшая несправедливость продолжала существовать, и влиянием ее искажались все другие проявления нашей жизни, отравлялись все части нашего государственного организма.] Крепостным правом парализовались все заботы правительства, все усилия частных людей на благо России. Ни правильный ход администрации, ни верное отправление правосудия не были возможны при таком порядке вещей, при котором положение большей части отношений по имуществу не было сообразно с принципами разумности и права, при котором сословие, имеющее своими сочленами почти всех лиц,

руководящих исполнением законов, находилось в условиях быта, решительнейшим образом нарушавших всякую идею справедливости, при котором другое сословие, составляющее почти половину населения в Европейской России, стояло (по выражению, не нам принадлежащему) вне закона<sup>2</sup>. Не могли приносить при таком положении дел никакие правительственные меры надлежащих плодов, не могла даже действовать сколько-нибудь правильным образом государственная организация. Могло ли, например, учредиться правосудие в таком обществе, в котором все значительнейшие и влиятельнейшие жители каждой области, с одной стороны, определяли важнейшую часть своего гражданского быта, свои доходы и свою власть над сотнями и тысячами людей, руководясь единственно произволом, с другой стороны — сознавали, что строгое исполнение закона областной администрацией и внимание судебных властей к жалобам на нарушение закона было бы и стеснительно, и убыточно, и даже, по господствовавшему у нас ложному понятию, обидно почти для каждого из них, влиятельных жителей области. Они должны были на все, что делалось вокруг них, смотреть сквозь пальцы, потому что их собственные действия нуждались в подобной же противозаконной снисходительности. Строгая честность администрации, неукоснительное правосудие во всех странах поддерживается сочувствием и содействием людей, владеющих значительной недвижимой собственностью, потому что они более всех других заинтересованы строгим охранением порядка. У нас было напротив. Ненормальное положение землевладельца относительно людей, населяющих его землю, нуждалось в том, чтобы и все другие отрасли областной жизни находились в таком же ненормальном, беспорядочном состоянии. Возьмем одну только отрасль этих последствий крепостного права — состояние судебной областной власти и земской полиции. Все, в том числе и дворяне, жалуются на неправильность хода действий по этим частям общественной жизни. Повидимому, совершенно от дворян зависело бы отстранить эти неправильности, потому что большинство членов (и в том числе председатели) в уездных и губернских судебных местах и исправники, руководящие уездной полицией, избираются помещиками. Но эти чиновники и судьи избираются с тем, конечно, молчаливым условием, чтобы не вмешивались в сельский быт помещиков. Таким образом по необходимости создается положение неразумное: если бы избранный чиновник вздумал строго исполнять обязанности, возлагаемые на него законом и чувством правды, он восстановил бы против себя людей, от которых зависит его выбор и в зависимости от которых находится он постоянно во все отправление своей должности; стало быть, идут на эти места и удерживаются на них только неисполнением и часто прямым нарушением законных обязанностей. Таково положение избранного. Избиратели же, сами выводя его

на путь, идущий мимо закона и часто в противность закону, не могут подвергать его серьезному отчету за то, что он действует самопроизвольно: только этой произвольностью, по которой он постоянно нарушает закон, когда то считает удобным для себя, и сохраняется неприкосновенность их собственного сельского быта. Все неудовольствия с их стороны на чиновника — мимолетные слова, лишенные возможности примениться к делу; правда, каждому горько бывает в ту минуту, как чиновник по своему произволу берет с него взятку или оказывает ему противозаконное притеснение; но если отнять у чиновника произвол, по гораздо многочисленнейшим и по гораздо важнейшим делам помещик потерпел бы невыгоду; случайное обстоятельство или временное раздражение заставляют иногда землевладельца скорбеть о нарушении закона, но постоянный интерес его состоит в том, чтобы закон не был исполняем. Потворство избранному для того, чтобы самому пользоваться потворством от него, — вот глубочайшее и инстинктивное стремление огромного большинства избирателей. Это стремление не зависит от сознательного или бессознательного желания; оно влагается в натуру ненормальностью отношений, доселе существовавших в сельском быте; оно управляет действиями человека независимо от слов, независимо от его образа мыслей. Тот, чьи домашние дела не могут выдерживать контроля, инстинктивно соглашается на всякие уступки, лишь бы избежать контроля. Независимым и твердым образом может действовать в гражданском быту один лишь тот, кто чувствует себя совершенно чистым и по закону, и по совести в своем быту.

При существовании крепостного права помещик находился в таком отношении к правосудию и администрации, которое подобно отношению к ним человека, имеющего два процесса: один на очень значительную сумму, по которому закон против него, другой на маловажную сумму, по которому закон за него; какого суда, какой администрации будет желать этот человек? Конечно, и совесть, и выгода заставляли бы его желать по поводу маленького процесса, чтобы суд был справедлив, администрация честна и верна; тогда он выиграл бы свой маленький процесс, и по приговору суда взыскание было бы скоро и точно совершено в его пользу администрацией. Без сомнения, это было бы ему приятно; но каков был бы результат справедливости в суде, верности в администрации для его большой тяжбы? Эта тяжба была бы проиграна, и взыскание по ней быстро и неукоснительно было бы произведено с него. Пускай же будут подкупные судьи, — только их продажность может решить тяжбу, для него важнейшую, в его пользу. Пускай же будут продажные администраторы, — только их продажность даст ему средства уклониться от платежа, если суд будет справедлив, или доставить суду подложные сведения, по которым дело решилось бы в его пользу. Разумеется, этот

человек может досадовать на продажность и неправду, по которой проиграет он свое маловажное правое дело, но никак не захочет он изгнать из суда и администрации неправду, которая одна полезна ему по его большому процессу<sup>3</sup>.

Мы коснулись только одного из бесчисленного множества последствий, возникавших от крепостного права. Какую бы отрасль общественной жизни ни взяли мы, в каждой оказываются точно такие же действия этого коренного зла, как в областном судопроизводстве и управлении. Например, что может быть ближе к сердцу людей, пользующихся и досугом, и избытком, нежели желание дать своим детям образование? Но и в этом случае человек, богатство которого основано на крепостном праве, не имеет ни надобности, ни охоты поступать так, как поступал бы он, если бы он не связан был ненормальными условиями своего быта. Из двух сторон, по которым образование составляет предмет человеческих желаний, ни та, ни другая не имеют при крепостном праве того интереса, какой дается им всякими другими отношениями: практическая польза образованности наименее чувствительна для отца, оставляющего своим детям крепостное поместье, а идеальная привлекательность просвещения далеко уступает в его мнении опасностям и неприятностям, возникающим для него от науки. Справедливость, уважение к достоинству человека — это идеи, непримиримые с крепостным правом, а наука внушает их своему воспитаннику. В человеке просвещенном доходы и власть, проистекающие из крепостного права, найдут порицателя; такой человек едва ли будет способен извлекать из своих крепостных подданных такие выгоды, как тот, кому и в голову не приходило, что этот быт дурен. Лучше же не готовить себе в сыне порицателя, быть может противника; лучше не лишать этого сына способности пользоваться всеми выгодами наследства. Но говорят, будто образование необходимо и для хорошего устройства житейских дел, будто человек с неразвитой головой не умеет открывать источников для увеличения своих доходов? Так, если эти доходы зависят от сообразительности и предприимчивости; но при крепостном праве вовсе не так. Увеличивать господскую запашку или оброк — вот и весь секрет к увеличению доходов; тут не нужно никаких соображений, не нужно даже никаких расчетов; не хуже первого мудреца в мире круглый невежда сумеет сказать своему управляющему или старосте: «Я хочу иметь вместо десяти тысяч пятнадцать; потому приказываю запахивать тяглу на моих полях вместо двух десятин по три или платить вместо двадцати рублей по тридцати». Этими словами оканчивается все дело при крепостном праве: скажите же, к чему тут хлопотать о развитии головы?

Если таково влияние крепостного права на учреждения, уже существующие, на потребности, уже пробудившиеся в обществе, то легко заключить, до какой степени затрудняется им всякое



нововведение, к которому желает приступить правительство для увеличения государственного могущества или благосостояния. Укажем хотя на один частный случай. Постепенное понижение нашего тарифа показывает, что правительство желает избавить народную жизнь от громадных потерь, приносимых крайним развитием протекционной системы. Скажите же, легко ли объяснить огромность этих потерь людям, которые основывают фабрики и заводы на основании обязательного труда, чуждого и противного всякому здравому расчету? Каким образом, например, убедить в невыгодности свеклосахарного производства такого заводчика, который или сам не знает, во сколько обходится труд, употребляемый на его заводе, или говорит: «Мне некуда девать рук; я построил завод потому, что иначе не знал бы, как извлечь из них хотя какую-нибудь прибыль». Это частный случай, мало-важный в сравнении со многими другими. Вообще правильное распределение государственных налогов и повинностей невозможно при крепостном праве; оно делает большую часть населенной территории государства какой-то привилегированной землей, через это до излишества обременяет налогами другую, меньшую часть и значительно уменьшает государственные доходы. Рациональный бюджет невозможен при крепостном праве; этим одним дается уже достаточное понятие о его вредном влиянии на все без исключения отрасли государственной жизни, потому что разумная финансовая система составляет первое условие всего государственного благоустройства.

Дух сословия, имеющего главное участие в государственных делах, организация войска, администрация, судопроизводство, просвещение, финансовая система, чувство уважения к закону, [народная нравственность,] народное трудолюбие и бережливость — все это сильнейшим образом страдает от крепостного права, все искажается им в настоящем, и сильнейшее препятствие в нем встречается каждым нововведением, каждым улучшением для будущего. Много говорили мы о наших недостатках и множество всевозможных недостатков находили в себе, но общий главнейший источник всех их — крепостное право; с уничтожением этого основного зла нашей жизни каждое другое зло ее потеряет девять десятых своей силы. Потому-то дело, начатое рескриптами 20 ноября, 5 и 24 декабря, представляется столь великим, что по сравнению с ним маловажны кажутся все реформы и улучшения, совершенные со времен Петра. С царствования Александра II начинается для России новый период, как с царствования Петра. История России с настоящего года будет столь же различна от всего предшествовавшего, как различна была ее история со времен Петра от прежних времен. Новая жизнь, для нас теперь начинающаяся, будет настолько же прекраснее, благоустроеннее, блистательнее и счастливее прежней,

насколько сто пятьдесят последних лет были выше XVII столетия в России.

Блистательные подвиги времен Петра Великого и колоссальная личность самого Петра покоряют наше воображение; неоспоримо громадно и существенное величие совершенного им дела. Мы не знаем, каких внешних событий свидетелями поставит нас будущность. Но уже одно только дело уничтожения крепостного права благословляет времена Александра II славой, высочайшей в мире.

Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастьем, каким не был увенчан еще никто из государей Европы, — счастьем одному начать и совершить освобождение своих подданных. Длинный ряд великих монархов во Франции со времен Людовика Святого стремился к делу освобождения французских поселян, и ни у кого из них не достало силы совершить это дело. Благороднейший человек своего времени, Иосиф II австрийский также успел сделать только первый шаг к освобождению своих подданных. Счастливей французских королей и великого чистотой своих намерений императора австрийского были короли прусские; благосклонная судьба дала монархическому правлению Пруссии вполне совершить это благодеяние; но слава его разделяется между двумя монархами: Фридриху II принадлежит честь многих законодательных мер, венцом которых было окончательное уничтожение феодальных отношений при Фридрихе-Вильгельме III. В русской истории вся эта слава будет сосредоточиваться на одной главе Александра II; его рескрипты и полагают теперь начало величайшему из внутренних преобразований и определяют постепенный ход этого преобразования до самого конца.

Из бесчисленных благих последствий уничтожения крепостного состояния в России мы теперь хотим рассмотреть кратким образом только одну экономическую сторону дела, оставляя до будущих статей рассмотрение его в историческом, юридическом, административном и государственном отношениях. Даже и экономическую сторону его мы не беремся изложить во всей ее полноте; мы коснемся только некоторых из вопросов, ею возбуждаемых, именно таких, которые подвергаются в обществе многочисленным толкам и решение которых в пользу освобождения объявляется сомнительным от иных людей, по странному заблуждению воображающих, что их выгоды соединены с сохранением крепостного права.

Прежде всего должны мы говорить здесь о мнении, будто в настоящей степени развития русской жизни сохранение крепостного права могло бы быть выгодным для сельского хозяйства, будто бы с уничтожением обязательного труда должно уменьшиться количество пахотных полей. Не удивительно было бы слышать подобные слова от людей, думающих, что земной шар

стоит неподвижно, а солнце обращается вокруг него, или полагающих, что мы с господствующим у нас крепостным правом богаче всех других европейцев; но изумительно то, что к стыду науки встречаются люди, которые, повидимому, знакомы с политической экономией, а между тем имеют решимость говорить о пользе крепостного права для земледелия. Между ними особенным авторитетом пользуется Тенгоборский. Мы не знаем, действительно ли он думал о крепостном праве так, как писал; мы знаем только, что при издании его книги в русском переводе<sup>4</sup> переводчик, к сожалению, не рассудил, что честь науки требовала выбросить дурные страницы, написанные Тенгоборским об этом предмете, если нельзя было прибавить к ним примечаний, которыми бы восстановилась искаженная автором истина; мы можем теперь сделать это.

«Многие иностранные и отечественные экономисты, — говорит Тенгоборский, — приписывают почти исключительно нашей системе крепостного права нерадивость поселеннина в обработке как той земли, которую пашет он на помещика, так и той, которую пашет он на себя, и эту последнюю, говорят они, не считает он своей собственностью. Прежде всего мы должны заметить здесь, что вообще ошибочно представляют себе мысли русского мужика о крепостном состоянии и соединенной с ним зависимости и что крепостной крестьянин вовсе не так равнодушен к данной ему земле, как предполагают. Каждый, близко знающий наших крестьян, имел довольно случаев убедиться, что они считают самих себя принадлежащими своим господам, но что в то же время каждый из них считает ту землю, которую пашет на себя, своей собственностью или скорее частью собственности своей общины, частью, выделенной ему по его праву на такой участок, и что, следовательно, он не может быть равнодушен к этой земле. Если, несмотря на то, русский крестьянин часто очень нерадиво обрабатывает свое поле, это надобно приписать скорее другим причинам, о которых мы еще будем иметь случай говорить\*. Крепостное право, без всякого сомнения, может и должно иметь неблагоприятное влияние на земледелие, потому что обязательный труд всегда менее производителен, нежели свободный (не с точки зрения выгод владельца, потому что есть случаи, в которых при замене обязательного труда наемным не вознаградилось бы для собственника происходящее от такой

\* Эти причины, по мнению Тенгоборского, — общинное владение и наклонность к бродячей жизни. О первом можно еще думать так и иначе, хотя и тут Тенгоборский, по нашему мнению, сильно ошибается. Но какая наивность в экономисте толковать о наклонности к бродячей жизни, будто речь идет о каких-то поэтических бедуинах, а не о прозаическом русском мужике, у которого есть поговорка: «от добра добра не ищут», есть также поговорка: «на одном месте и камень мохом обрастает», и который потому с незапамятных времен сидит всем своим родом на одном месте, если можно кормиться, не уходя с него.

замены увеличением издержек производства), но с общей точки зрения на производительность труда в создании ценностей; потому что обязательный труд исполняется всегда более или менее небрежно, отчего происходит потеря времени и производительных сил и, стало быть, урон в национальном хозяйстве. Неоспоримо также, что крепостные повинности, когда они слишком обременительны, часто отнимают у крепостного мужика средства хорошо обрабатывать свою землю; но влияние этой причины на состояние нашего земледелия не так громадно, как вообще думают. Чтобы судить о степени влияния крепостного права на наше сельское хозяйство, надобно сначала принять в соображение численное отношение крепостных крестьян к свободным сельским сословиям».

Затем Тенгоборский начинает вычисление, результатом которого оказываются следующие цифры:

	Число душ муж. пола
Крепостных крестьян разных наименований	11 683 200
Свободных сельских сословий	11 687 500

Из этой таблицы Тенгоборский делает такое заключение:

«Сравнивая эти два итога, мы видим, что число крестьян, подверженных обязательному труду, равно числу крестьян, свободно располагающих своим трудом, и если принять в расчет, что у многих помещиков барщина заменена оброком, то можно принять, что более двух третей производительной земли возделывается не по системе обязательного труда. Итак, он не может иметь на состояние нашего земледелия такого общего влияния, как думают.

Как ни велики с общей агрономической точки зрения невыгоды обязательного труда, но в настоящее время для значительной части России он еще составляет необходимость нашего земледельческого состояния, потому что: 1) масса свободных капиталов, которые надлежало бы обратить на земледелие для заведения рационального хозяйства с наемным трудом, не соответствует безмерной обширности возделываемых земель; 2) во многих областях ценност сельскохозяйственных продуктов не дала бы ренты, достаточной для покрытия издержек производства; 3) в провинциях, бедных торговой промышленностью, имеющих мало денег в обороте, мужику гораздо удобнее отправлять свою повинность трудом, нежели платить какую-нибудь ренту наличными деньгами. Поэтому иногда поселяне, находящиеся на оброке, менее зажиточны, нежели их соседи, отправляющие барщину, и случается даже, что с оброка они охотно возвращаются к барщине. Это заметил и г. Гакстгаузен при проезде через Симбирскую губернию. Часто также замечают, что мужики, переведенные с барщины на оброк, начинают пренебрегать обработкой своих полей и удаляются из дому, чтобы зарабатывать хлеб менее трудным образом. Наоборот, есть области, в которых замечаются противоположные следствия замены барщины оброком. Везде, где работники легко находят себе наемную работу, как, например, в большей части губерний на Волге, мужикам бывает выгодна такая замена; это и служит доказательством тому, что подобные перемены удаются только там, где им благоприятствуют, и, так сказать, указывают на них местные обстоятельства. Вообще появление желанья и потребности к замене барщины оброком может всегда считаться верным признаком успехов благосостояния и национального богатства.

Какую бы, впрочем, степень влияния на дурное состояние нашего земледелия ни должен был приписать беспристрастный исследователь, с одной стороны, барщине, с другой стороны — причинам, лежащим в самом харак-

тере нашего сельского населения, тем не менее достоверно, что в большей части областей, имеющих плодородную землю, удобный и правильный сбыт сельских продуктов и развитую до известной высоты торговую и промышленную деятельность, — что во всех этих областях и у различных классов свободных земледельцев, и у крепостных крестьян, состоящих на оброке, и у крепостных крестьян, еще находящихся на барщине, мы находим порядочно обработанные поля, наполненные домашним скотом дворы и такую степень благосостояния, какая не часто встречается во многих странах центральной Европы. Г. Гакстгаузен видел тому много примеров, которые и приводит в своей книге.

Этот ученый исследователь провел часть своей жизни в изучении земледельческих отношений общинных учреждений и состояния земледельцев в различных странах и напоследок особенно подробным образом исследовал нравы и общественный быт славянских племен. Чрезвычайно уважая его мнение, мы не можем не привести здесь его слов в подтверждение того, что сказали мы выше относительно обязательного труда.

Высчитав, во сколько обошлась бы в России в Ярославской губернии обработка поместья известной величины наемным трудом и как велики были бы убытки на процентах оборотного капитала, который оставался бы празден в продолжение почти всего долгого зимнего времени по отсутствию производительного занятия для людей, служащих на ферме, и для скота, употребляемого на земледельческую работу, и сравнив эти издержки с доходом от такой земли в России, во Франции и в Германии \*, Гакстгаузен приходит к следующим заключениям:

Если бы кому-нибудь предлагали в Ярославле подарить поместье под тем условием, чтобы он завел там хозяйство в таком же виде и по тому же порядку, как в Западной Европе, то он должен бы, поблагодарив за такое предложение, решительно отказаться от него: он не только не получил бы от такого хозяйства никакой выгоды, никакого чистого дохода, но и оставался бы каждый год в значительном убытке.

Из этого видно, что в подобных областях владелец поместья не может обрабатывать его наемным трудом, но с тем вместе он не может и оставить его. Земледелие — тут не коммерческое предприятие, рассчитывающее на выгоду, но обязанность, возлагаемая железной необходимостью (eine eiserne Nothwendigkeit).

При настоящем положении дел я должен выразить следующее мнение о сельском хозяйстве этих областей России. Большие хозяйства могут здесь поддерживаться только двумя способами, именно: или посредством барщины, так, чтобы земледелец не обязан был сам содержать своих работников, содержать скота и других принадлежностей земледелия, иначе сказать, чтобы расходы обработки не лежали на нем; или посредством введения такой системы хозяйства, связанного с промышленными предприятиями, которая доставила бы способ с выгодой пользоваться производительными силами, остающимися без земледельческого занятия во время долгой зимы, пользоваться в это время рабочими руками людей и силой домашнего скота. Обстоятельства, благоприятные последнему устройству, встречаются редко.

Существование известного числа больших поместий я считаю для этих стран совершенной необходимостью; потому что без них нечего и думать об успехах земледелия, которые для России гораздо нужнее, нежели до сих пор думают.

Итак, Россия имеет нужду в помещиках, которые жили бы в селах, как имеет нужду и в классе людей, населяющих города; и земледелие не могло бы развиваться, если бы дворянство не владело поместьями и сельскохозяйственными заведениями, делающими для него выгодным и необходимым жить в деревне. А если существование больших хозяйств необходимо для успехов

\* Этот расчет приведен в нашей статье с книги Гакстгаузена: «Современник» 1837, № 7, Критика.

сельского хозяйства и национального благосостояния, то само собой следует, что в настоящую минуту крепостное право не может быть еще отменено; но оно может быть подчинено более точному порядку, введено в более нормальные границы, ограждено законными условиями, которыми с точностью определялись бы обязанности крестьян для удаления злоупотреблений и произвола, именно такова цель указа 2 сентября 1842 года» (Гакстгаузен, т. 1, стр. 174 и след.).

«К этим практическим и благоразумным замечаниям (продолжает Тенгоборский) мы должны прибавить, что русский мужик не подлежит, как некогда подлежал французский поселянин, безотчетному наложению произвольных податей и повинностей (*taillable et corvéable à volonté*), что если он подвергается иногда несправедливым повинностям, то это может случаться только по злоупотреблению и в противность существующим законам. Указ императора Павла, данный в 1797 году, определял тремя днями в неделю высшую степень барщины, и последующие законы постоянно стремились к правильному определению всего относящегося до этой повинности.

Нельзя также не видеть, что время и нравственный прогресс оказывают постепенное и неоспоримое влияние на смягчение суровости обязательного труда и производят все больше и больше добровольных соглашений, которыми мало-помалу натуральные повинности изменяются в личную ренту (*rente personnelle*, рента, лежащая не на земле, а на самом человеке, иначе сказать — оброк), которая, в свою очередь, может со временем обратиться в поземельную ренту; последняя замена и начинает уже производиться в государственных имуществах (Тенгоборский говорит о переложении податей с душ на землю). Но, внимательно наблюдая чрезвычайно различные последствия этих отдельных случаев соглашения, следствия, изменяющиеся по различию областей и местностей, легко убедиться в трудностях, препятствующих общей мере, которая имела бы в виду систематически и по однообразным условиям определить отношения крепостных крестьян к их владельцам. Мера, которая успешна была бы в той или другой местности, могла бы иметь самые вредные последствия в другой, и г. Гакстгаузен очень справедливо говорит, что освобождение крестьян в России непременно должно быть решено по местным условиям, а не однообразно по всей империи\*.

В тех областях, где земля неплодородна и неудобна для обработки, где ее произведения не покрывают потребностей земледельца, где он должен в других занятиях искать вспомогательных средств для своего прокормления и уплаты повинностей, там обращение барщины в личную ренту столько же требуется выгодой крестьянина, как выгодой владельца; но эта замена может быть выгодна тому и другому только в тех местах, где работнику легко найти себе занятия. Этими причинами вызываются и размножаются подобные добровольные соглашения в местностях, где мало пахотной земли и где излишние руки и излишнее время легко находят выгодные себе занятия. Напротив, в тех местностях, где пахотных земель много, где почва плодородна, где жатва превышает потребности населения, где в то же время есть удобный сбыт для земледельческих произведений, владельцу часто бывает выгоднее обрабатывать свои поля барщиной, но зато в этих местах барщина не мешает благосостоянию земледельцев, и когда она заменяется оброком, такая замена скорее бывает следствием взаимных удобств, нежели мерой, необходимо требуемой местными обстоятельствами. Потому чрезвычайно трудно закону регламентировать все эти обстоятельства по общим принципам, заранее определенным.

Независимо от мер, принятых правительством для приведения барщины в правильные границы, есть другие меры, могущие сделать барщину трудом более производительным и в то же время повинностью, менее обременительной для крестьян, и зависящие всего более от самих владельцев. Одна из

\* Die Leibeigenschaft und ihre Aufhebung oder Umwandlung müsste in Russland stets eine Local-Frage, keine allgemeine Staats-frage sein (Гакстгаузен, примечание к стр. 178, т. 1).



этих мер состояла бы в замене поденщины работой по урокам, так, чтобы вспахать поле или выкосить луг известной величины считалось за столько-то или столько-то дней барщины. Таким образом, прилежный земледелец мог бы скорее отправить свою повинность и иметь больше времени для собственной работы. Это могло бы делаться по полюбовному соглашению, как теперь делается соглашение между общиной и владельцем для замены барщины оброком. Отдельные примеры такого положения уже существуют в некоторых местах, и г. Гакстгаузен приводит один такой случай, встреченный им в поместье г. Бунина в Тамбовской губернии. Надобно желать, чтобы эти отдельные примеры находили больше подражателей. Барщина, таким образом видоизмененная и сообразованная с справедливостью, была бы значительным улучшением в сельском хозяйстве. Но мы удерживаемся от суждения о том, до какой степени повсеместна исполнимость такого изменения. Каковы бы ни были, впрочем, изменения, которым может в будущем подвергнуться и, без сомнения, подвергнется со временем система барщины, эти изменения будут иметь только второстепенное влияние на состояние нашего земледелия, пока не будут более или менее изменены другие условия, в которых находится наше земледелие» \*.

Из всех известных нам рассуждений в пользу обязательного труда эти страницы Тенгоборского представляют самый рассудительный свод экономических соображений. Потому мы и выбираем этот отрывок, чтобы видеть, до какой степени могут быть логичны и сообразны с фактами подобные соображения.

«Многие экономисты думают, что крепостное право вредно для обработки полей». Многие! — после этого можно сказать, что многие астрономы думают, что земля обращается вокруг солнца. Почему ж бы не сказать точнее: за исключением меня, автора книги *Etudes etc.*, и Гакстгаузена — все экономисты.

«Наш крестьянин считает поле, которое обрабатывает на себя, своей собственностью или, лучше сказать, собственностью своей общины». Правда, и этот факт мы должны запомнить как можно тверже; но какой вывод делается из него Тенгоборским? «Потому наш мужик не может дурно обрабатывать эту землю». Да разве мнением мужика отстраняются причины, препятствующие ему хорошо обрабатывать эту землю? Во-первых, тут надобно исключить всех поселян, состоящих на оброке: как известно, оброк определяется сообразно средствам мужиков заплатить его. Если деревня не может выплачивать более 20 рублей серебром оброка с тягла, она и будет платить 20 руб.; но если является у мужиков хотя несколько более денег, вы увидите, что оброк не замедлит возвыситься; исключения встречаются, как известно каждому, но встречаются очень редко. Как общее правило надобно принять, что оброк при каждой смене владельца возвышается, если только есть физическая возможность возвысить его. Каждому известно, что [очень] часто возвышение оброка происходит иногда по несколько раз и при одном владельце. И вот из двух способов получения доходов при крепостном праве один способ, оброк, является уже совершенно прямо задерживающим старательность поселянина в обработке своего участка. Обраба-

\* *Études sur les forces productives de la Russie*, 1854, t. I, стр. 325—339.

тывает он его плохо и получает с него 10 четвертей хлеба; он платит, положим, 20 рублей серебром оброку. Начни он и другие крестьяне той же деревни обрабатывать свои участки лучше, и пусть возвысится сбор хлеба до 15 четвертей с участка, — все крестьяне знают, что вслед за этим оброк не замедлит возвыситься до 30 и хорошо еще, если только до 30, а не до 40 рублей. Спрашивается теперь, может ли эта перспектива возбуждать их старательность, или скорее она повергает их в апатию, заставляет обрабатывать поле как-нибудь, лишь бы только прокормиться? Ведь им известно, что, какова бы ни была их старательность, в результате за уплатой оброка останется им на долю одно и то же.

Но если оброк и действует прямее, очевиднее, то все-таки его действие не так сильно, как влияние барщины. Тенгоборский, заимствовавший все свои сведения о сельском быте нашем исключительно из книги Гакстаузена<sup>5</sup>, мог не знать, каким образом применяется к делу обычай, утвержденный законом, о трехдневной барщине. Есть поместья, в которых исполняется он по точному своему смыслу, то есть, например, три первые дня недели берутся крестьяне на барщину, а последние три дня оставляются крестьянам на свою работу, или своя и барская работа идет через день. Но редки случаи, в которых бы этот порядок сохранялся неуклонно. Большей частью он изменяется по одному из трех следующих способов. Первый способ: назначение того, в какой день крестьяне отпускаются на свою работу, определяется соображениями распорядителя господских работ; например, в понедельник крестьянам следовало бы по очереди дней идти на барский сенокос, но помещик или управляющий видит, что погода неблагоприятна для сенокоса, и потому отпускает крестьян в этот день на их работу, а потом в зачет этого дня назначит барщину в четверг или субботу, когда погода будет хороша. То же бывает и во время пашни. В ночь с воскресенья на понедельник выпал дождь, — и вот назначается в этот день барщина, хотя бы по очереди дней приходилось и не так. Очевидно, что такой порядок, нарушая правильность работ на крестьянских полях, отнимая у крестьян возможность делать предусмотрительные распоряжения для своих работ, наконец, перенося эти работы на неудобное время, не может не иметь влияния как на обработку крестьянских полей, так и на самый характер работников. Но еще произвольнее и неблагоприятнее второй способ, если не ошибаемся, самый употребительный, по которому принимается за правило, что деревня должна сначала окончить господскую работу сплошной барщиной без очереди дней и потом уж отпускается обрабатывать свои поля. Соответственность обычаю, определяющему число дней барщины равным числу дней работы крестьян на собственных полях, полагается при таком порядке в том, что крестьянским полям дается приблизительно такой же размер, какой имеют

господские поля. Очевидно, что невыгоды, чувствительные в первом способе, развиваются здесь еще сильнее: вообще говоря, и при запашке, и при сенокосе, и при жатве все наиболее благоприятное время занято обработкой господских полей, а для крестьянских остается уже наименее выгодное время; на этих последних и при таком порядке все работы производятся спустя пору; пахня и посев делаются поздно и чаще всего при дурных условиях погоды, когда земля уже слишком много утратила соков со времени таяния снегов, а пора весенних дождей обыкновенно уже прошла; уборка хлеба на крестьянских полях делается очень часто тогда, когда хлеб уже перезрел и много зерна уже осыпалось из колоса на корню; очень часто подспевают к этому осенние дожди, и хлеб на запоздавших полях поляжет от них на корню. К этим неудобствам присоединяется неизбежно еще та невыгода, что крестьяне приступают к обработке своих полей уже не с свежими силами, а утомленные предыдущей работой, и рабочий скот их бывает также уже истомлен. Обе эти невыгоды неизбежны и постоянны. Но часто присоединяется к ним еще то обстоятельство, что размер господских полей превышает ту норму, которая соответствовала бы трем дням барщины. Надобно притом сказать, что часто первый способ соединяется со вторым, то есть при обработке господских полей раньше крестьянских дни дурной погоды передаются из барщинной в собственную работу крестьян. Нельзя забыть и того, что трехдневная норма, поставленная обычаем, не всегда соблюдается: размер господских полей зависит от расчетов землевладельца и достигает иногда такого объема, что требует четырех и даже более дней в неделю. В некоторых местностях есть третий способ отправления барщины: крестьянские тягла распределяются по хозяйствам так, чтобы в каждом хозяйстве было четное число работников, именно два или четыре. Если в семье только один работник, к этой семье в дом поселяют семью батраков, имеющую также одного работника. Тогда из двух работников один (обыкновенно хозяин) все время остается работать на своем поле, а другой (обыкновенно батрак или младший родственник) все рабочее время бесценно отправляет барщину. Очевидно, что этот способ имеет новые стороны невыгодного влияния на характер работы: крестьянин, постоянно отправляющий барщину, без сомнения привыкает к небрежному и сонному труду; через такую школу проходит почти каждый крестьянин, прежде чем сделается главой семьи, и проходит он эту школу нерадивости именно в тех годах молодости, когда формируется характер человека и приобретаются привычки на целую жизнь.

Таковы-то способы исполнения барщины, разделяющие между собой почти все количество крепостных крестьян, состоящих на барщине. Кто знает их, тот не может сомневаться, подобно Тенгоборскому, в том, велика ли степень невыгодного

влияния барщины на обработку даже тех полей, которые предоставлены крестьянам. Мы не говорим уже о том, что обязательный труд вообще чрезвычайно вредно действует на трудолюбие и энергию, на образование привычек к бережливости временем и средствами. У каждого экономиста можно найти превосходные, проникнутые благородным жаром страницы об этой общей черте обязательного труда; мы хотим обратить внимание читателя на то, что способами пользования обязательным трудом, у нас господствующими, еще в значительной степени увеличиваются те невыгоды, которые уже лежат в самой его натуре.

Внимательный читатель, конечно, чрезвычайно дивится тому странному направлению, какое принято нашим рассуждением о невыгодах обязательного труда в обработке полей. «Говоря, что такой труд не производителен, каждый рассудительный человек думает преимущественно о тех работах, которые совершаются этим трудом, то есть о работах на господском поле (готов нам заметить читатель); по какому же нелепому уклонению от здравого смысла рассуждаете вы о его влиянии на крестьянские поля, когда дело должно идти о его влиянии на господские поля? Вы совершенно сбились с дороги». Да, действительно, мы совершенно сбились с дороги, пошедши вслед за нашим автором; это он рассудил придать такой оборот вопросу; ловкость изумительная и смелость еще более изумительная! Он должен опровергнуть мнение всех без исключения экономистов, что барщина — работа самая непроизводительная, и опровергает он эту мысль чем же? Тем, что на своих полях крепостной крестьянин работает усердно. Ему говорят: человек плохо исполняет обязательный труд, он возражает: «Обязательный труд не так плох, как вы думаете, потому что свободный труд на собственных полях исполняется крестьянином недурно, стало быть [крепостной крестьянин трудится хорошо, стало быть] ваша мысль, будто он трудится плохо, совершенно неосновательна». Такая [открытая] софистика невероятна, однако же действительно к ней отваживается прибегать наш автор. Пусть припомнит читатель его слова: в них [нет и помину] о господских полях, он все возражение против обязательного труда сворачивает на крестьянское поле. «Мы должны заметить, что ошибаются, думая, что будто крестьянин равнодушен к своему участку. Люди, знающие нашего крестьянина, знают, что он очень дорожит своим участком и любит его и старается возделывать как можно лучше, а если иногда возделывает плохо, так не от того, о чем вы говорите, а разве от других каких причин». После такого поворота говорите, если хотите, о добросовестности, об учености и тому подобном; мы удивимся только отважности, с какой тут предполагается, что читатель — тупоумный простак, провести которого можно самым грубым обманом.

Но для нас очень приятен тот оборот, по мнению автора очень искусный, которым он думал увернуться от мысли о невы-

годности обязательного труда. Этот оборот заставил нас вникнуть в ту сторону сельского быта, которая на первый взгляд представляется не подверженной вредным действиям обязательного труда. Мы рассмотрели, имеет ли какое-нибудь действие даже на ту работу, которую крестьянин совершает для себя, то обстоятельство, что он подлежит также обязательному труду, и мы нашли, что это действие очень сильно и очень вредно; таким образом обнаружилось, что даже тот уголок, в котором вздумал укрыться защитник обязательного труда, не дает ему ни малейшей защиты, и хитрый оборот адвоката неправды послужил только к тому, что вредное действие неправды раскрылось в большем объеме, нежели как представлялось бы с первого взгляда; сверх того от хитрости, придуманной нашим автором, мы получаем то преимущество, что она служит для нас признанием с его стороны невозможности отвергать то вредное влияние барщины, которое обыкновенно указывается политической экономией. Он не отваживается и говорить о том, производительна ли обработка господских полей обязательным трудом, — значит, он сам признает эту невыгоду, и нам уже не для чего много распространяться об этом; скажем только два-три слова.

Поместья Замойских, по освобождении крестьян на них, стали приносить в три раза более дохода.

Граф Бернсдорф, великий датский министр, желая показать датским помещикам невыгоды обязательного труда, приводил им в пример свои собственные поместья, в которых он освободил крестьян; и, действительно, пока его поля обрабатывались барщиной, средний урожай ржи на них бывал сам-3, а овса сам-2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, а когда он стал обрабатывать их по найму, урожай ржи возвысился до сам-8<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, а урожай овса до сам-8.

Датских помещиков останавливало то, что освобождение крестьян на первый раз стоило некоторых пожертвований, но Бернсдорф мог доказать незначительность этих жертвований своими приходо-расходными книгами. Освобождая крестьян, он терял сто тысяч талеров капитала; зато доходы с его поместья быстро стали возрастать в пропорции еще гораздо большей, нежели какая видна из сравнения урожаев. Поместье с обязательным трудом давало ему три тысячи талеров, через 24 года он при свободном труде получал с этого поместья двадцать семь тысяч талеров; стало быть, если его земли вместе с крепостными работниками могли быть проданными за полтора-два тысяч талеров, то теперь, по освобождении работников, эти земли стоили в девять раз более или 1 350 000 талеров, — выигрыш, кажется, достаточно вознаграждающий за видимую потерю ста тысяч талеров при освобождении. Таких примеров представляются тысячи всеми странами, где совершалось освобождение крестьян. Повсюду неизменно оно было соединено с быстрым возвышением доходов помещика, освободившего крестьян. Да и может ли быть иначе?

Нужно только вспомнить, в какой именно пропорции наемный труд производительнее обязательного. Негры в одну послеобеденную половину дня успевают сделать столько же, когда работают на себя, сколько в целый день на барщинной работе. Такова разница между свободным и обязательным трудом даже того человека, энергия которого подавлена и силы которого истощены обязательным трудом. Но еще значительнее становится она, когда человек успеет отвыкнуть от апатии, свойственной крепостному состоянию. Наемный труд такого человека производит в день слишком в три раза больше, нежели день барщины крепостного работника\*.

Не можем отказать себе в удовольствии привести также несколько примеров из множества фактов, представляемых превосходным «Статистическим описанием Киевской губернии», которое составлено покойным Журавским и издано г. Фундуллеем. Мы употребили слово: «удовольствие», и действительно трудно иначе назвать чувство, производимое длинным рядом фактов, неразумность которых доходит до поразительного комизма, фактов вроде следующего. В поместьи, имевшем около 250 взрослых работников, отправлявших барщину, все число барщинных дней простиралось до 45 тысяч в год; из них на полевые работы употреблено менее 12 тысяч дней, то есть около четвертой части всего труда. На что же были потрачены три четверти рабочих дней? Некоторое количество из них было употреблено на работы производительные, а другие дни разошлись вроде следующих; 1 900 дней потрачено на господский сад и огород. Этот сад и огород доставляли фруктов и овощей столько, что иногда было их достаточно для господского стола, а иногда и недостаточно (наверное на фрукты и овощи к господскому столу, если бы они производились наемной работой или покупались, не было бы употреблено и той суммы, какой стоят хотя 500 рабочих дней; а тут при 1 900 днях нужно было еще прикупать). На починку печей и беленье комнат и т. п. в господском доме употреблено 950 рабочих дней; на выделку холста, кож, сапогов, для господской экономии употреблено дворовыми людьми и крестьянами слишком 11 тысяч рабочих дней и все-таки не выделано было столько кож и холста, чтобы обути и одеть дворню, — нужно было много прикупать. Итак, почти столько же, сколько на все хлебопашество, потрачено было рабочих сил на производство платья для дворовых людей, да и того оказалось мало. Превосходны также факты такого рода: была при господском хозяйстве молотильная машина; работа ею заняла около 5 800 дней, и обмолочено в эти дни около 4 200 копен хлеба, так что результат рабочего дня при этой машине давал менее, нежели

---

\* Principes d'Economie Politique par Rocher, traduits par M. Wolowski. Paris 1857, vol I. p. 157—159.



три четверти копны обмолоченного хлеба, а надобно заметить, что машина приводилась в движение лошадьми, работу которых мы уже не кладем в счет. Но в том же хозяйстве просто цепом мужик обмолачивает более копны хлеба, и стало быть выходит, что при помощи машины работа производилась гораздо медленнее, нежели без помощи машины. Не много нужно думать о таких цифрах, чтоб притти к следующему заключению: три четверти рабочих сил барщины тратились в этом хозяйстве совершенно понапрасну, не принося владельцу ровно никакого дохода, а часто обращаясь ему в прямой убыток, который приходилось покрывать ему вычетом из доходов, доставлявшихся ему остальной четвертою частью барщины. Таких фактов в «Описании Киевской губернии» сотни и тысячи. Но, может быть, в том хозяйстве, распределение барщины которого мы видели, и в других подобных ему хозяйствах экономия была плохо устроена? Вовсе нет, это хозяйство было еще из самых лучших. Сводя цифры о всех помещичьих имениях Киевской губернии, Журавский приходит к следующим выводам: соображая пространство господских полей с уроками, которые отрабатываются в один день, Журавский находит, что для полной обработки господских полей вместе с уборкой сенокосов требовалось бы в Киевской губернии 17 500 000 рабочих дней; между тем число всех дней, отбываемых барщиной в Киевской губернии, простирается до 65 000 000; таким образом, три четверти барщины растрачиваются так себе, то туда, то сюда; не считая даже вовсе зимних дней, все-таки выходит, что и из летних дней половина растрачивается самым непроизводительным образом\*.

Теперь читатель не будет удивляться следующему расчислению, основные цифры которого мы также заимствуем у Журавского. Журавский определяет наемную цену, какую имеет в разных местностях Киевской губернии летом и зимой день работы пешего мужика, мужика с лошадью и женщины; по этим вычислениям он перелагает на деньги всю ценность 65 миллионов дней барщины, и оказывается, что вся ценность работ, исправляемых барщиной, доходит до 7 232 350 рублей серебром. Каковы же теперь все доходы помещиков Киевской губернии? Каждый производительный труд дает в продукте избыток против того, во сколько обошлось производство. Например, фабрикант употребляет 100 000 рублей на жалованье рабочим, на покупку материалов, на ремонт фабрики, на уплату процентов с основного капитала и проч.; а продуктов своей фабрики продает он на 120 000 тысяч\*\* и более. Если бы обязательный труд был производителен, очевидно, что помещики Киевской губернии получали бы гораздо более той суммы, какой стоит барщина. Сколько

\* Статистическое описание Киевской губернии. Часть II, стр. 220 и след. и 372 и след.

\*\* Явная ошибка; надо: рублей. — Ред.

именно получали бы они, трудно сказать, но легко определить наименьшую величину, ниже которой никак не могли бы спуститься их доходы. Барщина заменяет только наемную плату работникам. Наемная плата работникам в земледелии никак не может составлять более половины всего оборотного капитала, а по-настоящему надобно полагать ее гораздо меньше\*. Но если положить этот расход равняющимся целой половине издержек производства, мы все-таки получим сумму в 14 500 000 рублей серебром, — это издержки производства; но производство должно же давать какой-нибудь чистый доход; положим его хотя только в 10 %, и мы получим 1 450 000 рублей серебром. Таким образом, составляется сумма в 16 000 000 рублей серебром, и мы видим, что доходы помещиков Киевской губернии должны были бы простирались по крайней мере до этой суммы даже тогда, когда бы расход на работников можно было считать вполностью издержек производства. Если же считать его только в третью часть издержек, что гораздо ближе к истине, то надобно ожидать дохода в 24 000 000 рублей серебром. Но вспомним, что работники трудятся не по найму, а обязательно, и мы уже можем ожидать, что доходы помещиков далеко не достигают этой цифры 16 000 000 рублей серебром, которая при наемном труде была бы слишком низка. Как же велики они в действительности? Быть может 12, быть может 10 миллионов? Нет, по вычислению Журавского, все доходы помещиков Киевской губернии не простираются выше 7 123 380 рублей серебром, то есть они даже меньше той суммы, которой стоит одна рабочая сила барщины.

Чтобы понять всю экономическую несообразность такого порядка дел, представим себе например, что существовала бы хлопчатобумажная фабрика, которая на одно жалование рабочим расходовала бы 10 000 рублей серебром, а доходов от продажи своих продуктов получала бы 9 500 рублей серебром; вспомним, что фабрикант должен считать проценты с основного капитала, представляемого зданием фабрики и машинами, должен ежегодно покупать более чем на 10 000 рублей серебром хлопка, — и мы поймем, что его фабрика представляет изумительно неразумное явление, что ее существование противно всякому экономическому расчёту, что, кроме разорения всех участвующих в делах этой

---

\* При урожае сам-5 одна ценность посева составляет уже 20 процентов оборотного капитала. Ренту земли, конечно, слишком низко будет оценить в одну четверть валового дохода, который должен быть больше издержек производства, и потому в издержках производства рента составляет более значительную часть, нежели в нем. Но положим, что она будет составлять только одну четверть издержек производства. Вот цена посева и рента составляют уже 45 % издержек производства. Прибавим расход на управление, и мы получим уже гораздо более 50 %, и на жалование работникам останется менее 50 %. Совершенно близко к истине было бы сказать, что это жалование составляет в земледелии от одной четвертой до третьей части издержек производства.

фабрики, ничего нельзя ждать от нее. Каждый здравомыслящий человек из любви к самому фабриканту должен посоветовать ему изменить странный порядок дел, существующий на его фабрике.

Точно таково положение помещиков. Одной рабочей силы употребляется ими, например, в Киевской губернии на 7 230 000 рублей серебром, а всего дохода получается только 7 130 000 рублей серебром\*.

Но мы еще далеки от истины, полагая, что весь доход помещиков Киевской губернии происходит от обязательного труда. Если бы вся сумма 7 123 000 рублей серебром возникала из работы, стоящей 7 232 000, это было бы уже чрезвычайно неразумно; что же надобно будет сказать, когда сообразим, что около половины помещичьих доходов в Киевской губернии должны считаться не плодом барщины\*\*, а доходами с различных капиталов, кроме поземельного капитала? Потому доход, доставляемый барщиной, следует считать не более как в 4 000 000 рублей серебром, и в результате окажется, что все продукты, доставляемые барщиной, едва равняются 60% стоимости самой барщины, и параллель с фабрикой, представленная нами выше, изменится таким образом:

Есть фабрикант, который кроме того, что употребляет ежегодно более 10 000 рублей на покупку сырых материалов и ремонт, одной рабочей силы расходует на 10 000 рублей, а всех продуктов своей фабрики продает только на 6 000 рублей, — спрашивается, разумно ли идет его фабрика?

Но чем поправить ему свои дела? Очевидно, откуда весь недостаток: работа на его фабрике плоха, и ему должно изменить порядок этой работы, если он не хочет с каждым годом разоряться все больше и больше. Иначе ему никак не избежать банкротства.

Этот вывод неоспоримо следует из фактов, подробно излагаемых Журавским. Люди, не знающие сельского хозяйства в Киевской губернии, могут, пожалуй, подумать, что в других губерниях дела могут идти лучше, что порядок помещичьего хозяйства

\* Описание Киевской губернии. Часть II, стр. 230 и 378.

\*\* Пропинация<sup>6</sup> и лесная продажа дают 1 250 000 рублей серебром, тонкорунное овцеводство, фабричная промышленность и винокурение дают более 1 300 000 рублей серебром, из них по крайней мере половину, то есть 650 000, надобно считать доходом основного и оборотного капитала; из дохода, доставляемого хлебопашеством и свекловицей (3 800 000), по крайней мере одну пятую часть надобно считать следствием работы реманентного скота, господских машин и т. п.; это дает около 750 000; вот у нас уже насчитано 2 650 000 рублей серебром общего дохода, возникающего не от барщинной работы. Прибавив к этой цифре различные мелкие отрасли доходов, исчислять которые было бы здесь слишком длинно и которые легко отыщет внимательный читатель в исследованиях Журавского, мы получим тот вывод, что из 7 123 000 рублей серебром общего дохода по крайней мере 3 000 000, а вероятно, более даются помещикам Киевской губернии не обязательным трудом. В статье об описании Киевской губернии («Современник», 1856, № 9) этот вычет дает меньшую цифру, но там он очень не полон.

в Киевской губернии хуже, нежели в великорусских. Напротив, в ней он гораздо лучше. Отчетность по хозяйству ведется с такой точностью, какая совершенно неизвестна великорусским помещикам; экономии в употреблении рабочих сил несравненно больше, небрежной растраты их гораздо меньше в Киевской губернии, нежели в Великой России, и вывод, представляемый исследованием Журавского для Киевской губернии, еще с гораздо большей силой прилагается к Великой России, которую мы имеем преимущественно в виду в этой статье.

Разорение для самих помещиков — вот очевиднейшее следствие обязательного труда. Отчеты кредитных учреждений о количестве заложенных имений и публикации о продаже этих имений за неуплату долга, к сожалению, слишком громко свидетельствуют о том, как подтверждается эта научная истина фактами нашей жизни. Недавно ученый, которого мы не хотим называть по имени, вздумал было доказывать, что поместья наши не так обременены долгами, как все мы знаем, — сдинодушная горькая улыбка всех читателей была ответом на такую розовую шутку. Помещик, имение которого не заложено, представляется у нас довольно редким исключением. Точные сведения о количестве всех долгов, лежащих у нас на дворянских имениях, не собраны, но достоверно то, что с каждым годом тяжесть этих долгов возрастала и что в настоящее время из всех имений в Европе наиболее обременены долгами русские поместья. Тут можно говорить о расточительной жизни, о пренебрежении к собственным делам; но, во-первых, все эти и т. п. второстепенные причины недостаточны для накопления долгов, столь всеобщих и столь громадных; во-вторых, и расточительность, и пренебрежение к делам возникают главным образом из того основного зла, которому ныне полагается предел. Может ли экономически вести свои расходы тот, доходы которого получают способом, противным экономическому расчету? Может ли с усердием заниматься своими делами тот, кому представляется, что источник его доходов, обязательный труд, остается неиссякаем и без всякой заботы с его стороны?

Потому нам кажется, что обязательный труд разорителен не только для крестьян, но и для самих помещиков; потому-то и не можем согласиться мы с словами Тенгоборского, что обязательный труд хотя всегда невыгоден для государственного хозяйства, но бывает иногда выгоден для помещика. Нет, он всегда невыгоден и для него. Ниже мы подробно рассмотрим основание, на котором опирается мнение Тенгоборского, мнение, что издержки землевладельца на наемную плату, после уничтожения крепостного права, не вознаграждаются продажей продуктов; теперь заметим только, что тогда и увеличится количество и возвысится цена хлеба, получаемого помещиком с своих полей, и перейдем к следующим мыслям Тенгоборского.

Он сам чувствует, что нельзя сомневаться в невыгодности обязательного труда, и потому старается доказать, что масса полей, возделываемых этим трудом, не так велика, чтобы могла иметь преобладающее влияние на дурное состояние нашего сельского хозяйства.

С этой целью прежде всего рассчитывает он, каково отношение крепостных крестьян к числу всего сельского населения. Против этого счета заметим, что напрасно вносит он в число крестьян, не подлежащих крепостной работе, 816 000 крестьян разных наименований, означенных в таблице Кеппена <sup>7</sup> нумерами 5 и 6. Исправив эту ошибку, мы увидим, что количество крестьян, подлежащих обязательному труду, почти на 2 000 000 душ мужского пола больше числа свободных крестьян. Но если даже принять и его расчет, по которому та и другая цифра почти равны, все-таки надобно сказать, что работа целой половины крестьян, подлежащая крепостному праву, представляет уже массу труда, с избытком достаточную для подчинения всего народного хозяйства, какой принадлежит обязательному труду.

В тех южных штатах Северо-Американского Союза, где существует невольничество, весь характер и общественного быта и национального хозяйства определяется трудом негров; а между тем число невольников в этих штатах далеко не достигает цифры белого населения в тех же штатах. Мы возьмем только те штаты, в которых всего более невольников, именно: Виргинию, Северную и Южную Каролины, Георгию, Флориду, Алабаму, Миссисипи, Луизиану, Техас, Арканзас, Тенесси, Кентукки и Миссури. В этих тринадцати штатах число невольников простирается до 3 075 000, а число белого населения более нежели до 5 400 000. Мы видим, что даже в этих штатах, имеющих исключительно невольнический характер в своем производстве, число свободных почти вдвое превышает цифру невольников; и, однакоже, этой одной третьей части населения, подлежащей принужденному труду, уже достаточно для уничтожения в народном быте и труде всякого элемента, имеющего характер свободного труда \*. Если примесь третьей части обязательного труда к двум третям свободного оказывает такое громадное влияние, что же сказать о том, когда целая половина работников подлежит обязательному труду?

---

\* Если бы мы, следуя примеру всех статистиков, причислили к этим штатам Мериленд, Делавар и т. д., то оказалось бы, что в невольнических штатах число негров едва превышает четвертую часть всего населения, и мы могли бы сказать совершенно справедливо, что для сообщения всему быту и производству страны того характера, какой свойственен обязательному труду, достаточно уже и того, когда хотя четвертая часть работников подлежит обязательному труду. Но мы, предупреждая даже излишние притязания противников, ввели в счет только те штаты, в которых цифры наименее благоприятны нашим выводам: даже и эти цифры уже с избытком подтверждают наш вывод.

Но Тенгоборский не останавливается на том, что неправильным счетом уравнивает число крепостных крестьян с числом свободных, хотя ему самому известно, что первое больше. Он идет далее и решается утверждать, что так как «во многих поместьях барщина заменена оброком, то надобно принять, что две трети возделываемых земель обрабатываются крестьянами, не отправляющими обязательного труда». Эта смелость очень замечательна; во-первых, Тенгоборский не приводит точных сведений о числе крестьян, состоящих на оброке, и, пользуясь этим, он отважно предполагает число их гораздо больше, нежели каково оно должно быть в действительности: он считает их, как видим, до 4 000 000 \*; но едва ли можно считать их и 2 000 000; во-вторых, если бы даже число оброчных доходило до 4 000 000, из этого еще не следовало бы, что две трети земли населены крестьянами, не отправляющими барщины: на оброк отпускаются крестьяне преимущественно в поместьях малоземельных, а у государственных крестьян земли вдвое и втрое меньше, нежели у помещиков по числу душ; стало быть, если бы даже только одна треть крестьян состояла на барщине, а другие две трети состояли бы из свободных и оброчных крестьян, то и тогда большая половина возделываемой земли все-таки оставалась бы под поместьями, отправляющими барщину; в-третьих, оброк у нас довольно мало отличается от барщины по своему влиянию на характер хозяйства: возвышаясь соразмерно возвышению доходов крестьянина, он точно так же, как и барщина противодействует энергии труда, потому что стремится постоянно поглощать все избытки, ими производимые. Дело иное, если бы наш оброк не возвышался произвольно.

Такая цепь противоречий фактам и фальшивых гипотез нужна была Тенгоборскому, чтобы притти к желанному заключению, будто бы «обязательный труд не имеет на наше сельское хозяйство столь преобладающего влияния, какое обыкновенно ему приписывается». Для такого вывода нужно было слишком отважным образом исказить смысл мнения о невыгодности обязательного труда, поворотив речь с работы, отправляемой барщиной, к которой речь прямым образом относится, на работу крестьян на своих полях; нужно было представить неверный счет числа крепостных крестьян; нужно было забыть и о характере нашего оброка, и о малоземельности оброчных имений. И однакоже — при всех этих смелых отступлениях от истины — он мог дойти только до такого результата, который совершенно уж достаточен для разрушения его мнения. Да, если бы у нас только третья часть сельских работников отправляла барщину, уже и тогда все наше сельское хозяйство находилось бы под исключительным, под

\* Эта цифра необходима, чтобы состоящих на барщине осталась одна треть из всего числа поселян.



совершенно преобладающим влиянием крепостной работы. Пример южных штатов Северо-Американского Союза уже говорит, что свободная работа двух третей населения совершенно искажается влиянием принудительной работы одной трети населения. Но, по словам самого Тенгоборского, число крепостных крестьян равняется числу свободных; в действительности же превосходит их.

Но, продолжает Тенгоборский, как ни вредна система обязательного труда, она в настоящее время для значительной части России необходима. Почему же? Причин на это приводится три:

1) «Капиталов у нас недостаточно для рационального хозяйства с наемным трудом при безмерной обширности возделываемых земель». Тут сколько слов, столько и ошибок. О том, до какой степени безмерна обширность наших земель, мы будем говорить после; пока здесь заметим прежде всего хитрое слово «рациональный»; оно намекает на плодопеременную систему с искусственным луговодством, дренажем и т. п. Для такой системы, конечно, нужны большие капиталы, но сам Тенгоборский говорит, что она еще не нужна и неуместна для нас; а если б и была уместна, то наемная плата самый незначительный расход в сравнении с расходами на луговодство, скотоводство, машины и прочее при такой системе, и обязательный труд может только помешать ее распространению, потому что при нем невозможна ни строгая экономия в жизни самого хозяина, ни старательный и искусный труд работников. Но Тенгоборский хитрит: он только сбивает читателя намеком на плодопеременную систему в слове «рациональный», а сам и не думает о ней, подробно доказав перед тем, что для нас еще надолго выгоднее всех других систем трехпольное хозяйство. При трехпольном хозяйстве капиталов не очень много нужно. Но если бы у нас было мало капиталов даже и для этой системы, тем сильнее доказывалась бы необходимость отменить обязательный труд, потому что он составляет сильнейшее препятствие образованию и возрастанию капиталов. При нем работа непроизводительна, при нем нет ни расчетливости, ни предпримчивости. Жалоба на недостатки в капиталах есть требование отмены обязательного труда.

2) «Во многих местах ценность сельскохозяйственных продуктов не давала бы ренты, достаточной для покрытия издержек производства». Не мешает заметить тут оригинальное употребление слова «рента» вместо доход: Тенгоборский забыл, что рентою называется только та часть дохода, которая вовсе не служит к покрытию издержек производства, а составляет наемную плату, получаемую землевладельцем с арендатора; его фраза подобна следующей: дивиденд акционерной фабрики недостаточен на покрытие издержек ее. Такие фразы свидетельствуют о сбивчивости понятий, которая одна, впрочем, и может давать человеку решимость выступать защитником обязательного труда. Тенгоборский

не умеет сказать того, что хотел сказать, именно, что ценностью продуктов не будут покрываться издержки производства.

Предположим сначала, что это возражение совершенно справедливо; в таком случае, что из него следует по теории, принимаемой всеми без исключения экономистами? Нас часто упрекали за то, что мы предпочитаем основательные суждения новой школы ошибочным мнениям старой. Но из нашего противоречия ошибкам старой школы вовсе не следует, чтобы мы не находили в сочинениях Сэ или Росси ни одной страницы справедливой; есть случаи, в которых все школы согласны; к ним принадлежит и тот, о котором мы должны теперь вести речь. Надеемся, что Сэ не нашел бы в следующих строках ни одного слова, с которым бы не согласился вполне.

Если ценность продуктов не покрывает издержек производства, это значит, что производство убыточно; национальный интерес и собственная выгода хозяина требуют, чтобы такое производство было оставлено.

Если продукты моей фабрики не покрывают моих расходов на фабрику, я должен или закрыть, или продать ее. Я не имею права требовать, чтобы государство разорялось для моей фабрики, чтобы, например, оно поставляло мне задаром или материал, мною обрабатываемый, или машины, нужные мне для обработки, или лошадей, приводящих в движение эти машины, или работников, управляющих этими лошадьми и машинами.

Положим, что я занимаюсь выделкой шляп. Если продажа не окупает мне моих издержек, это происходит от одной из двух причин: 1) или моя фабрика устроена дурно, и в таком случае я должен стараться улучшить ее, а если не умею улучшить, то нечего мне и тянутьсь быть шляпным фабрикантом, и пусть я разорюсь, государство тут ничего не проиграет; напротив, оно выиграет, когда одним дурным фабрикантом будет меньше; или 2) я работаю шляпы не хуже и не дороже других — в таком случае, значит, все шляпные фабриканты терпят убыток подобно мне; отчего же это? Оттого, что шляпных фабрик развелось слишком много, и шляпы слишком низко упали в цене; запрос несообразен предложению. Чем помочь этому? Все экономисты согласны в том, что из этого затруднительного положения нельзя вывести нас, шляпных фабрикантов, никакими пособиями, нарушающими справедливость. Если бы, например, государство стало нам давать задаром материалы для выделки шляп, мы попрежнему стали бы делать шляп больше, нежели требуется; чтобы сбывать этот излишний товар, мы стали бы друг перед другом сбивать цену и сбили бы опять-таки до того, что продажей шляп не покрывались бы наши расходы на их выделку. То же самое было бы, если бы мы получили от государства работников, которые делали бы шляпы на наших фабриках по системе обязательного труда, то есть или стоили бы нам дешевле наемных, или вовсе ничего

не стоили, — мы продолжали бы выделывать шляп больше, нежели требуется, и цена их все-таки упала бы до того, что не покрывала бы наших издержек.

Таковыми разорительными для государства пособиями не прекратилось бы наше затруднение. Корень его — излишество выделки шляп по сравнению с требованием на них, и потому лекарство тут одно — сократить выделку. Чем больше будем мы разорять государство пособиями на нашу излишнюю выделку, тем больше будем только сами запутывать свои дела; и лучшее для нас, что может сделать государство, — не давать нам этих разорительных для него и вредных для нас пособий или прекратить их выдачу, если уж по какой-нибудь ошибке они выдавались нам. Так, предоставленные собственным силам, мы должны будем взяться за ум и скоро увидим, как пособить затруднению.

Пособить ему очень просто: выделка шляп невыгодна, итак, надобно отказаться от нее и заняться чем-нибудь более выгодным.

Между нами, шляпными фабрикантами, найдутся люди дельные и предприимчивые, поймут это и, закрыв свои шляпные фабрики, займутся, например, выделкой мыла или сукна. Тогда дела остальных шляпных фабрикантов поправятся: шляп выделяется меньше прежнего, именно столько, сколько нужно, и цена их поднимется настолько, чтобы быть выгодной без всякого обязательного труда и других разорительных для государства привилегий и вспоможений.

Каждый экономист скажет, что таково единственно справедливое и единственно возможное решение дела о шляпных фабрикантах.

Точно таково же было бы дело землевладельцев, производящих хлеб обязательным трудом, если бы верны были слова Тенгоборского, что при отмене обязательного труда не окупались бы издержки их на наемную плату. Это значило бы только, что хлеба на продажу предлагают они больше, нежели требуется, и что они слишком низко сбили его цену.

Ни в одной из тех отраслей промышленности, которые предоставлены собственным силам, невозможен случай, предположенный нами, — именно, что издержки производства при наемной плате не покрываются продажей продуктов. Если же наше земледелие находится в таком ненормальном состоянии, то очевидно, что оно введено в это положение обязательным трудом и что единственное средство поднять цену хлеба до нормальной высоты, то есть до того, чтобы ею окупались издержки производства, состоит в отмене обязательного труда. Он губит наше земледелие, роняя цену на хлеб.

Неоспорим действительно тот факт, всеми признаваемый, что цены на хлеб у нас сбиваются обязательным трудом ниже того, каковы были бы без этой язвы земледелия. Но даже и при этих ценах возделывание хлеба по системе наемного труда не только

возможно, даже выгодно. Это известно каждому, знающему русский быт: есть много купцов, разночинцев, поселян, которые возделывают большие пространства земли наемным трудом и получают от этого выгоды. Эти очень многочисленные факты доказывают совершенную неосновательность мысли, будто помещикам не будет выгодно обрабатывать свои поля наемным трудом. Даже и теперь это делается, как мы сказали, купцами и людьми других званий, не имеющими в своем распоряжении крепостных работников. Тем выгоднее будет это при уничтожении крепостного права, когда цена хлеба должна возвыситься.

Дело не в том, что наемный труд не окупается, — это неправда; дело в том, что хозяйство с наемным трудом есть коммерческое предприятие, требующее расчетливости, сообразительности, требующее разумной заботы со стороны хозяина. Вот от этих-то условий отвращаются партизаны крепостного права, которое дает им даровой труд и доставляет возможность вести дело небрежно, нерасчетливо.

Если партизаны крепостного права откровенно скажут: при отмене обязательного труда не будет в состоянии с выгодой возделывать своих полей тот, кто не может вести своего хозяйства экономическим, расчетливым образом, кто умеет только прожигать достоящееся ему даром и не может сделаться человеком дельным, — если они откровенно скажут это, мы вполне согласимся с такими словами, в которых и заключается вся сущность вопроса.

Из трех доводов, представляемых Тенгоборским в подтверждение «необходимости» крепостного права для России, мы рассмотрели два первые, и оказалось, что они говорят вовсе не в пользу крепостного права, а свидетельствуют о его вреде; если у нас мало капиталистов, виной тому крепостное право, мешающее развитию свободного труда, который один производителен, один увеличивает богатство нации; если цены на хлеб слишком низки, виной тому опять-таки обязательный труд, разрушающий соразмерность производства с потреблением и уничтожающий в хозяине расчетливость. Из того и другого одинаково следует «необходимость» не поддерживать, а как можно скорее отменить обязательный труд. Остается третий довод в пользу крепостного права, — довод, основанный на странном смешении понятий.

3) «В тех местах, где торговля и промышленность слаба, где мало денег в обороте, там мужику удобнее отправлять повинности натурой, нежели выплачивать за наем земли деньгами», — говорит Тенгоборский.

Оборот очень смелый. Да разве вопрос о крепостном праве и наемном труде есть вопрос о том, как должны производиться уплаты по обязательствам: натурой или деньгами? Ведь сам же Тенгоборский говорит, что в обязательном труде, кроме отправления повинности натурой (барщина), бывает и уплата за них деньгами (оброк); и при вольнонаемном труде уплата иногда

производится деньгами, а иногда натурой, например, при системе половничества, при нашем обычае нанимать людей на известную сельскохозяйственную работу из третьего, из четвертого снопа; даже на многих фабриках жалованье вольнонаемным рабочим выдается натурой, произведениями фабрики, а не деньгами. Дело должно идти о том, нужно ли сохранить обязательный труд, а Тенгоборский повертывает вопрос на то, во всех ли местностях можно заменить барщину оброком. Оборот очень смелый, но оскорбительный для читателя, которого автор предполагает слишком тупоумным простяком, воображая, что его можно провести таким грубым обманом.

Вы говорите, что в малоденежных местах при обязательном труде уплата работника хозяину удобнее производится натурой, нежели деньгами, — что ж из того? В этих местностях при вольнонаемном труде уплата от хозяина работнику может также производиться натурой, а не деньгами.

Но тут опять мы должны возвратиться к вопросу: отчего же в этих местностях мало денег в обороте, отчего слаба торговля и промышленность? Все от той же коренной причины нашей бедности, — от обязательного труда, разорительного для нации.

Но всех прежних доводов еще мало Тенгоборскому, он все-таки чувствует, что не защитил крепостного права своими рассуждениями, и пробует опереться на факты. Он говорит, что поселяне в России живут довольно зажиточно, и полагает доказать этим, что вредное влияние крепостного права не так велико, как все думают. О степени благосостояния крепостных крестьян мы не считаем нужным и говорить, — какова она, знает каждый; а если бы вздумали мы здесь излагать то, что известно каждому, это заняло бы слишком, слишком много места. Если же в некоторых странах Западной Европы поселяне живут не лучше, нежели в России, хотя в этих странах и нет крепостного права, из этого еще ровно ничего не следует в пользу крепостного права. Иван худ и слаб оттого, что изнурен золотухой, говорите вы, — нет, золотуха — болезнь не изнурительная, возражаю я, и указываю вам на больного лихорадкой Петра, с торжеством прибавляя: «Вот Петр не страдает золотухой, а не лучше Ивана, стало быть в золотухе нет ничего особенно дурного, и у Ивана здоровье не страдает от нее». У нас одни причины бедности, в Западной Европе — другие; и нам нужно заботиться о том, чтобы, уничтожая свои недостатки, не попасть в те ошибки, которые ведут к другим бедствиям. В чем источник страданий поселян Западной Европы, мы будем еще иметь случай говорить, развивая наши мысли о том, как нам предохраниться от подобных бедствий. В Западной Европе беден тот земледелец, который не обрабатывает землю на себя; у нас каждый, даже крепостной земледелец, имеет свой участок, — этим до некоторой степени вознаграждаются все другие наши недостатки, и основным принципом своих

желаний по делу освобождения крепостных крестьян мы должны принять то, чтобы они не остались без земли. Этот принцип, слава богу, поставлен теперь вне опасности высочайшими рескриптами, определяющими освобождение крестьян с усадьбой и разделение господских полей от крестьянских. Об этом мы еще будем говорить впоследствии.

Но чувствуя, что с этой стороны, со стороны последствий обязательного труда для благосостояния крестьян, крепостное право не может быть защищено, Тенгоборский опять возвращается к мысли о необходимости его для обработки господских полей; чувствуя, что умозаключения его на эту тему мало убедительны, он думает найти лучшую опору в авторитете и приводит отрывок из Гакстгаузена. В статье о книге Гакстгаузена («Современник», 1857, № VII) \* приведена была часть этого отрывка с предшествующим ему расчетом, на котором основывается заключение, цитируемое Тенгоборским. Тогда же замечено было в этой статье, что расчет Гакстгаузена о невыгодности наемного хозяйства в России построен на фальшивом сближении и опровергается фактами, приводимыми у самого Гакстгаузена; замечено было также, что если б даже принять этот фальшивый расчет, из него следовало бы вовсе не то заключение, какое делает Гакстгаузен. Теперь мы можем точнее развить эти мысли.

Прежде всего повторим, что уже было сказано в настоящей статье: если бы расчет и вывод из него у Гакстгаузена был совершенно справедлив, если бы действительно возделывание некоторых полей в России было возможно только при обязательном труде, — что следовало бы из того? Следовало бы только, что некоторые поля не окупают работы, на них употребляемой, и что чем скорее прекратится их обработка, невыгодная для государства, тем лучше будет для государства. Если бы я, пользуясь какими-нибудь привилегиями, данными мне от государства, вздумал разводить лес в Вологодской или Вятской губерниях, в которых и без того слишком много леса, без сомнения, мне удалось бы кое-как развести несколько десятин леса на моих плантациях. Но само собой разумеется, продажа этого леса далеко не покрывала бы моих расходов, и плантации мои поддерживались бы только тем, что государство каждый год жертвовало бы мне пособие, — что следовало бы из такого положения дел? Только то, что я разоряю государство для поддержки моего нерасчетливого производства, следовало бы, что здравый смысл должен говорить государству о необходимости прекратить помощь, которую я растрачиваю нерасчетливым образом, а мне должна говорить совесть, чтобы я прекратил свое нерасчетливое производство и обратился к какому-нибудь другому занятию, которое было бы не разорительно, а выгодно для государства.

\* См. т. III наст. изд. — Ред.



Основным принципом всех соображений о государственном и частном хозяйстве должна быть аксиома, несомненная как  $2 \times 2 = 4$  для каждого экономиста: производство, не покрывающее при наемном труде своих издержек продажей продуктов, разорительно для государства, и чем скорее оно прекратится, тем лучше для государственного благоденствия.

Кто не принимает этой аксиомы, тот обнаруживает совершенную неприготовленность свою к рассуждению о каких бы то ни было экономических делах, государственных ли или частных, своих ли собственных или чужих.

Таков был бы ответ на расчет и вывод Гакстгаузена о невыгодности обработки некоторых полей в России наемным трудом, таков, говорим мы, был бы ответ, если бы расчет был верен и вывод логичен. Но расчет Гакстгаузена фальшив, и вывод из него ошибочен.

Прежде всего припомним точный смысл слов Гакстгаузена. Он говорит, что если бы ему давали даром землю в Ярославской губернии с условием возделывать ее наемным трудом в таком же роде, как возделывается земля в юго-западной Германии, такое хозяйство было бы убыточно, и он отказался бы от подарка.

Справедливо. Но в чем тут сущность дела? По выводу Гакстгаузена кажется, будто невыгода произойдет от условия возделывать землю наемным трудом. Так ли? Не от другого ли какого условия? Гакстгаузен говорит, что вести хозяйство он думал бы так, как в юго-западной Германии; не довольно ли одного этого обстоятельства для объяснения невыгоды?

В Николаевском уезде Самарской губернии земля не удобряется, в Рязанской удобряется. Если бы мне даром давали землю в Самарской губернии с условием удобрять ее по-рязански, это условие было бы разорительно, все равно, обязательным или наемным трудом стал бы я ее обрабатывать. Чернозем не терпит рязанского удобрения, и урожаи были бы плохи, да и ценой хлеба в Самаре не окупаются издержки на удобрение. Наоборот, если бы я должен был рязанскую землю возделывать по-самарски, без удобрения, я разорился бы, все равно и при обязательном и при наемном труде; урожай без удобрения в Рязани не возвращал бы даже семян.

Что из этого следует? Просто то, что в каждой области порядок хозяйства должен быть сообразен с климатом, почвой и т. п. Дело идет о том, в чем должны состоять работы, а вовсе не о том, обязательным или наемным трудом они совершаются.

В юго-западной Германии земледелец круглый год может быть занят полевыми работами, сообразно тому он и не занимается ничем другим. Если бы у нас при нашей длинной зиме земледелец проводил в бездействии все то время, когда нет полевых работ, это было бы убыточно — вот и все. Потому у нас поселянин зимою и занимается какими-нибудь промыслами, пре-

имущественно извозом. Гакстгаузен не принимает этого в расчет; оттого и выходит у него недочет в хозяйстве. Если бы он считал, что наемный работник, точно так же, как крепостной крестьянин, и точно так же, как самостоятельный хозяин поселанин, половину года занят промыслами, результат был бы иной.

Пусть хозяин нанимает работника для полевых работ только на полгода или, если нанимает его на целый год, употребляет наемщика зимой на какой-нибудь промысел, — вот прямое известное у нас каждому по опыту следствие продолжительности нашей зимы. Упускать это из виду — значит искажать сущность вопроса.

Не менее дурное искажение состоит и в том, что, взяв обстоятельства, существующие в Ярославской губернии, которая одна из самых невыгодных у нас для земледелия и в которой потому почти все население имеет главным источником дохода не земледелие, а промыслы, Гакстгаузен, а еще более Тенгоборский делают по этой губернии заключение обо всей России. Это похоже на то, как если бы из невыгодности хлебопашества на западном берегу Ирландии делать заключение о невыгодности его во всей Западной Европе. Добросовестна ли такая уловка?

Если бы расчет Гакстгаузена и не был фальшив, он применялся бы только к Ярославской губернии и очень немногим другим местностям, которые известны под именем промышленных. Добросовестно ли брать за образец Ярославскую губернию, когда дело идет о выгодах земледелия в России? Это все равно, что брать за образец Бранденбург, когда дело идет о виноградниках Западной Европы. И в Бранденбурге есть виноградники, и там выделывают вино, но этот промысел невыгоден и бранденбургское вино очень дурно, — следует ли из того, что во всех странах Западной Европы виноградники дают мало дохода и приносят вино дурного качества?

В Ярославской губернии земледелие менее выгодно, нежели в других русских областях, — итак, во всей России земледелие может существовать только при обязательном труде; русское хозяйство устроивается так, что только половину года занято земледелием, а другую половину года другими промыслами, — итак, обязательный труд выгоднее наемного. Какие изумительные заключения! «Я плохо играю на скрипке, потому мой брат хорошо играет на гитаре» — превосходный силлогизм!

Гакстгаузена и Тенгоборского занимает вопрос, возможно ли земледелие с наемным трудом в тех местах, где земледелец может заниматься возделыванием своих полей с выгодой для себя, — этот вопрос представляется уже совершенной нелепостью, если вникнуть в сущность понятий, которых он касается.

Если земледелец, возделывающий на себя свой участок, находит выгоду обрабатывать его, это значит, что ценность производства с избытком покрывается ценностью продуктов.

Наемная плата составляет только часть расходов производства.

Каким же образом наемная плата не будет покрываться ценностью продуктов, доставляемых трудом наемщика?

Из этого видно, что повсюду, где возможно существование земледельца, возделывающего на себя свой участок, наемный труд и подавно будет окупаться ценностью продуктов.

Боже мой! Не во сне ли привиделось нам, будто ученые агрономы усомнились в возможности возделывать землю в России наемным трудом? Наяву едва ли могла притти кому-нибудь в голову такая химера. Разве не известно каждому, не только агроному, но и простому человеку, что увеличение числа работников в русской земледельческой семье считается благодатью божией, что чем больше работников в семье, тем она зажиточнее? Разве не значит это, что содержание работника с избытком и большим избытком окупается его работой? Разве не известно, что каждый домохозяин, если только имеет достаточное количество земли, считает выгодным для себя принять работника? Что же это значит, скажите ради бога, если не значит, что наемный труд в русском земледелии выгоден?

Укажите местность, в которой земледельческая семья, например, из восьми человек с тремя работниками считалась бы беднее такой же семьи с двумя работниками, — только в такой местности труд не окупается, стало быть невозможен труд, но такой местности в России вы не найдете.

Боже мой, и люди, называющие себя агрономами-экономистами, отваживаются при таких очевидных фактах говорить об убыточности наемного труда! Неужели они не могут сообразить, что наемный труд только тогда убыточен, когда работа не окупает себя? Неужели же они воображают, что доходы, доставляемые работой мужика-земледельца, возделывающего свой участок, обращаются в убыток этому мужику? «Наемный труд в русском земледелии не окупается» — ведь это значит, что Россия не может заниматься земледелием, что земледелие для России — убыточное занятие.

Можно ли отваживаться высказывать такие нелепости? Ведь это — посрамление не говорим уже для науки, это — посрамление для смысла человеческого.

Не будем же рассуждать о том, окупаются ли в России издержки наемного земледельческого труда; сомневаться в этом — значит сомневаться в том, выгодное или убыточное дело хлебопашество в России, может ли русский поселянин-земледелец иметь выгоду запашки от своего участка, — если он имеет выгоду, то будет иметь выгоду от своего поля и тот, кто наймет работника для его возделывания.

Тенгоборский и Гакстгаузен в своей ревности за крепостное право зашли слишком далеко, поставили вопрос так, что сомнение

в его положительном решении представляется очевидной нелепостью. Но это они увлеклись издешней ревностью, — в сущности, им следовало бы говорить не о том, возможно ли вести земледелие наемным трудом, — это не подлежит спору, — а только о том, каким образом выгоднее для помещика вести земледелие, наемным или обязательным трудом. Наемный труд не убыточен; но, быть может, обязательный труд в настоящее время выгоднее для помещика?

На это положительным образом отвечает наука. Одно из обстоятельств, от которых зависит выгодность или невыгодность наемного труда для помещика сравнительно с обязательным, есть густота населения. Чем меньше населения в стране, тем выгоднее для земледельца обязательный труд; чем гуще население в стране, тем выгоднее для него наемный труд. Токер (Tucker)<sup>8</sup> занимался исследованием об этом и нашел, что при населении в шестьдесят шесть человек на квадратную английскую милю наемный труд для земледельца становится уже выгоднее обязательного. Эта цифра слишком высока, как мы увидим ниже; и при населении менее, нежели шестидесяти шести душ на английскую квадратную милю, наемный труд уже выгоднее обязательного, — это мы докажем, но попробуем применить к России даже ту цифру, которую находим у Токера.

Чтобы применить эту цифру к России, надобно принять в соображение два обстоятельства: число городского населения и количество неудобных земель.

В тех странах, которые имел в виду Токер (Западная Европа и Северная Америка), городское население составляет не менее одной трети всего числа жителей. В России оно, считая столицы, едва составляет десять процентов, а в большей части губерний не составляет и девяти процентов.

В Западной Европе и Северной Америке количество неудобных для хлебопашества земель очень невелико: пять-шесть процентов всего пространства территории; в Европейской России неудобные земли занимают более одной третьей части всей территории.

Эти два обстоятельства надобно ввести в расчет, если применить к России цифру, показываемую Токером.

66 человек на английскую квадратную милю — это дает 1 400 на квадратную географическую милю. Из них в Западной Европе и Северной Америке на городское население приходится не менее  $\frac{1}{3}$ , стало быть, для сельского населения остается 966 человек. Итак, те губернии России, в которых число сельского населения превышает эту последнюю цифру, удовлетворяют условию, представляемому Токером.

Но неудобной земли, которая не занимает рук, нечего считать, когда речь идет об отношении числа рабочих рук к пространству возделываемой земли. Есть в России губернии, например Воро-

нежская, Тульская, Подольская, Нижегородская, Тамбовская, в которых пропорция неудобной земли невелика, всего 3%—8%: это пропорция вроде той, какую имел в виду Токер. Но в губерниях Оренбургской и Херсонской целая половина пространства — неудобная земля; в Екатеринославской, Ставропольской, Таврической губерниях неудобной земли даже больше, нежели удобной. Несправедливо было бы считать население на обширные пустыни, не могущие иметь населения и не могущие занимать работников. Потому 966 [душ] сельского населения мы должны считать на удобные земли с прибавкой 5% неудобных земель, как считал Токер, а излишнее затем пространство неудобных земель выбрасывать из счета: они не занимают рабочих рук.

Производя применение Токерова вывода к России с соблюдением двух этих условий, требуемых сущностью дела, мы увидим, что на всем почти пространстве России, имеющем крепостных крестьян, население уже достигло той плотности, при которой наемный труд становится для земледельца выгоднее обязательного. Из областей, имеющих сельского населения менее 966 душ на квадратную географическую милю удобной земли с прибавкой 10% неудобной, о всех почти мы положительно знаем, что малочисленность населения с избытком вознаграждается в них другими обстоятельствами, благоприятствующими развитию выгодности наемного труда, и о большей части этих областей мы имеем положительные факты, свидетельствующие неоспоримым образом, что наемный земледельческий труд в этих областях с успехом выдерживает соперничество обязательного.

Области Русской империи, не имеющие и в настоящее время обязательного труда или по самой плотности своего сельского населения достигшие такого положения, при котором наемный труд становится для земле[вла]дельца выгоднее обязательного, или по другим местным условиям достигшие такого же экономического положения, обнимают почти все пространство России, и население их простирается слишком до 63 000 000. Во всех этих областях обязательный труд для самого землевладельца менее выгоден, нежели наемный.

Затем остаются в двух местностях округа, незначительные по своему объему и населению в сравнении с пространством России. Пространство этих областей составляет около 6 000 географических миль, менее нежели одну пятнадцатую часть Европейской России, а население простирается не более как до 3 500 000 душ обоего пола, то есть не составляет и одной восемнадцатой части населения России. Об этих местностях нельзя с достоверностью решить по Токеру правилу, выгоднее ли в них наемный труд обязательного. Мы не имеем сведений о том, существуют ли в них, как в других многоземельных областях России, условия, которыми и при малонаселенности придается наемному труду выгода сравнительно с обязательным; потому мы не можем сказать

с достоверностью, что в этих областях замена обязательного труда наемным будет для землевладельцев выгодной, но еще менее оснований имеет кто-либо сказать, что она была бы невыгодна; об этом вопросе нет точных сведений, и нужно еще собрать их; но судя по примеру сходных с этими областями местностей, имеющих выгоду в наемном труде, надобно ожидать, что точнейшие сведения обнаружат выгодность наемного труда и для этих областей\*.

\* Вот цифры и факты, на которые ссылаемся мы в тексте. Заметим, что числа о населенности и о пропорции неудобных земель взяты нами из того же Тенгоборского, который говорит о невыгодности наемного труда, сам не воображая, что данными из его собственной книги опровергается это мнение.

1) Царство Польское, Финляндия, Курляндия, Эстляндия и сибирские губернии не имеют крепостного населения; общее число жителей 10 750 000.

2) В губерниях Архангельской, Вятской, Астраханской, Олонецкой, Таврической, в Бессарабской области и закавказских владениях число крепостных крестьян так незначительно, что с уничтожением обязательного труда не может произойти никакой чувствительной перемены в экономических отношениях, по которым возделывается земля (в Архангельской губернии наименьшая пропорция — крепостные люди не составляют и одной 15-тысячной части населения; в Таврической губернии, где пропорция их наиболее значительна, они не составляют и одной 15-й части населения). Общее число жителей 6 250 000.

3) Из остальных губерний: А) имеют более 1 400 жителей на квадратную милю: Московская, Курская, Подольская, Тульская, Киевская, Полтавская, Рязанская, Калужская, Орловская, Пензенская, Ярославская, Тамбовская (по Тенгоборскому), также Харьковская (по Кеппену, см. Месяцеслов, 1855). Общее число жителей 19 000 000.

В) За вычетом количества неудобной земли, превышающего 5-процентную пропорцию, имеют более 1 400 жителей на квадратную милю губернии: Гродненская, С.-Петербургская, Екатеринославская. Общее число жителей 2 750 000.

С) За вычетом городского населения, имеют более 1 000 сельского населения на квадратную милю: Черниговская, Воронежская, Владимирская, Нижегородская, Ковенская, Казанская, Тверская, Волынская, Смоленская. Общее число жителей 11 500 000.

Д) За вычетом неудобных земель, сельского населения приходится более 1 000 душ на милю в губерниях: Виленской, Могилевской, Витебской, Херсонской. Общее число жителей 3 250 000.

Губернии и области, нами исчисленные, или не имеют обязательного труда, или уже по самой плотности своего населения находятся в таком состоянии, при котором для землевладельца наемный труд выгоднее обязательного. Число жителей всех этих губерний составляет цифру 53 500 000.

Затем остаются губернии: Пермская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Костромская, Ставропольская, Минская, Новгородская, Вологодская, Псковская и Земля донских казаков с общим населением в 13 250 000.

Эти области не имеют столь густого населения, чтобы одна плотность его уже указывала на то, что наемный труд для возделывания полей выгоден в них землевладельцу. Зато в большей части из них существуют другие условия быта, приводящие к тому же результату: в одних областях — чернозем, уменьшающий издержки найма, в других — выгодный сбыт в приморские порты или в столицы, с избытком заменяющий малочисленность местных потребителей. «В большей части этих областей», а не во «всех без исключения этих областях» сказали мы только потому, что сельскохозяйственная



Теперь спрашивается: могут ли все области Русской империй с громадным населением в 63 000 000 человек, — могут ли эти области, в которых даже для самих помещиков выгодно отменение крепостного права, — могут ли они подвергаться всем бесчисленным неудобствам, вытекающим из обязательного труда, потому только, что в двух или трех небольших округах, не имеющих и 3 500 000 населения, для некоторых землевладельцев наемный труд может быть (не наверное, вовсе нет, а только может быть, да и то едва ли) будет менее выгоден, нежели обязательный? Припомним еще, что даже для этих немногих землевладельцев небольших округов наемный труд, без сомнения, будет приносить выгоду, и сомнение только в том, будет ли он приносить им столько выгоды, сколько обязательный\*.

статистика наша разработана еще очень мало, и о состоянии сельского хозяйства в некоторых областях нет у нас точных сведений; но о всех тех областях, о которых есть точные сведения, известно, что возделывание хлеба наемным трудом выгодно в них даже ныне, — нет, напротив того, ни одной области, о которой было бы известно, что он в ней невыгоден. Исчислим же те из многоземельных областей, в которых и ныне, по достоверным сведениям, земледельцу выгодно возделывание полей наймом.

Ставропольская губерния, подобно другим Новороссийским, с выгодой возделывает поля наемным трудом.

Саратовская губерния также, — это доказывается хозяйством колонистов, имеющих множество наемных сельскохозяйственных работников; доказывається также множеством примеров русских купцов, разночинцев и поселян, также возделывающих поля наемным трудом.

Таков же, как в Саратовской губернии, характер хозяйства в Симбирской.

То же самое в Земле донских казаков.

То же самое (по свидетельству самого Гакстгаузена) в Вологодской губернии.

В Пермской губернии наемный труд также выгоден.

В Оренбургской губернии также, и притом число крепостных крестьян незначительно.

Самарская губерния, составившаяся из уездов Оренбургской, Саратовской, Симбирской, Астраханской губерний, может с такой же выгодой, как и те, возделывать хлеб наемным трудом.

Во всех этих губерниях и областях находится жителей 9 750 000.

С прежним итогом эта цифра составляет 63 250 000 жителей.

Остаются губернии: Костромская, Минская, Новгородская, Псковская, о которых мы не знаем, возделывается ли в них с выгодой хлеб наемным трудом, — того, что в них это не представляло бы выгоды, мы не имеем права сказать. Все эти губернии, единственные, в которых недостоверно (хотя и вероятно) выгодность наемного сельскохозяйственного труда, едва имеют жителей 3 500 000.

В том числе крепостных крестьян менее 2 000 000 душ обоего пола.

Если в Вологодской и Вятской губерниях, имеющих климат более холодный и население не более плотное (Вятка), или даже гораздо менее плотное (Вологда), наемный труд выгоден, то мы имеем всю вероятность ожидать, что точные сведения покажут его выгодность и для этих областей.

\* По Тенгоборскому, число всех помещиков в губерниях Новгородской, Псковской, Костромской и Минской — 12 107; из них имеют менее 20 душ, то есть ни в каком случае не могут сколько-нибудь порядочным образом жить доходами со своих поместий, 6 323. Остается помещиков, у которых

Таков результат, к которому приводит применение к России той нормы, которая поставлена Токером. Но мы заметили, что эта норма, под которую уже подходит почти вся Европейская Россия, слишком высока. Было бы слишком долго здесь излагать, почему должно признать слишком высоким число 66 жителей на квадратную английскую милю, при котором, по Токеру, начинается решительная невыгодность обязательного труда для землевладельцев. Довольно будет указать один факт: северные штаты Американского Союза, в которых нет обязательного труда, процветают, как известно, при свободном труде, и все жители их, землевладельцы и земледельцы, капиталисты и работники, одинаково думают, что для всех их было бы разорением, если бы существовал у них обязательный труд. Между тем густота населения в этих штатах гораздо меньше, нежели в Европейской России\*.

Но зачем искать за Атлантическим океаном примеров того, что в землях, населенных гораздо меньше, нежели русские области с крепостным правом, наемным трудом поля возделываются с выгодой против обязательного труда? У нас под глазами Финляндия, в которой населенность гораздо меньше, нежели во всех наших губерниях с крепостным правом, в которой климат суровее,

доходы с поместьев имеют некоторую важность, 5 784. Итак, с одной стороны, благо государства и прямая выгода 63 000 000 человек (не говоря уже про облегчение судьбы крепостных крестьян), с другой — *быть может*, некоторый убыток для 5 784 лиц, — *быть может*, некоторый убыток, а быть может, также и для них самих выгода.

\* Вот цифры населения северных (не имеющих обязательного труда) штатов Американского Союза за 1850 год:

1) Штаты Новой Англии (Мэн, Ньюгемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут) 2 727 579 жителей на 63 226 английских квадратных милях, то есть 43,07 жителей на квадратную английскую милю, или 915 на квадратную географическую милю. В Европейской России гораздо гуще населены губернии: Московская, Курская, Подольская, Тульская, Киевская, Полтавская, Рязанская, Калужская, Орловская, Пензенская, Ярославская, Тамбовская, Черниговская, Воронежская, Владимирская, Нижегородская, Гродненская, Ковенская, Казанская, Харьковская, С.-Петербургская, Тверская, Волынская, Виленская, Смоленская, область Бессарабская, губерния Могилевская, также Царство Польское, Курляндия и Лифляндия. Равную этим штатам населенность имеют губернии Симбирская и Витебская.

2) Северо-западные штаты (Индиана, Иллинойс, Мичиган, Уисконсин и Иова) 5 168 000 жителей на 308 210 квадратных английских милях, то есть по 16,75 жителей на квадратную английскую милю, или 356 жителей на квадратную географическую милю; в Европейской России почти все области гораздо более населены; менее 356 жителей на квадратную географическую милю имеют только губернии Архангельская, Астраханская, Олонецкая, Великое княжество Финляндское (во всех этих областях нет обязательного труда) и губернии Вологодская, Пермская, Оренбургская и Земля донских казаков (во всех этих областях наемный труд в земледелии выгоден, как известно из положительных фактов). Во всей остальной Европейской России население гуще, нежели в этих штатах, и, стало быть, надобности в обязательном труде еще меньше, нежели в них.

почва неблагодарнее, нежели в русских областях нашей империи. Мы видим, что наемный труд финляндского земледелия приносит владельцам земли более выгод, нежели получают наши землевладельцы от земледелия с обязательным трудом.

Но Финляндия населена иным племенем, с другими привычками? Есть у нас пример и в одноплеменных нам странах. Сибирь с своим чрезвычайно редким населением превосходно возделывает свои поля без обязательного труда. Впрочем, зачем ходить в Азию, когда много таких примеров и в Европейской России? Архангельская и Олонецкая губернии — самые малонаселенные страны Европейской России, и, однакоже, вовсе не нуждаются в обязательном труде тамошние землевладельцы для того, чтобы с выгодой для себя возделывать каждый удобный для хлебопашества кусок земли.

Если наемный земледельческий труд во всех без исключения странах Европейской России, допускающих по своему климату земледелие, выгоден, то мы не знаем, зачем после этого нужно существование обязательного труда. «Затем, — говорит Гакстгаузен, — чтобы издержки производства не падали на землевладельца» — а, это хорошо.

Впрочем, едва ли не напрасно оспаривали мы вывод Гакстгаузена о необходимости обязательного труда, — он сам отступает от этого вывода, говоря, что есть средство с выгодой вести хозяйство наемным трудом: нужно только, чтобы наемные работники не сидели сложа руки, — для этого следует или нанимать их только на время полевых работ, или во время зимы, когда нет полевых работ, давать им другое занятие. Если таким легким способом, по мнению Гакстгаузена, можно сделать наемный земледельческий труд выгодным, к чему же толковал он и особенно к чему еще решительней его толковал вслед за ним Тенгоборский о надобности в обязательном труде? И к чему опять после того начинает он толковать о необходимости того же обязательного труда для сохранения больших помещичьих хозяйств? Ведь он сам уже объяснил, каким образом они удобно могут поддерживаться и без обязательного труда.

В заключение всего, наделав противоречий самому себе, Гакстгаузен говорит, что обязательные повинности должны быть ограничены законом, и Тенгоборский наивно прибавляет, что в действительности русский крепостной крестьянин *n'est pas taillable et corvéable à volonté*, как некогда французский. Так смело противоречить фактам можно только в книге, писанной на иностранном языке, назначенной не для русских читателей, из которых каждому слишком хорошо известны следующие факты:

Заменить барщину оброком или ссадить крестьян с барщины на оброк зависит от воли помещика. Надобно ли объяснять, что такие перемены чаще всего производятся в видах увеличения доходности имения?

При оброчном положении величина оброка зависит совершенно от воли помещика.

При барщине воля помещика определяет:

1) Пространство господской запашки; от него зависит число рабочих дней.

2) Дополнительные к барщине сборы натурой (полотно, ягоды, куры, яйца и т. д.).

3) Отправление обозной повинности.

При оброке и барщине воля помещика одинаково определяет, до каких лет мужик несет тягло.

Это главные и общие черты того влияния, которое имеет воля помещика на величину повинностей.

Надобно ли прибавлять, что от воли того же лица зависит, останется ли оно верно обыкновенному порядку, какого держится большинство, или вздумает отличаться от большинства какими-нибудь особенностями, то есть удовольствуется ли этими и другими обыкновенными способами получения доходов от обязательного труда, или введет другие способы?

Из этих способов, которых не держится большинство помещиков, но принять которые может каждый желающий помещик, назовем хотя следующие:

1) Учреждение завода или фабрики с обязательным трудом.

2) Соединение оброка с барщиной двумя путями: А) с преобладанием барщины, причем денежный оброк есть уже, так сказать, сверхкомплектный оклад (независимый от дополнительных сборов, упомянутых выше); В) с преобладанием оброка, при котором барщина есть уже, так сказать, сверхкомплектный оклад. Например: А) полная барщина во все время полевых работ с оброком в 5 или 10 рублей с тягла на зиму; В) оброк в 20 или 30 рублей с тягла с работой по одной или по полуторы недели во время запашки и сенокоса.

3) Перевод пахотных крестьян всей деревни на месячину.

4) Поставка рекрутов сверх комплекта.

Этих способов можно бы назвать гораздо больше, но полного списка их никогда не только нам, но и никому в мире не удалось бы составить, потому что изобретательность человеческого ума неисчислима.

При всех своих уверениях в необходимости сохранить в России обязательный труд Тенгоборский почему-то, вероятно вследствие внутреннего увлечения ошибочными мнениями, которые так основательно опроверг, начинает говорить о средствах уменьшить объем и произвол обязательного труда и даже вовсе уничтожить эту повинность. Он чрезвычайно восхищен, заметив, что в некоторых поместьях барщина заменяется оброком, а в некоторых поместьях вводится урочное положение, и воображает, что это великий шаг вперед и что оброк чуть ли уже не есть превращение обязательного труда в поземельную ренту, то есть уничтожение

обязательного труда; из такой прекрасной мечты он выводит, что можно правительству и не заботиться об этом деле, — оно, дескать, совершается само собой, по воле самих землевладельцев, по местным удобствам, без участия правительства, и во всяком случае составляет местный, а не государственный вопрос.

Мечта эта прелестна, как лучшая из идиллий Теокрита. Чтобы верить ей, нужно только два очень легкие условия: не понимать или отвергать факты и спутывать самые основные экономические понятия.

Барщина иногда заменяется оброком, — есть ли это уменьшение произвола в наложении обязательного труда? Вовсе нет, напротив, произвол увеличивается. Обычай и в случае нужды закон может мешать увеличению барщины выше трех дней; размер оброка не зависит ни от обычая, ни от закона, он весь в произволе. Когда барщина обыкновенно заменяется оброком? Тогда, когда он выгодней для помещика, нежели барщина; потому результат его вообще — увеличение, а не уменьшение обязательных повинностей. Барщина касается только сельскохозяйственного, извозного и фабрично-заводского труда, оброк обнимает все промыслы и занятия. Торговец из крепостных людей по системе барщины должен был бы только поставить вместо себя работника, то есть отправлять повинность ценой в 20, 30 рублей серебром в год; но он платит оброк в 50, 100 и более рублей. Мы вовсе не отдаем преимущества барщине перед оброком, мы говорим только, что оброк нимало не составляет шага вперед к уменьшению произвольности в наложении обязательных повинностей.

Притом, если барщина иногда заменяется оброком, то разве иногда не сводится деревня обратно с оброка на барщину? Кто считал, которое из этих двух направлений имеет перевес в общей массе?

Урочное положение также зависит от воли помещика; и стоит ли говорить об этом изменении, которое, может быть, и удобно для сельских работ, но нимало не относится до различия между наемным и обязательным трудом? Наемный труд точно так же, как и обязательный, бывает поденный или урочный; при наемном труде урочное положение очень часто выгодно для усиления производства; при обязательном труде это бывает далеко не всегда, потому что уроки определяются, подобно величине оброка, односторонним образом, и размер их часто ведет только к расширению трехдневной работы на четырехдневную и более, через определение таких поденных уроков, которых нельзя исправить в день, и через пропажу для мужика дней неудобной погоды; при таком порядке энергия труда может ослабевать даже более, нежели при поденной работе. То же самое часто бывает и следствием оброка.

«Оброк есть шаг к замене обязательного труда поземельной рентой» — вовсе нет. Оброк есть средство получать с поместья

больше доходов, нежели могла бы доставить барщина; ни к чему другому ни средством, ни шагом он не служит. Чрезвычайно любопытно сближение его с поземельной рентой: оно совершенно похоже на сближение обязательного труда вообще с наемным трудом. Рента определяется свободной торговой сделкой между отдающим и нанимающим землю точно так, как плата за работу свободным торгом между нанимателем и нанимающимся. Оброк назначается волей землевладельца точно так же, как и вообще размер обязательного труда. Ни на один волос не ближе оброк к ренте, нежели барщина к найму.

«Правительство может не заботиться об уничтожении обязательного труда», — ну да, оброк все равно, что рента, ну да, оброком уже уничтожается обязательный труд.

«Во всяком случае отменение обязательного труда должно быть местным вопросом». Умилителен ловкий оборот, придаваемый делу словами «местный вопрос». Что это значит? То ли, что по различию местностей формы и размеры вознаграждения, определяемые землевладельцу за отмену обязательного труда и передачу части земель крестьянам, должны быть различны? Но в этом смысле все совершающееся в государстве подойдет под формулу местного вопроса. Государство берет поземельную подать с крестьян, живущих на государственных землях; величина этой подати не по всему государству одинакова, напротив, сообразна местным условиям. Десятина земли в одной губернии платит больше, нежели в другой, в одном уезде больше, нежели в другом. Государство дает жалованье учителям гимназий и армейским офицерам; форма выдачи различна; офицеры получают жалованье по третям, учителя гимназий — по месяцам; и размер жалованья различен по местностям: тот самый учитель латинского языка, который в Петрозаводске получает 500 рублей серебром, в Пензе получает только 400, потому что в Петрозаводске содержание дороже, нежели в Пензе; вопрос о жалованьи решен, как видим, по местным условиям. Если это хотел сказать Тенгоборский, каждый согласится с ним. Но попробуйте согласиться на выражение «местный вопрос», и через пять минут вам объяснят защитники обязательного труда, что умысел другой тут был, и какой именно умысел — слишком ясно доказывается всеми предшествовавшими рассуждениями Тенгоборского о том, что необходимо сохранить крепостное право, а если суждено когда-нибудь уничтожиться этому выгодному для нас учреждению, то подождем того времени, когда барщина сама собой заменился оброком, а оброк сам собой обратится в ренту, от которой он, впрочем, мало чем и отличается, а правительству, дескать, хлопотать об этом нечего.

«С течением времени обязательный труд облегчается смягчением нравов, и правительству нет надобности вмешиваться в эти дела». В ответ на это выпишем несколько слов из Рошера<sup>9</sup>, кото-



рого никто не назовет человеком мрачного взгляда на вещи или любителем перемен или партизаном правительственного вмешательства в экономические отношения.

«Прогресс цивилизации отягощает бремя обязательного труда. По мере того, как возрастают требования роскоши, бездна, отделяющая господина от слуги или крестьянина, расширяется с каждым днем. По мере того, как развиваются промышленность и торговля, господин находит все больше и больше выгоды требовать чрезмерного труда. По мере того, как с развитием общества покровительство законов становится все более и более действительным, опасение насилий — эта последняя узда, которая могла бы удерживать жадность, — становится все более и более слабым, а между тем деморализация и господ и слуг все увеличивается соразмерно возрастанию роскоши. С обеих сторон страдает чистота нравов. Лепо древней комедии был хозяин невольниц. В английских вест-индских колониях, когда существовало там невольничество, часто случалось, что посетитель, приехавший в гости к плантатору, уходя спать, говорил провожавшему его негру, чтобы прислать ему девушку, и говорил это, стесняясь и совестясь так же мало, как если бы в Англии просил зажечь в своей комнате на ночь лампу.

Этим объясняется, почему у всех почти народов, при развитии цивилизации, государственная власть старалась о смягчении обязательного труда. Самодержавная монархия у всех почти народов видела себя в необходимости энергически содействовать уничтожению обязательного труда и вообще улучшению участи низших классов. В Италии Фридрих II освободил всех государственных невольников. В Англии Альфред Великий старался, хотя безуспешно, об освобождении невольников. Вильгельм I имел более успеха. Королева Елисавета совершила то же в Англии, что Фридрих II в Италии. Даже в России царь Иоанн III возвратил крестьянам свободу перехода, которой лишились они во время монгольского ига; но они снова потеряли это право в смутные времена при начале XVII века, когда усилилось значение вельмож в правительственных делах. В Богемии, когда при Владиславе II усилилось дворянство, было восстановлено крепостное право, уничтоженное в прежние времена. Датская аристократия, когда усилилась в государстве, также подчинила крепостной зависимости свободных поселян.

Наконец при высокой степени развития цивилизации непреодолимая сила общественного мнения приводит к уничтожению всех остатков рабства» \*.

Кому это объяснение необходимости правительственных мер к отменению обязательного труда покажется недостаточным,

\* Рошер, «Основания политической экономии», перевод Волковского, часть I, §§ 72 и 73.

тому, конечно, будет приятно прочесть следующие соображения, которыми, как нам кажется, совершенно отстраняется всякое сомнение по этому вопросу.

Сделаем полнейшую уступку теории, говорящей, что правительство не должно вмешиваться в политико-экономические отношения. Положим, что правительство никогда ни в какой форме, ни при каких обстоятельствах не должно касаться дел, совершающихся под влиянием политико-экономических принципов. Мы выразили правило о независимости экономического труда от административных мер с такой безусловной энергией, от которой далеки самые ревностные приверженцы этой системы. Прекрасно, что же из этого следует? Правительство не должно нарушать независимого действия политико-экономических отношений; так; каких же принципов и отношений не должно касаться правительство? Политико-экономических. Теперь: обязательный труд принадлежит ли к политико-экономическим принципам, отношения, им порождаемые, подлежат ли правилам политико-экономической науки? Нет. По словам Шторха<sup>10</sup>, в его лекциях, читанных покойному государю Николаю I, тогда бывшему великим князем, — по словам Шторха, «обязательный труд не подлежит ведению политической экономии; он совершенно чужд кругу понятий и отношений, подлежащих этой науке и ее правилам». Все ученые, занимавшиеся политической экономией, от Адама Смита до Рощера, согласны в этом.

Таким образом, думайте, как хотите, о зависимости или независимости политико-экономических принципов и отношений от правительства, — ваши политико-экономические теории нисколько не прилагаются к вопросу об обязательном труде. Обязательный труд — явление, совершенно чуждое правилам политической экономии, историческое явление совершенно иной сферы. Он и возникает и держится в противность всяким экономическим принципам; это явление чисто историческое, возникающее из отношений и событий, подлежащих ведению политики, военного быта, административной власти, но никак не политической экономии. Роль его относительно политико-экономических принципов — роль препятствия их развитию. Правительство имеет не только право, оно, по требованию всех экономистов, имеет прямую обязанность удалять от народной жизни все препятствия действию экономических принципов. Например, когда в государстве мало безопасности на дорогах, это препятствует развитию экономических принципов, и потому государство не только может, но прямым образом обязано водворить безопасность на дорогах<sup>11</sup>. Точно так же, по мнению всех экономистов, правительство обязано всеми своими силами поддерживать правосудие, наблюдать за исполнением контрактов, карать преступления и т. д. Точно таковы же его обязанности по делу свободного труда, который один признается политической экономией: прямая

обязанность правительства состоит из отстранения всех препятствий к развитию этого экономического принципа.

Каким образом правительственная власть отстраняет препятствия действию экономических начал, это дело чисто административной науки, дело политики, но не политической экономии. Политическая экономия требует результата; каким путем политика и администрация достигнут этих результатов, для политической экономии все равно.

Этот аргумент совершенно достаточен для здравого смысла. Но, кроме здравого смысла, бывают в людях страсти. Против них существуют аргументы еще более точные и т. д.

В этой статье мы говорили вообще о благотворности дела, начатого высочайшими рескриптами от 20 ноября, 5 и 24 декабря 1857 года. В следующей должны мы говорить в частности о каждом из оснований, на которых должна быть по этим рескриптам совершена великая реформа, ими начинаемая.

## О НОВЫХ УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОГО БЫТА

[Статья вторая<sup>1</sup>]

Прошедшую статью мы окончили словами, что, объяснив необходимость участия правительства в деле отменения крепостного права, мы должны заняться рассмотрением начал, на которых наилучшим образом может быть произведена эта реформа и которые полагаются в основание ей высочайшими рескриптами. В делах подобной важности следует людям, согласным между собою в общих принципах, присоединяться к системе, основываемой на этих принципах одним из исследователей<sup>2</sup>, специально разбиравших вопрос во всех его подробностях. У каждого могут быть свои мнения о той или другой из этих подробностей, но излишними спорами о них не должно быть затрудняемо решение вопроса. Сообразно этому правилу думаем поступить и мы. Из многочисленных записок, составлявшихся по вопросу о прекращении крепостного права учеными исследователями нашего быта и сельскими хозяевами, мы избираем одну, которая составлена с наибольшею верностью принципам, вполне разделяемым нами, с наиболее точным применением этих начал ко всем подробностям великого дела, и принимаем эту записку, как выражение наших собственных мнений и желаний<sup>3</sup>. Само собою разумеется, что автор записки не ставится чрез это в необходимость ответствовать за те из подробностей нашего взгляда, прежде нами выраженных или долженствующих быть выраженными в продолжение наших статей, которые более или менее различны от его мнений; точно так же и мы не отказываемся от обязанности лично ответствовать за наши мнения. Дело только в том, что записка, нами принимаемая и представляемая здесь в извлечении, поставляется нами, как наилучшее развитие убеждений, с которыми мы совершенно согласны в общих началах, — поставляется как формула, около которой, по нашему мнению, могут соединиться все те, которые, подобно нам, разделяют эти основные убеждения.

Начнем наши извлечения из записки тем местом ее, в котором автор представляет краткий обзор истории частного крепостного права с начала прошлого века.

«Петр Великий, пересоздавший условия нашей внешней и внутренней жизни, не способствовал развитию крепостного права, как думают многие, но ничего не сделал, чтоб уничтожить или по крайней мере преобразовать его. Преемники Петра и не помышляли о крепостном праве. Впервые на него обращено внимание в великий екатерининский век: не только императрица, но и очень многие из тогдашних владельцев смотрели на крепостное право глазами энциклопедистов. Говорят, что в комиссию для составления нового уложения было представлено много мнений, сильно и решительно осуждавших это право. Но все тогдашние возражения против него, будучи отголоском филантропических и философических идей века, лишь поверхностно коснулись этого права, и взгляд той эпохи отразился и на законодательстве великой государыни: против дальнейшего распространения личного рабства, конечно, были приняты некоторые действительные меры, но зато множество казенных крестьян навсегда перешло, вместе с казенными землями, в помещичье владение.

Необходимость упразднить крепостное право впервые представилась ясно и отчетливо европейски-просвещенному уму императора Александра 1-го. Следы этой мысли всюду проглядывают в законодательстве его времени. Дальнейшему распространению крепостного права поставлены решительные преграды и круг действий его стеснен. Видно намерение по возможности уничтожить личное рабство, а крепостную зависимость истолковать в смысле прикрепления к земле. Наконец против жестокого обращения владельцев приняты энергические меры. Этот взгляд и это направление не изменилось и после, несмотря на решительный переворот в общем ходе русского законодательства с Венского конгресса. В этом отношении царствования императоров Александра 1-го и Николая замечательно сходны между собою. Покойный государь гораздо настойчивее и решительнее своего предшественника подготовлял постепенное упразднение крепостного права, — очевидное, поразительное доказательство того, что вопрос поднят не случайно, не по прихоти, но впоследствии побудительных причин величайшей важности.

Бросим беглый взгляд на эти причины.

В экономическом или хозяйственном отношении крепостное право приводит все государство в ненормальное состояние и рождает искусственные явления в народном хозяйстве, болезненно отзывавшиеся в целом государственном организме. Как в теле от неправильного обращения крови обнаруживаются самые разнообразные припадки и болезни, так в государстве от крепостного права.

Не упоминая о других последствиях несвободной и даровой работы, заметим только, что при такой работе, исполняемой лениво и неохотно, по крайней мере вдвое хуже вольной, весьма значительный процент рабочих сил всего крепостного населения России утрачивается без всякой пользы как для помещиков, так и для крепостных, а следовательно, и вообще для государства. По самому умеренному исчислению, потерю эту должно оценить ежегодно по крайней мере в 96½ миллионов рублей серебром\*.

\* Этот расчет основан на следующем: по 9-й народной переписи крепостных помещичьих крестьян (в том числе и однодворчески) числилось в России 10 030 407 душ муж. и 10 508 771 душа жен. пола. Положим (хотя это на деле и не так), что целая их половина — старики, старухи и дети — вовсе не употребляются в работу, что из остальных за тем (5 040 203-х душ муж. пола и 5 254 198 жен.) половина же, т. е. 2 520 102 мужчин и 2 627 099 женщин находятся на оброке и пользуются своим временем самым производительным образом, и только другая половина несет в пользу владельцев личную повинность работою, другими словами — находится на пашне или в издальи; наконец, положим, что последние, строго по закону, работают на своих владельцев не более трех дней в неделю (что тоже совсем иначе бывает в действительности); так как всеми почти хозяевами принято, что помещичьи крестьяне могут давать владельцу, без большого обременения, 140 рабочих дней в году,

В помещицком крепостном праве заключается если не единственная, то бесспорно одна из главнейших причин неправильного распределения сельского народонаселения в империи и искусственного направления его промышленной деятельности. Крепостной не всегда поселен там, где ему удобнее и лучше, и не всегда ведет именно тот образ жизни, который по местным условиям края был бы и для всего государства производительнее и для него самого выгоднее. Многие местности империи содержат, сравнительно, слишком частое население, другие, напротив, страдают отсутствием рабочих рук; там появляется бедность от недостатка земли, здесь остаются без употребления и без пользы пространства самые благоприятные для сельской промышленности. А отчего это? Оттого, что помещицкое право приковывает крепостных к той или другой местности случайно и не дает огромным массам сельского народонаселения расселиться правильным образом. Но этого мало; весьма нередко, посреди народонаселения, занятого отхожими промыслами, у которого земледелие остается на руках одних лишь стариков, женщин и детей, — совсем некстати и неуместно лежит помещицкое село или деревня на издолье или на пашне. Как это делается? Владельцы, при направлении промышленной деятельности своих крепостных, не всегда соображаются с местными условиями края, и весьма часто только с собственными, нередко невежественными, случайными и для них самих убыточными понятиями о вещах.

Так, например, многие владельцы уверены, что они сохраняют нравственность своих крестьян, запрещая им отхожие промыслы; другие, в убеждении, что Россия должна быть государством земледельческим, а отнюдь не фабричным и заводским, сажают своих крепостных на тягло и пашню, вопреки самым несомненным указаниям местных условий; наконец очень, очень многие, даже наибольшая часть помещиков поступают так потому, что представляют себе крепостную деревню не иначе, как населенную крестьянами пашущими, косящими, жнущими и молотящими на своего барина, а другие, не имея иного источника дохода, кроме крепостной деревни, поселяются в ней на житье и сажают своих крестьян на пашню, чтоб иметь чем существовать и кормиться. Рядом с этим большинством попадаются, конечно, и такие владельцы, которые выгоняют на заработки народонаселение мало подвижное, по преимуществу земледельческое.

Политико-экономические результаты такого порядка вещей весьма бедственны для целого государства. Огромное большинство помещиков старается производить как можно больше всякого рода хлеба, не справляясь и даже не думая о том, стоит ли заниматься земледелием и не было ли бы выгоднее обратиться к другим промыслам. Помещики не думают об этом потому, что пользуются трудом своих крепостных даром, а вследствие этого рассчитывают свои выгоды или невыгоды только по урожаю и торговым ценам на хлеб, а не принимают, да и не могут принимать в расчет, сколько они издержали на получение своего дохода. С первого взгляда кажется, что это обстоятельство не очень важно, а между тем в нем именно и заключается главнейшая причина постепенного и повсеместного обеднения наших помещиков и крестьян. Не имея возможности рассчитать, в сколько ему самому обошлось производство хлеба, помещик не в состоянии определить и низшей,

то и выйдет, что вообще число рабочих дней, отбываемых крепостными в пользу владельцев, простирается до 351 814 140 дней мужских и 367 807 508 женских. Дворовых, по 9-й народной переписи, числилось 521 939 душ муж. и 513 985 жен. пола. Применив к ним предыдущие расчеты, найдем, что из них взрослых, способных к работе и службе, 260 969 мужчин и 256 992 женщин. Если из них тоже половина, т. е. 130 484 души муж. и 128 496 жен. пола, ходят по оброку, а прочие служат и работают своим господам не более 280 дней в году, т. е. исключая воскресенья и праздники, то повинность дворовых составит ежегодно 36 535 620 дней мужских и 35 978 880 дней женских. Таким образом, если крепостная работа только вдвое хуже вольной, то и в таком случае для народной промышленности и производительности теряется ежегодно по крайней мере 389 349 660 дней мужских и 403 786 400 дней женских. Оценив каждый мужской рабочий день в 14½ коп., женский в 10 коп. сер., найдем, что ежегодно теряется на мужских рабочих днях до 56 455 700 рублей, а на женских до 40 378 640 рублей, всего до 96 834 340 рублей.



наименьшей цены, ниже которой нельзя ему продать хлеба, не потерпев убытка, и потому наибольшая часть помещиков соображается только с торговыми ценами и с своими потребностями. Выжидать хороших цен на хлеб в состоянии лишь очень немногие владельцы; а большинство, имея крайнюю нужду в деньгах, готово отдать свой хлеб по существующим ценам. Кто же устанавливает торговые цены на хлеб? Торговцы, хлебные барышники и скупщики, которые руководствуются при этом одними своими, конечно совершенно безобидными для себя соображениями, и по стачке между собою умышленно поддерживают самые низкие цены в местах закупки, пока весь хлеб ими не скуплен. Если б от этого терпели одни владельцы, то и тогда вред был бы очень велик и важен; но, к довершению несчастья, от такого порядка дел несут чувствительные убытки не одни помещики, но вместе с ними и крестьяне. Первые по крайней мере столько же поставляют хлеба на рынки, сколько крестьяне, если не более. Роняя его цену, частью по неведению, частью по необходимости, они сбивают ее и с крестьянского хлеба. Таким образом выходит, что владельцы не только пользуются половиною крестьянского труда даром, но даже и остальную половину делают гораздо менее производительною посредством искусственной дешевизны хлеба, чем бы она могла быть, если б не существовало крепостного права \*. След., давлением на хлебные цены крепостное помещичье право поражает всех, кто в России живет и кормится от земли. Каждый год это давление становится все пагубнее, потому что необходимость изворачиваться из нужды с каждым годом делается для владельцев и для крестьян настоятельнее, так как расходы растут, а доходы уменьшаются, след., зависимость производителей от хлебных торговцев и рыночных хлебных цен становится все безусловнее. Конечные последствия этого хода дел, в весьма непродолжительном времени, при продолжении крепостного права заключались бы в совершенном обеднении и владельцев и крестьян; а возрастающее, соответственно тому, уменьшение государственных доходов поставило бы и правительство в самое трудное положение. Приближение этого состояния мы уже начинали мало-помалу ощущать.

Наконец, осуждая на даровой труд огромные массы людей, владельческое крепостное право делает вольнонаемных менее нужными и тем сбивает цены на труд вообще. От этого не только терпят низшие классы, но и само правительство, потому что чем меньше кто зарабатывает, тем он беднее, тем меньше проживает, и, следовательно, тем меньше платит податей и пошлин».

Изложив потом вредное влияние крепостного права на нравственное чувство человека и характер его обращения с другими людьми, записка продолжает:

«Рядом с этими печальными явлениями развиваются и другие. Вследствие крепостного права владелец с детства приобретает привычку предаваться праздности и тунеядству. Естественное течение мыслей невольно приводит его к убеждению, что так как крепостные его должны на него рабо-

\* Многие приписывают дешевизну хлеба в России не крепостному праву, а отсутствию путей сообщения, которые уравнили бы цены на хлеб в разных местностях империи. Сильное влияние этой причины, конечно, отрицать нельзя, но все же она не главная, а второстепенная. В целой империи всегда есть большой избыток хлеба, и местные неурожаи не истощили бы его никогда, если б и был удобный подвоз хлеба из губерний им избыточных, в места, терпящие в нем недостаток. Пути сообщения облегчили и усилили бы сбыт нашего хлеба также и на заграничные рынки, но и то не постоянно, а от времени до времени, именно при более или менее общих и сильных неурожаях в Западной Европе. За всеми этими расходами все же оставались бы в России огромные запасы хлеба, которые, при удобных путях сообщения, никогда не дали бы ценам на хлеб возвыситься, а, напротив, скорее понижали бы их все более и более. Чтоб поднять в России цены на хлеб и тем возвысить благосостояние владельцев и крестьян, нужны две вещи: хоть какая-нибудь соразмерность производства хлеба с потребностью в нем и свободное установление на хлебном рынке того minimum, ниже которого цены на хлеб упасть не могут. Оба эти требования в равной степени совершенно невыполнимы, пока существует у нас крепостное право.

тать даром, то он может, не обременяя себя излишними заботами и хлопотами, поручить хозяйство и дела свои управляющему, бурмистру или старосте, а сам — веселиться, жить в столице, в чужих краях или где бы то ни было для удовольствия собственной своей особы, удовлетворяя одним своим прихотям и более не думая ни о чем. Кому не приятен досуг, и кому не тяжок труд, особливо у нас, где потребность труда еще не обратилась во вторую природу? Многие помещики думают также: зачем и учиться, когда есть имение, которое доставляет порядочный доход, а следовательно, и связи, и знакомства, и все что нужно? Эти естественные, почти невольные рассуждения, особливо в очень молодых летах, делают большинство помещиков с детства праздными и равнодушными к своему образованию и развивают в них привычку жить трудами чужих рук. Так мало-помалу из них выходят праздные люди, которые, лишившись, обыкновенно по своей же вине, своего состояния, считают государство обязанным снабжать их всем, что им нужно, давать им средства не только на необходимое, но даже на прихоти.

Подобно господам рассуждают и крепостные, — особенно крестьяне, сидящие на господской пашне, и дворовые люди. Они охотно предаются лени и тунеядству, в той мысли, что если у них не достанет хлеба, падет скот, сгорит изба, то барин обязан им дать все это; мысль в основании своем справедливая, но к которой всегда примешивается злое чувство, что господин, который пользуется их трудами и работой даром, сам будет нести и убытки за эту неправду.

«На все гражданские и житейские отношения крепостное право производит подобное же влияние», — говорит записка.

«У нас нет порядочной домашней прислуги, даже наемной, потому что ряды ее наполняются крепостными, бывшими или настоящими, уже развращенными; у нас нет надежных второстепенных органов промышленности и гражданских сделок, конторщиков, приказчиков, стряпчих, поверенных и т. п., — потому что и эти звания наполняются или из бедного дворянства, или из вольноотпущенных.

Дети господ и крепостных с колыбели попадают под горестное влияние этого несчастного права и чрез всю жизнь несут на себе неизгладимую печать его.

С тех пор, как крепостное право водворилось на русской почве, несколько раз государство стояло, благодаря ему, на краю гибели. Оно было одною из главных причин наших несчастий в начале XVII века; бунты Стеньки Разина, Пугачева и других, менее известных героев и атаманов буйной вольницы, все эти разрушительные элементы восставали и поднимались из мутных источников крепостного права; из того же источника возникли гайдамаки; огромные толпы, чуть-чуть не полчища разбойников, опустошавшие Россию в XVII, XVIII и даже в начале XIX века, вербовали своих подвижников преимущественно из крепостных. Теперь, когда нравы несколько смягчились, изменились и формы восстаний крепостных людей, удержав, однако, тот же опасный для государства характер. Нет такого неслышного слуха, нет такого неправдоподобного повода, который бы не служил для крепостных достаточным предлогом для предъявления старинных притязаний на освобождение. Вспомним движение огромных масс людей (до 30-ти тысяч) из Могилевской и Витебской губерний по одному слуху, что правительство дает свободу тем, которые будут работать в течение известного времени на С.-Петербургско-Московской железной дороге; вспомним другое движение огромных масс народа из Саратовской, Симбирской и сопредельных губерний в какую-то обетованную страну в Киргизской степи, где будто бы раздаются земли даром; вспомним подобные же движения масс во многих центральных губерниях по случаю издания манифеста о морском ополчении и, наконец, недавние волнения в Киевской, Воронежской и других губерниях по случаю ополчения государственного.

Впрочем, это только одна сторона политической опасности, которою нам грозило крепостное право; есть другая, с первого взгляда менее заметная, но в существе не менее действительная. Крепостное право есть камень преткновения для всякого успеха и развития в России.

Защищая это право последовательно, во всех малейших подробностях, дворянство вместе с тем, по необходимости, затрудняло и всевозможные другие внутренние преобразования, своевременность и даже настоятельность которых сознают единогласно и правительство и народ. Нельзя отрицать, что, действуя так, дворянство поступало очень последовательно, ибо во сколько-нибудь значительные внутренние преобразования в России, без изъятия, так неразрывно связаны с упразднением крепостного права, что одно не возможно без другого; а потому очень естественно, сопротивляясь одному, сопротивляясь и другому. Так, например, преобразование рекрутского устава было невозможно, потому что оно повело бы к уничтожению крепостного права; невозможно было изменить теперешнюю податную систему, потому что корень ее — в том же праве; нельзя было, по той же самой причине, ввести другую, более разумную паспортную систему; невозможно было распространение просвещения на низшие классы народа, преобразование судовстройства и судопроизводства, уголовного и гражданского, полиции и вообще администрации и цензуры, потому что все эти преобразования прямо или косвенно повели бы к ослаблению крепостного права. Вот почему Россия осуждена была окаменеть, существовать в прежнем виде, не подвигаясь ни шагу вперед. И ничто не в силах было изменить этого положения, пока крепостное право составляло основу нашей общественной и гражданской жизни; ибо это гордиев узел, к которому сходятся все наши общественные язвы. Самые благонамеренные усилия государей и отдельных лиц, правительственных и не правительственных, поправить наше теперешнее внутреннее положение оставались тщетными, пока существовало у нас крепостное право.

Таковы главные последствия этого права. То, что некоторые приводят в его пользу, едва заслуживает упоминания.

Крепостные, говорят некоторые, еще не созрели для свободы. Но государственные крестьяне разве более развиты? Однако они пользуются же гражданскими правами.

Помещики, думают другие, суть лучшие полицеймейстеры, которые притом ничего не стоят правительству. Но кто же видал, спросим мы, чтоб в благоустроенном государстве полиция имела у себя почти в безусловном подданстве подведомственных ей людей? Притом казне эти так называемые полицеймейстеры обходятся, конечно, дешево, но государству — очень дорого. В этом, надемся, никто не сомневается.

Помещики в России суть главные поставщики хлеба на рынки, говорят третьи, а с упразднением крепостного права кто будет производить хлеб в таком огромном количестве? Против этого заметим, что если даже теперь, в губерниях наиболее хлебородных, разного звания люди, в том числе и купцы, находят выгодным для себя покупать или снимать землю, обрабатывать ее наймом и полученный с нее хлеб продавать, то мы не видим причины, почему бы того же самого не могли делать и владельцы после упразднения крепостного права. Прибавим к этому, что и теперь крестьяне, крепостные и не крепостные, поставляют на рынки огромные массы хлеба, и их хлеб нередко бывает даже лучшего качества, чем господский. Почему бы все это изменилось с освобождением крепостных? Мы не видим причины.

Аристократия падет в России с освобождением крестьян, восклицают четвертые. Но какая причина пасть дворянству, когда крестьяне будут свободны? Нет ни одного государства в целой Европе, где бы не было высшего сословия, наследственного или ненаследственного, а крепостных в Европе нигде уже нет. Почему же этому быть иначе у нас, чем в других странах? Не понимаем.

После всего сказанного, легко понять, почему помещичье крепостное право обратило на себя особенное внимание императоров Александра I и Николая I:

они не могли не знать, что мысль об упразднении этого права не есть одна лишь мечта праздного ума, воспитанного на иностранных книгах и на пустых возгласах, но что, напротив того, она вытекает из действительных и существенных потребностей России, удовлетворение которых не может и не должно быть отлагаяемо в слишком долгий ящик. Оттого оба государя, в течение целого полувека, ревностно и неутомимо противодействовали помещицкому крепостному праву.

Почему же усилия их не увенчались успехом и крепостное право существовало у нас почти в прежнем своем виде, с самыми лишь поверхностными и незначительными смягчениями?

Причин этому очень много.

Вопрос о крепостном праве не был достаточно зрело обсужден; цель стремлений правительства не была определена совершенно ясно; наконец правительство не прибегало к средствам, ведущим к цели ближайшим и вернейшим путем.

Истина и время взяли, однако, свое. Есть верные признаки, что теперь наше провинциальное дворянство начинает просвещеннее и разумнее смотреть на крепостное право и на необходимость преобразования его. Это и понятно. Губернское дворянство хорошо знает свои имения и своих крепостных; оно видит Россию, хотя и не всю, но зато лицом к лицу; наконец оно ближе понимает свои пользы и свое положение.

Мирное, благотворное для России разрешение вопроса о крепостном помещицком праве делается возможным с той минуты, когда все стороны этого вопроса приняты в соображение, все связанные с ним интересы, государственные и частные — взвешены и уважены и когда, на основании предварительного, зрелого обсуждения, составится подробный, обстоятельный план упразднения крепостного состояния.

Представим здесь опыт такого плана, конечно в самых лишь общих чертах.

Вопрос об упразднении помещицкого крепостного права заключает в себе два следующие: на каких началах или основаниях должно у нас совершиться освобождение помещицких крепостных? и какие суть лучшие средства или способы освобождения?

*Главные начала или основания, на которых надлежит совершиться освобождению помещицких крепостных, могут быть определены лишь по рассмотрении всех интересов, которые сходятся в крепостном праве и в нем связаны как бы в один узел. Эти интересы суть: частные — владельцев и их крепостных, и общественные или правильные государственные.*

Интерес владельцев в крепостном праве очевиден. Они защищают в нем свое имущество, дошедшее к ним законным порядком и потому во всяком случае составляющее их неотъемлемую гражданскую собственность. Этого их права добросовестно отрицать нельзя: все исторические доводы и юридические тонкости, приводимые в опровержение помещицкой власти, как гражданского права, не колебля ее нисколько, только запутывают и затемняют вопрос.

Столько же очевиден и интерес крепостных. Он заключается в полном, личном освобождении их от владельцев, с удержанием той земли, которую владеют и пользуются для себя, избы, в которой живут, и всего движимого и недвижимого имущества, которое приобрели собственными трудами или наследовали от отцов своих.

Наконец интересы государства совершенно совпадают с пользами владельцев и крепостных. По изложенным выше причинам, для государства необходимо, чтобы крепостное право прекратилось в России, но так однако, чтоб при этом права и интересы обеих сторон — помещиков и крепостных — были вполне сохранены и уважены.

Необходимость последнего условия очевидна, даже при самом поверхностном взгляде.

Государство не может ни желать, ни допустить освобождения крестьян без вознаграждения владельцев, и на это имеет самые основательные причины. Освобождение крестьян без вознаграждения помещиков, во-первых, было бы весьма опасным примером нарушения права собственности, которого никакое правительство нарушить не может, не поколебав гражданского порядка и общежития в самых основаниях; во-вторых, оно внезапно повергло бы в бедность многочисленный класс образованных и зажиточных потребителей в России, что, по крайней мере сначала, могло бы, во многих отношениях, иметь неблагоприятные последствия для всего государства; в-третьих, владельцы тех имений, где обработка земли наймом больше будет стоить, чем приносимый ею доход, с освобождением крепостных совсем лишились бы дохода от этих имений. Не получив вознаграждения, многие из них на первый раз, а иные, может быть, и навсегда, были бы осуждены на самое бедственное существование или даже остались бы на руках у правительства, которое через это было бы вовлечено в чрезвычайно обременительные издержки и пожертвования.

По соображениям, столько же важным и настоятельным, правительство вынуждено также обратить все свое внимание и на возможно большее личное и вещественное обеспечение крестьян при освобождении их от власти помещиков. Так, в видах общественной тишины и порядка, правительство не может допустить сохранения зависимости бывших крепостных от их бывших помещиков, иначе беспрестанные столкновения между теми и другими, неудовольствия, бесконечные тяжбы и несправедливые взаимные претензии размножились и продолжались бы вечно, а на беспристрастное разбирательство и решение процессов между помещиками и их прежними крепостными долго еще нельзя рассчитывать, потому что много пройдет времени после освобождения, а судебная и полицейская власти все еще будут находиться по преимуществу в руках дворянства и землевладельцев. Равным образом правительство ни под каким видом не может согласиться на увольнение крепостных без земли, потому что чрез это сельское население было бы поставлено, если не по праву, то на самом деле, в слишком большую материальную зависимость от владельцев, или же, наскучив эту зависимость, потеряло бы мало-помалу оседлость, для водворения которой в низших сословиях столько принесено жертв, столько сделано усилий, и стало бы, попрежнему, переключиваться из одного края России в другой, к явному вреду, к явной опасности для государства во всех отношениях.

Некоторые думают, что у нас есть достаточно казенных земель для поселения на них всех помещичьих крепостных после их освобождения. Отсюда заключают, что следовало бы освободить крепостных лично, без земли. Но возможность осуществления такой мысли неправдоподобна по недостатку земли; даже нежелательно, чтоб эта мысль могла осуществиться. Водворение вновь двадцати одного миллиона людей на государственных землях и на счет государственной казны — план, слишком уродливый, чтоб можно было на нем остановиться. Какой человек с здравым смыслом станет серьезно доказывать возможность нового переселения народов, с покрытием потребных на то издержек из сумм государственного казначейства!

Из всего сказанного следует, что освобождение помещичьих крепостных должно совершиться на следующих главных основаниях:

1) Крепостных следует освободить вполне, совершенно, из-под зависимости от их господ.

2) Их надлежит освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею.

3) Освобождение может совершиться во всяком случае не иначе, как с вознаграждением владельцев.

Принять эти начала за основания при разрешении вопроса о помещичьем крепостном праве велит и строгая справедливость и государственная польза, которые здесь, как всегда и во всем, совпадают в своих требованиях.



Что касается средств или способов приведения этих основных начал в исполнение, то в этом отношении представляются следующие соображения:

1) Количество земли, с которым помещичьих крепостных следовало бы освободить, может быть определено различно. Их можно выкупить: а) со всею землею, принадлежащую к имению, в котором они поселены, б) с определенным большим или меньшим количеством десятин на тягло или на душу, смотря по местности, и в) с тою лишь землею, которая находится в действительном владении и пользовании помещичьих крепостных.

Первый способ — выкуп со всею землею, принадлежащую к имению — весьма неудобен. Он потребовал бы огромных капиталов, и не только не принес бы пользы, но, напротив, имел бы вредные последствия. В имениях многоземельных, и даже большей части издельных вообще, для крестьян было бы слишком много всей земли, принадлежащей к имению; следовательно, она перешла бы в казенное заведывание, и чрез это, как вообще при казенном управлении, стала бы давать гораздо меньше дохода. В то же время чрез это почти исчезла бы в России частная поземельная собственность, а с нею и все ее благотворительные последствия для промышленности и сельского хозяйства; ибо опытом дознано, что частная поземельная собственность и существование рядом с малыми и большими хозяйствами суть совершенно необходимые условия процветания сельской промышленности.

Второй способ, выкуп определенного количества десятин земли на тягло или на душу, почти совершенно невозможно привести в исполнение. В самом деле, как назначить количество десятин, подлежащих в каждом имении выкупу, так, чтоб было безобидно и для владельцев и для крепостных? Подобное назначение потребовало бы многолетних, невероятных трудов, огромных издержек, подало бы повод к тысячам произвольных действий, злоупотреблений и столкновений, которых невозможно было бы ни открыть, ни преследовать по громадности и сложности операции; наконец, что может быть всего важнее, такая мера породила бы большую шаткость и неопределенность поземельного владения во все время, пока продолжалось бы освобождение крестьян.

Затем остается последний способ — выкупить только ту землю, которая находится в действительном владении и пользовании крепостных. Этот способ бесспорно лучший и удовлетворяет всем требованиям, сохраняя и утверждая, без всяких изменений, поземельное владение, установившееся издавна и к которому привыкли и помещики и крепостные; кроме того, такой способ и не потребует никаких особенных издержек и не может возбудить больших недоумений и неизвестности прав\*.

Некоторые предлагают выкупить помещичьих крепостных с тем лишь количеством земли, какое нужно для удержания их оседлыми на теперешнем их месте жительства, но которого было бы совершенно недостаточно для прокормления с их семействами. Цель та, чтобы, воспользовавшись привязанностью крестьян к их родине, земле и двору, побудить их поневоле нанимать землю у соседних землевладельцев. Такая система выкупа, в губерниях почти исключительно земледельческих, могла бы, может быть, действительно принести пользу владельцам, доставя им, и то вероятно только сначала, выгодных арендаторов и дешевых рабочих. Но правительство может ли согла-

\* Разрешение некоторых частных случаев сомнений и вопросов понадобится, конечно, и при этом способе. Так, например, может случиться, что владелец, желая уменьшить количество отходящей от него с крепостными земли, в ожидании выкупа, отнимет у них большую часть земли, которую они до того времени действительно владели и пользовались. Возможность таких случаев потребует более точного определения, что должно разуметь под выражением: «земли, находящиеся в действительном владении и пользовании крепостных». Далее: необходимо будет определить количество земли, подлежащей выкупу в Южной и Юго-Восточной России, где существует залежное хозяйство и нет у крестьян постоянного землеустройства в одних местах. Необходимо также будет решить весьма важный вопрос: не должно ли, напротив, следовать, и в таком случае, на каких именно основаниях следует, выкупать у владельцев — сенокосы, леса, выгоны, водопой и т. п. Очевидно, однако, что разрешение этих и других подобных вопросов представит несравненно менее затруднений, чем приведение в исполнение двух первых способов.



сится на такую меру? Конечно, нет! Ему не должно смотреть на государственные вопросы, ослепляясь выгодами одних помещиков. В данном же случае выиграли бы — и то не наверное — они одни, а государство и крепостные непременно бы потеряли, ибо владельцы получили бы возможность, к крайнему стеснению бывших их крепостных, поднять наемную плату за свои земли или же умалить плату рабочим и работникам. Последствием этого было бы одно из двух: или бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей, — нечто вроде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало, — или стали бы толпами выселяться в другие губернии и края империи. В том и другом случае правительство, поддерживая быт выкупных крепостных на местах или способствуя их переселению, было бы вовлечено в несравненно большие издержки, чем выкупив их с самого начала со всею землею, которою они теперь действительно владеют\*.

2) Вознаграждение помещиков за отходящих из их владения крепостных с землею тоже может быть произведено различным образом, а именно: а) вознаграждение может быть выдано за одну лишь землю, за освобождением крепостных даром, или же и за землю и за крепостных; б) мерилом вознаграждения могут быть приняты или цены, по каким-нибудь соображениям установленные правительством и уменьшенные против действительности, или же существующие на местах, во время выкупа, средние цены, как населенных имений вообще, так и земли и душ в отдельности; наконец, в) самый порядок вознаграждения помещиков может быть установлен различный. Так правительство может признать более удобным производить владельцам плату следующей за их имение суммы постепенно, на основании банковых правил, определяя ежегодный платеж предполагаемым или действительно вычисленным средним доходом с выкупленных имений, или же процентами с выкупной суммы, назначив величины процентов применительно к правилам наших кредитных установлений, или же согласно с законами гражданскими и торговым уставом о займах между частными лицами и ссудах коммерческих. Но точно так же правительство может всю следующую за выкупные имения сумму выплатить владельцам за один раз.

Подробное рассмотрение всех этих способов вознаграждения помещиков приводит к заключению: 1) что выплата им денег за одну землю, не принимая в расчет крепостных людей, была бы весьма несправедлива и неуравновешенна. Несправедлива, потому что крепостные составляют такую же собственность владельцев, как и земля; неуравновешенна — потому что только в некоторых губерниях, преимущественно густо населенных и земледельческих, земля имеет большую ценность, а крепостные почти никакой или весьма малую; в других же губерниях, преимущественно промысленных или хотя и земледельческих, но мало населенных, владельцы получают доход не от земли, а от крепостных; 2) что допущение, при выкупе крепостных, каких бы то ни было особливых расчетов (как, например, оценки теряемой крепостной работы и т. п.) с целью по возможности уменьшить следующее владельцам вознаграждение подало бы только повод к самым несправедливым и произвольным действиям и, не сокращая существенно расходов на выкуп крепостных, только стеснило бы владельцев и надолго затянуло бы ход дела; 3) что по тем же самым причинам было бы неудобно назначить владельцам вознаграждение по расчету дохода, которого они, с выкупом крепостных, лишаются,

\* О том, на каких основаниях освобожденные крепостные могли бы впрямь владеть выкупленной землею, здесь говорить не место. Заметим мимоходом, что все юридические обязанности собственно великорусов и белорусов указывают на общинную, а не личную наследственную поземельную собственность, и мы пока не видим достаточной причины постать на эти обычаи, заключающие в себе, повидимому, плодотворное начало устройства у нас поземельных прав на новых началах, которые теперь можно лишь смутно претугатывать. Во всяком случае совершенно было бы необходимо по мере выкупа крестьян с землею запретить им продажу и залог выкупленных земель под каким бы то видом и предлогом ни было, по крайней мере на 30 лет; ибо иначе эти земли могли бы быть скуплены у крестьян, на первых же порах, прежними их владельцами и другими за бесценок, как отрасли и случилось в Пруссии.

потому что у нас невозможно определить даже приблизительно средний доход от наибольшей части помещичьих имений; 4) что хотя выкупом крепостных на основании банковских правил справедливость не была бы нарушена, однако на развитие промышленности в России такого рода выкуп имел бы, по крайней мере на первых порах, много лет сряду, неблагоприятное влияние. Освобождение крепостных, как уже выше замечено, потребует немедленного постановления наших помещичьих хозяйств на коммерческую ногу, а это можно сделать не иначе, как с помощью более или менее значительных одновременных чрезвычайных издержек, которые понадобятся почти в ту же самую минуту, когда совершится освобождение. При стесненном положении нашего дворянства ему неоткуда взять капиталов, необходимых для покрытия таких чрезвычайных издержек. Поэтому, если вся выкупная сумма не будет уплачена владельцам, при самом освобождении их крестьян, сельское хозяйство в России понесет весьма чувствительный вред, от которого не скоро оправится, а это, в свою очередь, будет иметь неблагоприятное влияние на все государство.

Итак, владельцев следует вознаградить за выкупаемых у них крепостных самым простым и самым справедливым образом: оценить крепостных с следующей им землю по существующим на месте ценам, как можно добросовестнее, как можно ближе к истине, и затем выдавать всю выкупную сумму сполна при самом отчуждении крепостных из частного владения. Только такой способ выкупа, не внося в важное государственное дело освобождения никаких искусственных и произвольных условий, напротив, принимая за исходную точку существующий ныне порядок дел, в состоянии приготовить преобразование сельскохозяйственного быта России легко, почти незаметно; ибо только при помощи такого способа, примиряющего пользы всех, новое начнет заступать место старого без перерыва и с необходимою постепенностью.

Многие думают, что операцию выкупа крепостных следовало бы произвести одновременно с ликвидациею долгов, лежащих на дворянских имениях по ссудам из кредитных установлений. Зачет сделанных ссуд, — так думают они, — значительно уменьшит выкупную сумму, которая будет причитаться помещикам. Мы с своей стороны полагаем, что слияние этих двух операций отняло бы у помещиков средства, необходимые для немедленного устройства их хозяйств согласно с новыми экономическими условиями и уменьшило бы массу денег, которая бы без того поступила в обращение. Оба эти последствия, без сомнения, имели бы на внутренний быт государства такое неблагоприятное влияние, что с ним не может идти в сравнение неудобство внутреннего или внешнего долга, сделанного для выкупа крепостных и равняющегося предполагаемой к зачету сумме. Такой зачет следовало бы допустить в той только части долга кредитным установлениям, которая недостаточно бы обеспечивалась остающейся за владельцами после выкупа частью их имений.

3) Для определения количества земли, которое действительно находится во владении крепостных и подлежит выкупу, и для назначения суммы, следующей владельцу за выкупаемое имение, следовало бы учредить по уездам оценочные комиссии, составленные наполовину по выбору из местных владельцев, наполовину по назначению правительства из невладелцев, однако коротко знакомых с местным бытом и условиями края. Если владелец и крепостные с приговором комиссии по означенным двум предметам согласятся, то он получает законную силу; в противном же случае поступает на окончательную ревизию губернской оценочной комиссии, составленной на изложенных выше основаниях из владельцев и невладелцев. Кроме того, надлежало бы учредить особенную центральную комиссию для руководства оценочных комиссий в их действиях, для разрешения их вопросов, сомнений и всех тех частных случаев, кои возбуждают споры и недоразумения по недостаточности или неясности правил, данных в руководство оценочным комиссиям.

4) Собственно финансовая операция по выкупу крепостных могла бы быть возложена на нарочно для того учрежденный банк, на следующих осно-

ваниях: а) по постановлениям оценочных комиссий, вошедшим в законную силу, выкуп крепостных совершается или ими самими, — взносом выкупной суммы сполна или только частью, или же банком — посредством выплаты владельцу всей суммы или только той ее части, которая не дознана к крепостным; б) банк делает уплаты особливими билетами, которые всюду принимаются наравне с билетами прочих кредитных установлений и обеспечиваются правительством звонкой монетой не менее, как в шестой части их нарицательной цены; в) выплаченная владельцами из банка сумма зачисляется долгом на выкупленном имении с уплатою в 37-летний или другой, более продолжительный, срок по равной части ежегодно; процентов же на выкупленных крепостных начислять: с капитала обеспечения по пяти процентов ежегодно; со всего же выкупного капитала, выплаченного владельцам, не более как сколько нужно для покрытия всех издержек выкупной операции, а по выплате бывшими крепостными  $\frac{5}{6}$  частей выкупного капитала, оплачивать процентами уже не весь капитал обеспечения, а только ту его часть, которая обеспечивает оставшийся не погашенным выкупной капитал рубль за рубль; г) по мере уплаты выкупленными крепостными лежащего на них выкупного долга выпущенные банком билеты надлежит извлекать из обращения \* и д) по совершенном погашении бывшими крепостными выплаченного за них помещикам выкупного капитала владеемую ими выкупленную землю обратить в полную их собственность на правах государственных крестьян, водворенных на собственных землях.

5) Так как выкуп крепостных предполагается производить по существующим на местах ценам, без всякого их уменьшения, то перевод всякого рода долгов, казенных банковых и частных, сделанных самими владельцами под залог населенных их имений, на выкупленных у них крестьян ни в каком случае допускать не должно. Вследствие этого означенные долги обеспечатся тою только частью имений, которая останется собственностью владельцев, и, согласно с этим, права кредиторов на следующую владельцам выкупную сумму будут определяться действующими законами, без всякого изменения. Только по ссудам из Кредитных Установлений должно бы допустить льготу, о которой упомянуто выше (во 2-м пункте в конце).

6) Для успеха дела совершенно необходимы были бы: а) предварительное опубликование целого плана освобождения крепостных во всеобщее известие, с предоставлением права обсуждать его во всех отношениях и во всех подробностях. Такое рассмотрение проекта частными лицами дало бы правительству возможность, при окончательном издании закона о выкупе крепостных, исправить вкравшиеся в проект недостатки, неточности и ошибки; б) возможная гласность хода всей операции, начиная с первого закона о приступлении к выкупу и оканчивая последним взносом выкупленными следующей с них в банк суммы; наконец в) строжайшая справедливость, правосудие

\* Из сельскохозяйственной статистики Смоленской губернии, изданной г. Я. Соловьевым (Москва, 1855) видно, что в этой губернии общее число крепостных составляет 378 038 муж. пола душ; при среднем наделе на душу по 13 дес. земли, средняя цена души есть 117 руб. Положим, что в действительном владении крепостных находится целая половина общего количества земель, какое приходится на душу (что невероятно, ибо в том же числе положены и господские усадьбы, сенокосы, леса и т. п.); так как средняя цена незаемленной десятины в губернии есть  $\frac{5}{2}$  руб., то при выкупе помещичьих крепостных Смоленской губернии пришлось бы заплатить владельцу за каждую выкупаемую душу, средним числом 117 руб.  $(\frac{61}{2} \text{ дес.} \times \frac{5}{2} \text{ руб.} = 35 \text{ руб. } 75 \text{ коп.}) = 81 \text{ руб. } 25 \text{ коп.}$  След. на выкуп в Смоленской губернии всего крепостного населения потребовался бы капитал в 30 715 587 руб. 50 коп., и фонд обеспечения в 5 119 264 руб. 58  $\frac{1}{2}$  коп. Если крепостные будут платить ежегодно не более полутора процента на выкупной капитал, то это даст в первый год сайшком 153 500 руб. дохода, который хотя в каждый следующий за тем год и будет уменьшаться на 4 151 руб., но все же образует сумму, с избытком достаточную на покрытие издержек всей выкупной операции, не только по одной, но и по нескольким и даже по многим губерниям. С причислением этого полутора процента и 5 процентов на капитал обеспечения ежегодный платеж каждой выкупленной души на погашение долга, при разложении выкупного капитала лишь на 37 лет, составит в первые 30 лет только от 2 р. 89 к. до 2 р. 55 к., — а после того и эта сама по себе незначительная плата еще более будет понижаться. Не должно при этом забывать, что Смоленская губерния по количеству крепостного населения занимает, вместе с Тульскою, первое место в целой империи.

и добросовестность как при определении и выплате выкупных сумм, так и при назначении количества выкупаемой земли.

Вот в общих чертах план упразднения помещичьего крепостного права. Так как в этом праве сходятся интересы и владельцев, и крепостных, и государства, то каждый из этих трех элементов принял бы деятельное участие и в разрешении задачи: дворянство — подвергаясь внезапному переходу к совершенно новому порядку хозяйства, польза которого для всего владельческого сословия в массе не подлежит сомнению, но который в применении тому или другому лицу может вести к большим убыткам и даже к совершенному расстройству; крепостные — выплачивая полное вознаграждение владельцам; правительство — обеспечивая всю операцию своим кредитом и звонкою монетою.

Кто знает Россию, кто понимает ее великое призвание, тот не сомневается, что ей прежде всего необходимы мирные успехи, которые, впрочем, не только у нас, но и везде вернее и прочнее всяких других.

Начав выкуп крепостных, следовало бы в то же время содействовать к упразднению крепостного права *разными косвенными мерами и полумерами*, которые подготовили и значительно облегчили бы выполнение изложенного плана выкупа, в обширных размерах, во всей России. Указания на такие меры и полумеры содержатся в нашем законодательстве и наших правах: стоит только развить их в правительственные распоряжения.

Император Александр I старался *количественно* уменьшить число крепостных и *качественно* придать крепостному праву значение не непосредственной личной зависимости крепостных от господ, а зависимости, как бы происходящей вследствие того, что земля принадлежит помещикам, а крепостные крепки земле. В обоих этих направлениях очень многое остается еще сделать административным и законодательным порядком.

Владельцы, из различных побуждений, нередко сами желают предоставить свободу своим крепостным на различных условиях, а крепостные, с своей стороны, тоже готовы откупиться: тем и другим надлежало бы всячески содействовать.

Огромное большинство помещиков, даже при сердечной доброте и благонамеренности, не знают и не понимают вопроса об освобождении, — им и в мысль не приходит, что с упразднением крепостного права они сами во всех отношениях выигрывают; следовало бы употребить все меры, чтоб дворянство и чиновники имели возможность сами убедиться в пользе и даже необходимости освобождения крепостных, и содействовали в этом отношении видам правительства не нехотя, а добровольно и сознательно.

Согласно с сказанным можно бы принять в отношении к освобождению крепостных следующие косвенные меры:

I. Продолжая деятельность императоров Александра I и Николая издать ряд постановлений, которые, не касаясь существа крепостного права, ограничили бы, однако, его дальнейшее географическое распространение, положили бы предел размножению лиц, которые этим правом пользуются, и наконец способствовали бы уменьшению количества помещичьих населенных имений. Таким образом: 1) для прекращения дальнейшего географического распространения крепостного права: а) запретить основание, где бы то ни было, новых поселений на крепостном праве; б) запретить переселение крепостных из одного имения в другое на том же крепостном праве; 2) для уменьшения числа лиц, имеющих право приобретать крепостных и владеть ими: а) лицам, вновь получающим права потомственного дворянства, не предоставлять права владеть крепостными; б) помещикам, имеющим лишь дальних родственников (напр., в 8-й степени и далее) позволять продажу их населенных имений не иначе, как с предоставлением крепостным права выкупиться с землею (см. ниже); и в) наследование в населенных имениях после дальних родственников в определенной степени допускать не иначе, как с освобождением крепостных, приписанных к тем имениям по ревизии и притом с тою землею, которою они действительно владели и пользовались при

жизни умерших их владельцев. Такое правило не было бы несправедливо, потому что тесные родственные связи между далекими родственниками теперь почти не существуют более, имения достаются по наследству от дальних родственников большею частью неожиданно и как бы от совершенно посторонних лиц. Поэтому в некоторых законодательствах возникал даже вопрос: не следует ли вовсе прекратить право наследования в слишком далеких степенях родства; и 3) для уменьшения количества населенных помещичьих имений: а) предоставить всем свободным состояниям в России право приобретать населенные имения, но с освобождением притом приписанных к ним крепостных, с владеемою ими землею, как сказано выше; б) при продаже населенных имений с публичного торга за долги кредитным установлениям предоставлять крепостным, приписанным к тем имениям, право выкупиться самим и с землею, которая находится в их действительном владении и пользовании; или же правительству выкупать их на основании изложенных выше общих правил освобождения помещичьих крепостных. На такие имения могла бы быть перечислена известная часть долга кредитным установлениям; количество следующей им земли — определено посредством особой оценочной комиссии, а выкупная сумма или тою же комиссиею, или же по расчету на основании цены, предложенной за имение на торгах и переторжке\*; в) выкупать крепостных с землею, на изложенных выше основаниях, у всех помещиков, владеющих менее чем 30-ю душами, при переходе этих душ из одних рук в другие, по наследству, завещанию, продаже или другим образом. Чрез это мало-помалу стали бы уменьшаться и исчезать мелкопоместные владения, вредные во всех отношениях; г) на тех же основаниях выкупать имения разнопоместные при переходе их каким бы то ни было образом от одного помещика к другому.

II. Надлежало бы всячески содействовать добровольным сделкам между владельцами и их крепостными о выпуске последних на волю с землею и без земли. О способах достигнуть этой цели заметим следующее: а) отпущение на волю крепостных с незапамятных времен считалось у наших предков одним из самых обыкновенных и как бы обязательных подвигов благотворительности и благочестия: не было предсмертного словесного распоряжения владельца, которым бы не увольнялись крепостные. Этот исполненный любви и христианского милосердия обычай следовало бы не только поддерживать, но и всячески развивать между владельцами. Всего ближе это могло бы сделаться при содействии и помощи духовенства, которое, конечно, с радостью воспользовалось бы случаем принять деятельное, согласное с духом Евангелия и святым пастырским призванием, участие в решении этого государственного вопроса первостепенной важности. Невозможно исчислить, какое огромное и благотворительное влияние на успех освобождения крепостных могли бы иметь увещания владельцев и владелиц, со стороны духовенства, отпускать больше людей на волю или вовсе без выкупа, или хотя и с выкупом, но на условиях, как можно более умеренных, как можно менее тягостных для крепостных. Надобно стараться, чтоб достойнейшие, наиболее почитаемые, любимые и влиятельные члены духовенства вошли, по сердечному убеждению, в виды правительства и ради общего блага, ради общей пользы гражданской и христианской, добровольно захотели действовать в этом смысле: они знают, как и к кому отнестись, кому из епархиального духовенства, что и как предписать и внушить; словом, собственное убеждение и любовь укажут им пути и способы действия; б) следовало бы подвергнуть самому внимательному пересмотру и существенно упростить все без изъятия действующие ныне постановления об отпуске на волю крепостных, как с землею, так и без земли; ибо, например, освобождение крепостных

\* В 1846 году крепостным предоставлялось право при продаже с публичных торгов имений, к которым они приписаны, выкупаться на волю, но оно не привело к ожидаемым результатам, потому что крепостным вменено в обязанность вносить последне-состоявшуюся высшую цену на тоггах за все вообще имение, и притом на вынос денег дан самый незначительный срок. По несомнению из этих условий на крепостных возлагалась тяжелейшая обязанность уплатить очень значительную сумму и взамен приобрести гораздо больше земли и угодьев, чем сколько им действительно нужно; по второму же от них требовалась уплата всех денег в такой короткий срок, в какой иной и капиталист не успел бы изворотиться.



с землею в настоящее время обставлено многосложными формальностями; в) следовало бы также организовать правильным образом и по возможности в обширных размерах, выдачу ссуд тем крепостным деревням, селам и т. п. и даже отдельным лицам, на увольнение которых помещики изъявляют согласие, под условием взноса известной суммы денег. Потребность этой меры очевидна: часто бывает, что крепостные имеют случай выкупиться с землею, на довольно выгодных условиях, и даже деньги у них есть, да не сполна вся требуемая сумма, и из-за этого дело расходуется. Что касается до выкупа из крепостного состояния отдельных лиц, то в больших центрах, например в Москве и Петербурге, он совершается так часто, что давно уже вошел в разряд юридических сделок самых обыкновенных. Происходит это таким образом: крепостные, не имея денег для выкупа, приписывают себе кредитора, который вносит за них всю сумму, а они ее потом у него отслуживают. Такой выкуп, во мнении простого народа, есть дело благочестивое, более удобное богу, чем обыкновенная ссуда. Если б был учрежден банк или отделения банка для выдачи ссуд на выкуп на известных условиях, согласованных с потребностями, способами и нуждами простого народа, то нет сомнения, что при не очень значительном оборотном капитале он оказал бы самую существенную услугу делу освобождения и незаметно доставил бы волю тысячам людей и множеству сел и деревень; и г) надлежало бы содействовать всеми возможными средствами образованию капиталов для выкупа крепостных с землею и без земли. Такими средствами могли бы служить: открытие подписок, постоянных и временных, в целой России; сборы в церквах; разыгрывание лотерей. Следовало бы не только дозволить, но поощрять составление обществ, по образцу благотворительных, с целью выкупа крепостных; эти общества могли бы принимать участие и в составлении договоров или условий между господами и их крепостными о выкупе, и т. п. Многие найдут, может быть, все эти способы неприличными, или, как у нас говорят, неблаговидными; но с этим мнением нельзя согласиться. Если не считается неприлично подписка на выкуп пленных, на вспоможение раненым, на покупку им не только пищи, белья, платья, но даже лекарств, корпии и разных целебных и прохладительных снадобьев, если никому не приходило еще в голову считать неблаговидными пожертвования деньгами и вещами в пользу бедных, вдов и сирот, на выкуп должников из тюрьмы, на содержание бедного духовенства, церквей, в пользу войск, даже на покрытие военных издержек, то нет причины, почему бы неприлично или неблаговидно было собирать пожертвования на упразднение крепостного права.

III. Выше было замечено, что император Александр I старался поставить в крепостном праве на первый план не личность крепостных, а землю, недвижимую собственность и к ней, так сказать, приурочить повинности и обязанности крепостных к владельцам: мысль глубокая. Начать теперь развивать эту мысль во всех ее подробностях едва ли было бы полезно, потому что всякая попытка определить отношения между крепостными и их владельцами, при теперешней низкой степени образования России и неустройстве местной администрации и полиции, вместо того чтоб оградить крепостных, повела бы только, как показал опыт, к усилению взаимного неудовольствия господ и крепостных и к бесчисленным новым, разорительным процессам. Поэтому было бы осторожнее, даже, может быть, справедливее, и во всяком случае полезнее, имея целью выкуп и окончательное, полное освобождение крепостных, ограничиться, при осуществлении означенной выше мысли, теми только мерами, которые, подготавливая повсеместное освобождение, в то же время не нарушали бы материальных интересов владельцев. В этих видах можно было бы: а) выкупить всех одноворческих крестьян без земли. По девятой народной переписи их числилось не более 6 347 душ мужского пола; б) окончательно запретить, под каким бы то ни было предлогом, владеть крепостными без земли. Подобное запрещение существует уже и теперь, но оно ослаблено изъятиями, так что даже до сих пор есть законом дозволенные способы владеть крепостными, не приписанными к земле; и в) окончательно запре-



тить продажу и отчуждение крепостных без земли, под каким бы то предлогом ни было, потому что такие продажи подают повод к самым вопиющим злоупотреблениям, например, по отправлению рекрутской повинности.

IV. Наконец для того, чтоб иметь возможность приступить к повсеместному освобождению помещичьих крепостных в целой империи, надлежало бы собрать предварительно все статистические данные, необходимые для составления проекта выкупной операции, подготовить достаточное число благонамеренных, бескорыстных и просвещенных чиновников, хорошо знакомых с юридическою и экономическою стороною крепостного права и расположить в пользу освобождения общественное мнение. Для достижения всех этих целей прежде всего необходима гласность. Нет сомнения, что лишь только крепостное право и способы его упразднения сделаются предметом подробного рассмотрения и обсуждения в печати и начнется обмен мыслей об этом предмете, — общественное мнение, под влиянием рассуждений и прений, скоро сложится, будут собраны об крепостном праве весьма подробные и основательные сведения и данные и образуются люди и чиновники, какие нужны для успеха дела; словом, все необходимые орудия для упразднения крепостного права создадутся сами собою и станут в распоряжение правительства, а ему останется только пользоваться ими. Согласно с этим, надлежало бы принять следующие меры: 1) Для собрания статистических сведений: по каждому уезду, в котором есть крепостные, собрать за несколько последних лет точные и полные данные о том: а) сколько в нем находится всего крепостного населения; б) по сколько десятин земли приходится на каждую крепостную душу; в) сколько из них находится в действительном пользовании крепостных и след., будет подлежать выкупу; г) какая средняя цена десятины земли удобной — пахотной, луговой, покрытой лесом и проч. и неудобной; д) какая цена одной ревизской души без земли; е) какая средняя цена одной ревизской души в общем составе населенного имения и ж) сколько в уезде оброчных и издельных имений, сколько в тех и других особливо ревизских душ и какое в них распределение земли между владельцами и крепостными. Все сведения, собираемые таким образом и частными лицами от себя — печатать, не только с дозволением подвергать их строгой проверке, но с вызовом к тому всех желающих и знакомых с делом; 2) в видах приготовления общественного мнения к упразднению крепостного права следовало бы: а) не только разрешить владельцам совещаться между собою об удобнейших способах освобождения крепостных, преимущественно в той местности, где находятся их имения, но и поощрять их к тому; б) приглашать и поощрять к тому же все существующие в России сельскохозяйственные общества, к занятиям которых этот вопрос непосредственно относится; в) предложить профессорам политической экономии и статистики во всех высших учебных заведениях подробно излагать и объяснять на лекциях пользу и выгоду освобождения крепостных в промышленном и хозяйственном отношениях; выполнить эту задачу им будет тем легче, что наука давно уже признала это положение за истину неопровержимую, не подлежащую никакому сомнению; г) дозволить печатно рассуждать о труде добровольном и принужденном или обязательном, с вознаграждением и без вознаграждения, и о пользе и вреде того и другого вида для государства, общества и частных лиц в хозяйственном и материальном отношениях. Подобные рассуждения принесли бы, особливо при полемике, и ту еще неисчислимую пользу, что в весьма короткое время в нашем обществе сложились бы здравые и ясные политико-экономические и финансовые понятия, отсутствие которых теперь так ощутительно и такие вредные имеет последствия».

Этим оканчивалась первоначальная записка. Она ходила по рукам, вызывала к себе горячее сочувствие во всех просвещенных людях, но вызывала и возражения со стороны некоторых. Сообразив эти возражения, автор прибавил к своей записке рас-

смотрение слышанных им замечаний. Вот извлечения из второй части записки:

«Мысль упразднить помещичье крепостное право выкупом владельческих крестьян со всюю землею, которую они на себя обрабатывают, вызвала много возражений. Благодаря им самый предмет, столь важный, столь, можно сказать, неисчерпаемый, более и более уясняется с различных сторон.

Признавая в полной мере, что всякое замечание и возражение, каково бы ни было, впрочем, его достоинство, указывает или на недостаточную разработку предмета, или по крайней мере на более или менее существенные недостатки редакции, мы считаем себя обязанными для пользы самого дела, со всевозможным вниманием разобрать все без изъятия возражения, которые нам удалось слышать против мысли об освобождении крепостных вообще и в особенности против предложенного нами способа выкупа.

Остановимся сперва на возражениях и замечаниях более общих, имеющих особенную важность, и перейдем потом к подробностям и частностям.

## I

Многие решительно восстают против обращения помещичьих крепостных, после их выкупа, в государственные крестьяне, водворенные на собственных землях, и остаются в убеждении, что после освобождения крепостных дворянство в России никак сохраниться не может.

Об этом рассуждают обыкновенно таким образом:

По освобождении, так или иначе, крепостных людей, какое будет их законное положение? Конечно, многие помещичьи имения действительно представляют доказательства беспечности и равнодушия владельцев к благу их крепостных; но, к счастью, число их, с успехом просвещения, видимо уменьшается; а взамен того, сколько же есть таких имений, в коих благоустройство, зажиточность крестьян и образцовый во всем порядок на деле указывают на государственную и административную пользу помещичьей власти. Чем же можно заменить эту власть? На кого перенести с владельцев бесчисленные заботы по внутреннему устройству бывших крепостных общин и попечительство над крестьянами? С другой стороны, дворянство теперь первое сословие в империи и пользуется привилегиями, которые обеспечивают за ним, частью по праву, но еще более на самом деле, известное и притом довольно значительное влияние на общественную и государственную жизнь России. С той минуты, как помещичьи крестьяне будут освобождены и сами станут землевладельцами, дворянство неминуемо потеряет это важное, первенствующее значение, потому что не будет уже ни малейшего основания оставлять за ним те привилегии, которыми оно теперь исключительно пользуется. Потеряв всякое отличие от прочих сословий, оно смешается с ними и по малочисленности своей затеряется в их массе. Может ли дворянство желать такого преобразования? Но, оставляя в стороне дворянство, можно ли желать его для государства и для России? Если б такое преобразование действительно состоялось, то нет сомнения, что грубое невежественное большинство заглушило бы в управлении и общегитии просвещенное меньшинство; нравы стали бы еще грубее, чем теперь, как во всех обществах, где аристократические элементы стоят на втором плане. Азиатская основа нашего народного характера опять стала бы преобладать, как было до Петра Великого, ибо она сдерживается единственно благодаря тому, что во главе народа и управления стоит меньшинство, принявшее европейское влияние и нравы. Итак, сохранение теперешнего положения и роли дворянства в России есть дело государственной важности, а это невозможно без сохранения крепостного права.

Таковы возражения против упразднения крепостного права, которые слышатся отовсюду не только от решительных противников этой меры, но

даже и от тех, которые признают крепостное право несправедливым и во многих отношениях вредным для России.

В основании всех изложенных выше рассуждений лежит, во-первых, недоверие к нашей администрации, особливо к ведомству государственных имуществ, во-вторых, убеждение в том, что значение и влияние должны принадлежать в России не массам, а просвещенному и зажиточному меньшинству, представляемому дворянством.

С тем и другим нельзя не согласиться. Местное наше управление имеет важные недостатки. Мы не станем также защищать местного управления государственных имуществ, хотя, признаемся, и не видим причины, почему бы ему именно принадлежало в этом отношении невыгодное преимущество перед прочими ведомствами. Наконец нельзя не разделять убеждения, что значение и влияние должны принадлежать образованнейшему сословию. Если это справедливо для всех стран в мире, то тем более в применении к России, где просвещение так мало развито в большинстве народа.

Но именно для преобразования местной администрации, для поставления дворянства в то положение, какое ему приличествует, совершенно необходимо уничтожить крепостное право. Последнее породило и питает неудовольствие к дворянству в крепостных и недоверчивость в местной администрации. Внутренний разлад между органическими стихиями России, вытекающая из крепостного права, с его существованием будет сохраняться, с усилением его усилится, с упразднением исчезнет, разумеется если последнее совершится безобидно для простого народа.

Справедливость этой мысли подтверждают и история, и ежедневный опыт.

Что есть администрация? Орудие, посредством которого верховная власть уравнивает различные общественные элементы, приходящие между собою в столкновение или в соперничество. Богатые, знатные, родовитые, сильные, просвещенные, умные имеют огромные преимущества перед бедными, незнатными, безродными, слабыми, непросвещенными, посредственными или глупыми и образуют высший слой человеческих обществ. Необходимое неравенство людей, составляющее, вопреки всем теориям, закон естественный, повело бы к чрезмерному преобладанию меньшей части общества над большинством, если бы не было верховной власти, которой призвание — служить между ними посредницею, охранять и защищать низшие классы, во всех отношениях нуждающиеся в опоре и покровительстве.

В древней России крестьянин называл себя царским сиротою, выражая тем глубокое, вполне верное представление русского народа о верховной власти и ее значении, и вся наша внутренняя история, от первой страницы до последней, есть не что иное, как развитие и применение этого основного воззрения. Не дав у себя развиться, по примеру других славянских племен, феодальным и олигархическим зачаткам, русский народ создал власть, какой не видал еще дотоле мир, и об нее разбились все беды, губившие другие славянские народы. Зорко сторожили мы у себя за неприкосновенностью верховной власти, поддерживали ее всеми силами в шаткие времена и восставали, когда неблагоприятное низводило ее с ее несокрушимого подножия.

Русский царь не дворянин, не купец, не военный, не крестьянин, — он выше всех сословий и в то же время всем им близок. Сила вещей непременно делает русского царя посредником, верховным третейским судьей общественных интересов, справедливым мериллом притязаний всех классов и сословий. Строго, даже сурово и временами жестоко сдерживали наши древние самодержцы притеснения простого народа. Защищая слабого против сильного, они должны были мало-помалу создать себе покорное и надежное орудие своего призвания, чуждое интересов обеих соперничающих сторон. Таким орудием является, почти тотчас же после возникновения самодержавия, сословие дьяков и подьячих, зародыш и первообраз звания чиновников. Это сословие вербовалось из людей темных, но более или менее гра-

мотных и деловых, не принадлежавших ни к какому званию или покинувших свое звание и потому чуждых всяким общественным и сословным интересам. Степень образованности, бескорыстия и добросовестности этого класса зависит от степени общего народного образования и нравственности; но как в полуварварских, так и в высокопросвещенных государствах характер, значение и общественное положение этого класса остаются те же, пока не изменятся самые отношения между сословиями или общественными интересами. Русская пословица: «поссорь бог народ, накорми воевод» навсегда останется и в буквальном и в переносном смысле истинною для всех в мире народов. Напрасно многие думают, что бюрократическое управление, посредством чиновников, может быть введено или уничтожено по произволу; напрасно приписывают они вред, происходящий от бюрократической системы, эгоистическим, себялюбивым видам правительства. Бюрократия есть необходимый плод взаимной вражды и недоверия сословий и общественных интересов, не умеющих или не желающих притти к какому-нибудь соглашению. Говорят, что бюрократия порождена недоверием правительства к народу. Но так ли это? Порядок вещей, при котором низшие слои общества, по необразованности, отсутствию общественного духа и своему положению, совершенно подчинены влиянию высшего сословия, а последнее всеми силами стремится исключительно, эгоистически воспользоваться этим влиянием в свою только пользу, едва ли и заслуживает доверия. Народ, как целое, тут ни при чем. Всякому правительству, конечно, во всех отношениях было бы удобнее управлять народом посредством высшего класса, который по своему положению между верховною властью и низшими слоями общества мог бы служить наилучшим представителем всенародных польз и ходатаем за них. Но ненормальное отношение высших классов к низшим вынуждает правительство питать к первым некоторое недоверие и только отчасти, с важными ограничениями, предоставлять им участие в делах общественных.

Эти выводы вполне подтверждаются у нас на деле. Наше местное управление, можно сказать, основано на недоверии. Им только и объясняется глубокая тайна, окружавшая не только правительственные распоряжения, но и просительские дела, чрезмерное сосредоточение в центральных государственных установлениях бесчисленного множества маловажных дел и бумаг, которым следовало бы оканчиваться в местах уездного управления и уже ни в каком случае не восходить далее губернских инстанций; чрезвычайное развитие в местном управлении начала бюрократического, чиновного, при заметном ослаблении начала сословного и выборного. Отсюда прямо или косвенно происходят все коренные недостатки теперешней нашей системы управления, для устранения которых одно только и есть действительное, вполне надежное средство: все дела местного интереса и управления, не имеющие общей государственной важности или даже не касающиеся в одно и то же время нескольких местностей, предоставить окончательно решению местных учреждений; для этого сословные дела верить заведыванию выборных из самых сословий, а общие земские дела — учреждениям, образованным частью из чиновников, частью из выборных, поставленных в независимое положение от исполнительных властей; затем, для устранения злоупотреблений, обыкновенных спутников секретного делопроизводства, административного произвола, безответственности и безнаказанности, подчинить местное управление, в некоторой мере, контролю публичности и гласности.

Нетрудно доказать, что если привести в исполнение все изложенные выше меры, то дворянство, класс самый просвещенный, самый зажиточный, самый сильный по своему положению и связям, получит решительное влияние на губернское и уездное управление; в этом сословии разовьется сословный дух, который будет иметь большой вес в целой народной жизни. Не будь дворянство поставлено чрез крепостное право в ложные, ненормальные отношения к половине сельского народонаселения империи, правительству оставалось бы только с радостью воспользоваться случаем в одно и то же время и облегчить государство от тяжкого бремени дурного местного управления и

действовать на непросвещенные массы чрез лучших, достойнейших представителей народа. Недоверие скоро заменилось бы доверием и любовью. Крепостное право поставило этому непреодолимую преграду.

Но теперь, когда крепостной получит свободу с землею, обеспечивающего его и его семейства, — теперь дворянин и крестьянин, сделавшись землевладельцами, придут в нормальное отношение, будут иметь одни общие интересы, и дворянство перестанет опасаться необходимых и полезных преобразований, и исчезнет недоверие между ними. Простой народ увидит в дворянстве своего естественного, достойного доверия представителя, потому что, имея одни и те же интересы с простым народом, дворянство будет иметь все способы защищать их для себя и вместе для простолюдинов. Весь народ сольется в единое целое, в котором будут различия, будут высшие и низшие классы, но не будет вражды и внутренней разорванности.

В заключение сделаем еще одно замечание. Многие думают, что должно освободить крепостных вовсе без земли, или с одною усадьбою, или с одною десятиною пахотной земли. Для обеспечения крестьян предлагают, взамен поземельной собственности, учредить для них вечную или продолжительную аренду в помещичьих землях, а управление крестьянскими общинами вверить владельцам дворянских имений, но с разными ограничениями, посредством выборных из крестьян. Подобных комбинаций предлагается множество, с разными вариациями, но все имеют одну цель: удержать за дворянством всю или почти всю землю и чрез это поставить от него в хозяйственную и политическую зависимость крестьянина. Думают, что если так было и есть в большей части Европы, то почему же не быть тому точно так же и у нас? Мы, с своей стороны, совершенно не разделяем этого мнения. Дворянство, которое с первого взгляда должно чрез это выиграть, всего более потеряет, ибо, если теперь, когда владелец, по закону и по необходимости, еще заботится о крепостных, последние тяготеют своим положением, то что будет, когда такие заботы с него снимутся и в то же время крестьянин останется на деле в большей или меньшей зависимости от бывшего своего помещика? Неудовольствие между дворянством и крепостными обратилось бы тогда в явную и открытую вражду, которой, конечно, никто не пожелает ни для России, ни в особенности для дворянства. Наш крестьянин не латыш и не естонец, не покоренное племя, а подданный великой державы, которую сам создал и поддерживает. И он это очень хорошо понимает. Нет, для счастья России во сто крат лучше было бы предоставить вопрос о крепостном праве судьбе, даже решению слепого случая, чем было бы решить его неосновательно, противно русской истории, русскому духу, будущности России! Для нашего крестьянина прикрепление к земле началось в то самое время, когда Европа уже стояла на пути к упразднению крепостного права; мы знаем, по примеру Европы, ближайшие и отдаленные горестные последствия освобождения крестьян без земли. Воспользуемся же этим опытом, чтоб решить вопрос иначе, правильнее, чем он решен в большей части европейских государств. Пусть высочайшая справедливость, беспристрастие, общая государственная и народная польза руководят нас при упразднении крепостных отношений; ибо только под одним этим условием Россия получит несокрушимую прочность и то внутреннее единство, при котором невозможны будут междоусобия, терзающие Европу. Вместо того чтоб поправлять старую ошибку, как она теперь делает, постараемся ее совсем не делать. *А коренная ошибка есть освобождение крестьян без земли или не со всею землею, ими владеемою.*

## II

Почти все убеждены в том, что необходимо произвести выкуп разом в целой империи; а для этого потребовалась бы огромная сумма денег. О выпуске на эту сумму банковых билетов, по отзывам людей специальных, нельзя и думать, потому что вследствие такой операции число кредитных знаков,



обращающихся в империи, далеко превзошло бы действительную в них потребность и непременно следствием этого было бы банкротство, которого не отвлечет капитал обеспечения в шестую часть выкупной суммы.

Может быть опасения эти и не оправдались бы на деле; но если все так думают, то такое общее убеждение уже само по себе делает подобный способ выкупа невыполнимым.

Взамен его, люди специальные и практические предлагают выпустить на всю выкупную сумму 4-процентные облигации, в виде бессрочного долга, конечно с удержанием за государством права выкупить эти облигации впоследствии, когда признает это нужным, по курсу. Нет никакой надобности принуждать владельцев принимать эти облигации в уплату за их имения: облигации могут быть распроданы в России и за границей, помещикам же должно быть предоставлено на волю получать уплату облигациями или деньгами. Такая операция, по мнению тех же специальных людей, не представляет никакой опасности и никакого риска.

Для обсуждения этого предположения, вот некоторые числовые данные. Если положим, что за каждую выкупаемую ревизскую мужеского пола душу, с предложенным в проекте количеством земли, придется выплатить владельцам по средней оценке от 105 до 150 руб. сер., то с каждой из этих душ пришлось бы ежегодно взимать выкупного платежа от 4-х руб. 20 к. до 6-ти рублей.

Этот расчет требует некоторых пояснений.

1) При назначении 105—150 руб. основанием служили следующие соображения:

а) В землевладельческих губерниях средней полосы России, имеющих относительно частое народонаселение, как-то: Тамбовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Курской — имения оцениваются не по числу душ, а по количеству земли; наделение землею крестьян по 6-ти десятин на тягло считается роскошным; если в имении число тягол составляет половину числа ревизских душ, то такое отношение считается особенно благоприятным; наконец средняя цена земли в названных губерниях составляет от 35 до 50 р. сер. за десятину.

б) В многоземельных и малонаселенных губерниях южной и юго-восточной части империи земля хотя несравненно дешевле, чем в Центральной России, но зато там, вследствие залежной системы, ее дается крестьянам несравненно больше.

в) Что касается оброчных имений промышленных губерний — Ярославской, Костромской, Нижегородской и проч., то здесь средний оброк с тягла можно положить примерно в 20 руб. А как здесь еще более, чем в губерниях земледельческих, число тягол только вдвое менее числа душ, то подушный оброк господину составит 10 р. сер., то есть от 6% до 7% с капитала в 150 руб., как обыкновенно и оценивается средний доход с оброчных и даже с земледельческих имений, кои почему-либо не поставлены в особенно выгодные или особенно невыгодные условия.

2) Некоторые думают, что было бы несправедливо выплатить владельцам сполна, по оценке, всю выкупную сумму за отходящую от них часть имения и крестьян, потому что на владельцах лежат обязанности в отношении к крепостным, которые требуют денежных расходов и которые с освобождением перенесутся на самих крестьян. За это справедливость требует сделать соразмерный вычет из следующего владельцам вознаграждения.

Против этого должно заметить, что если бы вознаграждение владельцев предполагалось произвести по расчету чистого и валового дохода от имений и по оценке повинностей, работ и служб крепостных в пользу помещиков, то, конечно, вычеты или удержания из выкупной платы были бы справедливы и естественны. Но такая оценка и такие расчеты совершенно невозможны и практически невыполнимы по отсутствию правильного хозяйства и счетоводства в большей части помещичьих хозяйств, по неопределенности повинно-



стей, работ и служб крепостных в пользу владельцев и совершенному отсутствию всякого законоположения об этом предмете, но неразвитию промышленности, вследствие чего во многих местностях невозможно определить, даже приблизительно, цен на разные работы по недостатку просвещенной, хорошо устроенной местной администрации, на которую бы можно было возложить важную, многосложную, деликатную и трудную задачу точного вычисления следующего владельцу каждого имения вознаграждения. По всем этим причинам должно произвести оценку имений по существующим на месте ценам, которая гораздо проще и выполнимее, чем дробные расчеты, а при такой оценке нет причины делать вычеты из выкупной суммы, потому что местные цены на имения не могли составиться без соображения разных по ним расходов.

### III

Владельцы населенных издельных или барщинных имений в губерниях земледельческих, как средней полосы, так в особенности Малороссийских, убеждены, что в случае выкупа крестьян со всею землею, которую они на себя обрабатывают, последние до такой степени были бы обеспечены в способах существования, что по свойственной земледельческому населению привычке довольствоваться малым и по врожденной жителям южных краев лени и беспечности они долго и не подумали бы наниматься в работники у бывших своих помещиков или нанимать у них землю, а стали бы довольствоваться тою землею, которая останется их собственностью; помещики же, от совершенного недостатка в рабочих и в арендаторах, были бы поставлены по крайней мере сначала на довольно продолжительное время, в самое затруднительное положение, а менее достаточные успели бы между тем совершенно разориться.

Этого возражения нельзя не признать заслуживающим уважения. Но сохранение за крестьянами всей земли, которую они теперь на себя владеют, мы считаем, по изложенным в проекте и в настоящей записке основаниям, до такой степени во всех отношениях существенно важным условием освобождения, что для устранения некоторых, хотя и вредных, но во всяком случае временных его последствий, по нашему убеждению, невозможно пожертвовать главным, основным началом и оставить крестьян без земли или же с количеством земли для них недостаточным. Притом же можно, кажется, поспособить делу разными косвенными, временными мерами, а именно: обязать выкупленных крепостных на известный срок отбывать в пользу бывших их владельцев известные, законом определенные работы, повинности и службы, в известном, законом же определенном количестве и за денежную плату со стороны помещиков, по установленной законом таксе. Эта мера не только обеспечила бы владельцам нужные для их хозяйств рабочие силы, но дала бы и самим крестьянам надежное средство аккуратно и сполна выплачивать ежегодный выкупной сбор. Можно было бы даже, для совершенного обеспечения этих платежей, постановить правилом, что заработанные крестьянами у их бывших помещиков деньги вносятся последними от себя в уплату следующего с крестьян ежегодного выкупного сбора, и только излишек выдается крестьянам на руки. Но для пользы как владельцев, так и самих крестьян необходимо при определении работ и служб принять за правило, чтобы: 1) число работников и работниц было назначено с общины, а не с дома или тягла; 2) крестьянам предоставлено было право вместо себя посылать на работу наемных людей; 3) никакие другие обязанности, кроме прямо относящихся к земледелию, на крестьян возлагаемы не были; 4) эти обязанности или повинности были ограничены самою неизбежною потребностью владельца, без малейшего излишества; 5) помещику предоставлено было право не пользоваться рабочими, если в них не нуждается, и в таком случае и не платить им узаконенной платы; 6) чтобы работы были определены с возможною точностью и возможным соблюдением пользы крестьян; так, на-

пример, чтоб владелец не имел права переносить рабочих дней из одной недели в другую, заменять одну работу другою по произволу, требовать конного рабочего вместо пешего, работника вместо работницы, увеличивать урок или число рабочих часов в рабочем дне и т. под.; 7) урочные положения были составлены по каждому роду работ, применяясь к местным обычаям и условиям.

#### IV

Кроме изложенных главных возражений на проект, сделаны еще некоторые другие, не столь существенно важные замечания, на которые, однако, мы тоже считаем обязанностью отвечать, по крайнему разумению.

1) На каком основании следует произвести освобождение дворовых?

О дворовых не сказано в проекте особливо, потому что они разумеются вообще под крепостными, приписанными к имениям, и нет основания отделять дворовых от крестьян; ибо есть дворовые, несущие тягло, и есть крестьяне, служащие помещикам лично и не имеющие тяглого поземельного участка. Таким образом, различие их несущественно, и почти невозможно провести между этими двумя разрядами крепостных точной разграничительной черты. Притом же это и совершенно не нужно. Сколько есть и теперь приписанных к деревням и селам крестьян, которые не имеют в них поземельного владения, а между тем числятся по приписке при своих крестьянских общинах и несут с ними подати и повинности? В таком же точно положении могут находиться и дворовые после освобождения. Там, где ценность имений определяется ценностью земли, с переложением податей и повинностей на землю, распределяются по владению и ежегодные выкупные платежи, и тогда на приписанных к выкупленным имениям дворовых, не имеющих тягловых участков, останутся только личные повинности, как-то: рекрутская, по выбору в разные должности и по сословным или мирским складам и т. под. Если же им почему-либо окажется неудобным принадлежать к выкупленным сельским обществам, то они припишутся к тому или другому городу, смотря по удобству. В тех же местностях, где ценность имения определяется не только ценностью земли, но и стоимостью труда, на выкупленных дворовых должна быть зачислена определенная, по расчету, часть выкупной суммы, и проценты с нее взыскиваться с них в виде поголовной подати, к какому бы состоянию выкупленный дворовый впоследствии ни приписался. Так как эта часть не может быть значительна, то можно будет даже, для упрощения расчетов, взыскать ее с выкупленных дворовых в течение нескольких лет, уравнивая их, по взносу всей выкупной суммы, в платежах с теми званиями, к которым они припишутся. Наконец, что касается до круглых бобылей и бездомников из дворовых, которые по старости, болезням или по недостатку умственных способностей не могут кормиться сами собою, а также малолетних и сирот, то все они поступят по выкупе на попечение сельских обществ, к которым приписаны, как поступают теперь подобные лица из крестьянского звания на попечение мира.

2) На каком основании должна быть произведена раскладка ежегодных выкупных платежей между выкупленными крепостными?

Самый нормальный, самый правильный способ раскладки, конечно, был бы по поземельному владению и промыслам, уравненный если не в целой империи, то по крайней мере по каждой губернии. Но такая раскладка предполагает оценку земли и промыслов, которая потребовала бы много труда и времени. Поэтому, чтоб не замедлить и не усложнить дела освобождения, едва ли не было бы полезнее на первый раз зачислить долгом на каждом выкупленном имении сполна всю заплаченную за него владельцу выкупную сумму, которая и распределится между приписанными к тому имению, подобно прочим податям и повинностям. Затем, тотчас же по освобождении целого какого-нибудь уезда, может быть немедленно произведено уравнивание выкупных платежей между всеми выкупленными имениями того уезда, а с

уничтожением крепостного права в целой губернии — между всеми выкупленными имениями той губернии.

3) Многие думают, что следовало бы предоставить крепостным право выкупаться без земли, за определенную законом цену, даже без согласия владельцев.

Об освобождении крепостных без земли подробно говорено нами при изложении плана выкупа и в настоящей записке. Прибавим, что дозволение крепостным выкупаться без земли, лишив владельческие имения самых богатых, самых промышленных крестьян, обратило бы лучшее сельское население в неоседлых бездомников. Не думаем, чтоб правительство, в общих государственных видах, могло согласиться на подобную меру, которая, вдобавок, поставила бы крепостных еще более в ложные и щекотливые отношения к владельцам, чем теперь. Если подобную меру допустить возможно, то только разве в отношении к дворовым, не имеющим тяглого участка и не занимающимся сельскими промыслами. Но и в таком случае нужно приступить к делу весьма осторожно и обдуманно, потому что, как выше замечено, между сословием крестьян и дворовых резкой разграничительной черты нет.

4) Некоторые утверждают, что нет надобности выдавать владельцу всю выкупную сумму сразу, можно ее выплатить в несколько сроков, потому что поставление помещичьих хозяйств после освобождения крепостных на новую ногу очень больших издержек не потребует, а между тем большинство дворянства избегнет опасности, к крайнему своему разорению, растратить всю полученную им выкупную сумму непроизводительно и чрез это притти в безвыходное положение.

Постепенная выплата помещикам выкупной суммы, конечно, чрезвычайно упростила и облегчила бы выкупную операцию; но обязать их довольствоваться посрочным получением капитальной суммы, без их на то согласия, едва ли было бы справедливо и полезно для государства. Имения оборочные, малоземельные, будут подлежать выкупу в полном составе, так что их владельцам придется или купить другие земли, или обратиться к какой-нибудь отрасли обрабатывающей промышленности. В том и другом случае им понадобятся капиталы, более или менее значительные, и в выплате их немедленно по цене освобождаемого имения правительство, по справедливости, отказать не может, не поставляя самого себя в необходимость принять на свое попечение всех дворян, разорившихся от неполучения разом следующей им за имения суммы. То же самое должно сказать и обо всех мелкопоместных владельцах, которым будут причитаться суммы столь незначительные, что при рассрочке они станут совершенно ничтожны и послужат разве только для кратковременного пропитания получателей.

Многие предлагают выдавать помещикам проценты за недоплаченную им часть выкупных денег; но эта мера, по изложенным причинам, не могла бы заменить получения капитальной суммы и притом какой назначить процент? Четыре — было бы ниже того, что дает имение, а больше — было бы тяжело для крестьян или для государства — О замечании же, что дворяне могут воспользоваться выплаченными им суммами не так, как следует добродетельным хозяевам, мы, право, не знаем, что и сказать. Оно похоже на то, как если бы правительству рекомендовали приставить к каждому купцу по чиновнику для наблюдения за тем, чтобы он правильно вел свои коммерческие обороты и конторские книги, ибо купец может же иногда повести дурно свои дела и промотаться или обанкротиться. Конечно, будут помещики, которые после выкупа разорятся. Но разве нет таких и теперь? По аналогии следовало бы уже отныне запретить выдавать им деньги под залог имений. Все подобные опасения, вытекающие из совершенно ошибочного взгляда на святой долг правительства заботиться о благе своих подданных, к счастью, не имеют основания; большинство дворянства давно уже принялось за ум и понемногу распутывает гордые узлы, завещанные ему более беспечною, менее предусмотрительною эпохою. И это направление усиливается, а не

ослабляется. Беззаботных людей стало в России очень мало. Это племя теперь почти переводится.

5) Многие предвидят затруднения при уступке крестьянам владеемой ими ныне помещичьей земли в том, что в некоторых имениях крестьянское и помещичье поля не отведены к одним местам, а лежат чересполосно. Пока все имение принадлежит одному владельцу, это не представляет никаких неудобств; но когда крестьяне, в границах теперешних своих полей, станут самостоятельными землевладельцами, положение изменится. Между бывшим помещиком и его бывшими крепостными начнутся беспрерывные столкновения, тяжбы и ссоры, словом, обнаружатся все бедственные последствия чересполосицы.

В отношении к многим имениям замечание это вполне справедливо, хотя нельзя утверждать, что все имения более или менее находятся в таком положении. Поэтому крайне было бы ошибочно в предвидении означенных затруднений поручить оценочным комиссиям по выкупу крестьян во всех выкупаемых имениях произвести чересполосное размежевание между помещиками и крестьянами; ибо чрез это крайне усложнилось и замедлилось бы исполнение главнейших обязанностей комиссии по отводу земель и оценке выкупаемых имений. Итак, всего правильнее было бы, кажется, дать этим комиссиям право производить чересполосное размежевание в тех только случаях, когда оставление чересполосного владения в выкупаемых имениях было бы, по особенно важным причинам, совершенно невозможно, наприм., если бы владелец или крестьяне, оставаясь в настоящих границах землевладения, были отрезаны от воды или не имели проезда на пастбища, пашни, луга и т. под. Там же, где нет такой крайней необходимости изменить порядок землевладения, лучше, кажется, предоставить уничтожение чересполосности обыкновенному ходу этих дел, чтобы не отвлекать оценочных комиссий от отвода земель и оценки имений.

6) Многие думают так: если принять за правило, что помещичьи крестьяне должны быть выкуплены со всюю землею, которою владеют, то все почти оброчные имения вышли бы из частного владения в полном составе и владельцам ничего бы в них не осталось. Но чрез это в очень многих случаях были бы нарушены заветные, фамильные воспоминания и предания, связывающие старинные дворянские семейства с их родовыми вотчинами, и притом вследствие такой системы выкупа во многих губерниях дворянство исчезло бы совсем.

Против этого заметим, что все важные государственные преобразования всегда имеют, при существенно хороших сторонах, некоторые свои неудобства. Фамильные воспоминания, конечно, заслуживают всякого уважения; но нельзя же жертвовать для них общими государственными и народными пользами. С другой стороны, должно заметить, что в большей части оброчных имений владельцы сами не живут, а след., и воспоминания, связующие эти имения с их родовыми владельцами, приходят в упадок и забвение. С точки же зрения государственной и экономической пользы и справедливости, выкупа оброчных имений в полном их составе никак нельзя отвергать. Оброчные имения преобладают преимущественно в губерниях малоземельных и промышленных, где сословие больших зажиточных землевладельцев в действительности не существует, потому что там большая часть помещичьих имений суть оброчные, в которых всю землю и угодьями владеют крестьяне, а имений барщинных или издельных очень мало. Притом же у нас есть целые края, даже не промышленные, а сельскохозяйственные, где дворянства нет вовсе, и, однако, отсюда не происходит никакого неудобства ни для государства, ни для управления, ни для самой страны. Заметим, что в промышленном, не сельскохозяйственном, краю влияние и значение естественно принадлежит богатым промышленникам, а не большим землевладельцам. След., и в этом случае выкуп всей земли, владеемой крестьянами, будет иметь наилучшие последствия, водворяя нормальные отношения там, где крепостное право рождает теперь искусственные явления в области хозяйства и промышленности, а вла-

дельцы ничего от того не потеряют, потому что получают полное вознаграждение за все свое имение.

7) В изложении проекта, в выноске, по поводу вопроса, с каким количеством земли должны быть выкуплены крепостные, замечено, между прочим, что для южных и юго-восточных губерний, где существует система залежей и обрабатываемая пашня менается, нельзя определить по владению ту землю, которая подлежит вместе с крестьянами выкупу, а надобно назначить законом ее количество. Против этого замечают, что для определения этого количества нетрудно постановить общее правило. В каждом имении известно, сколько земли дается на каждое тягло под ежегодную распашку, сколько лет такая или другая земля может быть сряду обрабатываема и потом должна быть оставляема в залежи. По одним этим данным можно совершенно точно определить, сколько земли должно быть выкуплено в данном имении: для этого надо разделить число тех, в продолжение которых оставляется в залежи, на число лет, в продолжение которых можно сряду возделывать одну и ту же пашню; потом прибавить к частному числу единицу и сумму помножить на число десятин, какое ежегодно дается под запашку каждого тягла, наконец это произведение следует помножить на число тягол в имении; последний результат и определит с точностью количество пашенной земли, подлежащей выкупу в имении южного и юго-восточного края. Таким образом, положив, например, что в данной местности земля пашется сряду четыре года и отдыхает в залежи двенадцать, — ежегодная запашка каждого тягла = 5 дес., а число тягол в имении = 50, найдем, что в том имении будет подлежать выкупу  $(12\frac{1}{4} + 1) \times 5 \times 50 = 1000$  десятин, то есть по 20 дес. на тягло или по 10 дес. на душу; ежегодная запашка составит 250 дес.; от оставления в залежь первых 250 дес. прочие 750 дес., разделенные на три участка, по 250 дес. каждый, будут возделываться по четыре года, вследствие чего к первому возвратятся опять ровно через двенадцать лет.

Это правило для расчета количества десятин земли, подлежащей выкупу в южных и юго-восточных губерниях, вполне справедливо, и им должно бы воспользоваться при составлении инструкции для оценочных комиссий.

8) Многие думают, что совершенно необходимо дать оценочным комиссиям в руководство какие-нибудь положительные основания для произведения оценки выкупаемым имениям, иначе произволу членов комиссий и поискам неблагонамеренных владельцев откроется слишком большой простор. Полагают, что таким основанием могли бы служить для каждой местности средние цены, выведенные из купчих крепостей, совершенных между частными лицами в течение последних десяти лет, но отнюдь не из аукционных продаж. Полагают, что разница выведенных из крепостей средних цен против действительных если бы и оказалась, была бы самая ничтожная.

Опасение, выражаемое этим мнением, конечно, очень основательно и справедливо. Но мера, предлагаемая для ограничения произвола оценщиков, встретила бы единогласные и справедливые возражения и жалобы со стороны помещиков. Цены населенных имений никогда не означаются в крепостных актах свыше установленных законом наименьших цен, по расчету которых взимаются гербовые и крепостные пошлины; в действительности же они всегда, постоянно, гораздо выше их. Следовательно, принять за основание цены, показанные в купчих, значило бы уменьшить против действительности следующее владельцам вознаграждение за крестьян и за землю, вопреки справедливости и в ущерб владельцам. Конечно, во всех отношениях было бы весьма желательно найти какое-нибудь постоянное мерило оценки для ограждения интересов тех, которые сами почему-либо не могут отстаивать свои права и пользы. Но, к сожалению, мы ничего в этом роде не знаем и не придумаем. Самым надежным ручательством все-таки остается выбор в оценочные комиссии честных и знающих людей, хотя бы даже одного председателя или прокурора. Мы не хотим верить, что в целой империи нельзя было приискать каких-нибудь четырех сот или пяти сот совершенно



честных и порядочных чиновников, особенно назначив им порядочное содержание. Если в то же время объяснить выкупаемым крестьянам, что земля по выкупе будет принадлежать им на правах собственности, что они сами будут ее оплачивать и что, следовательно, им самим будет выгодно не дать переоценить ее, чтоб не платить лишнего, то, без сомнения, крестьяне сами будут наилучшими блюстителями своих выгод. Кто не видал и не знает, по собственному опыту, как хорошо наш крестьянин понимает свое положение и свои выгоды? Особенно это выказывается при полюбовных чересполосных размежеваниях. Владелец никогда не сумеет так основательно и твердо отстаивать крестьянского поля в своих поместьях, как сами крестьяне, и кто заботится о том, чтоб сохранить это поле без уменьшения в качестве или количестве, тому стоит только поручить это самим крестьянам.

Желание найти основание оценки имеет, кроме изложенной стороны, еще и другую. Оно предполагает, что для каждого уезда (так как оценочные комиссии должны быть учреждены по уездам) будут постановлены одни общие, нормальные цены, и по ним будет делаться расчет выкупной суммы, следующей владельцам населенных имений, посредством умножения этих цен на число ревизских душ или десятин земли, подлежащих выкупу. Не спорим, что под такую гуртовую или валовую оценку действительно подойдет самое значительное число выкупаемых имений, но зато в некоторых, и даже во многих случаях, такая оценка была бы неправильна.

Кто не знает, что смотря по местоположению, удобству для сбыта произведений, промыслам и достатку крестьян, цена имений колеблется между суммами, очень далеко отстоящими одна от другой? Конечно, при низких средних ценах крестьяне этих имений, чрез гуртовую оценку, значительно бы выиграли; но зато многие владельцы значительно бы потеряли, и потеряли бы незаслуженно. Поэтому мы думаем, что оценку имений, находящихся в исключительном положении, справедливо было бы производить особливо, назначая по ним особливую выкупную сумму, большую или меньшую против средней, не стесняясь последнюю.

9) Очень многие находят, что способ выкупа и расчеты по уплате крестьянами капитального долга и процентов изложены в проекте неполно.

Хотя пояснение этого способа, собственно говоря, уже излишне после того, как мы предлагаем в настоящей записке другую, более удобоприменимую систему выкупа; однако, так как мнения об этом могут быть различны, то мы поставяем себе в обязанность изложить для желающих предположенный в прежней записке способ выкупа наглядно, примерами.

Положим, что в имении, подлежащем выкупу, считается 100 душ, и каждая из них оценена, с выкупаемою землею, в 125 р. сер., так что следовало бы уплатить владельцу за имение 12 500 р. сер. По предположенной первоначально выкупной операции, изложенной в проекте, банк выплачивает эту сумму владельцу билетами, обеспечивая ее металлическим фондом в 1/10 ее часть, а именно 2 083 1/3 руб. Если выкуп билетов разложить на 37 лет, то крестьянам означенного имения пришлось бы выплачивать ежегодно:

Одну тридцать седьмую часть всей выкупной цены,—	
(почти)	338 руб.
1/2% со всей выкупной цены, на покрытие издержек выкупной операции	62 руб. 50 коп.
5% с капитала обеспечения, так как последний был бы занят под эти проценты,— (почти)	104 руб. 50 коп.
<hr/> Всего 505 руб.	

что составит несколько более 5-ти руб. сер. с души.  
Эти платежи уменьшались бы с каждым годом, сначала только вследствие того, что по мере выкупа капитальной суммы, ежегодный полупро-



центный сбор постоянно бы уменьшался, и так продолжалось бы до выкупа  $\frac{5}{8}$  частей всей выкупной суммы, когда металлический фонд обеспечивал бы, наконец, эту сумму не в  $\frac{1}{8}$  часть, а уже рубль за рубль. С этой минуты ежегодные взносы стали бы еще быстрее уменьшаться, потому что не только цифра полупроцентного сбора продолжала бы попрежнему ежегодно упадать, но, сверх того, и сумма 5-процентного сбора за капитал обеспечения стала бы тоже постепенно уменьшаться, так что с той минуты, когда выкупная сумма стала бы меньше капитала обеспечения, справедливость требовала бы взимать пятипроцентный сбор не со всего капитала обеспечения, а только с той его части, которая обеспечивает недоплаченную выкупную сумму рубль за рубль. Таким образом, когда последняя будет составлять  $2083\frac{1}{3}$  руб. сер., то есть сравняется с капиталом обеспечения, пятипроцентный сбор будет еще такой же, как с самого начала; но когда первый станет меньше второго, например не свыше 1500 р., то было бы несправедливо продолжать взимать пятипроцентный сбор попрежнему со всего фонда обеспечения, обеспечивающих выкупную сумму рубль за рубль.

По поводу этой системы выкупа некоторые замечают, что если уже держаться в точности принятого начала, то капитал обеспечения мог бы также уменьшаться постепенно, по мере уплаты выкупной суммы, так чтоб он всегда составлял не более  $\frac{1}{8}$  части последней. Поэтому, начав выкуп илений не всех в один год, а разложив эту операцию на несколько лет, можно было бы удовлетворяться фондом обеспечения гораздо меньше  $\frac{1}{8}$  части всей выкупной суммы. Соразмерно с тем уменьшился бы и процент. Но такое ежегодное изменение платежей было бы в практике весьма неудобно, а потому можно было бы сделать расчет наподобие того, как рассчитываются проценты с погашением капитала, то есть положив постоянную цифру процентов, но меньшую, чем вышеприведенная. На это есть свои правила и теория.

Замечание это вполне заслуживает внимательного обсуждения.

10) Кроме исчисленных замечаний, сделано было еще и то, что нигде прямо не высказано, хотя и разумеется само собою, что по освобождении крепостных все обязанности в отношении к ним их бывших владельцев, а также всякая ответственность владельцев за бывших крепостных перед правительством совершенно прекращается. С благодарностию упоминаем здесь и об этом замечании вместе с прочими».

Читатель видит, что многие из мер, предлагаемых в этой записке, уже приводятся в исполнение. Он видит с другой стороны, что во многих случаях законодательная власть признала возможным придать более широты своим мерам, нежели как ожидал автор записки, — и конечно, тем лучше оправдались принципы, принятые в основание этой записки и существенно одинаковые с основаниями, которые полагаются делу освобождения крестьян высочайшими рескриптами. Из этого пока мы выводим то следствие, что дело освобождения поведено именно тем способом, какого желало многочисленнейшее большинство просвещенных людей, вообще разделяющих коренные принципы, положенные в основание плану, развитому в приводимой нами записке.

Мы поставляем эту записку, как формулу соединения для людей, подобно нам сочувствующих основным убеждениям автора ее. Что касается подробностей, излагаемых запискою, многие из них, конечно, могут видоизмениться вследствие всесто-

ронного обсуждения частных дел, в ней рассматриваемого, — в следующей статье мы будем говорить о них, следуя тому пути, который указан самим автором записки, собравшим и обсудившим, во второй части ее, возражения и замечания, порожденные его первоначальным проектом.

Теперь, когда настала эпоха гласности для рассмотрения вопроса о способах выкупа, мы слышим очень много и, конечно, прочтем и услышим еще более замечаний на систему, которую мы принимаем в главных ее чертах. Мы не замедлим рассмотреть эти замечания.

## [ЗАПИСКИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН]<sup>1</sup>

### [I]

По поводу второй статьи «О новых условиях сельского быта», помещенной в № IV журнала «Современник» за 1858 год, возник вопрос: сообразно ли с высочайшими рескриптами об улучшении быта помещичьих крестьян выраженное в этой статье предположение, что освобождение крепостных крестьян с землею заслуживает предпочтения пред освобождением их без земли? В ответ на то автор статьи, кандидат Санкт-Петербургского университета Чернышевский имеет честь представить вашему в — ству следующие соображения, прося в. в. довести настоящую записку до высочайшего усмотрения.

1. Мнение о необходимости освобождения помещичьих крестьян с землею не может не согласоваться с духом высочайших рескриптов по следующим основаниям:

а) Само название, которым государь император благоизволил определить характер реформы, предпринимаемой по его воле, ясно указывает на то, что освобождение помещичьих крестьян с землею составляет желание государя императора. Предпринимаемые меры не названы просто «освобождением» или увольнением помещичьих крестьян, а «улучшением их быта», следовательно воля государя императора состоит в том, чтобы освобождение помещичьих крестьян совершенно было не как-нибудь, а непременно соединено было с улучшением их быта. Освобождение же без земли привело бы быт помещичьих крестьян к состоянию не лучшему, а худшему их настоящего положения, как то доказывает пример всех тех стран, где крепостные крестьяне были освобождены без земли, — между прочим Англии и Шотландии и Ирландии, где, несмотря на чрезвычайное богатство государства, свободные земледельцы находятся несравненно в худшем положении, чем в России, потому единственно, что освобождены были без земли.

6) Государь император не может желать смут в государстве, а освобождение помещичьих крестьян без земли непременно породило бы сильные смуты, потому что русский крестьянин по своим убеждениям не может ни понять, ни принять освобождения без земли, и если б реформа приняла такой оборот (от чего да хранит нас и, без сомнения, охранит нас бог гвердою волею государя императора), — если б крестьяне увидели себя освобожденными без земли, они приписали [бы] такое бедствие злоумышлению помещиков, стесняющих благую для крестьян волю государя императора, и поголовно восстали бы против помещиков для, по своему мнению, освобождения государя от заговора злоумышленников и для приведения в исполнение его воли, которая, по их непоколебимому убеждению, состоит в освобождении их с землею.

Несомненно истекая из духа высочайших рескриптов, освобождение крестьян с землею согласно и с буквою этих рескриптов, 1 пункт §2 говорит:

«Крестьянам [оставляется их усадебная оседлость, которую они в течение определенного времени приобретают в свою собственность посредством выкупа; сверх того, предоставляется в пользование крестьян надлежащее по местным удобствам для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиком количество земли, за которое они платят оброк или отбывают работу помещику»].

Эти слова показывают: 1) что крестьянам предоставляется усадебная оседлость, которая составляет часть земли, 2) что другая часть земли, именно полевая, луговая и всякая другая земля, нужная для обеспечения быта крестьян, предоставляется им в пользование, которого не могут лишиться они по произволу помещиков.

3 пункт того же § говорит:

«При [устройстве будущих отношений помещиков и крестьян должна быть надлежащим образом обеспечена исправная уплата государственных и земских податей и денежных сборов»].

Это обеспечение предоставляется только землею, без которой крестьянин не имел бы средств ни к жизни, ни тем более к исправной уплате государственных и земских сборов.

§ 3 говорит, что пункты предыдущего § 2 должны [быть] развиты, и практическое развитие [их] предоставляет комитетам, — из этого ясно, что меры, постановленные тремя пунктами § 2, считаются государем императором только как первый шаг к дальнейшим постановлениям, имеющим целью улучшение быта крестьян, а это улучшение по воле государя императора будет состоять в распространении выгод, ныне уже предоставленных освобождаемым крестьянам, т. е. в расширении их части земли, ныне уже предоставляемой им пунктом 1 § 2.

Дело это, т. е. распространение выкупа части земли, находящейся под усадебными оседлостями, и на другие части земли, остающиеся в неотъемлемом пользовании крестьян по тому же

пункту 1 § 2, предоставляется по § 3 совещаниям комитетов, и быстрое или более продолжительное исполнение его постав-ляется в зависимость от местных условий каждой губернии.

Что такова несомненная воля государя императора, оче-видно из «участия», к которому, по выражению высочайших рес-криптов, «призывается дворянство в столь важном деле»\*. Эти слова показывают, что воля государя императора требует не только исполнения 3 пунктов, поставленных высочайшими рес-криптами, но и дальнейших действий дворянства в том же благо-детельном для крестьян духе; если б дворянству предоставлялось только исполнение трех пунктов, то не были бы употреблены в высочайших рескриптах выражения «участие» и «доверие», а ска-зано было бы только о повиновении высочайшей воле, ибо тот, кто только исполняет повеление, не есть участник, а только [испол-нитель], дворянство же призвано быть участником в деле, начи-наемом монаршею волею, следовательно ему по духу и букве высочайших рескриптов предназначено сделать нечто более того, что уже возлагается на него тремя пунктами § 2, и таким образом ясно показывается конечная цель реформы, именно освобождение крестьян с землею как единственный способ освобождения, улучшающий быт крестьян, единственный, согласный с русскою народностью и спокойствием государства.

Излагая эти соображения, автор статьи, подавшей повод к вопросу о способе освобождения помещичьих крестьян, сообраз-ном с высочайшими рескриптами, исполняет долг верноподданного и просит в. в. тоже исполнить этот долг повержением настоящей записки на благоусмотрение государя императора и откровенным, полным сообщением государю императору тех подробностей дела, которые в дополнение к вышеизложенным кратким соображениям будут переданы автором записки в. в. при личном свидании. Пусть сам государь император решит, такова ли его воля, какою несомненно предполагает ее автор записки; пусть сам государь скажет, сообразно ли с видами августейшей воли действительное улучшение быта помещичьих крестьян, спокойствие государства, прочность престола, любовь народа и благословение потомства.

## [II]

Воля государя императора, благо государства и чувства кре-стьян одинаково указывают на освобождение крестьян с землею. Единственным возражением против него представляют мнение,

\* «Открывая таким образом дворянству Нижегородской губернии со-гласно собственному его желанию средства устроить и упрочить быт кре-стьян своих на указанных мною общих началах, я уверен, что оно вполне оправдает доверие, оказываемое мною сему сословию призыванием его к уча-стию в столь важном деле, и что при помощи божией и при просвещенном содействии дворян оно будет совершено с желаемым всеми успехом».

будто бы финансовые средства русской нации недостаточны для выкупа столь огромной ценности, какую имеет часть земли, находящаяся ныне в пользовании помещичьих крестьян. Глаз людей, не привыкших к соображению финансовых операций, ужасается цифрою 1 000 или даже 1 500 миллионов рублей, как оценивается сумма выкупа, который надлежало бы заплатить в вознаграждение помещиков при освобождении крестьян с землею. Но литература именно тем и занимается, что старается приискать средства для такого выкупа, представляющегося затруднительным только по недостатку исследований об этом предмете, стало быть она действует совершенно в видах государя императора и к пользе государства.

«Она не отыщет средств для выкупа земли, и крестьян все-таки придется освободить без земли», — говорят противники воли государя императора и враги литературы. Положим, что было бы и так, — все-таки литературное исследование этого предмета принесло б пользу, а не вред: тогда все убедились бы, что правительство освобождает крестьянина без земли не потому, чтобы не хотело оказать ему beneficia, освободив его с землею, а только потому, что это желание невыполнимо; невозможного же никто не требует, и если будет доказана невозможность выкупа земли, никто не будет роптать на правительство. Совершенно иной оборот приняло бы дело в случае невозможности освободить крестьян с землею, если б эта невозможность не была публично обнаружена неуспехом литературы в отыскании средств для того: тогда общество осталось бы при убеждении, что это невозможно не по недостатку средств, а по недостатку желания, и правительство ослабило бы себя, оставив возможность к такому мнению запрещением исследовать дело. Может быть, именно того и хотят противники воли государя императора, ненавидящие его за его заботливость о благе государства и искоренении злоупотреблений, желающие погибели его благотворным начинаниям, хотя бы с опасностью для его престола и особы; ныне есть люди, которые говорят, что если бы государь скончался, они были бы рады. Неужели можно предполагать, что такие люди могут истолковать волю государя императора вернее, чем те, которые благословляют и прославляют его за заботу об освобождении помещичьих крестьян?

Неужели можно предполагать, что те возражения, которые делаются ими против единственно возможного и полезного способа этого освобождения, то есть освобождения с землею, добросовестны и основательны? Нет, клеветают на свою родину те, которые говорят, что не найдется в ней средств для выкупа помещичьих крестьян с землею. Богата ли, бедна ли наша родина, но мы еще не обнищали до того, чтоб не найти у себя источников для такого выкупа. Их много, и не место здесь перечислять их все, — упомянем хоть об одном, оставляя в стороне все другие,



не менее обильные. Не будем говорить ни о прямой финансовой помощи от казны крестьянам в деле выкупа, ни об учреждении банков, ни о зачете долгов помещиков кредитным учреждениям взамен части вознаграждения, ни о налоге на дворянские земли, до сих [пор] не дававшие почти ничего в государственную казну по привилегии, противной государственным пользам, ни о преобразованиях финансовой и административной системы, которые увеличили бы государственные доходы и сократили бы государственные расходы.

Некоторые говорят, что для финансовых преобразований теперь не время, что подвергать дворянские земли налогу равномерно с другими землями теперь несвоевременно, что зачет вознаграждения в долг по кредитным учреждениям был бы тяжел для кредитных учреждений, что банки для выкупа крестьян с землею устроить не легко, что средства казны не позволяют ей участвовать в выкупе помещичьих крестьян. Все эти возражения неосновательны по убеждению людей знающих, но пусть все эти затруднения признаются имеющими полную основательность, — мы хотим упомянуть только об одном источнике выкупа, таком источнике, против которого ни у кого нет и быть не может ни малейшего возражения.

Ныне помещичьи крестьяне обложены податью гораздо меньше, чем государственные крестьяне, потому что платят оброк или отправляют барщину помещикам; при освобождении их с землею они сравнялись бы по своему положению с государственными крестьянами и, конечно, не только могли бы, но и должны бы нести такие же подати. Ныне помещичьи крестьяне платят в казну менее 2 рублей, государственные крестьяне более 5 рублей с души, — разница составляет около 3 р. 50 к. с души. Крепостные крестьяне почли бы для себя благодеянием, если бы им сказали, что они освобождаются с землею под одним условием: платить то, что платят государственные крестьяне, или хотя бы двумя рублями больше государственных. Правительству сбор этой добавочной подати не стоил бы ничего, потому что положить в кассу уездного казначейства и записать в приход 7 рублей с души не труднее, чем 2 рубля, а между тем эти лишние 5 р. 50 коп. с каждой ревизской души в бывших крепостных имениях дали бы в год более 55 миллионов серебром, и этим одним источником, ни на одну копейку не касающимся настоящих доходов государства, в непродолжительном времени выплалилось бы все вознаграждение помещикам за крестьян с землею.

Именно, если положить выкуп с души средним числом в 120 руб. сер. (цена выше действительной, потому что в настоящее время все поместье со всею землею едва продается по цене по 120 руб. за душу, а целая половина осталась [бы] у помещиков за отрезкою крестьянских земель), — если положить, что помещикам будут выданы в ожидании уплаты облигации, приносящие

3% дохода, как билеты кредитных учреждений, что проценты эти будут уплачиваться с добавочной подати на освобожденных помещичьих крестьян, о которой говорили мы выше, и что остающаяся затем часть этого нового дохода будет обращена на постепенный выкуп облигаций, мы найдем, что все облигации будут выкуплены не более как в 38 лет, в действительности же выкупятся гораздо скорее, потому что с каждым годом численность платящих подать будет увеличиваться, конечно, от перевеса рождений над смертностью, а следовательно, и сумма подати, употребляемой на выкуп, будет возрастать.

Таким образом, если даже взять только один этот источник, не прибегая ни к каким другим, то и тогда выкуп крестьян с землею совершится легко и быстро, единственно средствами самих освобожденных крестьян; и выдачей дворянам облигаций, таких, как приносящие доход, равный доходу, даваемому вкладами в кредитные учреждения,<sup>2</sup> и таких, которые ежегодно выкупаются посредством тиража (как выкупаются облигации польского долга<sup>3</sup>), значительная часть их не может упасть в цене, следовательно и до выкупа получение их будет для помещиков совершенно равносильно получению наличных денег, за которые каждая облигация может быть всегда продана без всякого убытка, как ныне переходят из рук в руки билеты кредитных учреждений. Быть соперницами кредитных билетов и вредить им эти облигации не могли бы, потому что они были бы почти исключительно выданы на очень крупные суммы (например, помещик, имевший 1 000 душ, получил бы облигацию в 120 000 руб. сер.; этот огромный билет никак не может заменить собою в обращении кредитного билета в 100 руб. сер., он скорее подобен хорошему имению, приносящему верный доход, которое всегда может быть без убытка продано по той же цене, за которую получено взамен долга, но которое нимало не принадлежит к массе звонкой монеты и заменяющих ее кредитных билетов и, не имея с ними никакого сходства, не может быть их заменою или соперником их в обращении).

Эти мысли о налоге на освобожденных крестьян — вовсе не проект освобождения крестьян с землею: настоящая записка составляет вовсе не с тою целью, чтобы быть подобным проектом; они даже не могут называться кратким указанием на лучший способ выкупа крестьян с землею: есть другие способы, еще более верные для помещиков и гораздо более легкие для крестьян. Нет, надобно было только доказать, что если даже из многих источников средств для выкупа крестьян с землею ограничиться одним и пользоваться им без всяких искусных финансовых операций, всегда чрезвычайно облегчающих и ускоряющих платеж, то и тогда дело выкупа крестьян с землею не представит никакого затруднения для правительства, никакого обременения для казны, никакого убытка для помещиков и легко совершится средствами

самих освобожденных крестьян в непродолжительное время. Как же можно говорить о невозможности такого выкупа, если самый простой и неполный обзор только одного из источников этого выкупа дает уже очень удобное решение вопроса? Как можно говорить о том, что литература не поможет правительству и помещикам в приискании способов для этого выкупа крестьян с землею, если самое краткое изложение соображения, приходившего на мысль почти каждому из людей, писавших или хотевших писать о выкупе крестьян с землею, уже показывает верное и легкое средство совершить этот выкуп без всякого обременения для государственной казны и без всяких преобразований в государственном бюджете?

Желают вреда государю императору и государству те люди, которые говорят против литературных исследований о выкупе крестьян, против этих исследований, единственным результатом которых может быть только обнаружение легкой возможности исполниться благой воле государя императора об освобождении крестьян с землею и охранение государственного спокойствия, подвергающегося опасностям в том случае (от которого да охранит нас бог и государь император), если б воля государя императора не в силах была преодолеть злонамеренных козней противников монаршей воли.

## ОТВЕТ НА ЗАМЕЧАНИЯ г. ПРОВИНЦИАЛА

Теперь можно говорить прямее, нежели возможно было почтенному автору письма и нам два или три месяца назад, и мы надеемся, что объяснения, которые можем теперь дать о наших мнениях, во многих случаях удовлетворят почтенного корреспондента, показав ему, что большая часть сомнений, возбужденных в нем нашими статьями, произошла не от того, чтобы мы в сущности имели образ мыслей, с которым бы не мог он согласиться, но единственно от того, что мы или не могли или не умели с достаточной точностью выразить свою мысль о некоторых подробностях предмета.

Почтенный корреспондент начинает свои замечания уверением, что многие из наших землевладельцев заботятся о разрешении крепостного вопроса с выгодой для крестьян не менее, нежели люди, упрекающие землевладельцев в холодности к этому делу. Мы не знаем, насколько автор при этом уверении обращался лично к нам, но, имея теперь возможность, мы вообще находим полезным точнее прежнего выразить наше мнение о классе, к которому принадлежит наш корреспондент. Нет сословия, которое не имело бы своих недостатков, нет положения, при котором личные интересы человека не бывали бы часто противоположны справедливым выгодам многих других людей и пользам целого государства. При существовании крепостного права это применялось к положению помещиков гораздо более, нежели к положению многих других сословий, — например, не говоря уже о самих поселянах, торговцах, промышленниках, домовладельцах, даже человек, живущий процентами с денежного капитала, даже (в некоторых отраслях государственной службы) чиновник занимал относительно требований справедливости и национального благосостояния более нормальное положение, нежели помещик. Но из того, что известный класс занимает положение, не согласное с этими условиями, вовсе еще не следует, чтобы лиц этого класса [как людей] можно было осуждать за невыгоды, приносимые государству или другим сословиям теми условиями быта, ко-

которые составляют привилегию сословия. [Должно] желать уничтожения привилегии, несогласной с справедливостью, гуманностью и государственной пользой; но чувства наши относительно самих лиц, пользующихся существующей привилегией, совершенно зависят от чувств, которыми проникнуты сами они. Во всякой многочисленной корпорации бывают люди очень различного образа мыслей и образованности. Одни из привилегированных могут желать сохранения своей привилегии, другие могут желать ее изменения. О последних поговорим после; теперь заметим, что и первые в своем желании, конечно, противном государственной выгоде, могут руководиться побуждениями очень различными. Многие отстаивают свою привилегию только потому, что не понимают другого порядка вещей, просто потому, что вообще боятся покинуть рутину. Это — люди мало развитые, и их умственная слабость, как всякая слабость, заслуживает сострадательной помощи. Человек более развитой показал бы себя недостойным уважения, если бы вздумал враждовать против таких личностей вместо того, чтобы просвещать их. Есть многие другие, для которых прекращение привилегии соединено в ближайшем будущем с такими убытками, которых не могут вынести их настоящие средства, хотя в будущем более отдаленном и для них, как для всего государства, прекращение привилегии будет выгодно. Относительно таких людей мало забот о просвещении их взгляда: им нужно материальное пособие, чтобы они могли пережить без разорения переходный период. Из этих двух разрядов [всегда] состоит [огромнейшее] большинство людей, не благоприятствующих прекращению привилегии. И хотя привилегия, продолжения которой они хотели бы, несомненно, вредна, но столь же несомненно и то, что личности [таких защитников старинного злоупотребления никак] не могут быть предметом вражды со стороны справедливого поборника улучшений. С одними он должен доброжелательно беседовать о средствах и путях, которыми они могут не только не проиграть, а напротив, выиграть при отмене привилегии; в пользу других он сам должен приискивать материальные средства, чтобы они взамен прежних источников жизни получили новые, если возможно, обильнейшие прежних.

Таковы, по нашему мнению, должны быть чувства просвещенных противников крепостного права относительно [огромного] большинства наших помещиков. Не помещики нам современные присвоили себе вредную для государства привилегию пользоваться обязательным трудом. [Они наследовали то положение, которое занимали до последнего времени, и лично не виноваты в существовании его.] Если те, которые не видят выгодного для себя выхода из этого положения, желали бы сохранить его, тут нет ничего особенного. Человек, защищающий свои выгоды, во все не есть человек дурной; нужно только показать ему, что

с уничтожением привилегии его благосостояние не уменьшится, а увеличится, и он не будет иметь ничего против улучшений.

В каждой многочисленной корпорации есть люди нравственно дурные, люди, которым дорога не столько собственная выгода, сколько возможность удовлетворять дурным страстям: тщеславию, самовластию, лени, низким порокам и т. п. Для этих испорченных людей злоупотребление приятно само по себе; они восстают против улучшений не по ограниченности ума или сведений, не по ошибочному расчету, не по робости перед нововведениями, а из пристрастия к дурному. В каждом сословии есть такие люди, но они не принадлежат собственно ни к какому сословию, кроме сословия людей нравственно испорченных. Какое бы официальное имя ни носили они, все равно они лично сами по себе вредны для общества, вредны не положением своим, которое бывает очень различно, а качествами своего сердца. Но природа человеческая так благородна по своей сущности, что число таких людей незначительно. [В одном сословии может быть их несколько больше, нежели в других, но нет такого сословия, в котором бы составляли они большинство.] И каковы бы ни были впечатления, производимые на общество нравственно дурными речами или поступками нравственно дурных людей [известного сословия], защищающих злоупотребление из пристрастия к нему, как бы неприятны ни были эти впечатления, чувство, ими возбуждаемое, не должно относиться к целому сословию. [Если угодно, можно пояснить эти мысли хотя бы таким примером. В Неаполе, как известно, есть довольно вредный класс людей, ровно ничего не делающих, грубых, невежественных, не совсем чистых и в нравственном отношении, как вовсе не чисты они в физическом отношении. Известно, что эти отвратительные или, лучше сказать, несчастные лаццарони<sup>1</sup> составляют очень сильное препятствие всякому улучшению жизни в Неаполитанском королевстве. Само собой следует из этого, что национальное благо требует уничтожения тех условий неаполитанской жизни, под эгидою которых лаццарони ведут свой вредный для государства образ жизни. Предположим теперь, что неаполитанское правительство издало закон, постановляющий: 1) всякий просящий милостыню здоровый человек подвергается строгому наказанию; 2) каждый из живущих в Неаполе без всякого определенного ремесла или занятия подвергается высылке из Неаполя. Этими постановлениями уничтожилось бы вредное для государства положение, занимаемое сословием лаццарони. Как люди невежественные, многие лаццарони остались бы чрезвычайно недовольны новым узаконением. Само собой разумеется, что их неудовольствие не заслуживало бы ни малейшего внимания со стороны человека, желающего пользы Неаполитанскому королевству. Сословие лаццарони при своем настоящем образе жизни вредно, и условия его быта должны быть изменены во что бы то ни стало, не слушая



праздного ропота. Но мог ли бы человек справедливый почувствовать из-за этого ропота неудовольствие на сословие лаццарони? Вовсе нет; эти жалкие люди не имеют понятия о том, что, кроме нищенства (нищенством должны называться все те случаи, когда человек получает средства к жизни без собственного труда и живет на чужой счет; тунеядство и дармоедство всякого рода подходит под разряд нищенства; это не противоречит обыкновенному понятию о нищенстве, потому что каждый из нас в обыкновенном разговоре принимает, кроме нищенства смиренного, нищенство дерзкое и наглое), — эти жалкие люди, сказали мы, не имеют понятия о том, что, кроме нищенства, есть другие источники для жизни; им надобно растолковать это, надобно объяснить, что гораздо богаче да и гораздо приятнее, нежели ленивый нищий, живет человек трудящийся. Когда лаццарони поймут это (а при даровитости, свойственной неаполитанскому племени, они поймут это очень скоро, лишь бы только объяснения делались им серьезно и вразумительно), — когда они поймут это, большая часть из них сами начнут смеяться над своим прежним тупым недовольством и станут благодарить постановление, которое из тунеядной нужды вывело их к деятельно-изобильной жизни. Кроме большинства, нуждающегося только в объяснении невыгодности тунеядства и выгоды трудовой жизни, найдется между лаццарони довольно много людей столь бедных, что трудно было бы им без материального пособия пережить то переходное время, пока окончатся их доходы от милостыни и не начнутся новые доходы от трудовой жизни. Справедливость требует, чтобы таким людям была оказана материальная помощь, и они сделаются самыми пламенными защитниками нового порядка вещей. Те и другие, то есть девяносто девять из ста лаццарони, лично достойны не вражды, а сочувствия, потому что, несмотря на свой первоначально тупой ропот, они вовсе не по натуре своей, а только по случайным обстоятельствам враждебны прогрессу и станут на стороне его, как скоро советами и содействием дана будет им возможность к тому; затем остаются очень немногочисленными люди, которым приятно быть нищими негодями, испорченность которых так велика, что они уже лишились охоты жить честным трудом, которые ненавидят даже выгодный честный труд за то, что он честен. Такие люди, конечно, не могут быть предметом сочувствия, но, повторяем, они составляют [в] сословии лаццарони, как и во всяком другом сословии, только ничтожную часть, и чувства, с которыми человек беспристрастный, желающий государственной пользы, принужден смотреть на них, никак не должны быть переносимы на целое сословие лаццарони; он должен сказать, что характер быта в сословии лаццарони вреден для государства, и потому должны быть изменены условия этого быта; но против лаццарони как людей он не может иметь вообще никаких иных чувств, кроме тех, какие благород-

ный человек имеет к людям всех званий и состояний, — никаких иных чувств, кроме чувств благорасположения и готовности помочь.

Мы далеко уклонились от прямого предмета наших замечаний. Попробуем возвратиться к нему тем же путем, каким удалились от него, — путем примеров. Ни Европа, ни Азия не представляют явления столь противного справедливости, как невольничество в южных штатах Северо-Американского союза. Страшная участь пленников у зверских хивинцев не так возмутительна: тут весь быт народа, все его понятия сообразны с поступками относительно пленных; у хивинцев нет литературы, они не говорят о гуманности, не рассуждают о политической экономии, о государственном благоустройстве, о правах человека. Но какое впечатление должен производить мистер Легри (в «Хижине дяди Тома»)? Однакоже вникните в смысл даже романа г-жи Бичер-Стоу: разве она враждебно смотрит на плантаторов, разве желает им зла или потерь? Нет, она выставляет большую часть плантаторов, действующих в ее рассказах, людьми, лично заслуживающими уважения многих, людьми чрезвычайно достойными. И однакоже эти люди имеют негров, мало того, они подают голос за сохранение невольничества. Они просто ошибаются в расчетах или увлекаются рутинною при этом деле. Будучи по своему положению людьми вредными для государства, лично большая часть из них остается людьми почтенными.

Мы начали тем, что] в каждом сословии есть люди всякого рода, в каждом есть между прочим и несколько человек нравственно дурных, за которых не обязано отвечать сословие; но, с другой стороны, в каждом сословии бывают и люди, по своим личным качествам столько же возвышающиеся над большинством, насколько некоторые бывают ниже его. Хотя привилегированное положение [вообще не] благоприятствует нормальному развитию человека, но, с другой стороны, сословие помещиков обладает у нас, по отношению к удобствам нравственного развития, столькими средствами, недостающими другим сословиям, что можно предположить в сословии помещиков большую пропорцию людей, замечательных по особенной развитости ума и чувства, нежели во многих других сословиях. Большая половина всего населенного пространства Русской империи находится во владении этого сословия. Оно вообще пользуется несравненно большим благосостоянием, нежели всякое другое сословие, взятое в массе; даже торгующий класс далеко не имеет таких доходов, как землевладельцы; классу помещиков по преимуществу открыт доступ во все высшие учебные заведения, и вообще он имеет гораздо больше средств, нежели другие сословия, для своего воспитания. Это вещь известная, но не должно забывать о другом обстоятельстве, не менее важном для умственного и нравственного развития; все высшие общественные должности заняты людьми из этого сосло-

вия; известно, что занятие важными общественными делами есть наилучшая школа для развития в человеке всех истинно человеческих достоинств; известно, что из двух людей, одинаково одаренных от природы, тот будет иметь более широкий взгляд на жизнь, кто более привык к занятиям, требующим подобного взгляда; известно, как убийственно действует и на ум и на сердце человека такое положение, при котором все его мысли исключительно прикованы к мелочным заботам о мелочных делах; как сословие, одни помещики у нас изъяты от этого погружения исключительно в мелкие интересы, они одни заняты широкими заботами о государственных делах, нравственно возвышающими человека. Надобно думать, что этими благоприятными развитию обстоятельствами вознаграждается невыгодное влияние привилегии на развитие, и потому должно предполагать, что в сословии помещиков пропорция людей, достигших высокого нравственного и умственного развития, более значительна, нежели во многих других сословиях. Таким образом при всем возможном нерасположении к доверчивости похвалам беспристрастный человек едва ли станет отрицать, что в дворянском сословии находилось и находится очень много людей, заслуживающих признательность патриота своими заслугами делу общественной жизни вообще, и в частности находится много людей, самым благородным и полезным образом содействовавших разрешению вопроса о крепостном праве.

В самом деле, нельзя забывать того, что из людей, наиболее заботившихся об уничтожении крепостного права, большая часть принадлежала и принадлежит сословию помещиков. Почти все дельные проекты об уничтожении крепостной зависимости, предшествовавшие административным мерам, были составлены людьми из сословия помещиков<sup>2</sup>. Мы не имеем права называть имен, которые стали особенно почтенными по заботливости об этой реформе, но эти имена, вероятно, известны нашим читателям, и, вероятно, они знают, что все эти лица сами владеют довольно значительными, а некоторые из них огромными поместьями. Об этих лицах мы должны сказать несколько слов.

Мы совершенно уверены, что благоразумно исполненным отменением крепостного права чрезвычайно возвысится благосостояние помещиков, возвысится и важность сословия землевладельцев. Но как бы то ни было, это нововведение соединено для помещиков с отречением от привилегий, которые справедливо казались им очень важными. Восставать против привилегии, которую сам он пользуется, человек может только тогда, когда слишком живо проникнут стремлениями высокой гуманности: для этого недостаточно расчета, хотя бы самого верного. Привилегия имеет в себе такую обольстительность, что пристрастие к ней сопротивляется даже очевидной выгоде. Когда человек отказывается от привилегии, наше заключение о его нравственных

достоинствах нимало не зависит от того, до какой степени выгодно будет ему это отречение, — во всяком случае оно составляет высокий нравственный подвиг, если только оно добровольно. Стремления тех лиц, о которых мы говорим здесь, не только были добровольны, но требовали твердости характера и высокой гражданской отважности. Не только не было им никакой нужды, никакого расчета выступать перед обществом с отречением от своих привилегий, напротив, все чувства житейского расчета и дюжинного благоразумия советовали им молчать. [Редкое благородство и бескорыстие в образе мыслей соединялось у этих людей с доблестью воли, столь же редкою. Эти люди — лучшие граждане своей родины. За таких людей извиняются недостатки всей нации, как же не примириться ради них с сословием, к которому в частности они принадлежат?] Правда, многое зависит и от того, в какое отношение к благороднейшим своим представителям захочет стать сословие; захочет ли [оно действительно] признавать их своими представителями? [Благородные убеждения о необходимости уничтожить обязательный труд были высказываемы и развиваемы преимущественно людьми из сословия помещиков. Теперь, когда настало время перевести эти убеждения в жизнь, теория нескольких отдельных лиц должна стать практикою целого сословия, и степень добровольного участия его в совершении этого дела определится степень его прав на уважение других сословий нации, — скажем более, определится степень значения этого сословия в обществе.

Мы говорим «определится», нет, уже определяется. То, что совершается на глазах наших, уже принадлежит истории. Она уже записала, с какими чувствами было встречено помещиками выражение решительной воли правительства избавить Россию от крепостной язвы. Факты уже представились нашим глазам, и мы не знаем только, до какой степени будет изменен последующими фактами характер впечатления, произведенного первым. Это мы узнаем в течение нескольких месяцев.] Теперь мы знаем только, что между помещиками коренных великорусских губерний первыми вступили на указанный благородный путь помещики Нижегородской губернии<sup>3</sup>.

[Этими мыслями определяется наше мнение о землевладельцах со всей точностью, до какой довели его факты, известные до сих пор. Круг фактов еще не заключился, потому и мнение, из них выводимое, не имеет в себе ничего такого, что не могло бы измениться в будущем, но по крайней мере мы старались выставить принципы, которых следует держаться при суждении о фактах.] После этого предисловия, очень длинного, мы можем перейти к замечаниям, которые делает почтенный корреспондент на наши статьи о поземельной собственности.

Он справедливо говорит, что между им и автором статьи, на которую пишет он замечания, нет спора; замечания почтенного

корреспондента только поясняют некоторые стороны дела, без достаточной точности изложенные в нашей статье, — поясняют их совершенно согласно с духом наших собственных мнений, и мы принимаем их совершенно.

Прежде всего обратим внимание читателей на чрезвычайно верное толкование, которое мыслями почтенного корреспондента придается нашему спору в защиту общинного владения. То, чтобы все наши земледельцы имели поземельную собственность, — вот основное наше желание; предпочтение общинного владения безграничному расширению частной поземельной собственности основывается для нас относительно настоящего и ближайшего будущего преимущественно на том, что общинное владение представляется нам единственным средством сохранить каждого поселянина-хозяина в звании поземельного собственника, [которое получается им при настоящем устройстве государственных населенных земель и при освобождении крепостных крестьян с землею, как то указано высочайшими рескриптами]. Через тридцать или двадцать пять лет общинное владение будет доставлять нашим поселянам другую, еще более важную выгоду, открывая им чрезвычайно легкую возможность к составлению земледельческих товариществ для обработки земли; не можем сказать, чтобы это соображение не оказывало сильного влияния на нашу приверженность к общинному владению; но заботы настоящего всегда бывают сильнее соображений о будущем, и, конечно, мы не защищали бы с таким жаром общинного владения, если бы не побуждала нас к тому важность его для настоящего времени, совершенно справедливо понимаемая почтенным корреспондентом.

Если мы действительно подали нашим читателям повод думать, что мы упускаем из виду неизбежность довольно долгого переходного состояния от настоящих способов обработки отдельных участков общинной земли частными силами отдельного хозяина к общинной обработке целой мирской дачи, — если мы подали повод к такому мнению о наших понятиях, как на то, повидимому, указывает одно из замечаний, делаемых нашим корреспондентом, мы выразились неудачно или неполно в том месте наших статей, которое подало повод к такому заключению. В подобных недостатках изложения мы охотно признаемся. Но если вкралось где-нибудь такое упущение в нашем изложении, в других местах наших статей мы выражались об этом предмете с достаточной ясностью: много раз положительно и подробно говорили мы о том, что при быстром развитии механических и других средств для обработки и улучшения земли, при быстром развитии других промышленности и торговли, при улучшении средств сообщения и т. д. нашему земледелию предстоит вступить в новую эпоху, когда потребуются от него улучшенные способы производства, в которых оно еще не нуждается теперь или довольно мало нуждается; к тому времени относили мы осуществление



многих наших понятий, исполнение которых вовсе не требуется настоящим; также положительно говорили мы о том, что все эти улучшения, относимые нами к будущему, будут происходить постепенно, сообразно развитию потребности в них. Из этого почтенный корреспондент, конечно, увидит, что нам должны казаться совершенно справедливыми его слова, что полнейшее развитие общинного принципа должно быть делом будущего, а для настоящего достаточно желать сохранения в общинном владении той части земли, которая в нем находится.

Признавая вместе с почтенным корреспондентом необходимость для настоящего времени в том, чтобы подле общинного владения существовала и частная поземельная собственность, мы, конечно, с полным согласием принимаем его мысли о том, что общинное владение, огражденное от вторжения частной собственности в свою область, может и должно расширять эту область сообразно тому, как будет представляться в том надобность, по мере возрастания населения и развития других условий, требующих этого расширения области общинного владения. Из мер, предлагаемых почтенным корреспондентом к тихому достижению этой цели, особенно полезна в агрономическом отношении кажется нам его мысль о присоединении к прилежащей общине тех клочков частной земли, которые через наследственное дробление измельчали до известного предела. Очень важна мысль о передаче по завещанию отца наследственной его земли в общинное владение его роду; но эта мысль требует точнейшего развития.

Одобряя изложенную нами мысль Сисмонди и других экономистов о разорительности английского способа фермерства для огромного большинства земледельческого населения, почтенный корреспондент не думает, чтобы оно грозило распространиться у нас. Он, конечно, говорит о настоящем, и в таком случае мы с ним совершенно согласны: фермеров-капиталистов у нас еще почти нет, и не могли бы они ни в каком случае овладеть нашим сельским хозяйством в ближайшие десять или пятнадцать лет. Но говоря о необходимости оградить наших поселян от земледельческой эксплуатации по фабричному принципу фермерства, мы имели в виду эпоху экономического развития, при которой становится возможным такое фермерство. Она совпадает с эпохой, при которой становится выгодным приложение к земледелию больших оборотных капиталов. Эта пора начинается при известной степени развития торговли сельскими продуктами. У нас она еще не настала, но каждый вникавший в быстроту, с которой начала развиваться наша экономическая деятельность в последние годы, хорошо видит, что мы разве несколькими десятилетиями, вероятно не более как двадцатью пятью или двадцатью годами, удалены от той эпохи, когда, например, английскому и французскому капиталисту будет так же выгодно пустить свой капитал в русское земледельческое предприятие, как ныне вы-



годно ему обратить его на наши железные дороги и облигации государственного долга; когда и русские капиталы найдут для себя выгоднейшим обращаться в сельскохозяйственных предприятиях, нежели лежать в кредитных учреждениях. Тогда-то, хотели мы сказать, в стране, представляющей удобство для обширных сельскохозяйственных предприятий на коммерческом основании, как-кова Россия, — тогда-то едва ли большинство крупных землевладельцев удержится от искушения променять на беззаботное получение ренты от фермера-капиталиста хлопотливую возню с собственным хозяйством, и хозяйство поселян было бы совершенно подавлено соперничеством капиталистов. Эта будущность от нас не за горами; мы должны предусматривать ее и принимать меры к отстранению бедствий фабричной эксплуатации для земледельцев. Единственным средством против этого кажется нам сохранение у поселян общинного владения. Тогда они при появлении нужды в большом оборотном капитале для земледелия и в расширении размеров хозяйства найдут у самих себя через соединение в товарищества нужные денежные средства и нужный размер полей. Точно так же эти товарищества поселян будут полезны тогда и для крупных землевладельцев. Общины земледельцев, являясь соперницами капиталистов при найме больших поместий, избавят помещика от зависимости, в которую его поставила бы монополия капиталистов, и от невыгодных условий контракта, предписываемого монополией.

Ясно, что мы говорим о будущем, и эти соображения нисколько не отрицают фактов настоящего, на которые указывает почтенный корреспондент. Правда, теперь еще нет у нас фермеров-капиталистов; правда и то, что с освобождением крестьян у землевладельцев явятся значительные капиталы, которые с первого раза дадут им возможность прекрасно повести сельскохозяйственные предприятия. Мы говорили только, что такое положение дел непродолжительно; что возникновение фермеров-капиталистов неизбежно, как скоро страна, не имеющая общинного владения, достигает известной степени экономического развития; с другой стороны, мы говорили о том прирожденном человеческой натуре стремлении, по которому человек, имеющий возможность получать, через отдачу своей недвижимой собственности внаймы, без всяких хлопот ренту, доставляющую ему избыток в жизни, не захочет возиться сам с скучными хлопотами сельскохозяйственного хозяйства; мы говорили также о том, что большой собственник, говоря вообще, проживает все свои доходы и скорее будет иметь долги, нежели значительный наличный капитал. Из этого мы выводили, что если бы уничтожилось у нас общинное владение, то система фермерства на фабричном основании, хотя еще и невозможная у нас в настоящем году, скоро сделалась бы господствующей в нашем сельском быте, и большие собственники, сами

ведущие свое хозяйство, скоро сделались бы редким исключением между собственниками.

Кстати о фермерстве на фабричном основании, какое видим в Англии. Мы очень жарко говорили против него. Но бедствия, из него возникающие для поселян, возможны только при условии его преобладания в земледельческом быту. Положение работника было бы несравненно лучше, если бы поселянин мог свободно выбирать между работой на участке своего семейства и работою на ферме; именно этого выбора нет в Англии, потому что вся земля занята фермерами. Но свобода выбора сохраняется, если фермы будут занимать гораздо меньшее пространство земли, нежели участки поселян. Потому, если сохранится общинное владение в его настоящем размере и даже согласно мнению нашего почтенного корреспондента и нашему будет расширяться по мере надобности, то и введение фермерства на землях больших собственников не будет невыгодно для поселян, которые будут наниматься тогда в работники к фермерам не иначе, как на выгодных для себя условиях. Выше мы указали, что при сохранении общинного владения будет оно наиболее выгодно и для больших землевладельцев.

Потому мы совершенно согласны с почтенным корреспондентом, что даже английское фермерство не будет для нас опасно, если у нас сохранится общинное владение.

Затем останется нам пополнить одну свою недомолвку, подавшую повод к последнему из замечаний почтенного корреспондента. В сравнительном расчете выгод, приносимых долговременными улучшениями общиннику и фермеру, мы взяли 60-летний период действия улучшения. Ошибка наша при этом состояла в том, что мы недостаточно указали именно в этом месте статьи различие между сельскохозяйственными улучшениями, действующими долговременно и действующими кратковременно, и не упомянули, что в первых заключается вся сущность вопроса, когда дело идет о выгодности неотъемлемого владения участком для развития сельского хозяйства. Итак, в том месте, к которому относится замечание почтенного корреспондента, речь идет о прочных долговременных улучшениях, каковы, например, каналы, машины и т. д. для орошения или осушения почвы, разведение живых изгородей, очищение почвы от камней, изменение состава почвы примесью глины или песку и т. д., словом — все то, чему мы дивимся в шотландском хозяйстве, — эти вещи преимущественно имеют в виду люди, толкующие против общинного владения, потому мы должны были обратить главное внимание наше на эти долговременно действующие улучшения и показать, что даже они при общинном владении должны совершаться удобнее, нежели при системе, по которой собственность на землю и обработка ее не соединяются в одних и тех же лицах, то есть при

таком положении, в котором находится большая часть земли при полном господстве частной поземельной собственности.

Заклучим этот ответ выводом не для нашего [почтенного] корреспондента, а для других читателей, особенно из сословия помещиков.

Возможно ли каждому честному человеку и всей нации не чувствовать горячего уважения к людям, подобным автору замечаний на нашу ноябрьскую статью, — к людям, которые, будучи помещиками, так глубоко сочувствуют всему, что может улучшить состояние поселянина, так пламенно желают, так твердо решаются содействовать этому улучшению всеми возможными мерами, без всякого колебания отодвигая на второй план свои собственные интересы, будучи совершенно готовы уступать личные свои расчеты и выгоды во всех тех случаях, когда то принесет пользу поселянам? К счастью России и к чести наших помещиков, таких людей в сословии помещиков много. Дай бог, чтобы число их увеличивалось с каждым днем.

Уступка личных выгод общему благу — вот девиз истинно благородного человека.

И не проиграет, а безмерно выиграет сословие помещиков от такой системы действий при разрешении вопроса о крепостном праве, потому что все эти уступки в десять раз, во сто раз вознаграждаются помещикам выгодами, которые приносит за собою большим землевладельцам сообразное с государственным благом решение этого великого дела.

## РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА RENDEZ-VOUS

*Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася»<sup>1</sup>*

«Рассказы в деловом, избобличительном роде оставляют в читателе очень тяжелое впечатление; потому я, признавая их пользу и благородство, не совсем доволен, что наша литература приняла исключительно такое мрачное направление».

Так говорят довольно многие из людей, повидимому, неслухих или, лучше сказать, говорили до той поры, пока крестьянский вопрос не сделался единственным предметом всех мыслей, всех разговоров. Справедливы или несправедливы их слова, не знаю; но мне случилось быть под влиянием таких мыслей, когда начал я читать едва ли не единственную хорошую новую повесть, от которой по первым страницам можно уже было ожидать совершенно иного содержания, иного пафоса, нежели от деловых рассказов. Тут нет ни крючкотворства с насилием и взяточничеством, ни грязных плутов, ни официальных злодеев, объясняющих изящным языком, что они — благодетели общества, ни мещан, мужиков и маленьких чиновников, мучимых всеми этими ужасными и гадкими людьми. Действие — за границей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта. Все лица повести — люди из лучших между нами, очень образованные, чрезвычайно гуманные, проникнутые благороднейшим образом мыслей. Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни. Вот, думал я, отдохнет и освежится душа. И действительно, освежилась она этими поэтическими идеалами, пока дошел рассказ до решительной минуты. Но последние страницы рассказа не похожи на первые, и по прочтении повести остается от нее впечатление еще более безотрадное, нежели от рассказов о гадких взяточниках с их циническим грабежом<sup>2</sup>. Они делают дурно, но они каждым из нас признаются за дурных людей; не от них ждем мы улучшения нашей жизни. Есть, думаем мы, в обществе силы, которые положат преграду их вредному влиянию,

которые изменяют своим благородством характер нашей жизни. Эта иллюзия самым горьким образом отвергается в повести, которая пробуждает своей первой половиной самые светлые ожидания.

Вот человек, сердце которого открыто всем высоким чувствам, честность которого непоколебима, мысль которого приняла в себя все, за что наш век называется веком благородных стремлений. И что же делает этот человек? Он делает сцену, какой устыдился бы последний взяточник. Он чувствует самую сильную и чистую симпатию к девушке, которая любит его; он часа не может прожить, не видя этой девушки; его мысль весь день, всю ночь рисует ему ее прекрасный образ, настало для него, думаете вы, то время любви, когда сердце утопает в блаженстве. Мы видим Ромео, мы видим Джульетту, счастьем которых ничто не мешает, и приближается минута, когда навеки решится их судьба, — для этого Ромео должен только сказать: «Я люблю тебя, любишь ли ты меня?» и Джульетта прошепчет: «Да...» И что же делает наш Ромео (так мы будем называть героя повести, фамилия которого не сообщена нам автором рассказа), явившись на свидание с Джульеттой? С трепетом любви ожидает Джульетта своего Ромео; она должна узнать от него, что он любит ее, — это слово не было произнесено между ними, оно теперь будет произнесено им, навеки соединятся они; блаженство ждет их, такое высокое и чистое блаженство, энтузиазм которого делает едва выносимый для земного организма торжественную минуту решения. От меньшей радости умирали люди. Она сидит, как испуганная птичка, закрыв лицо от сияния являющегося перед ней солнца любви; быстро дышит она, вся дрожит; она еще трепетнее потупляет глаза, когда входит он, называет ее имя; она хочет взглянуть на него и не может; он берет ее руку, — эта рука холодна, лежит как мертвая в его руке; она хочет улыбнуться; но бледные губы ее не могут улыбнуться. Она хочет заговорить с ним, и голос ее прерывается. Долго молчат они оба, — и в нем, как сам он говорит, растаяло сердце, и вот Ромео говорит своей Джульетте... и что же он говорит ей? «Вы передо мною виноваты, — говорит он ей; — вы меня запутали в неприятности, я вами недоволен, вы компрометируете меня, и я должен прекратить мои отношения к вам; для меня очень неприятно с вами расставаться, но вы извольте отправляться отсюда подальше». Что это такое? Чем она виновата? Разве тем, что считала его порядочным человеком? Компрометировала его репутацию тем, что пришла на свидание с ним? Это изумительно! Каждая черта в ее бледном лице говорит, что она ждет решения своей судьбы от его слова, что она всю свою душу безвозвратно отдала ему и ожидает теперь только того, чтоб он сказал, что принимает ее душу, ее жизнь, и он ей делает выговоры за то, что она его компрометирует! Что это за нелепая жестокость? Что это за низкая грубость? И этот чело-

век, поступающий так подло, выставлялся благородным до сих пор! Он обманул нас, обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном. Этот человек дряннее отъявленного негодая.

Таково было впечатление, произведенное на многих совершенно неожиданным оборотом отношений нашего Ромео к его Джульетте. От многих мы слышали, что повесть вся испорчена этой возмутительной сценой, что характер главного лица не выдержан, что если этот человек таков, каким представляется в первой половине повести, то не мог поступить он с такой пошлой грубостью, а если мог так поступить, то он с самого начала должен был представиться нам совершенно дрянным человеком.

Очень утешительно было бы думать, что автор в самом деле ошибся, но в том и состоит грустное достоинство его повести, что характер героя верен нашему обществу. Быть может, если бы характер этот был таков, каким желали бы видеть его люди, недовольные грубостью его на свидании, если бы он не побоялся отдать себя любви, им овладевшей, повесть выиграла бы в идеально-поэтическом смысле. За энтузиазмом сцены первого свидания последовало бы несколько других высокопоэтических минут, тихая прелесть первой половины повести возвысилась бы до патетической очаровательности во второй половине, и вместо первого акта из «Ромео и Джульетты» с окончанием во вкусе Печорина мы имели бы нечто действительно похожее на Ромео и Джульетту или по крайней мере на один из романов Жоржа Занда. Кто ищет в повести поэтически-цельного впечатления, действительно должен осудить автора, который, заманив его возвышенно сладкими ожиданиями, вдруг показал ему какую-то пошло-нелепую суетность мелочно-робкого эгоизма в человеке, начавшем вроде Макса Пикколомини и кончившем вроде какого-нибудь Захара Сидорыча, играющего в копеечный преферанс.

Но точно ли ошибся автор в своем герое? Если ошибся, то не в первый раз делает он эту ошибку. Сколько ни было у него рассказов, приводивших к подобному положению, каждый раз его герои выходили из этих положений не иначе, как совершенно сконфузившись перед нами. В «Фаусте» герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней — это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его; речь несколько минут шла уже так, что ему следовало непременно сказать это, но он, видите ли, не догадался и не посмел сказать ей этого; а когда женщина, которая должна принимать объяснение, вынуждена, наконец, сама сделать объяснение, он, видите ли, «замер», но почувствовал, что «блаженство волною пробегает по его сердцу», только, впрочем, «по временам», а собственно говоря, он «совершенно потерял голову» — жаль только, что не упал в обморок, да и то было бы,



если бы не попало к стати дерево, к которому можно было при-  
слониться. Едва успел оправиться человек, подходит к нему жен-  
щина, которую он любит, которая высказала ему свою любовь,  
и спрашивает, что он теперь намерен делать? Он... он «смутился».  
Не удивительно, что после такого поведения любимого человека  
(иначе, как «поведением», нельзя назвать образ поступков этого  
господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка;  
еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу.  
Это в «Фаусте»; почти то же и в «Рудине». Рудин вначале держит  
себя несколько приличнее для мужчины, нежели прежние герои:  
он так решителен, что сам говорит Наталье о своей любви (хоть  
говорит не по доброй воле, а потому, что вынужден к этому раз-  
говору); он сам просит у ней свидания. Но когда Наталья на этом  
свидании говорит ему, что выйдет за него, с согласия и без  
согласия матери все равно, лишь бы он только любил ее, когда  
произносит слова: «Знайте же, я буду ваша», Рудин только и  
находит в ответ восклицание: «О боже!» — восклицание больше  
конфузное, чем восторженное, — а потом действует так хорошо,  
то есть до такой степени труслив и вял, что Наталья принуждена  
сама пригласить его на свидание для решения, что же им делать.  
Получивши записку, «он видел, что развязка приближается,  
и втайне смущался духом». Наталья говорит, что мать объявила  
ей, что скорее согласится видеть дочь мертвой, чем женой Рудина,  
и вновь спрашивает Рудина, что он теперь намерен делать. Рудин  
отвечает попрежнему «боже мой, боже мой» и прибавляет еще  
наивнее: «так скоро! что я намерен делать? у меня голова кругом  
идет, я ничего сообразить не могу». Но потом соображает, что  
следует «покориться». Названный трусом, он начинает упрекать  
Наталью, потом читать ей лекцию о своей честности и на замеча-  
ние, что не это должна она услышать теперь от него, отвечает,  
что он не ожидал такой решительности. Дело кончается тем, что  
оскорбленная девушка отворачивается от него, едва ли не стыдясь  
своей любви к трусу.

Но, может быть, эта жалкая черта в характере героев — осо-  
бенность повестей г. Тургенева? Быть может, характер именно  
его таланта склоняет его к изображению подобных лиц? Вовсе  
нет; характер таланта, нам кажется, тут ничего не значит. Вспо-  
мните любой хороший, верный жизни рассказ какого угодно из  
нынешних наших поэтов, и если в рассказе есть идеальная сто-  
рона, будьте уверены, что представитель этой идеальной стороны  
поступает точно так же, как лица г. Тургенева<sup>3</sup>. Например, ха-  
рактер таланта г. Некрасова вовсе не таков, как г. Тургенева;  
какие угодно недостатки можете находить в нем, но никто не  
скажет, чтобы недоставало в таланте г. Некрасова энергии и твер-  
дости. Что же делает герой в его поэме «Саша»? Натолковал он  
Саше, что, говорит, «не следует слабеть душою», потому что «сол-  
нышко правды взойдет над землею» и что надобно действовать

для осуществления своих стремлений, а потом, когда Саша принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не поведет, что он «болтал пустое». Припомним, как поступает Бельтов: и он точно так же предпочитает всякому решительному шагу отступление. Подобных примеров набрать можно было бы очень много. Повсюду, каков бы ни был характер поэта, каковы бы ни были его личные понятия о поступках своего героя, герой действует одинаково со всеми другими порядочными людьми, подобно ему выведенными у других поэтов: пока о деле нет речи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить свои чувства и желания, — большая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятие о их мыслях; но вздумай кто-нибудь схватиться за их желания, сказать: «Вы хотите того-то и того-то; мы очень рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим», — при такой реплике одна половина храбрейших героев падает в обморок, другие начинают очень грубо упрекать вас за то, что вы поставили их в неловкое положение, начинают говорить, что они не ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить, потому что «как же можно так скоро», и «притом же они — честные люди», и не только честные, но очень смиренные и не хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше всего — ни за что не приниматься, потому что все соединено с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как уже сказано, они «никак не ждали и не ожидали» и проч.

Таковы-то наши «лучшие люди» — все они похожи на нашего Ромео. Много ли беды для Аси в том, что г. N. никак не знал, что ему с ней делать, и решительно прогневался, когда от него потребовалась отважная решимость; много ли беды в этом для Аси, мы не знаем. Первою мыслью приходит, что беды от этого ей очень мало; напротив, и слава богу, что дрянное бессилие характера в нашем Ромео оттолкнуло от него девушку еще тогда, когда не было поздно. Ася погрустит несколько недель, несколько месяцев и забудет все и может отдаться новому чувству, предмет которого будет более достоин ее. Так, но в том-то и беда, что едва ли встретится ей человек более достойный; в том и состоит грустный комизм отношений нашего Ромео к Асе, что наш Ромео — действительно один из лучших людей нашего общества, что лучше его почти и не бывает людей у нас. Только тогда будет довольна Ася своими отношениями к людям, когда, подобно другим, станет ограничиваться прекрасными рассуждениями, пока

не представляется случая приняться за исполнение речей, а чуть представится случай, прикусит язычок и сложит руки, как делают все. Только тогда и будут ею довольны; а теперь сначала, конечно, всякий скажет, что эта девушка очень милая, с благородной душой, с удивительной силой характера, вообще девушка, которую нельзя не полюбить, перед которой нельзя не благоговеть; но все это будет говорить лишь до той поры, пока характер Аси выказывается одними словами, пока только предполагается, что она способна на благородный и решительный поступок; а едва сделает она шаг, сколько-нибудь оправдывающий ожидания, внушаемые ее характером, тотчас сотни голосов закричат: «Помилуйте, как это можно, ведь это безумие! Назначать rendez-vous молодому человеку! Ведь она губит себя, губит совершенно бесполезно! Ведь из этого ничего не может выйти, решительно ничего, кроме того, что она потеряет свою репутацию. Можно ли так безумно рисковать собою?» «Рисковать собою? это бы еще ничего, — прибавляют другие. — Пусть она делала бы с собою, что хочет, но к чему подвергать неприятностям других? В какое положение поставила она этого бедного молодого человека? Разве он думал, что она захочет повести его так далеко? Что теперь ему делать при ее безрассудстве? Если он пойдет за ней, он погубит себя; если он откажется, его назовут трусом и сам он будет презирать себя. Я не знаю, благородно ли ставить в подобные неприятные положения людей, не подавших, кажется, никакого особенного повода к таким несообразным поступкам. Нет, это не совсем благородно. А бедный брат? Какова его роль? Какую горькую пилюлю поднесла ему сестра? Целую жизнь ему не переварить этой пилюли. Нечего сказать, одолжила милая сестрица! Я не спорю, все это очень хорошо на словах, — и благородные стремления, и самопожертвование, и бог знает какие прекрасные вещи, но я скажу одно: я бы не желал быть братом Аси. Скажу более: если б я был на месте ее брата, я запер бы ее на полгода в ее комнате. Для ее собственной пользы надо запереть ее. Она, видите ли, изволит увлекаться высокими чувствами; но как-то расхлебывать другим то, что она изволила наварить? Нет, я не назову ее поступок, не назову ее характер благородным, потому что я не называю благородными тех, которые легкомысленно и дерзко вредят другим». Так пояснится общий крик рассуждениями рассудительных людей. Нам отчасти совестно признаться, но все-таки приходится признаться, что эти рассуждения кажутся нам основательными. В самом деле, Ася вредит не только себе, но и всем, имевшим несчастье по родству или по случаю быть близкими к ней; а тех, которые для собственного удовольствия вредят всем близким своим, мы не можем не осуждать.

Осуждая Асю, мы оправдываем нашего Ромео. В самом деле, чем он виноват? разве он подал ей повод действовать безрассудно? разве он подстрекал ее к поступку, которого нельзя

одобрить? разве он не имел права сказать ей, что напрасно она запутала его в неприятные отношения? Вы возмущаетесь тем, что его слова суровы, называете их грубыми. Но правда всегда бывает сурова, и кто осудит меня, если вырвется у меня даже грубое слово, когда меня, ни в чем не виноватого, запутают в неприятное дело, да еще пристают ко мне, чтоб я радовался беде, в которую меня втянули?

Я знаю, отчего вы так несправедливо восхитились было неблагородным поступком Аси и осудили было нашего Ромео. Я знаю это потому, что сам на минуту поддался неосновательному впечатлению, сохранившемуся в вас. Вы начитались о том, как поступали и поступают люди в других странах. Но сообразите, что ведь то другие страны. Мало ли что делается на свете в других местах, но ведь не всегда и не везде возможно то, что очень удобно при известной обстановке. В Англии, например, в разговорном языке не существует слова «ты»: фабрикант своему работнику, землевладелец нанятому им землеопу, господин своему лакею говорит непременно «вы» и, где случится, вставляют в разговоре с ними *sir*\*, то есть все равно, что французское *monsieur*, а по-русски и слова такого нет, а выходит учтивость в том роде, как если бы барин своему мужику говорил: «Вы, Сидор Карпыч, сделайте одолжение зайдите ко мне на чашку чая, а потом поправьте дорожки у меня в саду». Осудите ли вы меня, если я говорю с Сидором без таких subtilностей? Ведь я был бы смешон, если бы принял язык англичанина. Вообще, как скоро вы начинаете осуждать то, что не нравится вам, вы становитесь идеологом, то есть самым забавным и, сказать вам на ушко, самым опасным человеком на свете, теряете из-под ваших ног твердую опору практичной действительности. Опасайтесь этого, старайтесь сделаться человеком практическим в своих мнениях и на первый раз постарайтесь примириться хоть с нашим Ромео, кстати уж зашла о нем речь. Я вам готов рассказать путь, которым я дошел до этого результата не только относительно сцены с Асей, но и относительно всего в мире, то есть стал доволен всем, что ни вижу около себя, ни на что не сержусь, ничем не огорчаюсь (кроме неудач в делах, лично для меня выгодных), ничего и никого в мире не осуждаю (кроме людей, нарушающих мои личные выгоды), ничего не желаю (кроме собственной пользы), — словом сказать, я расскажу вам, как я сделался из желчного меланхолика человеком до того практическим и благонамеренным, что даже не удивляюсь, если получу награду за свою благонамеренность.

Я начал с того замечания, что не следует порицать людей ни за что и ни в чем, потому что, сколько я видел, в самом умном человеке есть своя доля ограниченности, достаточная для того, чтобы он в своем образе мыслей не мог далеко уйти от общества,

---

\* Сэр. — Ред.

в котором он воспитался и живет, и в самом энергическом человеке есть своя доза апатии, достаточная для того, чтобы он в своих поступках не удалялся много от рутины и, как говорится, плыл по течению реки, куда несет вода. В среднем кругу принято красить яйца к пасхе, на масленице есть блины, — и все так делают, хотя иной крашенных яиц вовсе не ест, а на тяжесть блинов почти каждый жалуется. Так не в одних пустяках, и во всем так. Принято, например, что мальчиков следует держать свободнее, нежели девочек, и каждый отец, каждая мать, как бы ни были убеждены в неразумности такого различия, воспитывают детей по этому правилу. Принято, что богатство — вещь хорошая, и каждый бывает доволен, если вместо десяти тысяч рублей в год начнет получать благодаря счастливому обороту дел двадцать тысяч, хотя, здраво рассуждая, каждый умный человек знает, что те вещи, которые, будучи недоступны при первом доходе, становятся доступны при втором, не могут приносить никакого существенного удовольствия. Например, если с десятью тысячами дохода можно сделать бал в 500 рублей, то с двадцатью можно сделать бал в 1000 рублей: последний будет несколько лучше первого, но все-таки особенного великолепия в нем не будет, его назовут не более как довольно порядочным балом, а порядочным балом будет и первый. Таким образом даже чувство тщеславия при 20 тысячах дохода удовлетворяется очень немногим более того, как при 10 тысячах; что же касается до удовольствий, которые можно назвать положительными, в них разница совсем незаметна. Лично для себя человек с 10 тысячами дохода имеет точно такой же стол, точно такое же вино и кресло того же ряда в опере, как и человек с двадцатью тысячами. Первый называется человеком довольно богатым, и второй точно так же не считается чрезвычайным богачом — существенной разницы в их положении нет; и, однакоже, каждый по рутине, принятой в обществе, будет радоваться при увеличении своих доходов с 10 на 20 тысяч, хотя фактически не будет замечать почти никакого увеличения в своих удовольствиях. Люди — вообще страшные рутинеры: стоит только всмотреться поглубже в их мысли, чтоб открыть это. Иной господин чрезвычайно озадачит вас на первый раз независимостью своего образа мыслей от общества, к которому принадлежит, покажется вам, например, космополитом, человеком без сословных предубеждений и т. п., и сам, подобно своим знакомым, воображает себя таким от чистой души. Но наблюдайте точнее за космополитом, и он окажется французом или русским со всеми особенностями понятий и привычек, принадлежащими той нации, к которой причисляется по своему паспорту, окажется помещиком или чиновником, купцом или профессором со всеми оттенками образа мыслей, принадлежащими его сословию. Я уверен, что многочисленность людей, имеющих привычку друг на друга сердиться, друг друга обвинять, зависит единственно от того, что



слишком немногие занимаются наблюдениями подобного рода; а попробуйте только начать всматриваться в людей с целью проверки, действительно ли отличается чем-нибудь важным от других людей одного с ним положения тот или другой человек, кажущийся на первый раз непохожим на других, попробуйте только заняться такими наблюдениями, и этот анализ так завлечет вас, так заинтересует ваш ум, будет постоянно доставлять такие успокоительные впечатления вашему духу, что вы не откажетесь от него уже никогда и очень скоро придете к выводу: «Каждый человек — как все люди, в каждом — точно то же, что и в других». И чем дальше, тем тверже вы станете убеждаться в этой аксиоме. Различия только потому кажутся важны, что лежат на поверхности и бросаются в глаза, а под видимым, кажущимся различием скрывается совершенное тождество. Да и с какой стати в самом деле человек был бы противоречием всем законам природы? Ведь в природе кедр и иссоп питаются и цветут, слон и мышь движутся и едят, радуются и сердятся по одним и тем же законам; под внешним различием форм лежит внутреннее тождество организма обезьяны и кита, орла и курицы; стоит только вникнуть в дело еще внимательнее, и увидим, что не только различные существа одного класса, но и различные классы существ устроены и живут по одним и тем же началам, что организмы млекопитающего, птицы и рыбы одинаковы, что и червяк дышит подобно млекопитающему, хотя нет у него ни ноздрей, ни дыхательного горла, ни легких. Не только аналогия с другими существами нарушалась бы непризнанием одинаковости основных правил и пружин в нравственной жизни каждого человека, — нарушалась бы и аналогия с его физической жизнью. Из двух здоровых людей одинаковых лет в одинаковом расположении духа у одного пульс бьется, конечно, несколько сильнее и чаще, нежели у другого; но велико ли это различие? Оно так ничтожно, что наука даже не обращает на него внимания. Другое дело, когда вы сравните людей разных лет или в разных обстоятельствах: у дитяти пульс бьется вдвое скорее, нежели у старика, у больного гораздо чаще или реже, нежели у здорового, у того, кто выпил стакан шампанского, чаще, нежели у того, кто выпил стакан воды. Но и тут понятно всякому, что разница — не в устройстве организма, а в обстоятельствах, при которых наблюдается организм. И у старика, когда он был ребенком, пульс бился так же часто, как у ребенка, с которым вы его сравниваете; и у здорового ослабел бы пульс, как у больного, если бы он занемог той же болезнью; и у Петра, если бы он выпил стакан шампанского, точно так же усилилось бы биение пульса, как у Ивана.

Вы почти достигли границ человеческой мудрости, когда утвердились в этой простой истине, что каждый человек — такой же человек, как и все другие. Не говорю уже об отрадных следствиях этого убеждения для вашего житейского счастья; вы пере-



станете сердиться и огорчаться, перестанете негодовать и обвинять, будете кротко смотреть на то, за что прежде готовы были браниться и драться; в самом деле, каким образом стали бы вы сердиться или жаловаться на человека за такой поступок, какой каждым был бы сделан на его месте? В вашу душу поселяется ничем не возмутимая кроткая тишина, сладостнее которой может быть только браминское созерцание кончика носа, с тихим немолчным повторением слов «ом-мани-пад-ме-хум»<sup>4</sup>. Я не говорю уже об этой неоцененной душевно-практической выгоде, не говорю даже и о том, сколько денежных выгод доставит вам мудрая снисходительность к людям: вы совершенно радушно будете встречать негодая, которого прогнали бы от себя прежде; а этот негодай, быть может, человек с весом в обществе, и хорошими отношениями с ним поправятся ваши собственные дела. Не говорю и о том, что вы сами тогда менее будете стесняться ложными сомнениями совестливости в пользовании теми выгодами, какие будут подвертываться вам под руку: к чему будет вам стесняться излишней щекотливостью, если вы убеждены, что каждый поступил бы на вашем месте точно так же, как и вы? Всех этих выгод я не выставляю на вид, имея целью указать только чисто научную, теоретическую важность убеждения в одинаковости человеческой природы во всех людях. Если все люди существенно одинаковы, то откуда же возникает разница в их поступках? Стремясь к достижению главной истины, мы уже нашли мимоходом и тот вывод из нее, который служит ответом на этот вопрос. Для нас теперь ясно, что все зависит от общественных привычек и от обстоятельств, то есть в окончательном результате все зависит исключительно от обстоятельств, потому что и общественные привычки произошли в свою очередь также из обстоятельств<sup>5</sup>. Вы вините человека, — всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его. Рассуждая о других, мы слишком склонны всякую беду считать виною, — в этом истинная беда для практической жизни, потому что вина и беда — вещи совершенно различные и требуют обращения с собою одна вовсе не такого, как другая. Вина вызывает порицание или даже наказание против лица. Беда требует помощи лицу через устранение обстоятельств более сильных, нежели его воля. Я знал одного портного, который раскаленным утюгом тыкал в зубы своим ученикам. Его, пожалуй, можно назвать виноватым, можно и наказать его; но зато не каждый портной тычет горячим утюгом в зубы, примеры такого неистовства очень редки. Но почти каждому мастеровому случается, выпивши в праздник, подраться — это уж не вина, а просто беда. Тут нужно не наказание отдельного лица, а изменение в условиях быта для целого сословия. Тем грустнее вредное смешивание вины и беды, что различать эти две вещи

очень легко; один признак различия мы уже видели: вина — это редкость, это исключение из правила; беда — это эпидемия. Умышленный поджог — это вина; зато из миллионов людей находится один, который решается на это дело. Есть другой признак, нужный для дополнения к первому. Беда обрушивается на том самом человеке, который исполняет условие, ведущее к беде; вина обрушивается на других, принося виноватому пользу. Этот последний признак чрезвычайно точен. Разбойник зарезал человека, чтобы ограбить его, и находит в том пользу себе, — это вина. Неосторожный охотник нечаянно ранил человека и сам первый мучится несчастием, которое сделал, — это уж не вина, а просто беда.

Признак верен, но если принять его с некоторой проницательностью, с внимательным разбором фактов, то окажется, что вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда. Сейчас мы упомянули о разбойнике. Сладко ли ему жить? Если бы не особенные, очень тяжелые для него обстоятельства, взялся ли бы он за свое ремесло? Где вы найдете человека, которому приятнее было бы и в мороз и в непогоду прятаться в берлогах и шататься по пустыням, часто терпеть голод и постоянно дрожать за свою спину, ожидающую плети, — которому это было бы приятнее, нежели комфортабельно курить сигару в спокойных креслах или играть в ералаш в Английском клубе, как делают порядочные люди?

Нашему Ромео также было бы гораздо приятнее наслаждаться взаимными приятностями счастливой любви, нежели остаться в дураках и жестоко бранить себя за пошлую грубость с Асей. Из того, что жестокая неприятность, которой подвергается Ася, приносит ему самому не пользу или удовольствие, а стыд перед самим собой, то есть самое мучительное из всех нравственных огорчений, мы видим, что он попал не в вину, а в беду. Пошлость, которую он сделал, была бы сделана очень многими другими, так называемыми порядочными людьми или лучшими людьми нашего общества; стало быть, это не иное что, как симптом эпидемической болезни, укоренившейся в нашем обществе.

Симптом болезни не есть самая болезнь. И если бы дело состояло только в том, что некоторые или, лучше сказать, почти все «лучшие» люди обижают девушку, когда в ней больше благородства или меньше опытности, нежели в них, — это дело, признается, мало интересовало бы нас. Бог с ними, с эротическими вопросами, — не до них читателю нашего времени, занятому вопросами об административных и судебных улучшениях, о финансовых преобразованиях, об освобождении крестьян. Но сцена, сделанная нашим Ромео Асе, как мы заметили, — только симптом болезни, которая точно таким же пошлым образом портит все наши дела, и только нужно нам всмотреться, отчего попал в беду наш Ромео, мы увидим, чего нам всем, похожим на него, ожидать от себя и ожидать для себя и во всех других делах.

Начнем с того, что бедный молодой человек совершенно не понимает того дела, участие в котором принимает. Дело ясно, но он одержим таким тупоумием, которого не в силах образумить очевиднейшие факты. Чему уподобить такое слепое тупоумие, мы решительно не знаем. Девушка, не способная ни к какому при творству, не знающая никакой хитрости, говорит ему: «Сама не знаю, что со мной делается. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка». Кажется, ясно, какое чувство пробудилось в ней. Через две минуты она с волнением, отражающимся даже бледностью на ее лице, спрашивает, нравилась ли ему та дама, о которой, как-то шутя, упомянуто было в разговоре много дней тому назад; потом спрашивает, что ему нравится в женщине; когда он замечает, как хорошо сияющее небо, она говорит: «Да, хорошо! Если б мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели!.. Так бы и утонули в этой синеве... но мы не птицы». — «А крылья могут у нас вырасти», возразил я. — «Как так?» — «Поживете — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». — «А у вас были?» — «Как вам сказать?.. кажется, до сих пор я еще не летал». На другой день, когда он вошел, Ася покраснела; хотела было убежать из комнаты; была грустна и наконец, припоминая вчерашний разговор, сказала ему: «Помните, вы вчера говорили о крыльях? Крылья у меня выросли».

Слова эти были так ясны, что даже недогадливый Ромео, возвращаясь домой, не мог не дойти до мысли: неужели она меня любит? С этой мыслью заснул и, проснувшись на другое утро, спрашивал себя: «неужели она меня любит?»

В самом деле, трудно было не понять этого, и, однакож, он не понял. Понимал ли он по крайней мере то, что делалось в его собственном сердце? И тут приметы были не менее ясны. После первых же двух встреч с Асей он чувствует ревность при виде ее нежного обращения с братом и от ревности не хочет верить, что Гагин — действительно брат ей. Ревность в нем так сильна, что он не может видеть Асю, но не мог бы и удержаться от того, чтобы видеть ее, потому он, будто 18-летний юноша, убегает от деревеньки, в которой живет она, несколько дней скитается по окрестным полям. Убедившись наконец, что Ася в самом деле только сестра Гагину, он счастлив, как ребенок, и, возвращаясь от них, чувствует даже, что «слезы закипают у него на глазах от восторга», чувствует вместе с тем, что этот восторг весь сосредоточивается на мысли об Асе, и, наконец, доходит до того, что не может ни о чем думать, кроме нее. Кажется, человек, любивший несколько раз, должен был бы понимать, какое чув-

ство высказывается в нем самом этими признаками. Кажется, человек, хорошо знавший женщин, мог бы понимать, что делается в сердце Аси. Но когда она пишет ему, что любит его, эта записка совершенно изумляет его: он, видите ли, никак этого не предугадывал. Прекрасно; но как бы то ни было, предугадывал он или не предугадывал, что Ася любит его, все равно: теперь ему известно положительно: Ася любит его, он теперь видит это; ну, что же он чувствует к Асе? Решительно сам он не знает, как ему отвечать на этот вопрос. Бедняжка! на тридцатом году ему по молодости лет нужно было бы иметь дядьку, который говорил бы ему, когда следует утереть носик, когда нужно ложиться почивать и сколько чашек чайку надобно ему кушать. При виде такой нелепой неспособности понимать вещи вам может казаться, что перед вами или дитя, или идиот. Ни то, ни другое. Наш Ромео человек очень умный, имеющий, как мы заметили, под тридцать лет, очень много испытанный в жизни, богатый запасом наблюдений над самим собой и другими. Откуда же его невероятная недогадливость? В ней виноваты два обстоятельства, из которых, впрочем, одно проистекает из другого, так что все сводится к одному. Он не привык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны были все отношения и дела, к которым он привык. Это первое. Второе: он робеет, он бессильно отступает от всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск, опять-таки потому, что жизнь приучила его только к бледной мелочности во всем. Он похож на человека, который всю жизнь играл в ералаш по половине копейки серебром; посадите этого искусного игрока за партию, в которой выигрыш или проигрыш не гривны, а тысячи рублей, и вы увидите, что он совершенно переконфузится, что пропадет вся его опытность, спутается все его искусство; он будет делать самые нелепые ходы, быть может, не сумеет и карт держать в руках. Он похож на моряка, который всю свою жизнь делал рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко умел проводить свой маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями в полупресной воде; что, если вдруг этот опытный пловец по стакану воды увидит себя в океане?

Боже мой! За что мы так сурово анализируем нашего героя? Чем он хуже других? Чем он хуже нас всех? Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и неформенных сюртуках или фраках; эти люди имеют пять с половиной или шесть, а иные и больше футов роста; они отрачивают или бреют волосы на щеках, верхней губе и бороде; и мы воображаем, что мы видим перед собой мужчин. Это — совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация — не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужского

пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или по крайней мере не становится мужчиной благородного характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что останется наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах. Если я стану наблюдать людей в том виде, как они представляются мне при отдалении от них участия в гражданской деятельности, какое понятие о людях и жизни образуется во мне? Когда-то любили у нас Гофмана, и была когда-то переведена его повесть о том, как по странному случаю глаза господина Перигринуса Тисса<sup>6</sup> получили силу микроскопа, и о том, каковы были для его понятий о людях результаты этого качества его глаз. Красота, благородство, добродетель, любовь, дружба, все прекрасное и великое исчезло для него из мира. На кого ни взглянет он, каждый мужчина представляется ему подлым трусом или коварным интриганом, каждая женщина — кокеткою, все люди — лжецами и эгоистами, мелочными и низкими до последней степени. Эта страшная повесть могла создаваться только в голове человека, насмотревшегося на то, что называется в Германии *Kleinstädtereie*, насмотревшегося на жизнь людей, лишенных всякого участия в общественных делах, ограниченных тесно размеренным кружком своих частных интересов, потерявших всякую мысль о чем-нибудь высшем копеечного преферанса (которого, впрочем, еще не было известно во времена Гофмана). Припомните, чем становится разговор в каком бы то ни было обществе, как скоро речь перестает идти об общественных делах? Как бы ни были умны и благородны собеседники, если они не говорят о делах общественного интереса, они начинают сплетничать или пустословить; злоязычная пошлость или беспутная пошлость, в том и другом случае бессмысленная пошлость — вот характер, неизбежно принимаемый беседой, удаляющейся от общественных интересов. По характеру беседы можно судить о беседующих. Если даже высшие по развитию своих понятий люди впадают в пустую и грязную пошлость, когда их мысль уклоняется от общественных интересов, то легко сообразить, каково должно быть общество, живущее в совершенном отчуждении от этих интересов. Представьте же себе человека, который воспитался жизнью в таком обществе: каковы будут выводы из его опытов? каковы результаты его наблюдений над людьми? Все пошлое и мелочное он понимает превосходно, но, кроме этого, не понимает ничего, потому что

ничего не видал и не испытал. Он мог бог знает каких прекрасных вещей начитать в книгах, он может находить удовольствие в размышлениях об этих прекрасных вещах; быть может, он даже верит тому, что они существуют или должны существовать и на земле, а не в одних книгах. Но как вы хотите, чтоб он понял и угадал их, когда они вдруг встретятся его непритворленному взгляду, опытному только в классификации вздора и пошлости? Как вы хотите, чтобы я, которому под именем шампанского подавали вино, никогда и не выдавшее виноградников Шампани, но, впрочем, очень хорошее шипучее вино, как вы хотите, чтоб я, когда мне вдруг подадут действительно шампанское вино, мог сказать наврное: да, это действительно уже не подделка? Если я скажу это, я буду фат. Мой вкус чувствует только, что это вино хорошо, но мало ли я пил хорошего поддельного вина? Почему я знаю, что и на этот раз мне поднесли не поддельное вино? Нет, нет, в подделках я знаток, умею отличить хорошую от дурной; но неподдельного вина оценить я не могу.

Счастливы мы были бы, благородны мы были бы, если бы только непритворленность взгляда, неопытность мысли мешала нам угадывать и ценить высокое и великое, когда оно попадется нам в жизни. Но нет, и наша воля участвует в этом грубом непонимании. Не одни понятия сузились во мне от пошлой ограниченности, в суете которой я живу; этот характер перешел и в мою волю: какова широта взгляда, такова широта и решений; и, кроме того, невозможно не привыкнуть, наконец, поступать так, как поступают все. Заразительность смеха, заразительность зевоты не исключительные случаи в общественной физиологии, — та же заразительность принадлежит всем явлениям, обнаруживающимся в массах. Есть чья-то басня о том, как какой-то здоровый человек попал в царство хромых и кривых. Басня говорит, будто бы все на него нападали, зачем у него оба глаза и обе ноги целы; басня солгала, потому что не договорила все: на пришельца напали только сначала, а когда он обжился на новом месте, он сам прищурил один глаз и стал прихрамывать; ему казалось уже, что так удобнее или по крайней мере приличнее смотреть и ходить, и скоро он даже забыл, что, собственно говоря, он не хром и не крив. Если вы охотник до грустных эффектов, можете прибавить, что когда, наконец, пришла нашему заезжему надобность пойти твердым шагом и зорко смотреть обоими глазами, уже не мог этого он сделать: оказалось, что закрытый глаз уже не открывался, искривленная нога уже не распрямлялась; от долгого принуждения нервы и мускулы бедных искаженных суставов утратили силу действовать правильным образом.

Прикасающийся к смоле зачернится — в наказание себе, если прикасался добровольно, на беду себе, если не добровольно. Нельзя не пропитаться пьяным запахом тому, кто живет в кабаке, хотя бы сам он не выпил ни одной рюмки; нельзя не про-



никнуться мелочностью воли тому, кто живет в обществе, не имеющем никаких стремлений, кроме мелких житейских расчетов. Невольно вкрадывается в сердце робость от мысли, что вот, может быть, придется мне принять высокое решение, смело сделать отважный шаг не по пробитой тропинке ежедневного мциона. Потому-то стараешься уверять себя, что нет, не пришла еще надобность ни в чем таком необыкновенном, до последней роковой минуты, нарочно убеждаешь себя, что все кажущееся выходящим из привычной мелочности не более как обольщение. Ребенок, который боится буки, замуривает глаза и кричит как можно громче, что буки нет, что бука вздор, — этим, видите ли, он ободряет себя. Мы так умны, что стараемся уверить себя, будто все, чего трусим мы, трусим единственно от того, что нет в нас силы ни на что высокое, — стараемся уверить себя, что все это вздор, что нас только пугают этим, как ребенка букой, а в сущности ничего такого нет и не будет.

А если будет? Ну, тогда выйдет с нами то же, что в повести г. Тургенева с нашим Ромео. Он тоже ничего не предвидел и не хотел предвидеть; он также замуривал себе глаза и пятился, а прошло время — пришлось ему кусать локти, да уж не достанешь.

И как непродолжительно было время, в которое решалась и его судьба, и судьба Аси, — всего только несколько минут, а от них зависела целая жизнь, и, пропустив их, уже ничем нельзя было исправить ошибку. Едва он вошел в комнату, едва успел произнести несколько необдуманных, почти бессознательных безрассудных слов, и уже все было решено: разрыв навеки, и нет возврата. Мы нимало не жалеем об Асе; тяжело было ей слышать суровые слова отказа, но, вероятно, к лучшему для нее было, что довел ее до разрыва безрассудный человек. Если б она осталась связана с ним, для него, конечно, было бы то великим счастьем; но мы не думаем, чтоб ей было хорошо жить в близких отношениях к такому господину. Кто сочувствует Асе, тот должен радоваться тяжелой, возмутительной сцене. Сочувствующий Асе совершенно прав: он избрал предметом своих симпатий существо зависимое, существо оскорбляемое. Но хотя и со стыдом, должны мы признать, что принимаем участие в судьбе нашего героя. Мы не имеем чести быть его родственниками; между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам близких. Но мы не можем еще оторваться от предубеждений, набившихся в нашу голову из ложных книг и уроков, которыми воспитана и загублена была наша молодость, не можем оторваться от мелочных понятий, внушенных нам окружающим обществом; нам все кажется (пустая мечта, но все еще неотразимая для нас мечта), будто он оказал какие-то услуги нашему обществу, будто он представитель нашего просвещения, будто он лучший между нами, будто

бы без него было бы нам хуже. Все сильнее и сильнее развивается в нас мысль, что это мнение о нем — пустая мечта, мы чувствуем, что не долго уже останется нам находиться под ее влиянием; что есть люди лучше его, именно те, которых он обижает; что без него нам было бы лучше жить, но в настоящую минуту мы все еще недостаточно свыклись с этой мыслью, не совсем оторвались от мечты, на которой воспитаны; потому мы все еще желаем добра нашему герою и его собратам. Находя, что приближается в действительности для них решительная минута, которой определится навеки их судьба, мы все еще не хотим сказать себе: в настоящее время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно, — только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные и благоразумные граждане, а сами они теперь не пригодны к роли, которая дается им; мы не хотим еще обратить на них слова пророка: «Будут видеть они и не увидят, будут слышать и не услышат, потому что загрубел смысл в этих людях, и оглохли их уши, и закрыли они свои глаза, чтоб не видеть», — нет, мы все еще хотим полагать их способными к пониманию совершающегося вокруг них и над ними, хотим думать, что они способны последовать мудрому увещанию голоса, желавшего спасти их, и потому мы хотим дать им указание, как им избавиться от бед, неизбежных для людей, не умеющих во-время сообразить своего положения и воспользоваться выгодами, которые представляет мимолетный час. Против желания нашего ослабевает в нас с каждым днем надежда на проницательность и энергию людей, которых мы спрашиваем понять важность настоящих обстоятельств и действовать сообразно здравому смыслу, но пусть по крайней мере не говорят они, что не слышали благоразумных советов, что не было им объяснено их положение.

Между вами, господа (обратимся мы с речью к этим достойным людям), есть довольно много людей грамотных; они знают, как изображалось счастье по древней мифологии: оно представлялось как женщина с длинной косой, развеваемой впереди ее ветром, несущим эту женщину; легко поймать ее, пока она подлетает к вам, но пропустите один миг — она пролетит, и напрасно погнались бы вы ловить ее: нельзя схватить ее, оставшись позади. Невозвратен счастливый миг. Не дожидаться вам будет, пока повторится благоприятное сочетание обстоятельств, как не повторится то соединение небесных светил, которое совпадает с настоящим часом. Не пропустить благоприятную минуту — вот высочайшее условие житейского благоразумия. Счастливые обстоятельства бывают для каждого из нас, но не каждый умеет ими пользоваться, и в этом искусстве почти единственно состоит различие между людьми, жизнь которых устроивается хорошо или дурно. И для вас, хотя, быть может, и не были вы достойны

того, обстоятельства сложились счастливо, так счастливо, что единственно от вашей воли зависит ваша судьба в решительный миг. Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в которое вы поставлены теперь, — вот в чем для вас вопрос о счастии или несчастье навеки.

В чем же способы и правила для того, чтоб не упустить счастья, предлагаемого обстоятельствами? Как в чем? Разве трудно бывает сказать, чего требует благоразумие в каждом данном случае? Положим, например, что у меня есть тяжба, в которой я кругом виноват. Предположим также, что мой противник, совершенно правый, так привык к несправедливостям судьбы, что с трудом уже верит в возможность дожидаться решения нашей тяжбы: она тянулась уже несколько десятков лет; много раз спрашивал он в суде, когда будет доклад, и много раз ему отвечали «завтра или послезавтра», и каждый раз проходили месяцы и месяцы, годы и годы, и дело все не решалось. Почему оно так тянулось, я не знаю, знаю только, что председатель суда почему-то благоприятствовал мне (он, кажется, полагал, что я предан ему всей душой). Но вот он получил приказание неотлагательно решить дело. По своей дружбе ко мне он призвал меня и сказал: «Не могу медлить решением вашего процесса; судебным порядком не может он кончиться в вашу пользу, — законы слишком ясны; вы проиграете все; потерей имущества не кончится для вас дело; приговором нашего гражданского суда обнаружатся обстоятельства, за которые вы будете подлежать ответственности по уголовным законам, а вы знаете, как они строги; каково будет решение уголовной палаты, я не знаю, но думаю, что вы отделаетесь от нее слишком легко, если будете приговорены только к лишению прав состояния, — между нами будь сказано, можно ждать вам еще гораздо худшего. Ныне суббота; в понедельник ваша тяжба будет доложена и решена; далее отлагать ее не имею я силы при всем расположении моем к вам. Знаете ли, что я посоветовал бы вам? Воспользуйтесь остающимся у вас днем: предложите мировую вашему противнику; он еще не знает, как безотлагательна необходимость, в которую я поставлен полученным мной предписанием; он слышал, что тяжба решается в понедельник, но он слышал о близком ее решении столько раз, что изверился своим надеждам; теперь он еще согласится на любовную сделку, которая будет очень выгодна для вас и в денежном отношении, не говоря уже о том, что ею избавитесь вы от уголовного процесса, приобретете имя человека снисходительного, великодушного, который как будто бы сам почувствовал голос совести и человечности. Постарайтесь кончить тяжбу любовной сделкой. Я прошу вас об этом как друг ваш».

Что мне теперь делать, пусть скажет каждый из вас: умно ли будет мне поспешить к моему противнику для заключения мировой? Или умно будет пролежать на своем диване единствен-

ный остающийся мне день? Или умно будет накинуться с грубыми ругательствами на благоприятствующего мне судью, дружеское предувещание которого давало мне возможность с честью и выгодой для себя покончить мою тяжбу?

Из этого примера читатель видит, как легко в данном случае решить, чего требует благоразумие.

«Старайся примириться с своим противником, пока не дошли вы с ним до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из нее, пока не расплатишься за все до последней мелочи» (Матф., глава V, стих. 25 и 26).

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ ИСТОРИИ XVIII СТОЛЕТИЯ ШЛОССЕРА<sup>1</sup>

Шлоссер вовсе не похож на тех блистательных рассказчиков, знаменитейшим представителем которых теперь считается Маколей. Его изложение совершенно лишено драматизма и ярких картин; у него нет даже плавности, часто недостает даже внешней связности в рассказе, — иной раз он, не договорив одного, переходит к другому, а еще чаще случается, что одно и то же он повторяет четыре или пять раз. Мало того, что изложение у него не обработано, даже язык его неправилен, шероховат, небрежен, так дурен, что каждый дюжинный фельетонист пишет лучше его. Читая его, вы читаете будто бы не книгу, изданную для публики, а черновые тетради, не просмотренные автором.

И, однакоже, этот человек, говорящий таким небрежным языком, бессвязно, иногда вяло, этот человек занимает первое место между всеми современными нам историками. Он не увлекает вас живостью или прелестью рассказа, как Маколей или Мишле; вы сначала досаждаете на очевидные недостатки его повествования, досада сменяется у вас иногда улыбкой, — так странна кажется вам его нескладница. Но это только на первых порах знакомства с ним. Едва вы прочтете несколько десятков страниц в его книге, в вас начинает пробуждаться чувство, которого вы никак не ожидали, — чувство уважения к нему. Чем ближе вы знакомитесь с ним, тем более растет это чувство, и скоро в дурном рассказчике, говорящем вяло и небрежно, вы видите мудреца, у которого, кто бы вы ни были, как бы ни горды были вы своей житейской опытностью и своим умом, вы учитесь понимать события и людей. Мало-помалу он овладевает вашими понятиями так, что вы как будто видите его, с брюзгливой гримасой говорящим о тех изящных историках, которыми вы прежде увлекались: *was für elende Menschen, die alle diese Lappalien erzählen und bewundern!* — «что за жалкие люди эти господа, с восторгом рассказывающие такой пошлый вздор!», и вы соглашаетесь с ним.

Да, этот плохой рассказчик в самом деле мудрец, если можно кого-нибудь назвать мудрецом. Ничем не подкупится, ничем не обольстится он: ни блеск, ни гений, ни софизмы панегиристов, ни даже собственные желания, ничто не отуманит его зоркого взгляда, не смячит его строгого приговора. Он знает людей, как их знали Монтэн и Маккиавелли. Но с тем вместе он верит в правду, он любит человека. Потому речь его, суровая и печальная, разрушая ваши иллюзии, укрепляет ваши убеждения во всем истинно добром и высоком. Сроднившись с ним, вы, может быть, перестанете видеть в истории тот непрерывный, ровный прогресс в каждой смене событий и исторических состояний, который чудился вам прежде; быть может, вы потеряете веру почти во всех тех людей, которыми ослеплялись прежде; но зато уже никакое разочарование опыта не сокрушит того убеждения в неизбежности развития, которое сохранится в вас после его строгого анализа; и если вы перестанете представлять героями добра и правды почти всех тех, кто прежде являлся вам в ореоле, сотканном из риторических фраз или идеальных увлечений, зато укрепится ваше доверие к будущим судьбам человека, потому что вместо героев истинно полезными двигателями истории вы признаете людей простых и честных, темных и скромных, каких, слава богу, всегда и везде будет довольно.

Чрезвычайно здравый взгляд на человеческую жизнь — вот чем велик Шлоссер. Многие хвалятся тем, что не принадлежат ни к какой партии; почти всегда это бывает самообольщением и, вслушавшись в слова человека, гордящегося своим беспристрастием, вы скоро замечаете, что и он также руководился предубеждениями, как те, которых осуждает за пристрастный взгляд, что и он, подобно другим, — человек партии. О Шлоссере этого нельзя сказать. Он не хвалится беспристрастием, но действительно беспристрастен, насколько то возможно человеку; он не принадлежит ни к какой партии, — не потому, чтобы у него не было своего образа мыслей, очень точного и непреклонного, но потому, что его понятия о людях и событиях основаны не на личных желаниях и привязанностях, а на опыте долгой жизни, честно проведенной в поисках добра и правды. Чтобы разделять этот взгляд, надобно отказаться от всех обольщений внешности, от всех прикрас идеализма, но сохранить молодое стремление ко всему истинно благотворному для людей, нужно холодную разборчивость старика соединять с благородством юноши. Таких людей не так много, чтобы они могли составить особую партию. Немногие достигают такой зоркости и беспристрастия; потому немногие могут во всем соглашаться с Шлоссером. Почти каждому из нас будут неприятны многие из его суждений; одному одни, другому другие; но в читателе, любящем чистую правду больше, нежели потворство своим предубеждениям, после каждого разногласия с Шлоссером останется впечатление: если мне



кажется, что он неправ, то едва ли это не кажется мне потому, что я не могу еще отказаться от приятного мне обождения.

Тацит как рассказчик гораздо выше Шлоссера; но в том, что составляет главнейшее достоинство Тацита, в строгом и совершенно здоровом понимании людей и жизни, из новых историков ближе всех подходит к Тациту Шлоссер.

Мы не говорим о других достоинствах автора «Истории XVIII столетия», о его громадной учености, о добросовестности, с которой пять раз проверяет он каждое свое слово, прежде чем напишет его, о том, как верно представляет он посредством краткого указания двумя-тремя словами связь и зависимость событий в своем, повидимому, бессвязном рассказе. Самое изложение Шлоссера, его небрежный и неправильный язык начинает нравиться, когда вчитаешься в него: он груб и небрежен, но эта грубость от силы, эта небрежность — от сознания своих внутренних достоинств; наконец находишь странную прелесть в этом прямодушном отвращении от наряда, в этой простой речи, которая ведется как будто среди домашнего бесцеремонного круга.

Теперь несколько слов о русском переводе, начало которого ныне издается.

Шлоссер груб и небрежен; этих качеств он не хочет скрывать в себе, и мы не считали нужным прятать их при переводе. Читатель найдет в переводе очень много фраз вовсе неизящных, иногда неловких; если они сохраняют Шлоссеру для русского читателя ту же физиономию, с какой хотел он являться запросто перед своими немцами, читатель одобрит нас за то, что мы шероховатую простоту речи не изменили приглаженностью, над которой так брюзгливо смеется автор.

У Шлоссера много выписок из французских, английских и других источников, особенно в примечаниях. Он эти выписки представляет в подлиннике, без перевода на немецкий язык. Так как наш перевод делается для обширной публики, не имеющей привычки к чтению на иностранных языках, то мы почли удобным для читателя переводить все эти выписки немецкие, французские, английские, латинские и итальянские на русский язык.

Часто Шлоссер ссылается на сочинения, которые легко доступны его немецкой публике, но которых не существует в русском переводе. Часто он упоминает о фактах, которые легко узнает немец из книг, находящихся у каждого под рукою в Германии, но о которых нечего прочесть на русском языке. К русскому переводу необходимо прибавить много выписок и примечаний, без которых мог обходиться немецкий автор. Надобно также сказать, что мы хотели бы дать читателю рассказ о главных фактах и важнейших деятелях XVIII века более подробный, нежели какой дается у Шлоссера. Если мы захотели помещать

эти дополнительные примечания при тех самых страницах перевода, к которым они относятся, этим чрезвычайно замедлилось бы печатание перевода; притом же примесь этих дополнений при чтении спутывала бы впечатление, производимое рассказом автора, с другими разнохарактерными мнениями. Эти соображения склонили нас к тому, чтобы наши дополнительные примечания печатать отдельно от текста. Из них составитя три или четыре тома, которые будут изданы по окончании перевода.

## О СПОСОБАХ ВЫКУПА КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН

Ответы на некоторые из «Вопросов по сельскому благоустройству» г. Кошелева («Сельское благоустройство», № 1) <sup>1</sup>

Audiat et altera pars.  
Выслушивай обе стороны.

Умолчать о своем происхождении не могу я уже и потому, что оно обнаруживается самою фамилиею моею «Каракозовский» <sup>2</sup>: окончание имени ясно говорит, что человек, его носящий, принадлежал некогда владельцу, от фамилии которого произведено его прозвание. Действительно, я был крепостным человеком помещика С... губернии Х... уезда, Владимира Порфирьевича г. Каракозова. Эта особенность происхождения моего, вероятно, пробуждает в читателе желание узнать некоторые подробности моей жизни, чтобы предугадать по ним чувства, долженствующие иметь влияние на образ моих понятий о предмете настоящей статьи. Я не намерен обременять читателя теми сведениями о моей личности, которые могут быть интересны разве для моих детей, а не для публики; но без всякой утайки расскажу то, что нужно знать обо мне читателю для составления точного понятия о моих чувствах по делу развязки прежних отношений между мужиком и помещиком.

Отец мой был достаточным мужиком в деревне Каракозовке, в которой, впрочем, из двадцати мужицких семей не было семьи беднее нашей: наши мужички все жили тогда и теперь живут очень достаточно, так что было бы грех им жаловаться на бога или на помещика. Дед и отец Владимира Порфирьевича, жившие в селе Кондоли в десяти верстах от нашей деревни, которая им принадлежала вместе с селом Кондолью и двумя другими деревнями, оставили по себе между мужиками самую благодарную память. Имея до трехсот душ и живя очень скромно, большую часть своих доходов они употребляли на своих же крестьян. Нечего уже говорить о том, что при них не боялись наши отцы и

деды ни скотского падежа, ни неурожая: какую бы выгодную цену ни давали Ивану Порфирьевичу и Порфирию Ивановичу за хлеб в неурожайный год, у них поставлено было правилом ни зерна не продавать из заповедных скирдов, в которых лежал запас на прокормление всех крестьян на полтора года. Из этих скирдов хлеб выдавался только мужикам, когда по божьему гневу урожай был плох; на следующий год запас пополнялся из господского хлеба. «Своя рубашка к телу ближе, — говорили отец и дед Владимира Порфирьевича. — Если хлеба себе не оставим вдоволь, какие же мы будем хозяева? А наше дело с мужицким делом все одно: мужик сыт — и помещик сыт, а мужика оставь впроголодь — и у самого скоро в кармане пусто будет. Не мужиков кормим — себя кормим». Если у мужика падала лошадь, он прямо шел на господский двор объявить о том, — такой уж порядок был заведен. «Ну, сколько же осталось у тебя коней?» — спрашивал помещик. — «Шесть, батюшка», говорил мужик. — «Ты мужик достаточный, сам справишься как-нибудь», отвечал помещик. Но не таково бывало решение, когда у мужика оставалось только три лошади: помещик почитал уже слабым тот крестьянский дом, в котором нет четырех лошадей, и находил нужным помогать такой семье исправиться. Лошадь немедленно давалась мужику от помещика. Об этом нечего говорить потому, что из соседних помещиков многие поступали почти так же, хотя едва ли у кого щедрость соединялась с такою чрезвычайной заботливостью, как у наших. Но были в их отношениях к мужикам черты более редкие. Поставка рекрут производилась у нас по особенному порядку вроде того, как бывает у казаков: мир складывался по четыреста рублей (по тогдашнему, на ассигнации) на каждого рекрута; помещик от себя прибавлял вдвое; за 1 200 рублей тогда (лет тридцать и больше назад) легко было найти охотника или из своих, а чаще из чужих. Таким образом без доброй воли шли в солдаты только те, кого назначал мир за буйство или другие провинности, да и то не иначе, как с согласия семьи. Этим рекрутам давалось в руки двести рублей, а тысяча делилась пополам: 500 отдавалось семье, а другие 500 отдавались в ломбард на имя рекрута с выдачею ему по отставке; таким образом из наших служивых каждый при отставке получал более 1 500 рублей, а с этими деньгами тогда в деревне можно было без нужды успокоить ему свою старость. Но рекрутов из наших поместий поступало мало: в два, в три набора один; за остальных очередных нанимались охотники из мещан города Х. Крестьянские свадьбы справлялись у нас почти исключительно на счет помещика: он и на церковные расходы денег пожалует, он и телку или барана подарит, он и вина пришлет, он и молодым почти что все обзаведение подарит; мужику, когда женит сына, только и расходов было, что браги наварить. Расскажу еще один случай, как мы, то есть наши отцы, отстроились после пожара, которым

бог посетил нашу Каракозовку в 1829 году. О том, что тогдашний помещик Порфирий Иванович на свой счет прикупил лесу, которого у нас не доставало, не стану говорить — это делают многие; но грех случился на святую перед самым временем пашни; до осени мужикам много отрываться от полевой работы было бы несподручно, а до ноября месяца без жилья оставаться тоже не годилось. Порфирий Иванович принимал людей и для вывозки леса на место и для срубki изб.

Таково было житье у нас при отце и деде нынешнего владельца, таковы воспоминания моего детства о помещиках. Порфирий Иванович умер (в 1833 г.), когда мне было лет десять, и я помню хорошо, как ревела навзрыд вся деревня от старого до малого, когда он скончался. Помню, как говорили тогда: «Не нажить нам такого отца родного, каков был Порфирий Иванович. Нечего сказать, мало в нашей стороне таких господ, чтобы не были отцы мужику, ну, а такого благодетеля, как Порфирий Иванович, другого уж не найдешь. Каково-то под его сыном жить станем? Говорят, тоже добрый человек, но все же при нем лучше, чай, не будет, а дай только бог, чтобы хуже не было».

Мужики обманулись в своих расчетах, и молитва их к богу осталась не услышана: не дал бог того, чтобы было только не хуже, а дал бог так, что стало лучше. Через две недели после похорон отца Владимир Порфирьевич собрался в Петербург, где служил и откуда приезжал домой только по письму об опасной болезни отца. Перед отъездом он созвал мир и объявил, что в деревне жить не будет, а управителя держать не хотел бы, потому спрашивает крестьян, не лучше ли им будет перейти с барщины на оброк. «Каков оброк наложишь, наш кормилец, — сказали мужики. — Когда оброк в меру, известное дело, по оброку жить вольготнее». — «А какой оброк, по-вашему, был бы в меру?» — спросил он. «Дело у нас небывалое, — сказали мужики, — дай нам время на неделю: в то воскресенье опять соберемся, порассудивши, да и скажем, как будет и нам не в тягость да и тебе не в обиду». Через неделю мужики сказали, что могут платить по сорока рублей (на ассигнации) с тягла. «Не тяжело ли будет?» — спросил новый помещик. Крестьяне сказали, что не тяжело. «Вы мне поусердствовать хотите, а я вам хотел, — сказал Владимир Порфирьевич, — я думал положить рублей по тридцати: ну, разделим грех пополам и будет по тридцати пяти рублей, так и положим». Крестьяне разошлись совершенно изумленные. Такой оброк продолжался до 1841 года. В этом году наш край сильно страдал от неурожая, и Владимир Порфирьевич сбавил оброк на 25 рублей ассигнациями; через два года, когда недостаток миновался, он написал, что надбавлять оброка не хочет, и мужики продолжают платить по 25 рублей ассигнациями с тягла. Такой образ действий невероятен; и стал понятен для меня только

после разговоров с моим бывшим господином в Петербурге. Наследовав от отца до 100 тысяч рублей серебром и женившись на дочери иностранного негоцианта с огромным приданым, Владимир Порфирьевич имеет огромные доходы от коммерческих и промышленных предприятий, в которых участвует. Получать с деревни вместо 1 500 рублей только 1 000 для него не составляет чувствительной разницы. «При сорока тысячах дохода,— говорил он мне,— я мог легко пожертвовать пятьюстами рублями для удовольствия облегчить моих крестьян. Я знаю, что мог бы иметь с деревень своих вдвое больше дохода, но все-таки этот доход составлял бы маловажную часть в моем бюджете. У каждого есть своя амбиция, для которой он не жалеет денег. Я мог бы тратить несколько тысяч в год на то, чтобы говорили о моих лошадях, но у меня другой *point d'honneur*, и я не нахожу, чтобы мой образ действий заслуживал больше внимания, нежели рысаки барона Д., моего компаньона по одному из моих заводов. Вы не удивлялись бы мне, если бы я содержал в Петербурге какой-нибудь приют или больницу; еще натуральнее то, что я предпочел жертвовать теми же самыми деньгами для облегчения судьбы не людей посторонних мне, а людей, с которыми связывают меня семейные воспоминания. Наконец признаюсь просто в своей слабости: мне хочется, чтобы мужики, сравнивая меня с отцом, говорили: при нем нам не хуже, чем было при его отце». Имея только двух детей, которым оставит более миллиона рублей состояния в заводах и наличном капитале, Владимир Порфирьевич решил даже, что и для них не будет, как для него нет, особенной нужды в доходах с поместья. В один из своих приездов в деревню, именно в 1851 году, он объявил мужикам, что у него написана отпускная, которой могут они воспользоваться, когда им угодно. Мужики отвечали, что пока он жив, не хотят они быть вольными. «Как вы хотите,— сказал Владимир Порфирьевич,— очень чувствительно для меня такое доверие ко мне от вас. Но если вольной вы не берете, пока я жив, все равно вольная написана. Что написано пером, не вырубишь топором, от подлиси своей отказываться мне не приходится, стало быть и оброк с вас брать себе не годится. А платить оброк вам следует, пока вы не взяли отпускной. Платите же оброк; только пойдет он теперь не на меня, а на пользу вам же. С нынешнего года пусть он поступает в мирской доход, и распоряжайтесь вы им, как хотите; а если хотите послушать моего совета, я вам присоветовал бы этими деньгами распоряжаться вот как». Он объяснил мужикам, что такое банк, что такое касса для взаимного вспоможения, и посоветовал им устроить у себя такие учреждения и также основать школу, наконец положить хорошее жалованье приходскому духовенству и назначить несколько сот рублей на воспитание даровитых молодых людей в гимназии, а потом в университете. Мир согласился, что лучше быть ничего не может. «Но,— прибавили



мужики, — без тебя, батюшка, мы этого всего уладить не можем». — «Нет, — сказал он, — я над вами теперь не помещик, и управлять вашими делами мне не приходится. А человека нужного вам вы наймите; в этом я могу быть вам полезен и, если хотите, приищу вам и пришлю из Петербурга или из Москвы такого человека, который и школой у вас будет управлять и деньги вам из одного ларца взаймы выдавать и на пособия из другого ларца деньги давать. Довольны вы им будете — держите его, недовольны — смените и поручите дело другому; это уж теперь будет в ваших руках». Крестьяне просили найти им человека. Владимир Порфирьевич уехал из деревни; через месяц приехал в его поместье молодой человек заведывать мирскими делами, но приехал он не из Москвы и не из Петербурга, а из Казани, — Владимиру Порфирьевичу случилось ехать в Петербург через Казань, и там Д. И. Мейер<sup>3</sup>, с которым Владимир Порфирьевич был приятель, рекомендовал ему своего бывшего слушателя г-на Б. Под его управлением до сих пор все идет как нельзя лучше. Крестьяне села Кондоля и принадлежащих к нему деревень живут ныне еще гораздо зажиточнее, нежели при покойном господине. Между ними нет богачей с десятками тысяч капитала, какие встречаются иногда в других селах; зато нет ни одной семьи недостаточной. У каждого есть самовар и, что еще больше может характеризовать благосостояние мужиков, у каждого в скоромные дни щи непременно с мясом; мясо у них не праздничная, а повседневная пища.

Таковы общие впечатления, под влиянием которых развились мои мнения. Всеобщее довольство, всеобщая глубокая признательность и привязанность к владельцам — вот чувства, которыми были проникнуты все люди, меня окружавшие до самого моего отъезда из деревни. Много раз после того я бывал на родине и каждый раз выносил с собой самые кроткие и отрадные впечатления. Но надобно объяснить, по какому случаю и какими средствами я покинул деревню, — это покажет читателям, каковы были личные мои отношения к помещичьей власти. В 1838 году Владимир Порфирьевич с семейством приехал на лето в свое поместье. Подле нашей деревни лежит великолепное озеро, и семья помещика часто приезжала из Кондоли в нашу деревню кататься на лодках по этому озеру. Несколько раз мне привелось быть в числе гребцов. Мне было тогда лет пятнадцать. Я как-то сошелся с Петрушено, старшим сыном помещика. При наших играх и разговорах, в то время как пили чай и отдыхали на одном из островков или на берегу, Петруша заметил, что я не только умею читать, но и довольно бойко пишу, что я знаю арифметику и священную историю и, кроме того, успел прочесть несколько книг, бывших у нашего священника, и между прочим лучше самого Петруши знаю Куликовскую битву, падение Новгорода, взятие Казани, смерть Дмитрия царевича; между прочими книгами у нашего

священника была история Карамзина, и я прочел ее раза четыре от доски до доски. Петруша рассказал об этом своим родным, и господа захотели всмотреться поближе в такой феномен, каким показался им я по рассказам Петруши. Узнав, что во мне есть сильная любовь к чтению и охота учиться, Варвара Андреевна (имя г-жи Каракозовой) сказала мужу, что они должны бы для меня что-нибудь сделать. Этими словами была решена моя участь. Владимир Порфирьевич призвал моего отца и спросил, хочет ли он, чтобы я учился. Отец отвечал обыкновенною поговоркою, что «ученье свет, а неученье тьма». Тогда меня послали в город Х. в уездное училище, причем Владимир Порфирьевич отпустил меня на волю, но прибавил, что заботиться обо мне не перестанет, если только я буду того заслуживать. Меня приняли во 2-й класс; через два года, окончив курс, я перешел во 2-й класс С-кой гимназии. В городе Х., который всего только в 30 верстах от нашей деревни, отец мог содержать меня. В уездном городе квартира нанималась мне за 80 коп. ассигн[ациями] в месяц, провизию доставлял хозяйке отец свою, я ходил в армяке из домашнего сукна. Но содержать меня в губернском городе, где жизнь гораздо дороже, содержать в гимназии, где нужно носить мундир из сукна хотя и самого простого, но все-таки слишком дорогого по крестьянским деньгам, где каждый год нужны новые, довольно дорогие книги, — это было уже не под силу отцу. Мне помогал Владимир Порфирьевич до шестого класса, когда я нашел себе уроки. Когда я из С-кой гимназии отправился в К. университет, он также прислал мне денег и на дорогу и на обмундирование и содержал меня почти целый год, пока нашлись у меня уроки и в К.

Читатель видит теперь, многим ли я обязан Владимиру Порфирьевичу и могло ли во мне родиться к нему какое-нибудь чувство, кроме полнейшей благодарности. На третий год по поступлении в университет я мог последовать мнению Владимира Порфирьевича, что уже не годится моим родным оставаться крепостными крестьянами, когда у них сын и брат — чиновник. Он с самого начала говорил мне, что отпускает нашу семью без выкупа, но думает, что следует повременить выходом ее из нашей деревни до той поры, пока будут у меня деньги для покупки моему отцу участка земли. «Из своей дачи я не могу отрезать ему участка, — говорил он, — потому что эта земля не моя, а мирская. Мирское получает человек даром от мира; но если он хочет иметь отдельную собственность, он должен сам приобрести ее». По окончании третьего года моей студенческой жизни, приехав в деревню на каникулы, я привез с собой сто рублей серебром, и мы с отцом купили у нашего соседа, помещика М., 15 десятин земли. За уплату недостававших денег поручился наш священник, и к следующему рождеству (1849 г.) я мог выплатить всю сумму. В июне этого года мой отец получил отпускную и

приписался к званию свободных хлебопашцев. Этим кончается та часть моей истории, которую надобно знать читателю, чтобы судить о моих чувствах относительно сословия, к которому принадлежит В. П. Каракозов и в котором находится много людей, похожих на него. Благосостояние моей семьи, ее освобождение без всякого выкупа, мое воспитание — всем этим я обязан благородному человеку, властью которого облагодетельствован я со всею своею семьей и которого благословляют все наши поселяне.

Не знаю, справедливо ли мне кажется, но мне кажется, что история, подобная моей, может служить некоторым ручательством за отсутствие односторонних пристрастий во взгляде на задачу безобидной для обеих сторон развязки крепостных отношений. По своему происхождению принадлежу я к крепостным крестьянам. Но всем тем, чем я дорожу теперь, я обязан помещичьей власти. Мои родные и товарищи моего детства, приятнию которых я горжусь и доныне, — из сословия крепостных крестьян. Мой второй отец и многие из знакомых и друзей, приобретенных мною со времени моей университетской жизни, — из сословия помещиков. Я равно желаю добра и тем и другим.

Теперь читатель знает, как думать о чувствах, руководивших моими посильными ответами на вопросы, предлагаемые г. Кошелевым.

Отношения между помещиками и крестьянами представляются мне в том самом виде, как я и мои близкие чувствовали влияние этих отношений к жизни, как я наблюдал их во всем нашем округе, как я находил их почти во всех других областях Великороссии, где мне удалось бывать во время моих странствований. Я далек от такого идеализма, чтобы предполагать во всех поместьях Х. точно то же самое, что в нашей Каракозовке. Дивный порядок, у нас владычествовавший, происходил от редких достоинств людей, его устроивших; я знаю, что такие высокие добродетели довольно редки на земле. Но я полагаю, а читатель согласится со мною, что по редким случаям чрезвычайного, почти идеального развития качеств можно судить о характере быта, в котором развились эти случаи. Я нахожу, что помещики, подобные нашим, могли являться только потому, что вообще отношения помещиков с крестьянами благоприятствовали явлению подобных личностей; я думаю, что герои, как Регул и Гораций Коклес<sup>4</sup>, между римлянами были воспитаны только общим патриотизмом и общею храбростью римлян, что в трусливом обществе такие люди были бы невозможны; я утверждаю, что такие помещики, как наши, могли являться только потому, что вообще наши помещики хороши с своими крестьянами и добры к ним. Изумительно превосходного всегда и везде не много; но где есть превосходное, там много хорошего и мало дурного. Чувства, вли-  
тые в меня опытом собственных отношений к помещичьей власти,

и убеждения, внушенные наблюдением над жизнью других, заставляя меня так думать.

Сообразно такому взгляду на отношения между помещиками и крестьянами я понимаю и решение дела об отмене крепостного права. Как вообще помещики до сих пор устраивали свои дела с крестьянами в духе взаимного доброжелательства, так должно быть проведено и это дело. Взаимное доверие и приязнь — вот основания, принимаемые мною. Кроткое, снисходительное уважение каждой из двух сторон к выгодам другой, уверенность найти и в ней такую же взаимность в этих чувствах — таков характер решения, которое признается у меня единственным практичным не только потому, что при таком духе дела легче всего решить вопрос, но и потому, что в настоящих чувствах помещиков к крестьянам и крестьян к помещикам нет никаких других элементов, кроме благоприятных такому ходу дела, — обе стороны, вообще говоря, проникнуты взаимною приязнью, стало быть не только благоразумие, но и самая природа их чувств ведет себя в этом деле путем дружелюбного согласия и полного доверия друг к другу. На этом духе взаимного благорасположения между помещиками и крестьянами основана главная идея моей статьи, а из него вытекают как существенные черты, так и все подробности моих ответов на вопросы, возбуждаемые этим делом.

Путеводною нитью для изложения моих понятий об отмене крепостного права я избираю «Вопросы по сельскому благоустройству», предложенные г. Кошелевым в том же духе взаимного благорасположения помещиков и крестьян и в тех же видах упорочения настоящей их приязни справедливым для обеих сторон и выгодным для обеих сторон кротким решением дела. Вопросы эти разделяются на пять отделов: 1) о крестьянских усадьбах; 2) о наделе крестьян землею; 3) о крестьянских повинностях в отношении к помещику; 4) о крестьянских повинностях в отношении к правительству; 5) о крестьянских обществах и мирском устройстве; вне этих рубрик поставлены еще некоторые отдельные вопросы, служащие дополнением к предыдущим. Таким образом г. Кошелев своими вопросами обнял все дело до мельчайших подробностей с замечательною полнотою. Если бы подробно отвечать на каждый вопрос, пришлось бы написать не одну статью, а длинный ряд статей. Я хочу изложить свои понятия в таком объеме, чтобы можно было разом обозреть всю целостность их; оттого по необходимости я буду рассматривать далеко не все, а только некоторые из этих вопросов, именно те, которые имеют наибольшую важность; остальные легко решаются на основании изложенных главных начал.

Первый отдел вопроса г. Кошелева относится к усадьбам, и на первый из этих вопросов «Что разуметь под крестьянскою усадьбою?» совершенно удовлетворительный ответ дан уже самим г. Кошелевым в его статье «О крестьянских усадьбах», которая

помещена в «Сельском благоустройстве» прямо вслед за вопросами<sup>5</sup>. Я позволяю себе выписать прекрасные слова г. Кошелева вполне:

«Что разумеет под *крестьянскою усадьбою*? Доселе этот вопрос едва ли кем предлагался, и тем еще менее возбуждал он какое-либо разногласие. Дело казалось ясным, и все под *крестьянскими усадьбами*, под *крестьянскою оседлостью* понимали все то, что заключается в селе или деревне и обнесено городьбою или обрыто канавою, а именно: крестьянские строения, гумна, овощники, конопляники, сады, хмельники и выгон. В ином селении недоставало одной из этих принадлежностей, а в другом — даже двух, трех; но никому не приходило в голову исключать что-либо из существующей мирской усадьбы и уверять, что или конопляник, или выгон есть часть полевой земли. Теперь, напротив того, не раз приходится слышать подобные утверждения и опровергать доводы, представляемые в пользу таких мнений. Нам кажется, что под *крестьянскими усадьбами* должно разумеать все то, что *на деле* (*de facto*) по местному пониманию составляет крестьянскую оседлость. Если руководствоваться этим правилом, то споров быть не может, и дело решается просто и скоро. Если же допустить от него отступления, то легко натолкнуться на неустранимые затруднения. С *крестьянскою оседлостью* срослась вся *крестьянская жизнь*; изменение в первой повлечет за собой изменение и в последней. Еще можно крестьян по нужде переселить; но и на новом месте необходимо дать им все то, к чему они привыкли; иначе они в устройстве своей жизни будут как бы сбиты с толку. Теперь еще не предполагается отдать им в собственность за выкуп полевые и луговые их угодья; следует по крайней мере оставить за *поселянами усадьбы* по народному пониманию во всей их цельности и неприкосновенности. Мы не стали бы более и говорить о сем предмете, если б не встречали людей, упорно оспаривающих принадлежность выгона к *крестьянской оседлости*. Спрашиваю: есть ли возможность для русского *поселянина* существовать без выгона? Знаю, что в других землях нет выгонов, но там скот держат на стойле и к тому же *поселяне* большею частью живут особняками; в России же мне не случилось видеть деревень без выгона более или менее обширного, который или находится посреди самого поселка или непосредственно к нему прилегает. (В примечании г. Кошелев прибавляет: «Бывают деревни с крайне малым выгоном, внутри поселка находящимся, и вместе с тем с обширным отдельным выгоном, соединенным с *крестьянскими усадьбами* посредством прогона. Тут дело другое: сколько ни нужен для *поселян* такой выгон, но он очевидно принадлежит к *полевой земле*».) Скажу более: при всяком *крестьянском хуторе*, то есть там, где один зажиточный *крестьянин* живет на своем участке, уже есть непременно выгон. Тут ходит телок *крестьянина*, тут щиплет траву его лошадь,



выпряженная в обеденное время; тут также по пригоне скота остается скот до возвращения хозяина или хозяйки с работы. Без выгона наш крестьянин может менее обойтись, чем без сеней в своей избе, и выключать из усадебной земли эту необходимую к ней принадлежность можно только или по незнанию нашего крестьянского быта или из желания предоставить помещикам права на каждом шагу стеснять крестьян и заводить с ними тяжбы.

«Размеры крестьянских усадеб в различных местностях весьма различны: в иных деревнях усадебной земли бывает менее полу-десятины, в других даже более десятины на тягло. Трудно и по одной губернии определить норму усадебного надела; но можно, думаю, даже необходимо назначить, чего меньше не должны быть усадьбы, потому что некоторые села и деревни у нас крайне тесно поселены, и нужно дать им возможность несколько пораспространиться. К тому же такая прирезка и не затруднительна: легко присоединить к поселку для выгона сколько придется из подсельной пахотной земли; крестьяне будут тем очень довольны, а для помещика нет в том большого убытка. Основываясь на сведениях, собранных мною по разным местностям, я думаю, что меньший размер (minimum) усадьбы мог бы быть назначен по полудесятине на тягло. Но вообще следует строго придерживаться правила: оставлять усадьбы в тех размерах и по возможности на тех местах, как они теперь существуют, и изменять их только в крайних случаях» («Сельское благоустройство», № 1—2, стр. 8—10).

Эти справедливые слова требуют только одной заметки, относящейся к фразе о деревнях с двойным выгоном: «крайне малым» внутри поселка и обширным отдельным, соединенным с крестьянскими полями. Как бы ни назывался последний выгон, но он — точно такой же выгон, как и первый, и точно так же необходим поселянам по совершенной недостаточности одного первого, потому что эти два куска земли, имеющие одинаковое назначение в хозяйстве, должны подлежать одинаковому решению: куда идет первый, туда должен идти и второй.

Второй вопрос состоит в том, как поступать в случае, если нет возможности отмежевать господскую усадьбу от крестьянской. Слово «отмежевать» обыкновенно принимается просто в значении: «разделить границы проведением межи». В этом смысле каждые два участка земли могут быть размежеваны: нет такой земли, которая не допускала бы проведения межи. Итак, мы не можем представить себе такого случая, в котором по справедливости не могли бы быть отмежеваны крестьянские усадьбы от господской. У них есть свои границы; поставьте по этим границам межевые знаки, и размежевание совершено. Но очевидно, вопрос предлагается не в смысле возможности размежевания, а в смысле желания размежевывающихся людей оставить границы в прежнем виде, то есть вместо физической возможности или невозмож-



ности надобно понимать просто желание, личный расчет или каприз того или другого из лиц, участвующих в деле. Когда перемены производятся одними моими желаниями, не будет конца переменам, и мы понимаем, что в этом случае очень часто будут произноситься слова «это невозможно», а под этими словами будет скрываться не больше как такой смысл: «мне это не нравится».

Переменится ли топографический характер земель от изменения сословных отношений между людьми? Вырастут ли новые холмы, изменится ли направление долин, высохнут ли реки оттого, что помещик станет называться землевладельцем, а крепостные крестьяне государственными или вольными? Мы не понимаем, почему для людей одного наименования было бы, например, возможно, положим, гонять скот на водопой по известной дороге, а для людей другого наименования это невозможно? Разве корова или лошадь, идя по тропинке, ведет себя различно, смотря по тому, какое имя дается ее хозяину гражданскими законами? Лошадь государственного крестьянина или вольного хлебопашца так и норовит забежать в овес, если дорога, по которой ходит она на водопой, ведет мимо поля, засеянного овсом; но точно таким же дурным поведением одарена лошадь или корова крепостного крестьянина. Конечно, следует назвать неудобством, когда мужицкий скот ходит на водопой или на пастбища мимо господских полей или огородов, но если эти неудобства не считали необходимым устранить прежде, то не видно необходимости, по которой неизбежно бы прекращать его непременно в одну и ту же минуту с переименованием владельцев скота из одного состояния в другое. Одно из двух: или перенесение усадеб и участков для избежания близких соприкосновений между землями — дело легкое, и в таком случае нечего хлопотать о нем, оно делается само собой без всяких забот; или это — дело многосложное и соединенное с трудностями, и в таком случае нет разумных оснований усложнять и замедлять великое дело освобождения крестьян присоединением к нему этой посторонней задачи, имеющей только второстепенное значение по сравнению с великою реформой сословных отношений; чересполосность дач не имеет никакой внутренней связи с освобождением крестьян; ее уничтожение, конечно, дело полезное, но неблагоприятно хвататься разом за все полезные дела, какие могут представиться нашей мысли: прежде сделаем одно, а потом поочередно будем исполнять и другие задачи, какие покажутся нам нужными. Разделение вопросов — легчайший путь к их разрешению и в науке, и в жизни; если же начать смешивать и спутывать различные вопросы, это ведет только к затруднениям. Прежде всего освободим крепостных крестьян, а потом можно будет заняться и чересполосностью. По всей вероятности, общество, литература и ученые люди тогда и не найдут надобности во всеуслышание

толковать об уничтожении чересполосицы между господскими и крестьянскими усадьбами и полями: там, где от нее не чувствуется неудобств, она может себе оставаться, а там, где возникают от нее неудобства, позаботятся об ее уничтожении местные жители, которые тогда будут иметь совершенный простор для всяких полюбовных сделок. У крестьян (бывших крепостных) какого-нибудь села Ивановки какой-нибудь огород выходит углом к выгону г. Иванова, их бывшего помещика, от этого бывает в огороде потрава: над чем тут ломать голову всем грамотным и безграмотным людям целой Российской империи? Это будет тогда дело жителей села Ивановки и больше никого — они или продадут участок, лежащий неудобно для них, или прикупят к нему смежный участок, или произведут обмен участков для уничтожения неудобной чересполосицы. Это будет их частным делом, разумеется, тогда, когда они получают право покупать, продавать и меняться, как самостоятельные люди. Доставить им это право — вот эту задачу должен решить закон, должно решить целое общество и правительственная власть, а как они будут пользоваться этим правом для устранения мелких личных своих неудобств, это — дело уже собственного их благоразумия.

Освобождение крепостных крестьян — одно дело, уничтожение чересполосицы — другое дело. Совершим первое, и потом второе совершится само собою.

Но есть люди, думающие, что дело освобождения крестьян надобно усложнить, присоединив к нему и изменение разграничения между усадьбами и полями господскими и крестьянскими; мы сказали, что не видим ни надобности, ни логики в таком спутывании разных дел; но те, которые думают усложнить вопрос об уничтожении крепостного права, присоединив к нему вопрос об уничтожении чересполосицы, последний вопрос хотят решать в смысле перенесения крестьянских усадеб и полей. Такое решение предполагается третьим вопросом г. Кошелева:

Если необходимо перенести крестьянские усадьбы, то на чей счет это сделать?

Дело идет об усадьбах, потому будем говорить об усадьбах. Перенесение усадьбы, то есть места жительства, есть переселение. Из людей свободных состояний никому не воспрещается [переселяться] куда ему угодно; потому помещик ныне имеет, а крепостной крестьянин, когда освободится, будет иметь полное право куда ему угодно переселяться, то есть переносить свою усадьбу. Но право делать по доброй воле известную вещь с тем вместе есть право не делать ее, если нет на то добровольного желания; потому никто по закону не может быть принуждаем к переселению, если пользуется гражданскими правами; принужденное переселение совершаться может по закону только над человеком, лишаящимся гражданских прав; гражданских прав человек лишается по закону только за преступление; потому переселение

без доброй воли есть один из видов уголовного наказания; этому виду наказания подлежат люди за преступления очень тяжелые, именно за такие, которые подвергают преступника наказанию розгами от 40 до 100 ударов. Кроме преступников, закон никого не подвергает принужденному переселению.

Мы уже говорили, что выражение «необходимость» совершенно неуместно употребляется вместо выражения «удобство» теми, которые говорят о перенесении усадеб; необходимости переносить их быть не может, но действительно могут быть случаи, в которых перенесение может быть для кого-нибудь удобно или выгодно. Если переселения будет требовать выгода самого переселяющегося, предоставим ему самому увидеть выгоду в переселении, не будем изменять великому принципу всякого законодательства, говорящему, что заботиться о личных выгодах и удобствах своих каждый обязан сам. Государство и правительство не обязаны хлопотать о том, чтобы я держал ложку в правой руке, а не в левой, носил сапоги на ногах, а не на руках, потому что это для меня удобнее: оно предоставляет мне самому понимать, какую рукою подносить мне ложку в рот, как обуваться в сапоги, как соблюдать свои выгоды, каким ремеслом заниматься и где жить; оно справедливо уверено, что человек свои выгоды и удобства чувствует хорошо сам. По этому принципу закон решает и случай переселения: если мне выгодно переселиться, я сам и без всякого принуждения переселяюсь; а с другой стороны, если я добровольно переселяюсь, значит я меняю менее удобное или менее выгодное для меня место жительства на более удобное или выгодное. На [чей] счет должно делаться то дело, которое предпринимается мною для моей выгоды или удобства? Разумеется, на мой счет. Г. Сидоров прежде жил в Твери, лежащей на верховье Волги; ему вздумалось (показалось удобно или выгодно) переехать в Астрахань, лежащую в низовьях Волги на 3 000 верст вниз по течению: на чей счет он переселился и кто был обязан вознаграждать его за издержки переселения? Переселился он на свой счет, и вознаграждать его никто не был обязан: вознаграждением очень достаточным послужили ему те удобства, которые влекли его в Астрахань. По переселению г. Сидорова за тысячу верст с верховьев на низовья Волги легко судить о переселении г. Карпова или просто Карпова, переселяющегося за двадцать верст с верховья речки Безымянки на ее низовье или за пятнадцать сажен, с одного берега речки Быстрой на другой ее берег, также для собственных удобств или выгод.

Другое дело, если человек соглашается переселиться для удобства или выгоды другого; например, подле дома г. Онуфриева в 12-й линии Васильевского острова (в Петербурге) был дом г. Пантелеева. Г. Онуфриеву показалось выгодным приобрести под свой дом дворик г. Пантелеева. Он заплатил Пантелееву сумму, взять которую за свой дом показалось выгодным

г. Пантелееву, и тогда г. Пантелеев переселился из соседства г. Онуфриева в 18-ю линию Васильевского острова, где купил себе новый дом. Случаются и другие примеры. В доме г. Онуфриева жили: в квартире № 24 г. Борисов, отставной штаб-ротмистр, большой любитель соловьев и канареек, а бок о бок с ним в квартире № 25 некто Пафнутьев, мещанин, занимавшийся резьбой на дереве; г. Борисов не чувствовал никакого неудобства в этом соседстве; но вдруг Пафнутьеву вздумалось присоединить к резьбе и столярную работу; в его квартире, прежде совершенно тихой, начался стук; стук этот мешал г. Борисову наслаждаться пением своих соловьев и канареек; соседство стало для него неудобно. В голове г. Борисова родился вопрос, как бы ему избавиться от соседства, ставшего неприятным. Он пошел к хозяину дома и попросил его согнать с квартиры Пафнутьева. Хозяин дома ответил просто и ясно: «Если я по неудовольствию одного жильца стану согнать других, довольны ли будут жильцы моими вмешательствами в их домашние дела? Жилец платит мне деньги, не делает ничего неприятного мне, — по совести, могу ли я обижать такого жильца в угоду другому?» Г. Борисов вернулся на квартиру свою огорченный и раздосадованный. В это время случилось мне зайти к нему. Он излился перед мною жалобами и бранью на хозяина дома. Вышедши из терпенья от нелепых упреков хозяину, в этом деле совершенно правому и притом известному в свете за честного и благонамеренного человека, я нашелся вынужденным прервать едкую речь г. Борисова следующим замечанием: «Пожалуйста, молчите: во-первых, хозяин дома совершенно прав, и вы только стыдите себя вашей неумеренностью в желаниях и пошлым эгоизмом, с которым браните человека только за то, что он не захотел в угождение вам поступить несправедливо; во-вторых, не забывайте, что г. Онуфриев хозяин дома, и, если до него дойдет ваша брань, он, рассердившись, может согнать вас самих с квартиры». Последний аргумент подействовал на г. Борисова, он приутих, и раздраженный вид Юпитера изменился у него на позу мокрой курицы. «Что же мне делать? — произнес он унылым тоном. — Я не могу слышать теперь, как поют мои канарейки». — «Какая мудреная задача в самом деле! — сказал я. — Позовите вашего Алешу». Призвали девятилетнего Алешу. Я рассказал ему, в чем дело. «Как же теперь быть твоему папаше?» — прибавил я в заключение. «Папаша, если вам тут нехорошо жить, пойдемте искать другую квартиру», — сказал Алеша. «Мне кажется, что Алеша понимает дело правильным образом», — заметил я. «Но я так привык к этой квартире, мне не хочется выезжать из нее», — прохныкал г. Борисов. «В таком случае вы можете отправиться к столяру Пафнутьеву и предложить ему вознаграждение, если он согласится уехать из вашего соседства. Но знаете ли, он человек ремесленный, ему подниматься с места тяжело, — сколько возов леса, сколько станков ему перевозить!

Ему нельзя будет взять с вас дешево за переезд. А вам, чтобы перенестись с квартиры на квартиру, стоит только взять в одну руку клетку с соловьями, а в другую клетку с канарейками. Помоему, вам легче переменить квартиру, нежели Пафнутьеву. А впрочем, если эта квартира вам так мила, не жалейте денег, и Пафнутьев с радостью переселится, если только получит вознаграждение, какого потребует». Не знаю, чем кончилась эта история; но верно то, что если съехал с квартиры Пафнутьев, то не иначе, как получив от г. Борисова такое вознаграждение, какое захотел взять, а если переехал с квартиры г. Борисов, то не получил от Пафнутьева ровно никакого вознаграждения.

Из этого анекдота видно, что если я нахожу удобным для себя, чтобы переселился кто-нибудь из моего соседства, то я должен заплатить ему, сколько он потребует; если же я сам переселяюсь оттого, что нахожу чье-нибудь соседство неудобным для себя, то за свое переселение я не должен получить никакого вознаграждения. Он переселяется, чтобы избавить меня от неудобства, то есть я получаю от этого удобство; я переселяюсь, чтобы избавиться от неудобства, то есть ищу себе удобства; за удобство платит тот, кто получает его.

Все эти случаи мы рассказали в предположении, что переселение кому-нибудь понадобится; но мы никак не думаем, чтобы встретилось при освобождении крестьян слишком много таких случаев, в которых переселение было бы действительно очень нужно. Вероятно, так думает и г. Кошелев, — это можно вывести из следующих его слов: «Конечно, во многих имениях помещикам удобно будет остаться на своих местах и сохранить крестьянам их вековые усадьбы; но представится много и таких случаев, когда это счастливое разрешение задачи будет невозможно и когда необходимо будет или тем или другим выселиться. Такие случаи редко встретятся в больших имениях, очень редко в оброчных деревнях; но они могут часто представляться по имениям незначительным и тем чаще, чем имения мельче».

«Часто» — это значит все-таки не «большей частью», «часто» случается то, что случается далеко не каждый день. Справедливо говорит г. Кошелев, что в этих случаях, когда переселение необходимо, оно должно совершаться по добровольному соглашению, «которое одно может устранить затруднения, иначе почти ничем неустраимые». Справедливо говорит он также, что если помещик выселяется из такого села, где у него, кроме дома, нет других заведений, то за переселение не следует ему вознаграждения; справедливо также говорит он, что если выселяются крестьяне, то не иначе как по добровольному соглашению; нам казалось бы только, что понятием о добровольном соглашении устраняется назначение цены вознаграждения общему мерю для целой губернии; нет, пусть цена определится добровольным согласием в каждом отдельном случае. При этом, очевидно, предполагается у



г. Кошелева, что помещик переселяется по собственному желанию, для собственного удобства, а мужики по желанию помещика; но могут быть и обратные случаи, когда желание переселиться самим или склонить помещика к переселению будет со стороны крестьян; в таком случае, очевидно, роли изменяются. Для совершенной ясности мы выразили бы правила, указываемые г. Кошелевым, в следующей форме: 1-е, переселение совершается не иначе как с согласия выселяющейся стороны; ни одна из двух сторон не имеет права требовать от другой переселения, она может только склонять ее к тому посредством предоставления ей вознаграждения; 2-е, тот помещик или крестьянин, который переселяется для собственного удобства, не получает вознаграждения за переселение; 3-е, тот помещик, который соглашается переселиться по просьбе крестьян, или те крестьяне, которые соглашаются переселиться по просьбе помещика, получают вознаграждение от той стороны, которая склоняет к переселению; 4-е, размер вознаграждения за переселение в каждом данном случае определяется торгом или, так сказать, коммерческою сделкою, при которой по общему коммерческому основанию величина суммы зависит только от взаимного согласия двух торгующихся сторон; 5-е, переселение есть факт совершенно независимый от уничтожения крепостного права; оно как по самой идее, так и на деле является уже только последствием этого уничтожения, а потому и вопрос о нем в каждом селе начинается тогда, когда уже решен вопрос об освобождении и следующем за него вознаграждении помещика; одно дело после другого может быть решено спустя целый год или пять минут, но непременно должно быть решено после, а не прежде, потому что, являясь договорным делом, оно для своего совершения предполагает независимость друг от друга договаривающихся сторон.

К этим правилам мы присоединим одно замечание, касающееся отношений переселения отдельных лиц к государственным выгодам. Переселение бывает выгодно для национального труда, когда совершается вследствие материальной выгоды, а не по прихоти или капризу. Если деревня перенесется с места, где нет хорошей воды, на такое место, где есть хорошая вода, это выгодно для государства; но таких случаев нельзя ждать при переселении крестьянских жилищ вследствие освобождения: вообще говоря, крестьяне останутся в пределах той же дачи, и, вообще говоря, в этой даче самое удобное для поселения место бывает то, на котором уже стоит деревня; следовательно, переселение крестьян в наибольшей части случаев будет растратою труда и времени на замещение более удобного менее удобным, то есть будет делом невыгодным для национального труда. (Просим читателя не забывать, что мы говорим только о переселении как о последствии отмены крепостных отношений. В этом деле оно имеет совершенно особенный экономический характер и пред-



ставляется исключением из общего понятия о переселениях, потому что совершается не вследствие экономических соображений, а по изменению юридических отношений). Итак, национальная выгода требует, чтобы размер этого невыгодного передвижения был возможно наименьший. Такая цель совершенно достигается предоставлением его исключительно добровольному согласию переселяющихся. Переселение, как мы видели, предполагается нужным только как средство для избежания неприятных столкновений. Наилучшее средство предотвратить неприятные столкновения между людьми есть предоставить независимость обеим сторонам одной от другой, тогда каждая из них, приобретая содействие или уступчивость другой только собственным содействием ей, естественно проникается дружелюбными расположениями, а при взаимном доброжелательстве очень мало представится поводов к неудовольствиям.

Переселение крестьян по поводу уничтожения крепостного права представляется вообще делом невыгодным для государства. Совершенно другой характер имеет переселение помещика. Землепашец, переселяясь, только сносит свою усадьбу с одного места сельской дачи на другое и обыкновенно должен будет переносить ее с более удобного на менее удобное. Но когда барин, живший в деревне, перемещает место своего жительства, есть сто шансов против одного, что он переселится в город. Полезные для государства последствия переселения в город, можно сказать, неисчислимы. Недостаточное развитие городов — одна из главнейших причин слабого развития у нас всех высших сторон жизни и даже самой торговли с промышленностью, даже земледелие будет подвигаться вперед только соразмерно развитию городов. Переселение многих помещиков из дерев[ень] в города, подняв и оживив города, поднимет земледелие, промышленность и торговлю, будет содействовать развитию нашей общественной жизни и образованности. В выгодах государства надобно желать этого переселения; того же надобно желать и в выгодах самих помещиков. Можно спорить о том, где простолудин образованнее и нравственнее — в городе или в селе, но вредное влияние сельской жизни на некоторых помещиков бесспорно. В городах они сделаются деятельнее и просвещеннее. Если переселение крестьян будет зависеть от добровольного согласия самих крестьян, в селах останутся те помещики, которым действительно надобно по делам жить в деревне, которые старательно занимаются сельским хозяйством или имеют промышленные заведения. Напротив, те, которые живут в деревне без всякого особенного дела, найдут удобным для себя переселиться в города, что будет выгодней для них самих в нравственном, умственном, а потом и в материальном отношении.

За вопросом о том, на чей счет следует производить переселение вообще, следуют у г. Кошелева вопросы: какие пособия или

облегчения необходимы по этому делу помещикам, имеющим менее 21 души, и помещикам, имеющим от 21 до 100 душ. Совершенно одобряя дух, внушивший эти вопросы, то есть признание принципа, по которому человек небогатый, не имеющий силы без затруднений обернуться в деле, легком для человека богатого, должен получить пособие и облегчение, мы с радостью увидели бы помещиков двух названных г. Кошелевым разрядов получившими всевозможные вспоможения не только по частному вопросу о переселении, но и вообще по всему делу уничтожения обязательного труда. Само собой разумеется, впрочем, что эти облегчения должны вытекать из общих источников, а не в частности из особенных условий, которые возлагались бы именно только на их крестьян. С сохранением этого правила мы готовы признать справедливыми всякие меры в преимущественную пользу помещиков двух названных разрядов перед остальными помещиками. В том плане, который излагается у нас ниже, объяснены преимущественные выгоды, которые мы находили бы удобными дать им. Но если другой кто-нибудь придумает еще выгоднейшие меры в их пользу, согласные с справедливостью, мы готовы поддерживать все такие меры, вполне сочувствуя выгодам означенных двух разрядов помещиков.

Должны ли крестьянские усадьбы после выкупа оставаться мирскою собственностью или частною собственностью каждого семейства, и какие должны быть права на усадьбы мира и отдельных крестьянских семейств? — спрашивает далее г. Кошелев. Этот предмет — едва ли не самый многосложный во всем крестьянском вопросе, хотя занимает в нем не очень видное место и нисколько не касается отношений помещиков к крестьянам, относясь только к отношениям одних крестьян между собою. Его нужно рассматривать отдельно и подробно. Нам казалось бы, что основанием тут должно быть поставлено различие между жилищем, то есть избою или домом с двором в теснейшем смысле слова, и другими принадлежностями усадьбы. Двор без всяких неудобств для общины мог бы быть частной собственностью; крестьянин мог бы продать его кому угодно, не стесняя никого из земледельцев того села, но другие принадлежности усадьбы, именно гумно и конопляник, относящиеся уже специально к земледельческому быту, он мог бы продать только земледельцу, приписанному к той общине или даже и это право могло бы быть подчинено различным условиям. Таким образом мещанин, занимающийся мастерством, или торговец мог бы свободно селиться в деревне, купив у крестьянина дом или часть дворового места для постройки дома; но участие в поземельных сельскохозяйственных принадлежностях дачи земледельческой общины имели бы постоянно только земледельцы этой общины. Село через это оживилось бы присутствием торговых и промышленных элементов, и самая ценность дворов и изб поднялась бы, но неотъемле-

мость сельскохозяйственных принадлежностей у крестьян сохранилась бы.

Это дело имеет важность для крестьян совершенно независимо от вопроса об уничтожении крепостного права; оно принадлежит не к отношениям помещика с крестьянами, а равно касается и государственных и удельных и всяких других крестьян. Так или иначе устроятся крестьяне, помещику не будет от того ни выгоды, ни убытка. Другое дело следующий вопрос.

Как ценить крестьянские усадьбы? Как поступать в тех местах, где усадьба составляет главную и значительную ценность имения?

Г. Кошелев в своей статье об усадьбах совершенно справедливо замечает, что это вопрос самый существенный и самый трудный. «Оценка вообще вещь не легкая, — говорит он, — но особенно трудно ценить то, что отдельно не существует, что в понятиях наших всегда соединено с чем-то другим и что не составляет предмета продажи и купли. В понятиях как помещичьих, так и крестьянских усадьбы с прочими угодьями составляют одно целое. Разъединить их в представлении, на плане, в описании — весьма возможно; но оценить их порознь есть дело не только трудное, но в некоторых случаях едва ли возможное». Основываясь на этом чувстве русских людей, не понимающих земледельца, не владеющего землею, не понимающих земледельческой усадьбы без пашни и лугов, мы думаем, что выкуп с землею легче, нежели выкуп без земли и что оценивать крестьянские усадьбы вместе с полевыми землями, находящимися во владении у крестьян, легче, нежели оценивать их без земли. Закон, данный высочайшими рескриптами, постановляет только наименьший предел того, что должно быть дано крестьянам при освобождении; он говорит только, что без усадьбы освободить крестьян не позволено; но следует ли присоединить к усадьбе также все полевые и другие земли, находящиеся во владении крестьян, — это оставляется законом на обсуждение общества. Мы решительно думаем, что усадьба без полевой земли не должна существовать потому, что неразрывная связь усадьбы и земли требуется и государственною пользою и национальным убеждением. Поэтому оставляем без ответа вопрос об отдельной оценке усадьбы, как вопрос, не приложимый к нашей жизни, и переходим ко второй части вопроса г. Кошелева, именно к вопросам надела крестьян землею.

Первый вопрос г. Кошелева состоит в том, какое количество земли можно считать достаточным, по выражению высочайших рескриптов, для обеспечения быта крестьян и для выполнения ими обязанностей перед правительством и помещиком. Ответ может быть двоякого характера: теоретического или практического, то есть может быть выводим из отвлеченных соображений или состоять только в принятии на бумаге факта, всеми признаваемого

в жизни. Вступать на теоретический путь, пускаться в соображение о том, какое количество земли *может* быть достаточным для достижения указанной высочайшими рескриптами цели, мы не советовали бы, потому что дорожим выгодами помещиков и желали бы такого устройства поземельных отношений, при котором осталась бы у помещиков наивозможно большая пропорция земли. Слово «может» — слово вероломное; за него можно взяться с целью сократить количество земли, отводимое крестьянам, но что, если оно неожиданно приведет к результату совершенно противоположному; мы поясним это примером хотя бы такого рода.

Я живу на квартире с одним хорошим знакомым; вдвоем мы занимаем три комнаты и находим, что помещение для нас достаточно; но если вы спросите меня, какое помещение *может* считаться достаточным для одинокого человека, каков я или мой товарищ по квартире, я по совести должен буду отвечать, что порядочную жизнь невозможно вести одинокому человеку, занимая меньше как три комнаты одному. Необходимо человеку иметь кабинет для занятий, необходимо иметь спальную и необходимо иметь хотя небольшую, но ничем не занятую комнату для приема посторонних людей. Каждый должен будет согласиться со мною: в самом деле, очень неудобно не иметь отдельной комнаты для занятий, очень неудобно не иметь спальной, отдельной от кабинета, и т. д. Результаты вопроса в том, какое помещение *может* считаться достаточным, результаты этого вопроса для моих квартирных отношений с моим товарищем, как видим, не совсем удобны.

Потому станем решать вопрос о наделении землею просто на основании фактов общественного сознания, а не на основании теоретических рассуждений, следствия которых были бы менее выгодны для лиц, выгодами которых я, как сказал, дорожу. В таком случае ответ бесспорен:

Достаточным для обеспечения быта крестьян и для выполнения ими обязанностей перед правительством и помещиком полагается такое количество земли, какое на обыкновенном житейском языке в данной местности считается достаточным.

Ответ, как видим, похож на знаменитую формулу Фихте:  $A = A$ , Я есмь Я, земля есть земля, достаточное количество земли есть достаточное количество земли. Он ясен, точен и бесспорен; сомнений и произвола он не допускает. Итак, предположим, что в известной местности те из крепостных крестьян считаются достаточно наделенными землею, которые имеют по три десятины в поле на тягло; в этой местности существует, положим, три имения, каждое по 100 тягол; земли принадлежит к одному три тысячи десятин, к другому две, к третьему полторы. Во всех трех достаточный надел крестьян землею одинаков, именно девятьсот десятин пахотной земли, кроме луговой, лесной и т. д. Затем в каждом из трех имений остается больше или

меньше земли, в которой нет необходимости крестьянам для обеспечения своего быта и для выполнения своих обязанностей перед правительством и помещиком.

Надел крестьян землею должен быть в каждой местности таков, какой по общему мнению земледельцев считается достаточным наделом. Таков практический житейский ответ на первый вопрос. Второй вопрос так же легко решается с тем же общественным сознанием.

«Можно ли при определении количества земли, достаточного для обеспечения быта крестьян и т. д., принять в соображение местные промыслы, коими крестьяне ныне дополняют недостаток или непроизводительность земли?»

Самый вопрос уже говорит, что такой надел недостаточен в некоторых случаях. Если земля не обеспечивает быта крестьян потому, что она не производительна, мало способна к земледелию, увеличение пропорции крестьянской земли мало послужит к улучшению их быта; но в таких местах землею мало дорожат помещики, и мало хлопочут о ней крестьяне; стало быть, тут не следует ожидать особенных споров о пропорции земли; сколько захотят взять крестьяне, столько и согласится дать им без большого убытка для себя помещик; сколько захочет оставить себе помещик, столько и согласится оставить ему без большого убытка для себя крестьяне. Совершенно иное дело в тех поместьях, где земля хороша, но крестьянам отдана слишком малая часть ее. Если тут крестьяне ищут себе подмоги в промыслах, они делают это не от физической необходимости, положенной природою, а от случайностей, которые как вносятся, так и устраняются человеческою волею. Цель для этой воли указана высочайшими рескриптами: в тех поместьях, где дача заключает в себе довольно земли для достаточного надела крестьян, но где еще не произведен достаточный надел, он должен быть произведен.

Из всего сказанного следует, что норма, нами принимаемая за основание успешности каждого гражданского дела, именно довольство известною мерою тех людей, в пользу которых она производится, — эта норма служит наилучшим средством при решении вопроса о наделении крестьян землею.

Такой надел земли, которым вообще довольны крестьяне в известной местности, есть именно тот надел, о котором говорят высочайшие рескрипты.

В некоторых местностях, где земля слишком дурна, крестьяне могут желать малого надела; таким селам не нужно навязывать лишней земли против того, сколько они хотят взять.

В других местностях, где земля хороша, бывают села, в которых крестьянам отдана слишком малая часть дачи; тут можно наделить их достаточнее прежнего, когда они сознают, что прежний надел был недостаточен. После этого почти не нужно отвечать на третий и четвертый вопросы:

«Возможно ли установить для каждой местности нормальный надел землею?» — «Не лучше ли удержать нынешний тягловый надел?» Для каждой местности должно установить нормальный надел, меньше которого не может быть дано крестьянам, если они сами не пожелают взять меньше. Если настоящий тягловый размер в известном виде немногим ниже этого нормального надела или выше его, этот нынешний надел будет удержан; если же он много ниже нормы, он должен быть увеличен.

Итак, мы принимаем три основания для надела крестьян. Самым основным служит согласие и довольство крестьян; затем имеет силу нормальный размер надела: если крестьяне не хотят взять меньше, то им не дано будет меньше нормального надела; после этих двух оснований имеет силу третье: если нынешний надел не ниже нормального надела и если крестьяне не хотят сами взять меньше, нежели владели, сохраняется нынешний надел.

Из этих оснований видим, что во многих случаях дело будет решаться фактическим положением вещей в настоящее время, во многих других случаях — общественным сознанием, выражающимся в желании крестьян, и затем часто по обоюдному соглашению помещика с крестьянами; последнее будет иметь место в тех селах, где крестьяне до сих пор находились в хорошем состоянии и где потому они и помещик были взаимно довольны друг другом и одинаково довольны настоящим распределением господской и крестьянской земли. Совершенно ошибаются те люди, которые воображают, будто последних случаев не очень много: напротив, чрезвычайно многие помещики считаются у крестьян хорошими и добрыми помещиками и пользуются их любовью. Едва ли не должно сказать, что в большей части великорусских губерний большинство помещиков и крепостных крестьян находится в подобных приятных отношениях; по крайней мере так мы знаем о губерниях, в которых бывали.

Но исключительно предоставить установление надела крестьян во всех случаях обоюдному соглашению помещика с крестьянами (вопрос 5-й) было бы неудобно, потому что обоюдное соглашение, иначе свободная переторжка, есть принадлежность только тех дел, в которых и та и другая из двух договаривающихся сторон имеет одинаковую возможность не заключать договора, если он ей кажется невыгодным, и бросать начатое дело без решения. По вопросу же о наделении крестьян землею ни помещик, ни крестьянин не имеют возможности такого произвола — оставлять дело нерешенным. По необходимости они должны кончить его, следовательно, не имеют произвольности в своих действиях. При таком условии договор не может быть законною формою, а закон должен постановить какую-нибудь норму; договор же может участвовать в решении дела только фактически, а не юридически.

Выше, говоря о размежевании усадеб, мы выразили мнение,



что уничтожение чересполосности и освобождение крепостных крестьян совершенно различные дела, из которых последнее не должно быть запутываемо через смешение с первым. Сообразно этому надобно отвечать и на (6-й) вопрос г. Кошелева о полевых землях:

«Как разделить землю крестьян от господской там, где она еще не отделена к одному месту и где узкость дачи или недостаток водопоев или разнокачественность почвы или иные причины тому препятствуют?»

Фактически крестьянская земля отделена от господской везде, кроме тех многоземельных областей, в которых нет постоянного места запашки, а постоянно поднимаются под пашню или новины, или земли, оставшиеся в залежи. Но в таких местах разделение земель не представляет никаких трудностей: нужно только отвести крестьянам такое число десятин, чтобы они могли при прежней системе залежей иметь тот размер полей, какой нужен для обеспечения их быта. Во всех других областях, где нива имеет постоянное место, крестьянские земли фактически отделены от господских. Границы этого разделения могут быть не совсем удобны, но если до сих пор помещик и крестьяне не предпринимали ничего для отстранения этого неудобства, то нет разумного основания, чтобы они непременно затрудняли себя хлопотами об этом именно в ту минуту, когда у них и без того на руках гораздо важнейшее дело — решение дела об отмене обязательного труда: если терпели неудобство в продолжение десятков или сотен лет, когда была совершенная свобода заняться его устранением, то можно потерпеть этими хлопотами еще год или два, когда время и мысли заняты другим, гораздо важнейшим делом. Сначала кончим это важнейшее дело, — отмену крепостного права, а потом, когда будет свободное время заняться другими делами, займемся уничтожением чересполосицы, если по разделу, при котором совершена отмена крепостного права, окажется чересполосица, и если от этой чересполосицы будут чувствоваться неудобства. Далеко не [во] всех селах она окажется, и далеко не во всех тех селах, где окажется, будут от нее чувствоваться неудобства; потому и вопрос об этих неудобствах будет не общим государственным вопросом, даже не губернским, даже не уездным, а чисто частным вопросом того или другого села в отдельности и будет решаться в этом самом селе, так что и слух о нем, не только забота о нем, не перейдет за пределы села.

При таком ответе на вопрос о разделе излишне отвечать на седьмой, восьмой, девятый и десятый вопросы, основанные на предположении, что уничтожение чересполосности будет производиться одновременно и в связи с отменой крепостного права. Если помещики в продолжение десятков и сотен лет не думали размежевываться с своими соседями — помещиками, то, повторяем,

нет необходимости предполагать, что они не могут прожить год или два в чересполосице с крестьянами.

В заключение той части вопросов, которая относится к наделу крестьян землею, поставлен, наконец, коренной вопрос всей реформы, производимой благодетельною волею государя императора, — вопрос о предоставлении полевой земли и других угодий в собственность крестьян. Этот вопрос выражен г. Кошелевым в двух пунктах:

11) Не будет ли выгоднее и удобнее присоединить к усадьбам и полевую землю крестьян? 12) Нет ли средств к предоставлению всей крестьянской земли или части оной в собственность крестьян с удовлетворением помещиков за землю, которой они лишатся?

Нет никакого сомнения в том, что присоединить к усадьбам полевую землю крестьян выгодно и удобно как для государства и для крестьян, так и для самих помещиков; надобно прибавить, что та же выгода государства, крестьян и помещиков требует присоединить к усадьбам и к земле все те угодья, которые необходимы для земледельческой жизни, именно луга, леса и прочая в той пропорции, в какой необходимы они для осуществления цели, указанной в высочайших рескриптах, именно для обеспечения быта крестьян и для выполнения ими обязанностей перед правительством и помещиками. Замечаемое в некоторых колебание по этому вопросу происходит никак не от недостатка уверенности в пользе и гуманности такого решения, но единственно от предположения, что выкуп крестьян с землею и угодьями потребует таких громадных сумм, уплата которых была бы затруднительна. Это предположение может проистекать только от неясного понимания отношений различного рода существующих имуществ к производительным силам нации и к средствам уплаты, возникающим для нее из этих сил; оно поддерживается недостаточным знакомством с могуществом пособия, оказываемого финансовым операциям системою кредита и банков; оно может держаться в мыслях человека только до той поры, как он ясно поймет средства нации для выкупа и характер действия, придаваемого этим средствам финансовою наукою.

Нет такой ценности, существующей в данное время в известном государстве, которая не могла бы легко и скоро быть куплена теми ценностями, какие постоянно создаются трудом и жизнью нации. В политической экономии эта аксиома подтверждается следующим образом.

Все те имущества и ценности, которые завещаны известному поколению нации предками, далеко не равняются по своей стоимости той массе ценностей, которая производится трудом этого поколения в течение немногих лет. Если бы всю Францию или Англию со всеми теми богатствами, какие находятся в ее пределах, оценить так, как оценивается поместье или дом, то стоимость

всей этой земли со всеми ее имуществами и ценностями, с нивами и лесами, строениями и капиталами, далеко не равнялась бы той массе ценностей, какая будет вновь произведена.

[Продолжения нет.]

## **Письмо к В. А. Каракозовскому о способах выкупа крепостных крестьян с землею**

Ты хочешь, любезный друг, чтобы я своими бухгалтерскими приемами помог тебе представить в точнейшем виде планы, которые ты имеешь в виду; ты просишь меня составить сметы по тем основаниям, какие ты нашел справедливыми и удобными для выкупа крестьян с землею. Исполняю твое желание и радуюсь, что мои занятия по банкирским делам оказываются пригодными теперь не для одних выгод фирмы, в которой я служу, но получают применения и к общественным делам. С удовольствием составляю требуемые тобою сметы по данным тобою основаниям, но с тем условием позволяю тебе пользоваться ими, чтобы ты вместе с выводами из расчетов, составленных мною по твоим основаниям, сообщил публике и мои замечания против оснований расчета, тобою принимаемых. Ты не хотел согласиться со мною — быть может, в публике найдутся люди, менее тебя расточительные на трудовые деньги помещика.

Ты принял оценку выкупа, по моему мнению, слишком высокую; ты принял и заем для немедленной уплаты слишком большой; наконец ты положил на этот заем слишком высокий процент. Те, которые, подобно мне, каждый день сидят над коммерческими расчетами, поймут, как сильно ты ошибался, думая, что не важны какие-нибудь лишние пять рублей выкупа на душу, какой-нибудь рубль лишней выдачи посредством займа, какие-нибудь две десятые доли процента на этот заем. Мы, купцы, знаем, что значит каждая лишняя копейка, — она тянет за собою рубли и тысячи рублей. Сколько случаев бывало на моих глазах, когда от одной копейки в цене покупаемого или продаваемого хлеба зависели десятки тысяч рублей выгоды или убытка! Расскажу один случай, памятный в нашей конторе. У нас было две тысячи берковцев сала, купленного по 42 руб. 20 коп.; на другой день после покупки нам дали по 42 р. 50 к., мы продали и остались в барышах; у другой фирмы было три тысячи берковцев, купленных по 42 р. 45 к., ей также предлагали продать за одну цену с нами, но, очевидно, прибыль от такой продажи не стоила хлопот, и продажа не состоялась. На другой и третий день цены стояли прежние, с четвертого стали падать и через месяц стояли уже на 3 р. 50 к. [за пуд], и повышения не предвиделось. Таким образом фирма, удержавшая сало, понесла потери более 20 000 рублей серебром, и вся эта потеря вышла из-за двадцати пяти копеек. Повторяю тебе,

в коммерческом расчете важна каждая копейка, нельзя одного гроша передать лишнего, не потеряв убытку на десятки тысяч. Потому-то я и не согласен на лишнюю передачу рублей, на которую ты так нерасчетлив.

Начнем с твоей оценки выкупа. Ты кладешь выкупную плату средним числом за душу с землею по 80 рублей. Я не занимался русскою статистикою настолько, чтобы мочь проверить в настоящую минуту те факты, из которых ты выводил среднюю величину дохода с тягла; но полагаю, что ты ценишь этот доход слишком высоко, считая его в 20 рублей серебром; я знаю, что во многих поместьях получается гораздо больше, но дело в том, что доход с поместья далеко не весь получается от тех предметов, которые подлежали крепостному праву. Вычти весь доход с фабрик, заводов, овчарен, мельниц и других промышленных заведений, принадлежащих помещикам. Все эти заведения остаются у помещиков, стало быть не входят в цену крепостного отношения, ныне выкупаемого. Вычти также все другие отрасли дохода, получаемого помещиком [по]мимо крепостного права, вычти, сверх того, проценты с оборотного капитала, употребляемого помещиком на самое земледелие, как-то: семян, земледельческих орудий господского хозяйства и проч., и ты увидишь, что в имении, состоящем на запашке, едва ли останется и 15 руб. с тягла дохода от чисто крепостных отношений, подлежащих выкупу. Среднюю цену оброка также нельзя положить более 15 руб. с тягла, — я знаю, что во многих местах берут больше, но таких мест не много; я знаю, что и в других местах встречаются поместья, платящие оброк более высокий, но тогда все кругом говорят, что оброк этот слишком высок; злоупотребление не есть правило; притом же ты сам говоришь, что помещиков, злоупотребляющих своею властью, у нас очень немного, стало быть и злоупотребления их властью так редки, что не имеют влияния на среднюю величину оброка. А сколько есть обширных местностей, в которых величина дохода с тягла несравненно менее? Знаешь ли ты, что, например, в Витебской губернии получается много, много 10 рублей серебром с тягла, да нет, и того не получается. Итак, я полагаю, что ты сильно ошибся, приняв доход более 15 рублей с тягла. Но повторяю, что не имею теперь времени подробно доказать тебе это, — справки потребовали бы довольно много времени, а ты меня завалил работой; потому пусть будет пока по-твоему, принимаю 20 рублей дохода с тягла, хоть и думаю, что этот доход преувеличен тобой. Пусть будет, говорю я, 20 рублей с тягла. Но сколько тягол принимаешь ты в ста душах?

«Положим число тягол наполовину против числа душ, — говоришь ты, — будет с души по 10 рублей дохода». Где ты нашел имение, в котором на сто душ было бы 50 тягол? В оброчных имениях полагают 45, в состоящих на запашке и того меньше, так что чуть ли не много будет считать и по 40 тягол; во многих

имениях считается тягол только третья часть со всего числа душ, но положим, 40 тягол. Ты сам говорил мне, что оброчных имений вдвое, а может быть, и втрое меньше, нежели издельных; будем считать хотя вдвое; что выходит? На двести душ издельных считай сто душ оброчных; в оброчных ста душах 45 тягол, в издельных двухстах душах 80 тягол, всего 125 тягол в трехстах душах; в общем числе приходится на сто душ менее нежели 42 тягла. Будем считать 42 тягла. С каждого ты сам положил дохода по 20 рублей (что, повторяю, по-моему, слишком много); по твоему собственному счету должно выходить со ста душ (42 тягла) всего только 840 рублей дохода или по 8 рублей 40 коп. с души, а ты считаешь со ста душ 1 000 рублей и с души по 10 рублей. Зачем же ты накинул 1 рубль 60 коп. лишних?

Иду дальше. Как теперь считать ценность души со всеми угодьями, принадлежащими к поместью, то есть как с теми, которые выкуплены, так с теми, которые должны остаться у помещика? Ты полагаешь 130 рублей, а сам говоришь, что поместье дает у хорошего помещика 8% продажной цены. Зачем же ты переводишь доход с поместья в капитал по расчету дохода менее 8%? По твоему собственному счету дохода в 10 рублей с души должна выходить ценность души со всеми господскими и крестьянскими угодьями всего только 125 рублей; зачем же ты накинул 5 рублей? А по моему расчету, без твоей неправильной надбавки 1 руб. 60 коп. в доходе с души, выходит еще меньше. Я тебя уличил, что по твоему собственному счету 20 рублей дохода с тягла следует считать с души не 10 рублей, а 8 руб. 40 коп. дохода. Я перевожу этот доход в капитал по расчету 8%, и выходит ценность души со всеми угодьями господскими и крестьянскими 105 рублей.

Видишь ли, мой друг, как тянет за собой лишняя копейка лишний рубль? В одном месте при своей смете накинул ты 1 р. 60 к., в другом месте накинул выше основательной капитализации какую-нибудь четверть процента, и оказалось, что погрешил ты против правды очень много, наложил на крестьянскую душу лишних 25 рублей.

Этим не кончены мои тебе упреки за расточительность на трудовые деньги. «Ценность имения слагается в настоящее время, говоришь ты, из двух элементов: один из них — ценность земли, другой — ценность обязательного труда». Полагая, что земля, отходящая к крестьянам, должна быть выкуплена по своей полной ценности, а обязательный труд — на половину своей ценности, ты находишь, что сумма выкупа должна составлять не более 60% всей цены имения в его настоящем размере. Сначала я принимаю это отношение, по моему мнению слишком высокое, и тут опять уличаю тебя в ошибке при переложении счета с процентов на сумму. Ты сам определил ценность души в 130 рублей; 60% с этой суммы составляют только 78 рублей, зачем же ты

положил ценность выкупа в 80 рублей? Опять ты преувеличил мужицкую уплату на 2 рубля.

Но ты знаешь теперь, что подобными ошибками в предшествовавших выкладках ты вывел слишком высокую цену для всего имения; я доказал тебе, что вместо 130 рублей вся ценность поместья простирается по цифрам, которые тобою самим даны мне, только до 105 рублей. С этой последней суммы, которая и есть точная сумма по твоим собственным основаниям, 60 % составляют только 63 рубля, — вот истинная величина выкупа по твоим собственным основаниям. Ты обременил выкуп мужика лишними 17 рублями, — тяжелый грех сделал ты по неосмотрительной своей расточительности на трудовые деньги мужика.

Я сказал, что проверяю только твои выкладки, не имея времени проверять самых оснований, взятых тобою для этих выкладок. Счастье твое, что у меня нет времени для проверки твоих оснований; к чему привела бы она, ты можешь судить по одному случаю, в котором я имею перед глазами данные, из которых выведены твои основания. На грех себе, ты внес в данную мне записку те соображения, по которым ты полагаешь величину выкупа в 60 % всей ценности поместья. Ты говоришь, что в издельных имениях цена земли составляет около четырех пятых частей всей ценности имения, то есть 80 %, а остальная пятая часть ценности, то есть 20 %, состоит в обязательном труде. Не думаю, чтобы на деле было так: ты слишком малую часть положил на долю дохода, доставляемого не землею, а обязательным трудом. Спроси любого русского статистика, он скажет тебе, что ценность обязательного труда нельзя считать в издельном имении меньше, как в третью часть всей ценности имения. Но положим на него только ту долю, которую кладешь ты: я хочу поймать тебя на другой погрешности, еще более осязательной. Из 80 %, заключающихся в ценности земли, говоришь ты, 50 % надобно считать на крестьянскую землю, а 30 % на господскую. Бойшься ли ты бога? Я знаю, что во многих поместьях крестьянские поля имеют размер несколько больше господских, например на себя мужик получает по две десятины в поле, а на помещика обрабатывает по полуторы десятины; но и тут отношение не как 5 : 3, а только 4 : 3, и по этому отношению на крестьянскую землю приходится из 80 % только 45,7, а не 50; на господскую же остается не 30, а целых 34,3. Но ты сам знаешь, что далеко не во всех издельных имениях крестьянские поля настолько больше господских, а во многих поместьях даже и вовсе не больше их. В этом один твой грех, другой в том, что ты забыл о лугах, лесах и рыбных ловлях: во всех этих угодьях на долю мужика отдается гораздо меньше, нежели оставляет за собой помещик; из лесов крестьянину дается только на домашний обиход, а излишний лес помещик продает исключительно в свою пользу; наконец, если в поместьи есть значительные рыбные ловли, помещик отдает их в откуп также исклю-



чительно в свою пользу; если бы ты не упустил из виду этих угодий, если бы не ослепила тебя одна пахотная земля, а принял бы ты в соображение все сорта поземельных угодий, принятое тобою отношение между господскою и крестьянскою землею вышло бы вовсе не то, какое ты положил: оказалось бы, что пространство и ценность поземельной собственности, оставленной помещиками в своем исключительном пользовании, гораздо больше, нежели предоставлено в пользование крестьянам. Я сказал, что у меня нет времени для наведения справок, но одна справка достается мне без больших хлопот, и я тебя уличу ею. Из двенадцати уездов Киевской губернии у г. Фундуклея показано точное отношение господской и крестьянской земли в одиннадцати уездах, именно во всех уездах, кроме Чигиринского, о котором не было собрано точных сведений<sup>6</sup>. Всего в одиннадцати уездах пахотной земли под господскими полями 749 021 десятина, под крестьянскими 861 759 десятин, — крестьянам, как видишь, отвели помещики несколько больше, нежели оставили под своею запашкою, но разница эта вовсе не так велика, как ты принимал; положив отношение 5 : 3, ты считал, стало быть, на сто десятин господской земли 166,66 крестьянской; на самом деле даже и под запашкою приходится только 115 десятин. В других же угодьях уже и совершенно не то, что предполагается твоим основанием выкладки. Например, сенокосной земли помещики предоставили крестьянам 187 366 десятин, а в своем исключительном пользовании оставили 260 124 десятины; таким образом на 100 десятин господских лугов приходится только 62 десятины крестьянских. Разница в этом одном уже слишком покрывает противную разницу в запашке: у крестьян пахотной земли на 112 тысяч десятин больше, нежели у помещиков; зато у помещиков на 73 тысячи десятин больше лугов, нежели у крестьян, а десятина луга гораздо дороже десятины пахотной земли. Стало быть, если приложить к пахотной земле луга, то окажется по этим двум статьям вместе, что ценность земли, отведенной крестьянам, никак не больше ценности земли, оставленной помещиком в своем исключительном пользовании. А если ты не упустишь из виду леса и другие угодья, то окажется, что у помещиков в исключительном пользовании остается ныне гораздо больше земли, нежели сколько предоставлено ими крестьянам, и долг крестьян несравненно меньше того, как можно было бы предположить, не справившись с положительными данными. Как ты думаешь, например, каково это отношение в одиннадцати уездах Киевской губернии, о которых я представляю тебе точные цифры? Всего в этих одиннадцати уездах принадлежит к поместьям крепостным 3 149 611 десятин, из них предоставлено в пользование крестьянам под усадьбы, под пашню, под сенокос и проч. 1 934 381 десятина; остается в исключительном пользовании у помещиков под помещичьими усадьбами, пашнями, сенокосами и другими угодьями, приносящими

доход исключительно помещику, 1955 230 десятин. Краснеешь ли ты теперь за свою погрешность? Чувствуешь ли, как она огромна и безбожна? Ты полагал, что из 80 % в пользование мужику отдано 50 %, а вот оказывается по одиннадцати уездам Киевской губернии, что мужику отдано 30,33 %, а у помещика осталось 49,67 %, то есть почти как раз наоборот против того, что ты полагал. Ты скажешь, что в других губерниях, быть может, предоставлено мужику больше, нежели в Киевской. Быть может, а может и не быть; я тебе представил цифры, так не отвечай же ты мне пустым словом «может быть», — ведь я на него могу отвечать тебе таким же «может быть», именно так: таково отношение в Киевской губернии, где барщина вообще гораздо меньше, нежели в великороссийских губерниях, а в великороссийских губерниях, так как барщина там больше, то и часть земли, остающаяся в исключительном пользовании помещика, может быть еще больше, нежели в Киевской губернии. Согласись, что в моем «может быть» больше вероятности, нежели в твоём: мое основано на размере барщины, а твоё равно ни на чём не основано.

Посмотри же, в какой погрешности я тебя уличил: ты полагал, что за выкуп крестьянской земли приходится 50 % всей ценности поместья в издельных поместьях и 10 % за выкуп обязательного труда, всего, по-твоему, 60 %. А я тебе доказал, что за выкуп земли причитается всего 30 %, стало быть, и весь выкуп в издельных поместьях составляет только 40 %. Какова твоя щедрость на трудовые деньги мужика? На целую половину ты наложил на него лишнего выкупа в издельных имениях. Побойся бога, мой милый, постыдись людей!

Хотел бы я точно так же переговорить с тобой и об оброчных имениях; и тут я утешил бы тебя не хуже того, как утешил разбором твоего выкупа в издельных имениях; но, повторяю, нет у меня времени для приискания справок: ты завалил меня работою, потому до поры до времени оставляю неприкосновенной принятую тобою пропорцию выкупа для оброчных имений: пусть будет выкуп их в 60 % против всей ценности поместья. Довольно мне и представленных уже мной улик в твоих погрешностях; ты увидишь из расчета, прилагаемого мною к тем выкладкам, которые я произвел по твоему поручению, что единственно твоя неосмотрительная расточительность на рубли и копейки, в которой я уличил тебя, заставила тебя желать прямого содействия от общества мужикам в деле выкупа. Если бы ты строго держался принятых тобою оснований для выкупа, то оказалось бы совершенно достаточной для быстрого выкупа всех крепостных крестьян с землею и угодьями такая добавочная подать на них, которую ты сам признаешь необременительной. Именно без всякого обмена выкупных облигаций на долги в кредитные учреждения, то есть, как ты называешь по первому способу выкупа, полный выкуп совершился бы при подати в 3 руб. 50 коп. с души в девят-

надцать лет с половиною, а при подати в 4 рубля с души — в шестнадцать лет с четвертью. По второму же твоему способу, то есть с принятием облигаций в уплату долгов по кредитным учреждениям, выкуп всех облигаций и всего долга потребовал бы при подати в 3 руб. 50 коп. с души только одиннадцать лет с четвертью, а при подати в 4 рубля с души — всего только девять лет с половиною.

Из этого ты увидишь, что только нерасчетливость в рублях и копейках приводила тебя к мысли желать прямого пособия от общества мужикам в деле выкупа: ты справедливо говорил мне, что всякое имущество, как бы ни казалось [оно] огромно, легко и быстро выкупается или покупается трудом того сословия, которому оно нужно, лишь бы только ценность этого имущества не преувеличивалась неправильною оценкою. Ты не поостерегся ошибок, казавшихся тебе мало[ва]жными, и только от того ценность имущества возросла в твоём слишком щедром расчёте до размеров, несколько затруднивших тебя. Исправь свои недосмотры по моим замечаниям, и ты увидишь, что крепостные крестьяне со всеми своими угодьями могут выкупиться гораздо быстрее и легче, нежели ты предполагал, и убедишься, что обществу не будет никакой надобности делать пожертвования для облегчения им выкупа: выкуп, повторяю, очень легок для них самих без всякого пособия, лишь бы оценка была правильная.

Впрочем, не думай, чтобы ту оценку, которую произвожу я по твоим же основаниям, только поправляя твои недосмотры, мог я по совести назвать уже достаточно правильной. Выкуп по ней уже довольно легок для мужика, но я нахожу ее все еще очень много преувеличенной против истинной меры: основания, которые ты берешь для оценки, кажутся умеренны по сравнению с основаниями, какие принимают у других писавших о величине выкупа еще неосмотрительнее, чем писал ты; по сравнению с людьми, гораздо более тебя расточительными на трудовые деньги мужика, ты представляешься справедливым к той и другой стороне, к помещикам и к мужикам; но от истинного беспристрастия ты все еще далек: к стороне помещиков ты склоняешься гораздо более, нежели на сторону мужиков.

Трудно было и ожидать от тебя чего-нибудь иного: ты издавна живешь исключительно в кругу людей образованных; в этом кругу очень много помещиков, можно сказать, что они составляют в нем большинство; но мужика нет в этом кругу ни одного; почти нет даже и таких людей, как ты, то есть сколько-нибудь близких к мужику по своим родственным воспоминаниям. Из тысячи людей образованного общества всего бывает два-три одинаковых с тобою по родственным связям; да и те сроднились с классом, их принявшим, и отстали от класса, из которого вышли<sup>7</sup>.

Я должен сделать тебе еще замечание о немедленной уплате и процентах долга, заключаемого с целью произвести ее. Ты гово-

ришь, что немедленная уплата выкупа необходима для мелкопоместных владельцев, которые затруднились бы ожиданием тиража. Это правда, но так как по займу для немедленной выдачи выкупа платится более высокий процент, нежели по облигациям, то не надобно забывать цели, с которою производится эта выдача, и не следует увеличивать ее размеров выше необходимости. Большие владельцы непременно пользуются значительным кредитом, потому для них легко обождать тиража шесть или семь лет, а может быть и меньше. Мне кажется, что немедленная уплата всего выкупа или части его необходима только для помещиков, имеющих менее 500 душ; потому в своих выкладках, служащих дополнением к произведенным по твоему поручению, я для них оставляю такую уплату в пропорции, принимаемой тобою или еще высшей; для помещиков, имеющих от 500 до 1 000 душ, немедленную выдачу я кладу только исключением на частные случаи в пользу лиц, по своим особенным обстоятельствам действительно нуждающихся в немедленном получении выкупных денег; что же касается больших владельцев, имеющих свыше 1 000 душ, их значительный кредит ставит их в возможность оказать услугу обществу, дожидаясь полной уплаты выкупа посредством тиража.

Этим значительно уменьшается размер долга, делаемого для немедленной уплаты, а через то облегчается как уплата процентов, так и самое заключение долга. О процентах долга я также должен заметить, что ты также принимаешь их слишком высокими. Ты не довольно постигаешь всю огромность лишних расходов, которые влечет за собою незначительная, повидимому, разность в одной или двух десятых частях процента. Ты положил заем по 4,8%, между тем как облигации нашего 4½-процентного долга стоят на Лондонской бирже *à pari*. Повышение в 0,3 процента, принимаемое тобою, слишком высоко. 4,6 процента на сто дают для 4½-процентного займа курс 97,83. Два процента, составляющие разность этого курса с курсом наших 4½-процентных облигаций *à pari*, послужат уже слишком достаточным привлечением для негоциации такого займа, какой предполагается у тебя, то есть займа со скорым выкупом. Итак, я полагаю, что довольно положить на иностранный заем по 4,6% вместо 4,8%, которые считаешь ты. Сверх того, я думаю, что по крайней мере третья часть займа, нужного для немедленной уплаты выкупа, может быть реализована привлечением капиталов нашего внутреннего рынка, для которых и 4% будут выгодным помещением, когда они помещаются так обильно в кредитные учреждения за 3%. Таким образом в сложности внешний и внутренний долг будет обходиться не выше 4,4 процента.

Замечу еще: ты очень односторонен в своем предположении об источнике доходов, из которого предполагаешь уплатить выкуп. Ты говоришь только об оброке или подати освобождаемых

крестьян, иначе сказать — о поземельном налоге только на одну половину земель, находящихся при крепостных имениях, именно землю, отходящую к крестьянам; между тем поземельному налогу в равной степени может и, вероятно, будет подлежать также и другая половина этих земель, остающаяся за наделом крестьян у помещиков. Этот источник дохода, очень обильный, ты упускаешь из виду; если бы ты принял его в соображение, ты нашел бы возможность выкупу совершаться гораздо быстрее и легче. Предположив, что этот забытый тобою источник даст только одну половину того, что дадут крестьянские земли, мы останемся далеко ниже истины, потому что земли, долженствующие давать этот забытый тобою доход, превосходят крестьянские земли и пространством, и ценностью. Но даже и по этой слишком умеренной раскладке выкуп облегчится и ускорится чрезвычайно значительно, именно в следующей пропорции:

При налоге на крестьянские земли, равняющемся подати в 3 руб. 50 коп. на душу, оставшая половина бывших крепостных земель даст по крайней мере 18 550 000 рублей в год, а всего с податью от крестьян (37 450 000) — 56 миллионов в год, и для уплаты процентов и погашения на каждую четверть года будет приходиться 16 000 000.

При такой уплате полный выкуп всего долга и всех облигаций совершится по твоей оценке (80 руб. выкупа за душу):

по первому способу (без всякого пособия со стороны общества мужикам) в  $22\frac{1}{2}$  года. У тебя этот способ признавался совершенно невозможным;

по второму способу (с обменом облигаций на долги в кредитные учреждения) в 15 лет. У тебя этот способ признавался неудобным, хотя и возможным, растягивая выкуп на 28 лет. Теперь он оказывается удобным.

При налоге в 4 рубля по первому способу в  $17\frac{3}{4}$  лет. У тебя этот способ признавался невозможным.

По второму способу в  $12\frac{1}{4}$  лет. У тебя этот способ растягивал выкуп на  $22\frac{1}{4}$  года.

Столь же чувствительно облегчение для помещиков и для мужиков и при тех размерах выкупа, которые нахожу я более близкими к истинной ценности выкупаемых имуществ. При 63 руб. выкупа на душу по первому способу выкуп производится при 3 руб. 50 к. подати в  $15\frac{3}{4}$  лет.

По прежней выкладке с односторонним налогом он требовал  $27\frac{1}{2}$  лет и оказывался неудобным. Теперь он не только удобен, но и легок.

По второму способу в 10 лет. С односторонним налогом он требовал 17 лет.

При подати в 4 рубля. По первому способу в 13 лет. С односторонним налогом он требовал 23 лет.

По второму способу в  $8\frac{1}{2}$  лет. С односторонним налогом он требовал 14 лет.

Наконец при выкупе по 49 руб. 25 коп. с души выкуп производится:

при налоге в 3 руб. 50 коп. по первому способу в  $11\frac{1}{2}$  лет. С односторонним налогом он требовал  $19\frac{1}{2}$  лет.

По второму способу в  $7\frac{1}{2}$  лет. С односторонним налогом он требовал  $11\frac{1}{2}$  лет.

При подати в 4 руб. по первому способу в  $9\frac{3}{4}$  лет. С односторонним налогом он требовал  $14\frac{1}{2}$  лет.

По второму способу только в 6 лет. С односторонним налогом он требовал  $9\frac{1}{2}$  лет.

Какой же из этих способов, представляющихся легкими и совершенно удобными при последнем выкупе, наиболее близком к истине, надобно положить наиболее легким для общества, для помещиков и для мужиков, я предоставляю судить другим. Мое дело — предложить выкладку, исполняя чужое поручение по данным основаниям, — много-много, если я найду у себя время и способность проверить эти данные. Судить о том, какие из вычисленных мною удобных способов допускаются финансами общества, этой смелости я не беру на себя: пусть рассудят другие, более меня сведущие.

Я сказал все, что имел сказать для облегчения важного дела, занимающего ныне всех русских, и мне остается только приложить к этим замечаниям выкладки, сделанные мною как для исполнения твоей просьбы, так и для исправления твоих погрешностей. Не подосауди на меня, любезный друг, за то, что я выставил наружу твои погрешности, — ты сам знаешь, что в важных делах, если сделал ошибку, то не надобно медлить ее исправлением.

Твой А. Зайчиков.

Сметы,  
составленные к статье г. Каракозовского  
бухгалтером г. Зайчиковым

# I

Предварительные понятия о сильном влиянии даже малых изменений в капитале, проценте и уплате на продолжительность платежа и величину суммы, выплачиваемой до полного погашения капитала.

[Продолжения нет.]



## БОРЬБА ПАРТИЙ ВО ФРАНЦИИ ПРИ ЛЮДОВИКЕ XVIII И КАРЛЕ X<sup>1</sup>

(Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, par Guizot. Tome I-er 1858)

### Статья первая

Книга Гизо. — Роялисты и либералы во время Реставрации. — Отношение этих партий к королевской власти и к свободе. — Истинный характер той и другой партии. — *Chambre introuvable* 1815. — Фуше. — Герцог Ришелье. — Амнистия. — Король принужден распустить роялистскую палату. — Ожесточение роялистов против короля и Деказа. — Новая палата. Либералы поддерживают деспотизм, роялисты защищают свободу. — Либералы усиливаются. — Интриги роялистов. — Падение Ришелье. — Деказ торжествует над роялистами. — Вильмен и цензура. — Убийство герцога Беррийского. — Король принужден роялистами удалить Деказа. — Роялисты обещают поддерживать министерство Ришелье. — Они изменяют своему слову. — Оскорбительный адрес. — Король принужден ими отказаться от участия в управлении государством. — Торжество роялистов. — Министерство Вильеля.

(1815—1821)

С год тому назад было объявлено, что автор «Истории цивилизации во Франции» издает записки о своей политической жизни. Все с большим нетерпением ждали обещанной книги. Как бы ни думал кто из нас о государственной деятельности Гизо, каждый был уверен, что воспоминания бывшего министра представят очень много новых и важных фактов. Еще менее можно было сомневаться в том, что чрезвычайно сильный талант автора придаст изложению фактов увлекательность, его взгляду на них — обольстительность. Первый том заманчивых воспоминаний вышел — и оказался, к великому нашему изумлению, книгой сухой, написанной довольно посредственно, прибавляющей очень мало к вещам, уже давно рассказанным всеми, писавшими о том периоде, словом сказать, оказался книгой не замечательною ни в каком отношении.

На многих читателей этот отзыв произведет, вероятно, дурное впечатление, потому что он решительно не соответствует мнению почти всех европейских журналов, объявивших «Записки»

Гизо произведением высокого интереса и великого достоинства. Но благоприятные суждения о новой книге Гизо основаны преимущественно на громкой славе ее автора. «Написал знаменитый человек, стало быть в сочинении находятся интерес и мудрость», — умозаключение, очень удобное для всех тех, которые не умеют или не хотят оценить книгу по ее содержанию; для них обертка — прекрасная руководительница. Другим «Записки» Гизо понравились по другой причине. Книга эта проникнута либеральными идеями и служит сильным косвенным протестом против системы Луи-Наполеона, точно так же, как последние томы «Истории консульства и империи» Тьера, как последние сочинения Дювержье де-Горанна, Токвиля, Монталамбера и проч. Но мы признаемся, что либерализм гг. Гизо, Тьера, Токвиля и прочих имеет для нас очень мало прелести, и вся эта статья внушена желанием разъяснить причины нашего нерасположения к либерализму подобного рода. Мы судим о книге по самой книге, а не по выставленному на ней имени и не видим особенной пользы в ее тенденции; потому-то и показалась нам она скучной и довольно пустой. Очень вероятно, что следующие томы «Записок» будут гораздо любопытнее: с 1830 года Гизо был уже предводителем партии, имел сильное и самостоятельное участие в государственных делах; его воспоминания об этих временах должны быть интересными. Но в первом томе рассказ доведен только до Июльской революции, а во весь период Реставрации Гизо был далеко не первым человеком своей партии; его действия не имели особенного влияния на события, потому и его воспоминания о своей личной деятельности лишены большой исторической важности; новых фактов о других политических людях того времени он не представил; его рассказ о событиях краток и сух; таким образом с фактической стороны первая часть его «Записок» не имеет почти никакой цены; а что касается мнений, которых он держится при суждении о людях и событиях, эти мнения известны во всей подробности из бесчисленного множества книг, давно написанных другими публицистами школы «*Journal des Débats*»<sup>2</sup>. Потому-то мы и находим, что первый том «Записок» Гизо не замечателен ни в каком отношении.

Мы ошиблись: в одном отношении книга Гизо очень замечательна. Поразительна та гордая самоуверенность, с которой он, один из самых ненавистных во Франции людей, он, упрямство и грубые ошибки которого вовлекли Францию во все бедствия, испытанные ею в последние десять лет, он, погубивший династию, которой служил, погубивший систему, которую защищал, ввергнувший свою страну в междоусобия, он, истинный виновник железной диктатуры Луи-Наполеона, крестный отец всех Эспинасов<sup>3</sup>, говорит о своих действиях как будто о непогрешительных, о своих убеждениях как будто о непоколебимо разделяемых всеми разумными людьми во Франции. Он говорит так, как

могли говорить разве Роберт Пиль или Штейн, как будто все со-отечественники признают его спасителем отечества.

Ни одного слова в извинение своих ошибок — ошибок он не делал; ни одной фразы, в которой заметно было бы сожаление хотя о чем-нибудь, исправление хоть в чем-нибудь. Он чист и непогрешителен, он мудр и свят перед богом и людьми.

Никакая гордость своим личным умом, никакая уверенность в личной своей правоте недостаточны для сообщения человеку такого непоколебимого, самоуверенного спокойствия за всю свою жизнь, за все свои планы и действия. Нужна для этого другая опора, — Гизо непоколебим потому, что он схоластик. Напрасно ходили люди перед Зеноном, — Зенон продолжал доказывать, что движение невозможно; напрасно жестокий господин сломал ногу [рабу] философу, не признававшему бедственности физического страдания, — Эпиктет сидел с переломленной ногой, доказывая Эпафродиту, что он ошибается, воображая, будто ему, Эпиктету, мучительно боль. Ослепление часто бывает источником странного мужества.

Мы знали, что доктринеры, во главе которых стоял Гизо, были схоластики, доходившие до изумительного ослепления своими отвлеченными формулами; но только последняя книга Гизо показала нам вполне, до какой степени невозмутима никакими фактами была их теоретическая слепота и глухота. В этом смысле «*Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps*» — книга очень замечательная как психологический факт. Во всех других отношениях первый том этих мемуаров очень мало любопытен.

Но если не интересна книга, то очень интересно время, о котором она говорит, — время с 1814 до 1830 года, период Реставрации. У нас об этом времени почти ничего не было писано, и мы хотим воспользоваться книгой Гизо как предлогом сказать несколько слов о внутренней истории французского государства при восстановленной династии Бурбонов, — истории, очень мало известной у нас, а между тем заключающей в себе начало и объяснение многого, сбивающего нас с толку при суждениях о нынешней Франции. От времен Реставрации досталось в наследство нашему времени пресловутое и, по правде говоря, превздорное слово «либерализм», которое до сих пор порождает столько путаницы в головах, столько глупостей в политической жизни и приносит столько бед народу, о благе которого так суетливо и так неудачно хлопотали либералы от Кадикса до Кенигсберга, от Калабрии до Нордкапа.

Впрочем, несмотря на то, что слово «либерализм» повсюду очень употребительно, его значение и в Западной Европе, а тем более у нас остается очень сбивчивым. Либералов совершенно несправедливо смешивают с радикалами и с демократами. Наша статья осталась бы темной или показалась бы нелепой тому, кто привык смешивать эти партии, чрезвычайно резко разнящиеся

одна от другой. Здесь нам нет нужды много говорить ни о радикалах, ни о демократах, потому что они не играли первых ролей в эпоху Реставрации и, можно сказать, не составляли еще плотных политических партий во Франции; довольно будет упомянуть о них не более, как настолько, чтобы показать их различие от либералов и тем определить либерализм в точном смысле слова.

У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудности равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой протонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и губителен для свободы.

Радикализм, собственно говоря, состоит не в приверженности к тому или другому политическому устройству, а в убеждении, что известное политическое устройство, водворение которого кажется полезным, не согласно с коренными существующими законами, что важнейшие недостатки известного общества могут быть устранены только совершенной переделкой его оснований, а не мелочными исправлениями подробностей. Радикалом был бы в Северной Америке монархист, в Китае — приверженец европейской цивилизации, в Ост-Индии — противник каст. Из всех политических партий одна только либеральная непримирима с радикализмом, потому что он расположен производить реформы с помощью материальной силы и для реформ готов жертвовать и свободой слова, и конституционными формами. Конечно, в отчаянии либерал может становиться радикалом, но такое состояние духа в нем не натурально, оно стоит ему постоянной борьбы с самим собою, и он постоянно будет искать поводов, чтобы избежать надобности в коренных переломах общественного устройства и повести свое дело путем маленьких исправлений, при которых не нужны никакие чрезвычайные меры.

Таким образом либералы почти всегда враждебны демократам и почти никогда не бывают радикалами. Они хотят политической свободы, но так как политическая свобода почти всегда страдает при сильных переворотах в гражданском обществе, то и самую свободу, высшую цель всех своих стремлений, они желают вводить постепенно, расширять понемногу, без всяких по возможности сотрясений. Необходимым условием политической свободы кажется им свобода печатного слова и существование парламентского правления; но так как свобода слова при нынешнем состоянии западноевропейских обществ становится обыкновенно средством для демократической, страстной и радикальной пропаганды, то свободу слова они желают держать в довольно тесных границах, чтобы она не обратилась против них самих. Парламентские прения также должны принять повсюду радикально-демократический характер, если парламент будет состоять из представителей нации в обширном смысле слова, потому либералы принуждены также ограничивать участие в парламенте теми классами народа, которым довольно хорошо или даже очень хорошо жить при нынешнем устройстве западноевропейских обществ<sup>4</sup>.

С теоретической стороны либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливой судьбою от материальной нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением. Ни мне, ни вам, читатель, не запрещено обедать на золотом сервизе; к сожалению, ни у вас, ни у меня нет и, вероятно, никогда не будет средства для удовлетворения этой изящной идеи; потому я откровенно говорю, что нимало не дорожу своим правом иметь золотой сервиз и готов продать это право за один рубль серебром или даже дешевле. Точно таковы для народа все те права, о которых хлопочут либералы. Народ невежествен, и почти во всех странах большинство его безграмотно; не имея денег, чтобы получить образование, не имея денег, чтобы дать образование своим детям, каким образом станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество отнимают у народа всякую возможность понимать государственные дела и заниматься ими, — скажите, будет ли дорожить, может ли он пользоваться правом парламентских прений?

Нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма. Поэтому либерализм повсюду обречен на бессилие: как ни рассуждать, а сильны только те стремления, прочны только те учреждения, которые поддерживаются массою народа. Из теоретической узко-

сти либеральных понятий о свободе, как простом отсутствии запрещения, вытекает практическое слабосилие либерализма, не имеющего прочной поддержки в массе народа, не дорожащей правами, воспользоваться которыми она не может по недостатку средств.

Не переставая быть либералом, невозможно выбиться из этого узкого понятия о свободе, как о простом отсутствии юридического запрещения. Реальное понятие, в котором фактические средства к пользованию правом поставляются стихией, более важной, нежели одно отвлеченное отсутствие юридического запрещения, совершенно вне круга идей либерализма. Он хлопочет об отвлеченных правах, не заботясь о житейском благосостоянии масс, которое одно и дает возможность к реальному осуществлению права.

Нам кажется, что этих кратких замечаний будет пока достаточно для предварительного объяснения читателю, в каком смысле мы употребляем слово «либерализм».

Само собою разумеется, что теоретическая несостоятельность либерализма чувствуется только теми, кому, кроме юридического разрешения, нужны еще и материальные средства. А у кого эти средства уже есть, тому, разумеется, и не приходит в голову хлопотать о них. Оттого либерализм очень долго был системой, совершенно удовлетворявшей людей с независимыми материальными средствами к жизни и с развитыми умственными потребностями. «Сытый голодного не разумеет», и они никак не могли теоретическим путем дойти до соображения, что потребности народа могут состоять в чем-нибудь ином, нежели либеральные тенденции. Они воображали, что являются истинными благодетелями народа, стараясь доставить ему свободу слова и парламентское правительство. Горький опыт начал разочаровывать либералов. Практические неудачи мало-помалу раскрывают благоразумнейшим из них глаза на теоретические недостатки их системы, и с каждым годом число истинных либералов в Европе уменьшается. Но заблуждения партий долговечны; да и как не быть им долговечными? Если отдельному человеку для приобретения здравых понятий о жизни посредством опыта нужны целые годы, конечно десятки лет нужны для этого собранию множества людей, взаимно поддерживающих один другого в общих заблуждениях. Потому во Франции, как и во всех других странах Западной Европы, продолжают еще существовать и хлопотать либералы, и нельзя сказать, чтобы Франция или вообще Западная Европа была уже вне опасности от их хлопот; да и сами они, к сожалению, все еще не достигли того благоразумия, чтобы избавить себя от бедствий и гонений, совершенно передав заботу о народах другим людям. Нет, они все еще готовы «жертвовать собою для блага свободы».

Нет ничего грустнее, как видеть честных, любящих вас людей,



которые лезут из кожи вон от усердия осчастливить вас тем, чего вам решительно не нужно, которые с опасностью жизни взбираются на Монблан, чтобы принести оттуда для вашего наслаждения альпийскую розу — бедняжки! Сколько истрачено денег, времени и сколько честных шей сломано в этом заоблачном путешествии для вашего удовольствия! И не приходило в голову этим людям, что не альпийская роза, а кусок хлеба нужен вам, потому что голодному не до цветков природы или красноречия, и дивились они и осыпали вас упреками в неблагодарности к ним, в равнодушии к вашему собственному счастью за то, что вы холодно смотрели на их подвиги и не лезли за ними через скалы и пропасти и не поддерживали их, когда они с своей заоблачной вышины падали в бездну. Жалкие слепцы, они не сообразили, что достать для вас кусок хлеба было бы им гораздо легче, не сообразили потому, что и не предполагали, будто кому-нибудь может быть нужна такая прозаическая вещь, как кусок хлеба.

Жаль их потому, что почти все они сломали себе шею, почти без всякой пользы для наций, о которых хлопотали. Еще больше жаль того, что нации не всегда оставались холодны к их стремлениям, иногда обольщались красноречием и смелостью этих «передовых людей», шли вслед за ними и вслед за ними падали в пропасти.

Таково наше понятие о либерализме вообще, но в каждой стране, в каждую эпоху общая идея принимает особенный характер. Французский либерализм в эпоху Реставрации, самое блистательное и шумное явление в истории либерализма, отличался особенностями, которые раскроются в продолжение нашего рассказа. На первый раз мы предупредим читателя, что если борьба либералов с роялистами составляет сущность французской политической истории в то время, это еще вовсе не значит, чтобы в самом деле либералы были тогда постоянно защитниками хотя той жалкой свободы, которая признается идеей либерализма. Нет, далеко не всегда это было; критика фактов приводит даже к заключению, нимало не согласному с теми ожиданиями, какие можно составить, основываясь на названиях борющихся партий. Дела в это время перепутались очень странно и перепутались именно вследствие того, что имена партий плохо соответствовали их стремлениям. Несоответственность между именем и сущностью привела за собою ненужные союзы, неосновательные симпатии и антипатии. Результатом этого было, что Бурбоны без всякой надобности подвергли себя изгнанию из-за покровительства людям, которые вовсе не были их приверженцами, нация подвергла себя множеству бедствий из-за увлечения людьми, которые вовсе не были защитниками ее прав, и династия, наделав много вреда нации, окончательно оттолкнула ее от себя без всякой надобности. [Мы постараемся объяснить, что такое был либерализм, прозвонивший все уши Европе в эпоху Реставрации, и если нам

удастся разоблачить это обманчивое понятие, обнаружить его совершенную пустоту, показать, что между так называемыми либералами было с самого начала так же мало здравых понятий о свободе, как и между так называемыми роялистами], что так называемые роялисты так же усердно добивались так называемой свободы, как и либералы, если нам удастся показать, что во Франции при Бурбонах борьба между партиями, шедшая на словах будто бы между свободой и королевским полновластием, в сущности велась не за свободу одними, не за короля другими, если мы покажем, что свобода оставалась тут во всяком случае ровно ни при чем, какая бы из двух партий ни победила, а королевская династия возбуждала против себя так называемых либералов только потому, что не умела понять, какого [безграничного] полновластия могла бы достичь, если бы покровительствовала самым крайним либералам или даже пошла бы дальше их, — если нам удастся показать все это, мы думаем, что читатель найдет некоторую назидательность в смешном и грустном ходе событий, общий очерк которого мы хотим изложить. А события были действительно смешны и грустны.

Гроном оружия началось, гроном оружия кончилось правление Бурбонов. Шестнадцать лет, прошедшие от громовых дней Монмартра<sup>5</sup> и Ватерлооской битвы<sup>6</sup> до трескучих июльских дней<sup>7</sup>, исполнены были отважного движения, речей, восторженных криков, прерываемых только резким стуком барабанов и треском ружейных выстрелов; в чем же смысл и сущность политической истории этих шестнадцати лет? Либералы совершенно ошибались, воображая себя защитниками свободы; роялисты совершенно ошибались, воображая себя защитниками престола; Бурбоны совершенно ошибались, думая, что должны опираться на роялистов; народ совершенно ошибался, воображая, что должен ожидать себе спасения от либералов, — из этой четверной ошибки выходила невообразимо бестолковая путаница. Бурбоны отталкивали себя от либералов, которые одни могли поддержать их, и дружились с роялистами, которые губили их; народ, привязываясь к звонким, но пустым речам либералов, забывал сам заботиться о своих интересах и, не получая никакой выгоды для себя, терпел похмелье на пиру совершенно чужом; либералы при Бурбонах оставались бессильными, потому что не умели взяться за дело, а при Луи-Филиппе, когда получили силу, осрамили себя, оказавшись худшими друзьями свободы, нежели сами роялисты; наконец роялисты, смешав народ с либералами и думая, что подавить либералов — значит уже не иметь врагов, сами себе рыли могилу, потому что не соображали, какое действие на народ производят их эволюции в борьбе с либералами. Здравого смысла тут, как видим, очень мало; сущность всей этой путаницы, если разобрать дело хладнокровно, чуть ли не выражена заглавием одной из пьес Шекспира «Комедия ошибок».

Такое неделикатное понятие об истории Франции в 1814 — 1830 годах вовсе не сообразно с теми высокими теориями, под которые обыкновенно подводится история. «Потребности народа, сила истины — вот основные силы, которыми движется ход событий; прогресс — не пустое слово. Называть путаницей какой-нибудь значительный отдел истории может только тот, кто не доучился и не додумался до глубокого взгляда на историю», — скажут нам люди, успокоительности взгляда которых мы завидуем, не будучи в состоянии достичь высоты таких приятных мирозерцаний. Нам представляется, что на ход исторических событий гораздо сильнее влияние имели отрицательные качества человека, нежели положительные; что в истории гораздо сильнее были всегда рутина, апатия, невежество, недоразумение, ошибка, ослепление, дурные страсти, нежели здравые понятия о вещах, знание и стремление к истинным благам; что всегда грошовой результат достигался не иначе, как растратою миллионов; что путь, по которому несется колесница истории, чрезвычайно извилист и испещрен рытвинами, косогорами и болотами, так что тысячи напрасных толчков перетерпит седок этой колесницы, человек, и сотни верст исколесит всегда для того, чтобы подвинуться на одну сажень ближе к прямой цели. Кто не согласен с нами, великодушно извинит такое наше заблуждение. Но мы — общая участь людей — воображаем, что фактами подтверждается именно наш, а не какой-нибудь другой взгляд.

Кто верит разным либеральным и прогрессивным историям, в которых так превосходно излагается «неукоснительное развитие» рода человеческого и осуществление великих идей, руководящих чуть ли не каждым движением каждого из бесчисленных более или менее великих людей вроде Гизо, Тьера, Талейрана, Меттерниха и пр., кто верит этим историям, тот, конечно, не согласится с нами: он очень твердо знает, что главный смысл шумной борьбы французских партий в 1815—1830 годах был: восторжествует ли во Франции конституционное устройство или королевская власть возвратит себе безграничную силу, какую имела до конца XVIII века. По мнению либеральных историков, борьба шла между свободой и престолом [Франция разделялась на два лагеря, роялистов и либералов], и — все по мнению тех же проникательных людей — либералы и во оне и наяву только то будто бы и видели, как бы им обессилить королевскую власть до крайней степени, а роялисты будто бы всей душой и всем сердцем преданы были королям своим, сначала Людовику XVIII, а по смерти его Карлу X. Совершенно так же понимают дело и реакционеры от де-Местра до Монталамбера. Удивительная проникаемость, тем более удивительная, что каждый факт противоречит ее выводам, основанным на одних именах и праздных словах, опровергавшихся самым делом. Действительно, из двух партий, шумно боровшихся во Франции с 1814 до 1830 года, одна назы-

вала себя либеральной, а другая роялистской, одна написала на своих знаменах «свобода», а другая — «престол». Но нужна пронизательность совершенно особенного рода, чтобы верить этим именам и официальным прозвищам, — пронизательность, которая должна предположить также, что гвельфы были в самом деле не люди, а щенки, как доказывается их именем, а тори в самом деле занимаются тем, что жгут английские деревни, как доказывается опять-таки их именем. Надобно также по этому способу суждения предполагать, что Наполеон, когда двинулся в 1812 году в Россию, начал войну не наступательную, а оборонительную, — он сам так говорил; а когда Нена-Саиб резал англичан в Ханпуре, то делал это, несмотря на свою мухаммеданскую веру, единственно по усердию к Бrame, Вишну и Шиве, — он сам это говорил.

Изумительна податливость людей обманываться официальными словами. Еще изумительнее то, что словам, в которых нет ни капли искренности, верит вполне не только тот, для обольщения которого они придуманы, но часто и сам тот человек, кто их придумал с целью придать возвышенность и благовидность своим личным расчетам. Так случилось между прочим и во Франции при Бурбонах. Либералы от всей души воображали, что ратуют за свободу, роялисты не менее искренно были убеждены, что ратуют за престол. Но этими словами «свобода» и «престол» нисколько не выражались их действительные стремления, и действия их вовсе не соответствовали тостам, которые они пили.

Нужно только вникнуть, из каких людей состояла та или другая партия, чтобы отказаться от доверчивости к ее официальному имени.

Начнем с роялистов. Основу этой партии составляли эмигранты, возвратившиеся во Францию вместе с Бурбонами вслед за победоносными союзными армиями. Нечего говорить о том, что если бы любовь к королю была в них сильнее личных расчетов, не покинули бы они Людовика XVI при начале революции; можно было бы извинить их бегство трусостью, не прибегая к сомнениям в их расположении к монарху, если бы не знали мы, что делали они за границей. Когда разгорелись в Париже народные страсти, эмигранты прямо говорили, что для блага Франции надо желать смерти Людовика XVI, который не умеет управлять государством сообразно с пользами аристократии; их тайные агенты возбуждали парижских санкюлотов требовать казни Людовика XVI. Когда было получено известие о его смерти, они с торжеством говорили, что смерть была ему справедливым наказанием за то, что он согласился на уничтожение феодальных прав и на преобразование [гражданских прав] католического духовенства. Малолетний сын Людовика XVI, наследник престола, содержался в плену в Париже, надобно было управлять делами роялистов регенту; по неприкосновенному закону

старинной монархии, регентом следовало быть старшему из дядей малолетнего короля; но граф Прованский (впоследствии Людовик XVIII) не нравился эмигрантам, и они упорно требовали, чтобы он уступил власть младшему брату, графу д'Артуа (впоследствии Карлу X). Несколько месяцев продолжалась борьба и, несмотря на сопротивление иностранных дворов, признавших права графа Прованского, эмигранты вытребовали у него титул наместника королевства (*lieutenant général du Royaume*) для своего любимца. Потом при каждом случае недовольства представителем королевской власти они дерзко ссорились с ним, постоянно признавая своим истинным главою не его, а графа д'Артуа. В таком положении оставались они к Людовику XVIII и по возвращении Бурбонов во Францию: постоянно выражая ему свое неудовольствие, они громко говорили, что повинуются не королю, а графу д'Артуа, и постоянно интриговали против всех тех, кого Людовик XVIII удостаивал своим доверием. Хороши монархисты, которые желали насильственной смерти одного короля и не хотели повиноваться другому.

Либералы так же были преданы свободе, как роялисты преданы королю. Либеральная партия состояла около 1815 года из слияния трех главных оттенков: из людей, служивших Наполеону, но не желавших его возвращения, из настоящих бонапартистов и из приверженцев английской конституции (либералов в точнейшем смысле слова). Едва ли нужно говорить, до какой степени могли быть пылки конституционные желания людей, служивших Наполеону; еще менее могли умирать тоскою о свободе записные бонапартисты: система Наполеона, как известно, мало походила на конституционное правление. Остаются либералы в тесном смысле слова, — те самые люди, которые позднее составили партию орлеанистов. Мы будем иметь случай видеть, как они защищали свободу, когда самовластие казалось для них выгодно. Но в полном блеске их уважение к свободе выразилось после 1830 года, когда они имели власть в своих руках. Самые горячие роялисты 1820 годов не заходили так далеко, как Тьер, Гизо и вся их партия в 1832 и 1835 годах<sup>8</sup>.

Было, правда, в либеральной партии несколько человек, действительно горячившихся из-за свободы, как сами ее понимали, например Лафайет, Вуйе д'Аржансон, Манюэль; но [во-первых] они по своей малочисленности не имели никакого влияния на ход парламентских прений во время Реставрации [во-вторых, были такие люди и между роялистами, например, Шатобриан]. Были и между роялистами люди, действительно преданные королевской династии, например герцог Ришелье; но опять-таки, во-первых, они не имели влияния на свою партию; во-вторых, между либералами было таких людей гораздо больше, — перечислять их всех от Ройе-Коляра до Гизо было бы слишком долго.

В чем же заключались действительные стремления партий, из которых одна выдавала себя защитницей монархической власти, другая — свободы? Они заботились об интересах, гораздо более близких им, нежели престол или свобода. Люди, называвшиеся роялистами, просто хотели восстановить привилегии, которыми до революции пользовались дворянство и высшее духовенство; потому что сами эти люди были из высшего дворянства. Либеральную партию составляли люди среднего сословия: купцы, богатые промышленники, нотариусы, покупщики больших участков конфискованных имений, — словом, тот самый класс, который позднее сделался известен под именем буржуазии; революция, низвергнув аристократические привилегии, оставила власть над обществом в его руках; он хотел сохранить власть.

В той и другой партии этим задушевым стремлениям были подчинены все другие отношения, между прочим и отношения к королевской власти. Стоило королю показать расположение к среднему сословию, — роялисты начинали проклинать короля, кричать против деспотизма, а либералы рукоплескали самым насильственным распоряжениям королевской власти и рвали в клочки конституцию; разумеется, когда, наоборот, король поддерживал феодальные стремления аристократов, роялисты начинали кричать о неприкосновенности и неограниченности королевской власти, а либералы говорили, что умрут, защищая конституцию.

Разбор действий той и другой партий в 1815—1830 годах на каждом шагу приводит к такому заключению.

Мы не хотели писать полного обзора всех сторон исторического движения за эти годы; развитие науки, литературы, экономические отношения, судебные дела, дипломатические сношения, военные события не входят в наш рассказ, потому что иначе слишком расширился бы его объем: все внимание наше будет обращено исключительно на факты, объясняющие характер политических партий, существовавших тогда во Франции, и сущность внутренней политической истории государства. С той же целью, чтобы не увеличивать до чрезмерности объем этого очерка, мы начинаем его с вторичного возвращения Бурбонов во Францию после Ватерлооской битвы, или второй реставрации, не говоря ни о кратковременном периоде первой реставрации, окончившейся возвращением Наполеона с Эльбы, ни о кратковременном господстве Наполеона во время Ста дней. Обе эти эпохи были только прелюдиями к длинной драме собственно так называемого периода Реставрации, начинающегося после Ватерлоо.

После Ватерлооского сражения Веллингтон был владыкой Парижа; судьба Франции зависела от милости союзных монархов. Союзники требовали от Бурбонов благоразумия и снисходительности к людям, замешанным в события, следовавшие за возвра-



щением Наполеона с Эльбы. Веллингтон громко объявил, что не допустит Людовика XVIII снова принять власть иначе, как если он будет управлять по советам Фуше и сделает его министром: по мнению Веллингтона, только Фуше мог предохранить Бурбонов от нового изгнания. Но события доставили перевес во Франции роялистам. Либералы, пораженные вместе с Наполеоном, которого поддерживали во время Ста дней, почти без борьбы дали восторжествовать роялистам на выборах в палату депутатов. Посмотрим же, как доказали роялисты свою приверженность к монархической власти.

Один слух о ненависти избранных в палату роялистов к Фуше заставил короля отказаться от помощи министра, пользовавшегося доверием Веллингтона и служившего представителем примирения Бурбонов с новой Францией. Роялисты ненавидели Фуше не за те гнусные жестокости, которыми он опозорил себя во время терроризма, — они покровительствовали людям, не менее запятнавшим себя в этом отношении, например, генералу Канюэлю, который так свирепствовал против вандейцев, что был удален от должности комиссарами Конвента и не был потом употребляем ни на какие поручения Наполеоном. Коварство Фуше также не было причиной вражды роялистов к нему; они поддерживали многих людей, не превосходивших Фуше честностью. Но этот министр доказывал Людовику XVIII, что Бурбоны не должны быть слепыми орудиями эмигрантов, что требования крайних реакционеров противны интересам короля; роялисты хотели казнить или сослать более трех тысяч человек; Фуше доказал королю, что такая масса жертв возбудит общее негодование, и настоял на том, чтобы не более пятидесяти семи лиц были преданы суду, говоря, что и это число уже слишком велико. Такого сопротивления гибельному для самих Бурбонов мщению не могли простить эмигранты, и Фуше принужден был против воли короля удалиться из министерства.

Тогда главой министерства сделался герцог Ришелье, памятный у нас заботами об Одессе и лично пользовавшийся особенным благоволением императора Александра<sup>9</sup>. По своим мнениям герцог был ревностный монархист; казалось бы, что роялисты должны доверять ему. По своим отношениям к императору Александру, от которого зависели тогда решения европейских держав о судьбе Франции, он был человеком незаменимым. Если бы роялисты желали избавить народ от унижительных неприятностей в сношениях с Европой, они должны были бы поддерживать Ришелье.

Еще до начала заседаний палаты депутатов роялисты, составлявшие в ней огромное большинство, вынудили у короля отставку министра, услуги которого были чрезвычайно полезны для Бурбонов. Но этот министр служил республике и Наполеону: быть может, роялисты станут соблюдать более умеренности,

выкажут себя хорошими подданными теперь, когда король вручил правление новому министру, который преданностью монархическому началу не уступит никому в целой Франции.

На словах палата депутатов пылала усердием к королю. В ней только и речи было, что о короле и безграничной преданности ему; с неистовым восторгом приняла она слова Воблана: «Огромное большинство палаты хочет верно служить королю». Но палате было известно, что король не может быть слишком строг относительно людей, поддерживавших Наполеона; что строгость повредит прочности его престола и может поссорить его с императором Александром и Англией. Роялисты не хотели обращаться то к вниманию, и как только собралась палата, первым делом ее было представить королю адрес, требовавший мщения. «Мы обязаны, государь, — говорила палата, — требовать у вас правосудия против тех, которые подвергли опасности престол. Пусть они, донныне гордящиеся своей изменой и ободряемые безнаказанностью, будут преданы строгости судов. Палата ревностно будет содействовать составлению законов, необходимых для исполнения этого желания». Правительство, повинаясь требованию, через несколько дней представило проект закона о возмутительных криках, речах и сочинениях; по проекту эти нарушения порядка объявлялись проступками и наказывались тюремным заключением от трех месяцев до пяти лет, лишением гражданских и политических прав и отдачей под надзор тайной полиции. Палата вознегодовала. «Как могло правительство предложить нам такой проект? — говорили роялисты. — Оно называет проступками то, что должно называть преступлениями; наказания назначены слишком легкие, представлять такой проект палате, составленной из роялистов, это — чистая измена». Комиссия палаты, рассматривавшая проект, совершенно переделала его и усилила все наказания. «Наказания должны быть соразмерны преступлениям, — говорил в своем рапорте палате Пакье, докладчик комиссии, — нужно, чтобы быстрота наказания внушала спасительный ужас людям, которые хотели бы подражать преступникам. Все друзья порядка и тишины желают восстановления превотальных судов\*». До той поры пусть люди, подлежащие этому закону, судятся уголовным судом; но наказания, назначенные в проекте, слишком легки для них. Мы думаем, что они должны наказываться или изгнанием, [или каторгою,] или ссылкой. Но простое изгнание — наказание ничтожное для них. Их должно осуждать на ссылку. Справедливость требует, чтобы они были навеки удаляемы из той земли, на которой недостойны они жить, и посылались влачить под далеким небом жизнь, которую употребили на бедствия оте-

---

\* Старинные суды, действовавшие по особенным инструкциям, не стесняясь ни законами, ни формами судопроизводства, казнившие людей без дальних околичностей полицейским порядком.

чества и стыд соотечественникам. Сверх того, они должны подвергаться строгому денежному штрафу, наказанию для этих людей более чувствительному, нежели тюрьма, которая показалась бы для них, не знающих стыда, только средством жить в праздности». Другой роялист де-Семезон требовал, чтобы место ссылки было назначено непременно за пределами Европы и чтобы в некоторых случаях, например за поднятие трехцветного знамени, назначалась вместо ссылки смертная казнь. «Согласен на закон, — шутивым тоном сказал третий роялист Пье, — только с небольшой переменной, именно, чтобы вместо ссылки поставлена была смертная казнь, — перемена, как видите, пустая». Палата весело захохотала остроте. Один из депутатов отважился было сказать: «Положим смертную казнь за поднятие трехцветного знамени вследствие обдуманного заговора, но неужели казнить человека, который сделал бы это просто под пьяную руку?» Громкий ропот прервал его. Все ораторы, говорившие потом, обвиняли не только министерский проект, но и предложение комиссии в излишней слабости. Правительство уступило требованиям палаты и согласилось на изменения, сделанные комиссией.

С этой минуты палата решительно берет в свои руки верховную власть. Она не доверяет министрам короля, переделывает все их законы. Министры ничтожны перед ней; король должен покоряться ей беспрекословно. Со времен Конвента не было законодательного собрания, которое недоверчивее смотрело бы на исполнительную власть и щеотливее выставляло бы при всяком случае свои права. Роялисты вынудили у министерства отмены гарантий, ограждавших личность гражданина от полицейского произвола, вынудили множество других крутых мер, и, наконец, один из них, Лабурдонне, под ироническим именем амнистии предложил закон, страшным образом расширявший разряды лиц, подвергавшихся ответственности за участие в событиях Ста дней. Это предложение было сделано в тайном комитете палаты, поручено рассмотрению тайной комиссии, которая не хотела открывать предмета совещаний самому правительству. Амнистия Лабурдонне подвергала смертной казни или ссылке около тысячи двухсот человек. Члены комиссии хотели еще увеличить это число. Ужас овладел Парижем, до которого доносились слухи о намерениях палаты. Правительство, испуганное путем, на который ведет его палата, решилось предупредить ее, чтобы не навлечь на династию Бурбонов непримиримой ненависти нации. Весь кабинет торжественно явился в палату с проектом закона, составленным в духе гораздо более кротком. Палата передала проект министерства на рассмотрение прежней комиссии, негодую на преступную снисходительность правительства. Комиссия переделала проект в духе Лабурдонне. «Не слушайте софизмов гибельной филантропии, служащей орудием обмана в устах ваших врагов, — говорил роялист Бодрю, когда начались прения в палате после

прочтения доклада комиссии: — наказывайте, не колеблясь, иначе ошибетесь; предложение комиссии выше всяких возражений». — «Провидение предает, наконец, в ваши руки злодеев, — вскричал Лабурдонне, — вечное правосудие сберегло их среди опасностей именно для того, чтобы непреложно показать суетность их коварства. Они говорят, что они прощены королем при его возвращении; нет, это прощение, подобно печати отвержения, положенной на челе первого братоубийцы, хотело сохранить их от человеческого суда для предоставления вечному мщению; но мучение Каина нечувствительно для их ожесточенных сердец; вы, малодушные, непредусмотрительные законодатели, вы видите ковы этих людей, ставших позором нации, и не накажете их! Нет, эта палата, цвет нации, надежда всех истинных французов, сумеет предупредить новые преступления своей энергией». По окончании прений докладчик комиссии Корбьер объявил, что комиссия не может сделать никакой уступки министрам. Министры решились прибегнуть к последнему средству. Герцог Ришелье, бывший тогда первым министром, встал, попросил президента палаты прекратить на время заседание и вышел из залы в сопровождении своих товарищей. Через час, возвратившись на трибуну, он объявил палате, что имел совещание с королем, которому изложил ход прений, и теперь должен сообщить палате желание короля. Он соглашается на некоторые изменения, предлагаемые комиссией, но самым безусловным образом отвергает те многочисленные исключения из амнистии, которых требует комиссия. «Да будет мне позволено заклинать вас не делать закона милости причиною раздора, — заключил Ришелье свою речь. — После потопа бедствий, наводнявших нашу несчастную Францию, пусть закон об амнистии явится на нашем политическом горизонте как символ примирения и спасения для всех французов».

Министры прибегали к чрезвычайному способу укротить безрассудную мстительность роялистов. Во время прений указывать на прямую волю короля противно обычаям парламентской системы. Но министры извинялись отчаянностью своего положения: роялисты принуждали правительство к таким несвоевременным мерам, которые за несколько месяцев пред тем были причиной изгнания Бурбонов и неминуемо должны были вновь привести их к падению. Роялисты могли бы негодовать на министров, упросивших короля вмешаться в прения; но если они действительно были верными подданными короля, им оставалось теперь только покориться его воле. Они и не думали о том. «Конечно, господа, — сказал Бетизи, — нам очень грустно становиться в противоречие с желаниями короля; мы дали ему столько доказательств верности, преданности и любви, двадцать пять лет нашим лозунгом было восклицание: жить для короля, умереть за короля! Но, господа, не забудем девиза наших отцов: бог, честь и король; и если

непреклонная честь обязывает нас на время воспротивиться воле короля; если, недовольный сопротивлением своих верных слуг своему королевскому милосердию, он отвергает на время от нас свой милостивый взгляд, мы скажем: ура, король, и против его воли! *Vive le roi, quand même!*». Министры не нашлись, что возразить ему, и проект закона, противный воле короля, был почти единодушно принят палатой среди громких рукоплесканий. Из 366 членов только 32 депутата либеральной партии подали голос за министерство и короля.

Точно таково же было отношение палаты к министрам и королю по всем другим вопросам; в каждом заседании роялисты представляли своими решениями новые подтверждения тому, что не хотят обращать никакого внимания на интересы царствующей династии, на волю короля, на права королевской власти и что под официальными фразами их о преданности престолу скрывается непреклонная решимость управлять Францией исключительно в интересах эмигрировавшей аристократии и постоянно вынуждать у короля беспрекословное повиновение ей. Не перечисляя всех законов и распоряжений, выражавших коренное разногласие между королем и роялистами, мы упомянем еще только об избирательном законе, от которого должен был зависеть характер власти, управлявшей Францией. Министры представили проект, по которому королю давалось право причислять к сословию избирателей некоторое количество лиц, не имевших значительной недвижимой собственности, принимавшейся первым условием при составлении списков избирателей. По этому проекту выбор депутата производился прямо всеми избирателями округа. Комиссия палаты, отвергая проект министерства, составила другой закон, по которому совершенно устранялось влияние правительства при составлении списков, и избиратели каждого округа выбирали не прямо депутата, а только вторых избирателей из числа значительных землевладельцев департамента. Эти вторые избиратели, собираясь по департаментам, выбирали депутатов; таким образом по проекту комиссии выборы в палату депутатов отдавались совершенно в руки аристократии, становившейся вполне независимой от короля. Проект министерства был составлен в видах усиления королевской власти; вся либеральная партия палаты единодушно поддерживала его. Проект комиссии, назначенной роялистским большинством палаты, заменял монархическое устройство Франции аристократической республикой; королю оставалось при таком избирательном законе меньше власти, нежели имел венецианский дож; олигархия аристократического парламента становилась на место престола. Все роялисты подали голос за проект, уничтожавший монархическую власть.

Очевидно было, что или должен отказаться от всякого влияния на государственные дела король, стать слугою палаты депутатов, или должна быть распущена эта палата, столь громко

вопиявшая о своем роялизме и столь непреклонно восстававшая против короля. Людовик XVIII видел необходимость распустить палату, и 29 апреля 1816 года заседания палаты были отсрочены, а 5 сентября явилось королевское повеление, объявлявшее, что палата распускается, и предписывавшее произвести новые выборы.

Семь месяцев продолжались заседания роялистской палаты. Пока она еще не начинала своих действий, трудно было не обмануться пышными речами ее членов, изъяслявших безграничную приверженность к престолу, и Людовик XVIII при начале ее заседаний в порыве радости от роялистского состава палаты назвал ее беспримерной палатой (*chambre introuvable*). Это имя оставила за ней история, но в смысле совершенно противном тому, с каким вначале было произнесено оно. Палата 1815 года была действительно беспримерна по вражде против всего того, на чем должно было утверждаться правительство Бурбонов. Роялисты с первого же раза ограничили монархическую власть так, как ограничил ее Долгий парламент в Англии. Они так же мало доверяли королю, так же упорно противились ему, как республиканцы революционных собраний.

Зато либералы всеми силами старались поддержать министерство, подвергавшееся постоянным оскорблениям и поражениям от роялистов. Обе партии действовали в духе, совершенно противном своим формальным прозвищам. Либералы подавали голос за короля, роялисты — против короля.

Но все, что мы видели до сих пор, было бледно и слабо в сравнении с бурными движениями, возбужденными королевским повелением 5 сентября.

Если бы надобно было смотреть на это повеление как на фазис борьбы между властью короля и парламентским правлением, то, без сомнения, защитники парламентского правления огорчились бы таким проявлением королевского произвола, как распускание палаты за несогласие с мнениями королевских советников. Но они пришли в восторг. Либералы приветствовали повеление, распускавшее палату, как бессмертное благодеяние; они забывали все преследования, которым подвергались от министра полиции Деказа, энергического любимца короля: Деказ склонил короля и своих товарищей распустить палату, и либералы провозглашали его спасителем Франции. «Я не буду теперь жаловаться, — писал Деказу один из генералов либеральной партии, шесть месяцев уже содержащийся в тюрьме по капризу министра, — я согласен платить годом свободы за каждое повеление, подобное изданному вами».

Если бы роялисты были приверженцы монархической власти, они радовались бы блистательному доказательству силы короля, выразившемуся распусканием палаты. Напротив, они были раздражены до последней степени. Их представитель в королевской фамилии, граф д'Артуа, называл Деказа изменником. Несмотря



на все цензурные строгости Вильмена, бывшего потом при Гизо министром народного просвещения, а теперь управлявшего цензурой, журналистика роялистской партии осыпала проклятиями ненавистное повеление. Шатобриан, замечательнейший представитель роялистов в журналистике, писал: «Какие побуждения склонили министров воспользоваться правом короля распускать палату? Партия, влекущая Францию к гибели, боялась, что палата раскроет королю истинные желания Франции. Но пусть не теряют мужества добрые французы, пусть они толпой идут на выборы, но пусть не доверяют они обману: им будут говорить о короле, о воле короля. Не поддавайтесь этой уловке: спасите короля против его воли — *sauvez le roi quand même*».

Все люди, защищавшие гражданское равенство французов перед законом, противившиеся восстановлению старинных привилегий и феодальных несправедливостей, назывались в то время у правительства революционерами; все, принимавшие какое-нибудь участие в событиях революции, были казнены, изгнаны или заключены в темницу. Однакоже роялисты говорили, что король подпал влиянию революционеров, заставивших его мстить роялистам за изгнание членов Конвента, которых тогда называли царубийцами, и Шатобриан восклицал: «Бонапарте имел на службе революционеров, презирая их, ныне хотят иметь их на службе в почете. Могли ли ожидать роялисты, что такие люди будут слугами законных королей? Якобинцы, испуская крик радости во всеуслышание своим братьям в остальной Европе, вышли из своих берлог, явились на выборы, сами изумляясь тому, что их призывают на выборы, что их ласкают как истинных опор престола».

Таким образом герцог Ришелье, эмигрант и друг русского императора, становился якобинцем и революционером; якобинцем становился Деказ, расстрелявший и казнивший в угодность роялистам сотни людей от Нея и Лабедойера до самых безвестных простолюдинов. Сам Людовик XVIII не избежал этого обвинения: «Он смолоду имел склонность к якобинству; он либеральничал еще в 1788 году при собрании нотаблей, предшествовавшем конституционному собранию», — говорили роялисты.

Ярость их была очень натуральна: новый закон о выборах, отдававший власть в их руки, был отвергнут палатой пэров, потому что вышел из палаты депутатов в редакции никуда негодной в чисто техническом отношении. Составить другого закона палата депутатов еще не успела, когда была распущена, и выборы должны были производиться по правилам, существовавшим прежде. Правила эти были чрезвычайно односторонни, совершенно исключая от участия в выборах не только простолюдинов, но и большую часть среднего сословия. Тем не менее они не отдавали всей силы исключительно в руки аристократов; общественное мнение имело при них некоторое, хотя и слабое, влияние на

результат выборов. Роялисты раздражили своей мстительностью всю Францию, встревожили каждое семейство намеками на конфискацию всех имуществ, приобретенных во время республики и империи, и не могли теперь ожидать того успеха на выборах, какой имели в 1815 году. Действительно, около половины роялистских депутатов прежней палаты потерпели неудачу. В палате 1815 года они имели огромное большинство; в новой палате из 259 членов роялистов было около 100. Теперь они надолго должны были отказаться от надежд восстановить феодальное устройство, о котором мечтали. Король отнял у них эту возможность, чтобы самому не лишиться престола; зато король был для них ненавистен, и они стали нападать на королевскую власть с яростью, которой могли бы позавидовать санкюлоты 1792 года.

При проверке выборов в одном из первых заседаний новой палаты Вильгель, один из предводителей роялистов, явился уже горячим защитником свободы против вмешательства административных властей в выборы. Издатель одного роялистского журнала Робер был арестован, и журнал его запрещен; в предыдущие месяцы, когда господствовали роялисты, запрещение либеральных журналов было делом ежедневным, и чуть ли не в каждой тюрьме королевства сидели журналисты, арестованные без суда роялистами. Но когда власть обратилась против роялистов, они подняли крик о ненарушимых правах свободы, и тот самый Пье, который с милой шутливостью требовал смертной казни за словесные и печатные проступки, теперь явился истинным Мильтоном, провозвестником свободы слова: «В деле Робера, — говорил он, — я вижу нечто более, чем незаконный арест и произвольное запрещение журнала; я вижу в нем восстановление пытки».

Зато либералы, еще недавно кричавшие о свободе, теперь единодушно подавали голоса в оправдание всех произвольных действий министерства: постоянным большинством 160 голосов были отвергаемы все жалобы новых защитников свободы, было оправдано вмешательство министров при выборах и арест Робера и запрещение его журнала. Либералы поддерживали всю систему Деказа, систему цензуры и противных конституции законов. Вильмен противозаконно стеснял роялистскую журналистику и запрещал роялистские журналы. Знаменитый друг свободы мышления и по тогдашнему мнению либералов великий философ Ройе-Коляр говорил в ответ роялистам: «Нельзя отрицать того, что, где есть партии, там журналы перестают быть органами личных мнений и, предаваясь интересам партий, становятся орудием их политики, театром их битв, и свобода журналов обращается только в свободу необузданных партий».

Правительство не могло не отблагодарить либералов за такую безграничную приверженность и представило палате новый закон о выборах, по которому избирателем был каждый гражданин,

платящий 300 франков прямых податей, то есть каждый зажиточный человек, без различия в том, движимая или недвижимая собственность составляет его имущество. Число избирателей вследствие этого закона возрастало до 90 000 человек, из которых огромное большинство принадлежало к среднему сословию, враждебному феодальным правам. Не нужно и говорить о том, что роялисты, решительно убиваемые этим проектом, восстали против него; но замечательно то, что они, недовольные проектом за уничтожение привилегии больших землевладельцев-аристократов над купцами и землевладельцами среднего сословия, вдруг обратились в защитников демократии и упрекали новый закон за его аристократизм: «Вы хотите повергнуть всю нацию перед золотым тельцом, — восклицал Лабурдонне, предводитель роялистов, — вы хотите поработить нацию самой жестокой, самой наглой аристократии. Неужели пролито столько крови, принесено столько жертв только для того, чтобы притти к такому результату, постепенно уничтожить все провозглашенные вами права и отдать под иго политического рабства нацию, восставшую с песнями свободы? А ты, французский народ, слишком легковерно служивший орудием для всех честолюбцев, узнай по крайней мере теперь, кто твои враги, кто твои друзья!» Защита свободы должна быть всегдашнею обязанностью демократов, и другой роялист, Корне д'Энкур, прибавлял: «Произвольными законами заменены постановления конституции, потом и эти законы заменены простыми повелениями короля, потом и королевские повеления заменены инструкциями от министров, и эти инструкции толкуются в свою очередь по произволу префектами. Министр полиции стал великим избирателем королевства. У нас нет ни закона об ответственности министров, ни личной свободы, ни свободы печати, ни свободы выборов. Проект настоящего закона не ограждает ни свободы выборов, ни независимости палаты; я его отвергаю».

Но роялисты, сделавшиеся страстными защитниками свободы, не убедили либералов позаботиться о ней и избавить нацию от порабощения аристократией золотого тельца. Проект был принят, и 5 февраля 1817 года новый закон о выборах был обнародован. Либералы в своем ревностном усердии к правительству пошли еще далее. Они приняли два закона, действительно противоречащие и конституции и самым основным понятиям о политической свободе.

Первый из этих законов отдавал на произвол администрации личную свободу, неприкосновенность которой провозглашалась конституцией. Правда, по прежнему закону, составленному в 1815 году, администрации предоставлялось еще больше произвола; новым законом смягчались постановления прежнего; но все-таки он был противен свободе и конституции. Однакоже либералы поддерживали его; это тем [страннее], что, присоединив свои

голоса к голосам роялистов, противившихся закону, они могли бы отвергнуть его, и тогда конституция вошла бы в силу, личная свобода была бы ограждена. Но в таком случае потерпели бы поражение министры, представившие проект, а для либералов сохранение министерства, враждебного роялистам, было важнее, нежели восстановление свободы. Зато роялисты, год тому назад постановившие гораздо более деспотический закон, теперь кричали о нестерпимом нарушении свободы новым законом.

Та же самая история была и с законом, ограничивавшим свободу журналистики.

Либералы усердно поддерживали министерство, а между тем оно продолжало, как в 1815 и 1816 годах, подвергать тюремному заключению и смертной казни самым произвольным и противозаконным образом множество людей. Чтобы дать понять о том, как и за что погибали тогда люди во Франции, мы упомянем только об одном случае. Отставной капитан кавалерии Велю был призван в суд за то, что назвал свою лошадь казаком. «Как могли вы дать своей лошади имя, драгоценное для всех добрых французов?» — спросил судья. «Я купил ее у русского офицера и назвал казаком, как назвал бы нормандцем, если бы купил у нормандца», — отвечал капитан. «Но вы должны были знать, что вы оскорбляли народ, мужеству которого Франция отчасти обязана восстановлением законной власти». Капитан Велю не нашелся, что отвечать на такое нелепое обвинение. Ему объявили, что он предается превотальному суду. Тюремное заключение так подействовало на расстроенное военной службой здоровье капитана, что он умер. После этого не нужно говорить, какова была участь людей, обвинявшихся в нерасположении к правительству, а тем более в каких-нибудь злоумышлениях против него, обыкновенно изобретенных усердием шпионов.

По закону, изданному 5 февраля 1817 года, каждый год подвергалась новым выборам одна пятая часть палаты депутатов. Прошло два таких срока, в оба раза выборы сильно не благоприятствовали роялистам; они видели, что скоро совершенно исчезнут из палаты, и не имели надежды ни при каких обстоятельствах возвратить себе силу в ней под влиянием закона 5 февраля. В этом отчаянном положении они прибегли к разным интригам, чтобы запугать монархов Священного союза; граф д'Артуа послал к этим государям тайную записку, доказывавшую, что если не будет отменен закон 5 февраля, то Франция снова впадет во власть революционеров, массами проникающих в палату при каждом новых выборах. Французское министерство получило предостережения от союзных держав. Герцог Ришелье, до той поры совершенно не занимавшийся внутренними делами Франции, ограничиваясь исключительно дипломатическими заботами, и не знавший ни положения, ни духа внутренних партий, пришел в ужас и решился последовать предостережению, которое

считал личным мнением русского императора. Но Деказ не обманулся уловками роялистов: он понял, что их ложные известия вовлекли в ошибку дипломатов Священного союза; он очень хорошо знал, много ли революционных опасностей в либерализме, и понимал, что гибельны для престола Бурбонов могут быть только роялисты, но никак не либералы. Он воспротивился изменению прежней системы и вместе с несколькими другими министрами подал в отставку. Без Деказа Ришелье не мог управлять делами и также подал в отставку. Людовик XVIII поручил Деказу составить новое министерство.

И так герцог Ришелье, три года бывший главой министерства, сделался частным человеком. Франция была обязана ему тем, что союзные монархи поступили с нею в 1815 году гораздо снисходительнее, нежели как предполагалось. При известии о возвращении Наполеона с Эльбы Талейран, бывший французским уполномоченным на Венском конгрессе, до того растерялся, что пожертвовал всеми выгодами отечества. По ходатайству герцога Ришелье император Александр I убедил своих союзников значительно смягчить условия мира с Францией после Ватерлооской битвы. Ришелье благодаря расположению русского императора избавил Францию от платежа многих сотен миллионов франков. Потом также по его ходатайству был двумя годами сокращен срок квартирования союзных войск во Франции. Этим Франция избавлялась от унижения видеть себя под наблюдением иностранных армий и снова выигрывала несколько сот миллионов. Словом сказать, не было в то время человека, которому Франция была бы так много обязана, как герцогу Ришелье. Теперь, переставая быть министром, он делался бедняком. Франция должна была обеспечить от нищеты старость человека, оказавшего ей безмерные услуги и для службы ей отказавшегося от блестящего и прочного положения в России. В палаты пэров и депутатов было внесено предложение «назначить герцогу национальное вознаграждение, соразмерное огромности его услуг и его бескорыстию». Министерство предложило палатам назначить ему в виде пенсии майорат в 50 000 франков из недвижимых государственных имуществ.

Если роялисты действительно были преданы престолу, они могли бы сказать против этого предложения разве то, что пенсия должна быть назначена гораздо больше. Монархические чувства герцога были вне всяких сомнений. Услуги его Бурбонам были безмерны. Не только приверженность к престолу, но и простое чувство приличий запрещало роялистам восставать против пенсии: герцог Ришелье вышел из министерства именно потому, что по желанию роялистов хотел изменить закон о выборах. Наконец чрезвычайное благородство, с которым он, узнав о намерении назначить ему пенсию, отказывался от нее, должно бы зажать рот каждому сколько-нибудь благородному человеку, хотя бы и недо-

вольному герцогом. Но Ришелье распустил роялистскую палату 1815 года и тем разрушил перевес роялистов: этого не могли они простить ему, и предложение о пенсии подняло с их стороны самый неприличный крик. Они выставляли подобную награду примером, опасным для будущего времени; спрашивали, почему же не назначается такая же награда всем бывшим товарищам Ришелье по министерству: если действия министерства заслуживают награды, то несправедливо давать награду одному министру, а не всем; наконец, говорили они, если Ришелье был хорошим министром, то почему же он не остался министром? Он вышел в отставку, значит он сам видит, что его управление не годится для Франции, и после того как же можно награждать министра, который сам осудил себя своей отставкой?

Речи роялистов были так обидны, что когда большинство палат назначило ему пенсию, он пожертвовал ее в пользу бордоских госпиталей.

В то время как роялисты своими оскорблениями герцогу Ришелье доказывали, что прекрасно умеют ценить преданность и услуги престолу, либералы продолжали столь же ясно показывать, как ненарушимы для них права свободы. Из множества фактов мы приведем один, в котором самую лестную роль играл Вильмен, до сих пор с блестящим красноречием рассуждающий о любви к свободе и в своих книгах, и в заседаниях Французской академии. Мы уже упоминали, что он тогда управлял цензурной частью. При молчании, наложенном на газеты, довольно сильный интерес в публике пробуждали статьи *Bibliothèque historique*, печатавшей разные документы и рукописи, относившиеся к прошедшему времени. Издатель ее Гоке вздумал было поместить в прибавлении к одной из своих книжек «Разговор между изгнанником и членом палаты 1815 года». Статья эта самым мягким образом намекала, что преследования 1815 года были слишком суровы. Она была напечатана, но еще до выпуска книжки Гоке решил уничтожить этот разговор, чтобы не подвергать себя опасности. «Где же прибавление к этому номеру?» — сказал Вильмен, когда Гоке принес ему на рассмотрение книжку. Гоке отвечал, что прибавление уничтожено. Тогда Вильмен стал просить у него двух экземпляров прибавления лично для себя. «Дайте их мне не как официальному лицу, для моей частной библиотеки», — говорил он. Гоке долго не соглашался, наконец уступил просьбам Вильмена и принес ему два экземпляра прибавления; через несколько часов в типографию Гоке явилась полиция и захватила те экземпляры прибавления, которых не успели еще уничтожить рабочие, истреблявшие эту макулатуру. Гоке был подвергнут суду за то, что дал два экземпляра Вильмену, [и через два дня подвергся наказанию]. Он был на три месяца заключен в тюрьму; дела его в это время расстроились, и, обанкротившись, он скоро умер от печали.



Такие либералы, разумеется, не могли служить представителями страстей и интересов, двадцать лет тому назад вызвавших французскую революцию. Образованные простолюдины чуждались их почти столько же, сколько и роялистов. Не находя себе выражения ни в партиях, разделявших палаты, ни в журналистике, революционные идеи тем сильнее волновали людей, остававшихся в стороне от публичного участия в государственных делах. Скоро явились фанатики, молчаливые и скрытные, но тем более решительные. Один из них, Лувель, решился убить герцога Беррийского, который один из всех Бурбонов мог иметь потомство и продлить свою династию. 13 февраля 1820 года он железной полосой, заостренной в виде кинжала, смертельно поразил принца при выходе из оперы. Этот человек вовсе не был либералом; он не имел понятия о прениях, которые с таким шумом велись в палатах и возбуждали такие опасения в правительстве. Лувель был простым рабочим у королевского седельщика. «Что вас побудило совершить преступление?» — сказал ему Деказ на допросе. «Я считаю Бурбонов злейшими врагами Франции», — отвечал этот человек. «Зачем же вы в таком случае покусились на жизнь именно герцога Беррийского?» — «Затем, что он моложе других принцев королевского дома и, вероятно, он имел бы потомство». — «Раскаиваетесь ли вы в своем поступке?» — «Нисколько». — «Возбуждал ли вас кто-нибудь, был ли кто вашим сообщником?» — «Никто».

Действительно, Лувель не имел сообщников, но за его преступление расплатился Деказ, конечно столь же гнушавшийся им, как и самые пылкие роялисты.

Роялисты обрадовались несчастью, постигшему королевскую фамилию. Оно дало им желанный случай низвергнуть ненавистного министра. Когда на другой день открылось заседание палаты депутатов, Клозель де-Куссерг, один из отважнейших между роялистами, вошел на трибуну. «Министры должны быть обвиняемы в публичном заседании пред лицом Франции, — сказал он. — Я предлагаю палате составить акт обвинения против господина Деказа, министра внутренних дел, как сообщника в убийстве...» Крики негодования раздались со стороны министерских членов и прервали его речь. Но роялисты достигли своей цели через несколько дней. «Безрассудный, вы испортили дело, — сказал Вильель Клозелю, когда он сошел с трибуны, — вместо прямого участия в убийстве надобно было обвинять Деказа просто в измене».

Деказ был обязан своей властью чрезвычайному личному расположению Людовика XVIII. Он был любимым собеседником старого короля; он один умел развлекать его скуку; старик толковал с ним обо всем, чем интересовался сам: о городских новостях, о латинских классиках, о французской литературе, о своих сочинениях. Он одного дня не мог прожить без Деказа и называл его своим сыном. Оставшись с ним наедине, король залился сле-

зами: «Дитя мое, — говорил он, — роялисты начнут с нами страшную войну; они воспользуются смертью моего племянника; они нападут не на твою, а на мою систему; не тебя одного ненавидят они, а также и меня». Деказ отвечал, что как ни при-скорбна была бы ему отставка в связи с таким страшным случаем, но он готов удалиться из министерства для спокойствия короля. «Нет, нет, — горячо вскричал Людовик XVIII, — ты не покинешь меня, я требую, чтобы ты остался! Они не разлучат нас». Вечером был созван совет из министров и нескольких доверенных лиц для соображений о мерах, требуемых обстоятельствами. «Господа, — сказал Людовик XVIII, обращаясь к собранию, — роялисты наносят мне последний удар; они знают, что система господина Деказа — моя система, и обвиняют его, будто он убил моего племянника! Не первую клевету подобного рода возводят они на меня. Я хочу, господа, спасти отечество без них».

Но мог ли дряхлый старик выдержать борьбу с непримиримыми врагами своего любимца, восторженно схватившимися за счастье, доставленное им рукой Лувеля? На другой день в заседании палаты депутатов 15 февраля Клозель де-Куссерг снова вошел на трибуну и объявил, что не отступает от своего обвинения. «Я передал господину президенту следующее предложение, — сказал он: — имею честь предложить палате составить обвинение против господина Деказа, министра внутренних дел, как виновного в измене по смыслу 56-й статьи конституции». Роялисты не имели большинства в палате, обвинение было отвергнуто. Но у них были другие пути к достижению своей цели. Сила роялистов сосредоточивалась в тайном обществе, известном под именем конгрегации. Тайные иезуиты, овладевшие отцом убитого принца и братом короля, графом д'Артуа, были руководителями этого общества. Оно повсюду имело агентов, располагало огромными суммами, но скрывало свои действия так искусно, что очень немногим людям во Франции были известны даже имена людей, управлявших конгрегацией; она действовала так хитро, что в те времена многие историки и публицисты даже отвергали существование ее политических интриг. Только после 1830 года, когда найдены были тайные бумаги конгрегации, обнаружилась вся обширность ее влияния на ход событий. «Преступление Лувеля не повлекло за собою немедленного падения фаворита, — писали предводители конгрегации своим сочленам в департаментах. — Но не смущайтесь. Мы стащим его с места силой, если сам король не захочет прогнать его; а между тем организуйтесь; ни в руководстве, ни в деньгах у вас не будет недостатка». Роялистские салоны волновались. «Деказ, — говорили там, — продал монархию революционерам; кровь герцога Беррийского запечатлевает союз его с либералами. Вы увидите, что следствие против убийцы, которому он дал полную свободу совершить свое дело, будет заглушено, и будут приняты все предосторожности, чтобы скрыть

от Франции бездну заговора». Деказ хотел бороться, опираясь на либералов, и роялисты приходили в неистовство. «Поверит ли Европа? — восклицал «Journal des Débats», бывший тогда органом роялистов. — Этот министр, политика которого ужасает народы и царей, он, бывший до сих пор всемогущим против верных подданных, бессильным против изменников и убийц, он, вместо того чтобы раскаиваться, грозит, вместо того чтобы скрыть мучения своей совести в темном уединении, он хочет, можно сказать, завладеть престолом! Неужели принимает нас за нацию идиотов этот Бонапарте лакейской? Четыре года наша несчастная страна оставлена была игрушкой в руках блудного сына; он не умеет держать бразды правления в слабых своих руках, и потому французы соглашаются жить рабами!»

Руководимые конгрегацией граф д'Артуа, герцог и герцогиня Ангулемские явились к Людовику XVIII и потребовали удаления Деказа. «Граф Деказ защищал мою власть против людей, не повиновавшихся закону и принуждавших меня идти путем, который я осуждаю, — сказал Людовик. — Этим он исполнял обязанность верного министра. Он не предлагал ничего такого, что не было бы сообразно с моими повелениями. В палате могут отделять волю моих министров от моей воли, — это понятно; но могут ли делать это различие, чистосердечно и не оскорбляя меня, члены моего семейства? Объявляю вам, — заключил король, разгорячившись от противоречия, — что я никогда не знал человека с сердцем более открытым и искренним, чем граф Деказ. Я убежден, что он жертвовал бы жизнью за моего племянника, как жертвовал бы за меня. Я уважаю заблуждение вашей скорби; моя скорбь не менее мучительна, но она не делает меня несправедливым». Но принцы продолжали настаивать, и слабый старик не мог выдержать борьбы. Утомленный противоречием, он сказал наконец: «Вы так хотите, постараюсь исполнить ваше желание». Но уступка была следствием бессилия, а не согласия. «День разлуки с тобою — печальнейший день моей жизни, — сказал он Деказу, передавая ему требование роялистов. — Ах, дитя мое, не тебя, а меня хотят они погубить!» Роялистам мало было лишить короля услуг преданного и любимого министра, они требовали непременно, чтобы Деказ удален был из Парижа, из Франции. Людовик принужден был уступить. Деказ отправился посланником в Лондон, в почетную ссылку. Скорбь короля от этой потери была беспредельна. Через несколько месяцев одна мать, несчастиями разлученная с детьми, говорила ему о своей тоске по них — глухие стоны прервали ее рассказ, она взглянула на короля — у него на глазах были слезы: «Ах, и у меня отняли сына, — проговорил он, рыдая. — Они были безжалостны, они отняли его у меня!» Он говорил о Деказе.

На место Деказа Людовик XVIII призвал Ришелье. Но политические огорчения были слишком свежи в памяти герцога: два

раза он отказывался от поручения составить новое министерство, не желая вновь подвергаться злобе роялистов. Наконец Людовик XVIII призвал к себе вместе с ним графа д'Артуа, и этот глава роялистов дал «честное слово благородного человека» (*sa parole de gentilhomme*), что его партия будет поддерживать Ришелье. Только тогда Ришелье согласился. Мы говорили о безграничной преданности герцога Ришелье династии Бурбонов. Его министерство было составлено из людей с монархическими убеждениями, столь же несомненными. Если бы роялисты действительно хлопотали о строго монархических началах, они могли бы быть довольны новым кабинетом. От их имени, с их согласия граф д'Артуа, называвшийся их главою, обещал поддерживать Ришелье. Посмотрим, как они сдержали это слово.

Новое министерство с самого начала исполнило все явные желания роялистов. Оно восстановило цензуру, которой требовали роялисты, потому что находили себя бессильными выдерживать борьбу с либералами перед публикой. Оно изменило закон о выборах, так что большие землевладельцы получили в свои руки исключительную власть назначать депутатов, — это было постоянной целью желания роялистов, потому что значительные поместья почти исключительно принадлежали эмигрантам, потомкам старинных феодалов. При Наполеоне три четвертых части богатых землевладельцев были из старинных знатных фамилий; по возвращении Бурбонов эта пропорция стала еще гораздо больше. Действительно, новый закон сделал роялистов исключительно господствующим сословием в государстве. Либеральная партия, с каждым годом усиливавшаяся в палате при действии прежнего закона, дававшего участие в выборах владельцам поместий средней величины и купцам, вдруг почти совершенно исчезла из палаты после новых выборов. Весь состав администрации был изменен в угодность роялистам: подозрительные им лица тысячами были отставлены от должностей и заменены их клиентами. Наконец, повидимому, в состав самого министерства были приняты трое предводителей роялистской партии. [Казалось бы] министерство всем этим довольно доказывало свое желание управлять государством сообразно с явными требованиями роялистов; нет нужды говорить, что все второстепенные дела велись в том же духе, в каком преобразована была администрация и изданы важнейшие законы. Мало того, уступчивость министерства к роялистам доходила до беспримерных границ: когда роялисты бывали недовольны той или другой подробностью какого-нибудь закона, составленного министерством в их духе, министры если не могли согласиться на перемены, предлагаемые роялистами, то просто молчали и при баллотировке не подавали голоса, чтобы не обидеть взыскательных союзников даже самым мелочным разноречием. Но роялисты, не смягчаясь никакой снисходительностью министерства, продолжали каждый день, на каждом

шагу язвить и поражать его. Их горячность против министров пренебрегала даже основными правилами парламентской благопристойности. Вот один случай, могущий дать о том понятие. Однажды, жалуюсь роялистам на их беспрестанные выходки против министерства, оказавшего им так много услуг, министр иностранных дел Пакье отважился напомнить про обещание поддержки, данное роялистами новому кабинету при вступлении его в дела. «Ораторы, ныне нападающие на нас и выставляющие нас своим друзьям людьми, не заслуживающими доверия, — сказал он, — должны были бы говорить это тогда, когда заключался союз между ними и нами, а не теперь, когда они получили все выгоды от этого союза». В ответ на это де-Лабурдонне напал на личность самого Пакье за то, что Пакье не был эмигрантом. Пакье оправдывал себя тем, что вся нация оставалась во Франции в эпоху Республики и Империи. Удалять от дел людей, служивших при Наполеоне, значило бы отталкивать от правительства девяносто девять сотых частей нации, сказал он. «Тогда по крайней мере мы не видели бы в министерстве ни вас, ни других вам подобных», — закричал в ответ Лабурдонне. «Достопочтенные члены, конечно, не захотят формально обвинять нас», — сказал Пакье. «Нет, обвиняем», — отвечал Кастельбажак, другой роялист. Эти ответы казались еще недостаточны для Лабурдонне. Через несколько дней, возвращаясь к прежнему предмету, он прибавил: «Я спрошу у господина Пакье, думает ли он, что хотя один честный человек может находиться в политических сношениях с ним?» Слушая такие непримиримые выходки, Казимир Перье имел полное право заметить: «Странное дело, министры не хотят видеть, что партия, владychествующая над ними, уже не хочет их терпеть; пусть они сколько хотят умоляют, унижаются: их последний час пробил».

В самом деле, роялисты Вильель и Корбьер, бывшие членами министерства, объявили намерение удалиться от должностей, не дожидаясь конца даже первой сессии, бывшей после нового закона о выборах, доставившего перевес роялистам. Напрасно Ришелье и Пакье думали купить их содействие новой уступкой, предлагали им портфели: Вильель и Корбьер удалились из Парижа, чтобы не участвовать в совещаниях кабинета, и скоро подали в отставку.

Чего же хотели роялисты? Чем были недовольны они, когда Ришелье и его товарищи с полной готовностью исполняли все их требования? подумает читатель. Нет, последнее выражение не точно; пусть читатель припомнит, что мы постоянно употребляли фразу: «все явные требования роялистов», а не говорили просто: «все требования». Дело в том, что у этой партии задушевными желаниями были стремления, о которых не находила она полезным говорить публично. Каково было отношение этих задушевных мыслей к королевской власти, покажет пока один пример.

Министры внесли закон о муниципальном устройстве, то есть об организации городской и сельской администрации. Почти все местные начальства избирались по этому проекту богатейшими землевладельцами; администрация почти вся переходила во власть потомства древних феодалов; кажется, роялисты могли быть довольны. Но назначение префекта предоставлялось королю. Роялисты вскипели негодованием на такой деспотизм. Они хотели до поры до времени кричать, что они — роялисты, то есть люди, исключительно преданные царствующей династии; но уже и теперь находили нужным вести дела так, чтобы королю не оставалось ни малейшего участия в управлении государством. В самом деле, зачем королю власть, если могут отнять ее у него люди, столь преданные ему, как роялисты?

Тогда-то Людовик XVIII из глубины оскорбленной души воскликнул: «Я отдавал им права моей короны; они отвергают меня. Это — хороший урок». В самом деле, к чему принимать в подарок то, что можно взять по праву собственной силы или интриги? Уступка стеснительна, она обязывает быть снисходительным; насильственная победа лучше: завоеватель не обязан быть благодарен.

Роялисты благодаря закону о выборах, составленному министерством Ришелье, видели себя властелинами Франции, к чему же было им церемониться с королем? И потому, когда снова собралась палата депутатов в конце 1821 года, роялисты, при своем огромном большинстве в ней могшие действовать уже откровеннее прежнего, первым своим долгом почли нанести личную дерзкую обиду королю: нужно же было доказать [этому старику], что они сильнее его. Каждая сессия палат по общему обычаю всех парламентских правительств начинается составлением адреса в ответ на речь, произносимую королем при открытии парламента. Правительство, зная враждебный дух палаты депутатов, постаралось до того сгладить тронную речь, чтобы в ней не осталось ничего, кроме общих фраз, и не было ни малейшего предлога к какой-нибудь придирке в ответном адресе. Напрасно. Обычной фразы всех без исключения тронных речей о мирных отношениях правительства с иностранными державами было достаточно роялистам, чтобы найти случай к личной обиде короля. «Наши отношения с иностранными державами не переставали быть дружескими, и я имею твердую уверенность, что они останутся такими же впредь», — сказал король в тронной речи. Комиссия роялистов, составлявшая адрес, предложила палате отвечать на это следующими словами: «Мы радуемся, государь, постоянно дружеским отношениям вашим с иноземными державами в справедливой уверенности, что мир, столь драгоценный, не куплен пожертвованиями, несовместными с честью нации и достоинством короны».



Министры ужаснулись, когда докладчик комиссии, горячий роялист Деладо, прочел палате проект адреса. Пакье тотчас же вошел на трибуну и потребовал уничтожения параграфа, обидного для короля. «Король не может унижать достоинства своей короны, — сказал он, — всякий намек об этом непочтителен, и палата не захочет подать такой пример». — «Как! — вскричал де-Серр, министр внутренних дел. — Ваш президент пойдет сказать королю в лицо, что палата имеет справедливую уверенность, что король не наделал низостей! Это — смертельная обида». Но министры ошибались, полагая обязанностью роялистской палаты не наносить оскорбления королю: она иначе понимала свой долг. «Если допустить теорию министров, — отвечал Деладо от имени комиссии, — то ответы палаты на тронные речи должны бы ограничиваться простым парафразом тронных речей, предназначенным скрывать от короля всякую истину. Обязанность палаты не такова. Говоря от имени страны, палата обязана говорить с монархом таким языком, который высказывал бы королю о правительственных действиях не мнение министров, а мнение Франции». Адрес, составленный комиссией, был принят без всяких изменений палатой по огромному большинству голосов.

Людовик XVIII был глубоко оскорблен. По обычному порядку аудиенция для представления адреса королю назначалась президенту, вице-президентам и особенной депутации, избираемой палатой на этот случай, в тот же самый день, как он был принимаем палатою. Теперь король целых три дня не назначал этой аудиенции; наконец было объявлено палате, что король допускает к представлению адреса только президента палаты, с вице-президентами, не желая принимать депутацию. Президент, явившись на аудиенцию, хотел по обычаю прочесть адрес. Людовик, сидевший с гневным лицом, остановил его, взял у него бумагу и, не взглянув на нее, сказал:

«Я знаю адрес, представляемый вами.

В изгнании, среди преследований, я поддерживал мои права, честь моего дома и французского имени. Занимая престол и окруженный моим народом, я негодую при одной мысли, чтобы я мог когда-нибудь пожертвовать честью моей нации и достоинством моей короны.

Я хочу думать, что большая часть тех, которые вотировали этот адрес, не взвесили всех его выражений. Если бы они имели время обсудить их, они не допустили бы предположения, о котором я как король не должен говорить, о котором я как отец желал бы забыть».

Король мог оскорбляться, сколько его душе было угодно, но он должен был покоряться. Министерство прибегло к новым уступкам, чтобы смягчить роялистов. Негодование короля мало подействовало на них; нужно было гнев заменить смирением. Ми-

нистерство представило проекты двух законов, которыми думало угодить роялистам, кричавшим против вольнодумства газет. Оно предложило усилить и продлить еще на пять лет временно существовавшую тогда цензуру. [«Продлить цензуру еще на пять лет, — вскричал составитель адреса Деладо, обращаясь в пылкого защитника свободы, — да вам, королевские министры, нужна цензура, чтобы подавлять всякое общественное мнение, всякую истину, всякую совесть! Вам нужен мрак для исполнения ваших замыслов, вы ненавидите свет, боитесь его, бежите его, но свет неизбежен; он обнимает вас, он преследует вас; он выдаст ваши преступные замыслы, вы не избежите истины, вы не избежите правосудия. За ваши замыслы вы будете отвечать вашими головами».] Но роялисты вдруг обратились в яростных защитников свободы и проклинали деспотические желания министров.

С каждым днем нападения роялистов на кабинет становились ожесточеннее. Ни одно действие, ни одно слово правительства не избегало самых бурных порицаний. Король должен был уступить. Ришелье и его товарищи подали в отставку. Граф д'Артуа ввел к королю Вильеля для составления нового, чисто роялистского министерства. 15 декабря 1821 года было обнародовано королевское повеление, назначавшее Вильеля министром финансов, Корбьера — министром внутренних дел и других предводителей роялистской партии — министрами других департаментов. Изнуренный шестилетней борьбой король отступился от всякого участия в управлении государством. «Наконец г. Вильель торжествует, — писал он к одному из своих друзей. — Я мало знаю людей, входящих с ним в мой кабинет; надеюсь, они будут так рассудительны, что не последуют слепо всем страстям роялистов. Впрочем, я удаляюсь в ничтожность с настоящей минуты. *Au reste je m'annule dès ce moment*».

Действительно, король был принужден роялистами отказаться от всякой мысли об участии в правлении. Даже список нового министерства был составлен без малейшего вмешательства его воли. Конгрегация выбрала своих членов в министры, кого и как хотела, даже не совещаясь с королем.

Так держали себя роялисты относительно королевской власти. Не только тогдашние либералы, умеренные представители скромных желаний среднего сословия, но самые заклятые республиканцы не могли бы топтать и власть, и личность короля с такой непреклонной дерзостью. Вступление роялистов в кабинет короля было, по собственному выражению короля, аннулированием короля.

Путем беспощадной борьбы против короля достигли роялисты власти. Посмотрим теперь, на достижение каких целей будут они употреблять свою власть. Быть может, цель не совсем похожа на средства; быть может, действия роялистского правительства окажутся более согласны с интересами престола и царствовавшей династии, нежели способы, которыми роялисты захватили власть.

## Статья вторая и последняя

Министерство Вильеля. — Испанская экспедиция. — Полное владычество роялистов. — Они издают законы, противные интересам монархической власти. — Ультрамонтанцы и белое духовенство. — Карл X. — Выдача вознаграждения эмигрантам. — Восстановление майоратств. — Распадение между роялистами; оппозиция Шатобриана и оппозиция Лабурдонне. — Закон о книгопечатании. — Новые выборы. — Падение Вильеля. — Умеренное министерство Мартиньяка. — Оно беспокоит иезуитов. — Роялисты обращаются против Карла X. — Путешествие Карла X по восточной Франции. — Роялисты убеждают его прекратить снисходительность к либералам. — Министерство Полиньяка. — Отношения партий перед июльскими днями. — Политика, наиболее выгодная для династии. — Союз династии с роялистами совершенно противен ее интересам. — Отношения либералов к народу. — Характер министерства Полиньяка. — Беспокойство овладевает Францией. — Адрес палаты депутатов. — Она распущена. — Новые выборы. — Слухи о насильственных мерах. — Русский император и Меттерних хотят спасти Карла X. — Июльские повеления. — Катастрофа. — Поведение роялистов. — Крайняя трусость либералов. — Бесвредность их торжества для королевской власти и бесполезность его для народа.

(1821—1830)

Первый важный вопрос, представившийся министерству Вильеля, был возбужден испанскими делами. Нам нет нужды излагать события, вследствие которых Фердинанд VII, король испанский, принужден был в 1820 году восстановить конституцию, которую принял при своем возвращении в Испанию в 1814 году. Довольно будет сказать, что часть аристократии, а еще более иезуиты, игравшие до того времени при дворе важнейшую роль, были страшно недовольны принятием конституции и во многих местах пытались поднимать восстания, чтобы низвергнуть ее вооруженной рукой. Испанское духовенство, находившееся под влиянием иезуитов, принимало главнейшее участие в этих восстаниях; архиепископы и епископы были чаще всего предводителями инсургентов. Но их усилия были напрасны: инсургенты были побеждены повсюду и принуждены искать убежища в Пиренейских горах на французских границах.

Во Франции испанские события пробуждали самый живой интерес: либералы и роялисты видели своих братьев в испанских приверженцах и противниках конституции. Роялистские журналы громко требовали, чтобы Франция послала в Испанию войско на помощь инсургентам.

Но Людовик XVIII был чрезвычайно мало расположен тратить деньги и кровь своих подданных на восстановление беспорядочного и чрезвычайно жестокого управления, которым Фердинанд VII восстановил против себя всех, защищавших его корону против Наполеона. Французский король говорил о характере Фердинанда VII в выражениях столь резких, что мы не хотим здесь повторять их, считая его человеком, не заслуживающим ни малейшего сочувствия или уважения.

Мнение Людовика XVIII, конечно, не имело тогда большой важности во Франции: роялисты, как мы видели, отняли у короля влияние на дела. Гораздо важнее было то, что Вильгельм, душа министерства, также не хотел помогать инсургентам. Французские финансы только еще начинали приходить в нормальное положение после страшных пожертвований, каких стоили наполеоновские войны, а потом примирение с Европой. При всех своих недостатках Вильгельм имел одно достоинство: он старался соблюдать экономию в государственных расходах и хотел восстановить равновесие в бюджете. Войною в Испании расстроились бы французские финансы, потому Вильгельм никак не соглашался на нее. Орывки из его дружеских писем к Шатобриану, бывшему посланником на Веронском конгрессе, могут доказать искренность и твердость его отвращения против испанской экспедиции. «В нынешнем году за всеми расходами останется 25 000 000 франков, — писал он. — Зачем эти несчастные иностранные дела мешают такому благосостоянию? Война будет иметь губительное влияние на наши фонды, нашу морскую торговлю, нашу промышленность. Несмотря на продажные декламации нескольких газет (Вильгельм говорит о роялистских газетах, требовавших войны), здравое и общее мнение отвергает войну; постарайтесь, мой друг, всеми силами отвести это несчастье. Да пощадит бог наше отечество и Европу от этой войны, которая, — предсказываю с полным убеждением, — будет губительна для Франции».

Действительно, при одном слухе о войне государственные фонды понизились на девять франков; финансовые операции для правительства стали затруднительны, торговля упала.

Газеты, поддерживавшие правительство, доказывали неуместность войны; но они были малочисленны; огромное большинство роялистских газет настойчиво требовало войны, повинаясь внушениям конгрегации. Инструкции этого тайного общества произвели в действиях французского правительства явления почти беспримерные в истории. На Веронском конгрессе должен был обсуждаться испанский вопрос. Уполномоченным от Франции был послан на конгресс министр иностранных дел Монморанси. Министерство, руководимое Вильгелем, дало ему инструкцию, по которой он должен был всячески стараться избавить Францию от обязательства вмешиваться в испанские дела. Конгрегация приказала ему действовать иначе, и Монморанси придал переговорам с Испанией оборот, совершенно противный своим инструкциям. Министерство не могло терпеть такого нарушения обязанностей, и Монморанси был удален. Место его занял Шатобриан. Знаменитый поэт был другом Вильгеля, но поступил еще лучше, нежели Монморанси. Первый французский уполномоченный, действуя против своих обязанностей, по крайней мере сообщал о том главе министерства; Шатобриан почел выгоднейшим для своих целей обманывать кабинет. В депешах к Вильгелю он представлял

в фальшивом свете совещания конгресса; запутывая переговоры таким образом, чтобы Франция получила от Европы поручение послать войско в Испанию, он представлял себя кабинету верным исполнителем инструкций министерства и обманул Вильеля до такой степени, что по возвращении в Париж сделался министром иностранных дел.

Мы не говорим уже о сопротивлении роялистов желаниям короля, — они давно не щадили его, давно лишили его власти; их поступки в испанском деле представляют особенность более замечательную: правительство было составлено по их желанию из вернейших предводителей их собственной партии; они идут наперекор даже этому министерству, они заставляют агентов министерства изменять ему. В истории дипломатии интрига и обман вовсе не редкость; но до такой степени дипломатической измены, как Шатобриан, не доходили ни пошлые агенты Помпадур и Дюбарри, ни сам Талейран. Посланники Людовика XV обманывали свое министерство, но они могли извиняться по крайней мере тем, что действуют сообразно тайным инструкциям короля. У Шатобриана не было и этого извинения. Он обманывал и короля, и министров вместе. Все законные власти Франции были преданы им за один раз в угодность людям, не имевшим никакого права руководить хотя бы самым ничтожным делом, преданы в угодность людям, которые не смели даже публично произносить своего имени, скрываясь от взоров нации. Министры Людовика XV, обманывавшие друг друга, были по крайней мере во вражде между собою; притом же они и не имели притязания выдавать себя за честных людей; Шатобриан обманывал своего друга, обманывал в то самое время, когда возвышался в министры его доверием и не переставал считать себя человеком благородным. Таковы-то были интриги тайных руководителей роялистской партии, что даже люди, по природе своей честные, не колеблясь, совершали низости по их внушению. Если б мы не знали, кто управлял конгрегацией, руководившею роялистами, мы уже по этим одним признакам безошибочно отгадали бы иезуитов.

Знаменитое иезуитское правило говорит, что цель оправдывает средства: быть может, Шатобриан и ему подобные, не пренебрегая никакими средствами для возвращения произвольной власти над Испанией Фердинанду VII, могли по крайней мере оправдываться сами перед собою возвышенностью своей цели. Нет, Шатобриан думал о Фердинанде точно так же, как и Людовик XVIII, и очень хорошо знал, что его жестокие капризы были и будут стыдом для имени Бурбонов. Конечно, большая часть роялистов думала точно так же о человеке, которому хотела помогать.

Зачем же в таком случае они так ревностно хлопотали об испанской экспедиции? Предводителями испанских инсургентов были иезуиты, управлявшие Фердинандом; руководителями роя-

листов были иезуиты, управлявшие конгрегацией. Потому и король, и роялистское министерство должны были отказаться от убеждения, что испанская экспедиция будет вредна для Франции.

Приближалось время, когда должна была собраться палата депутатов. Министры совещались о том, какая политика по испанскому вопросу будет выражена в тронной речи. Не дальше как за семь месяцев перед тем при открытии предыдущей сессии король говорил: «Только зложелательность может приписывать нашим действиям намерение вмешаться в испанские дела». Теперь Вильель снова утверждал, что тронная речь должна отвергать испанскую экспедицию, требуемую большинством роялистских газет. Но Корбьер, министр внутренних дел, показал ему письмо от одного из роялистских депутатов, который писал: «Министры компрометируют свое положение, замедляя вступление наших войск в Испанию. Их колебание до того раздражает роялистов, что все вновь избранные депутаты показывают твердую решимость низвергнуть министерство, если тронная речь не будет содержать формального, положительного объявления о немедленном вторжении в Испанию». Некоторые другие министры подтвердили предостережение своего товарища. Вильель должен был уступить. Тронная речь положительно объявила, что сто тысяч войска готовы вступить в Испанию. Вся Франция волновалась от негодования; государственные фонды упали еще на четырнадцать франков, с 89 на 75.

Вильелю приходилось теперь играть такую же роль, до какой прежде унижал он герцога Ришелье. Он должен был трепетать роялистского большинства палаты депутатов, то есть трепетать своей собственной партии.

Испанская экспедиция была удачна в военном отношении; крайние роялисты торжествовали. Вильель должен был исполнять все их требования. На первый раз эти требования относились к двум предметам. Роялисты желали воспользоваться своим торжеством, чтобы как можно долее удержать за собою власть. Они хотели, чтобы прежний пятилетний срок существования палаты был заменен семилетним и произведены были новые выборы. С тем вместе они требовали, чтобы власть духовенства над гражданскими делами была увеличена. Вильель уступил в том и другом.

Продолжительный срок бессменного существования одной и той же палаты депутатов давал ей больше независимости от правительства. Это не нуждается в объяснениях. Но для тех читателей, которые незнакомы с положением французского духовенства, нужно сказать несколько слов о характере той части духовенства, пользам которой служили роялисты.

Несмотря на безбрачие приходского духовенства в католических землях, между приходским или белым духовенством и монахами существует в них коренная разница, которая во Франции



обнаруживается сильнее, нежели где-нибудь. Нет надобности быть католиком, чтобы сочувствовать потребностям приходского духовенства во Франции. Большая часть его отличается христианскими добродетелями. Исполняя свои религиозные обязанности, приходский священник во Франции вообще чуждается политических интриг; он верен своей национальности и не питает вражды к светской власти, в которой, напротив, ищет себе опоры против самовластия ультрамонтанцев. Совершенно иное дело французские монахи. Как бы ни назывался на бумаге их орден, почти все они иезуиты; разные названия, придумываемые ими для себя, служат только к тому, чтобы скрыть принадлежность их к иезуитскому ордену. Между тем как приходское духовенство вообще поддерживает национальные интересы, иезуиты все поголовно ультрамонтанцы, и интересы Франции для них ничтожны в сравнении с выгодами ордена и папской власти, которая обыкновенно находится под их влиянием. Все пронизательные французские правительства со времен Генриха IV, какие бы чувства ни питали относительно католической религии, находились в необходимости бороться против ультрамонтанцев. От этих явных или тайных иезуитов происходят все скандалы, которыми компрометируется католицизм во Франции. Они заводят в семействах интриги, чтобы доставлять своим конгрегациям богатые пожертвования, из которых почти каждая соединена с отнятием имущества у законных наследников. Их конгрегации ведут обширные торговые спекуляции всякого рода, приобретают огромные поместья и дома, вообще владеют громадными богатствами, между тем как приходское духовенство вообще терпит сильную нужду. Почти все французские епископы и прелаты выходят из конгрегаций и остаются под их влиянием. Из двадцати французских епископов едва ли найдется один, который не был бы ультрамонтанцем, то есть иезуитом, врагом французской национальности и гражданского французского правительства, каково бы оно ни было.

Когда говорится о политической силе духовенства во Франции, тут всегда разумеется исключительно ультрамонтанская партия, состоящая из различных конгрегаций и владеющая почти всеми епископствами. Она враждебна национальному приходскому духовенству, но чрез епископов имеет над ним полную власть, которой пользуется чрезвычайно притеснительно.

Таким образом, когда мы слышим о вражде или дружбе французского правительства с духовенством, вовсе не надобно полагать, чтобы этим означалось покровительство или гонение со стороны правительства относительно огромного большинства французского духовенства. Напротив, дело идет только об отношениях правительства к иезуитам, располагающим конгрегациями и властью епископов, посредством которой они угнетают белое духовенство, то есть огромное большинство духовного сословия во Франции. Вообще приходское духовенство, достойное всякого

уважения, отдыхало во Франции только тогда, когда правительство вооружалось против ультрамонтанской партии, называющей себя исключительно представительницею католических интересов, но в сущности заботящейся вовсе не о пользах религии, а единственно о приобретении богатств и о подчинении светской власти иезуитскому влиянию.

Так и в настоящем случае дело шло вовсе не о том, чтобы улучшить положение французского духовенства вообще, а исключительно о доставлении богатств и власти членам конгрегации. Почти все приходские священники во Франции, как мы сказали, жили скудно, получая очень небольшое жалованье. Конгрегация, заставляя министерство Вильеля исполнять свои требования, и не подумала об улучшении состояния этих бедняков. Она требовала только, чтобы епископам, находившимся под властью иезуитов, было отдано управление светскими училищами, как было в старину, и чтобы епископам возвращена была гражданская власть, которой пользовались они в XVIII веке. То и другое было исполнено. Иезуиты овладели министерством народного просвещения. Все профессора, не расположенные к иезуитам, в том числе Гизо, были удалены от чтения лекций. Префекты и вся провинциальная администрация должны были повиноваться епископам.

Кто хотя несколько знаком с французской историей, тот знает, что монархическая власть во Франции возвысилась борьбою против притязаний ультрамонтанизма. Теперь правительство было принуждено подчиниться ему. Светское могущество духовенства, то есть епископов и монастырей, составляло одну основу феодального порядка, враждебного монархической власти. Другой основой феодализма было могущество светских аристократов, пользовавшихся почти самодержавною властью в своих огромных поместьях. Одной цели роялисты достигли, надобно было позаботиться о достижении другой. Первым шагом к тому представлялось вознаграждение эмигрантов за поместья, конфискованные во время революции.

Пока был жив Людовик XVIII, феодалы никак не могли исполнить этого своего желания. Но теперь счастье было решительно на их стороне. 16 сентября 1824 года Людовик XVIII скончался, и на французский престол вступил граф д'Артуа, бывший до сих пор предводителем роялистов, по крайней мере по имени, если не на самом деле, и слепым орудием в руках конгрегации.

Далеко уступая умственным способностям Людовику XVIII, Карл X не замечал противоположности между желаниями роялистов, стремившихся восстановить феодальное устройство, и потребностями королевской власти, которая усилилась во Франции беспощадным сокрушением силы феодалов и могла поддерживаться только в таком случае, если продолжала защищать от них

нацию. Роялисты могли теперь действовать отважнее прежнего благодаря иезуитам, совершенно ослепившим нового короля. В минуту смерти Людовик XVIII призвал ребенка, на котором покоились надежды продолжения старшей линии Бурбонов, и, благословляя его, печально сказал: «Пусть бережет мой брат корону этого ребенка». Он предчувствовал, что доверие Карла X к роялистам будет губительно для его династии.

Действительно, быстро последовали один за другим законы, восстанавливающие против королевской власти национальное чувство, возвышавшие феодализм на счет королевской власти. Из них мы упомянем только о немногих важнейших.

Первым делом роялистов при новом короле было вытребовать вознаграждение за поместья, конфискованные у эмигрантов. Напрасно самыми точными расчетами доказывалось, что милости, какими пользовались эмигранты в течение десяти лет, прошедших со времени Реставрации, с избытком вознаграждали всю потерю, понесенную ими прежде. Доходы проданных поместий не простирались и до 50 миллионов франков; эмигранты под формою жалованья и пенсий уже получали ежегодно от государства более 70 миллионов. Но дохода им было мало; они желали восстановления владений, которые ставили бы их в независимость от королевской власти. Вильель должен был предложить закон о выдаче роялистам тысячи миллионов франков за имения, проданные во время революции. Повидимому, роялисты могли быть довольны: оценка, составленная ими самими, показывала, что ценность проданных имуществ не превышала этой суммы. Но ревностнейшие роялисты напали на проект Вильеля за его преступную снисходительность к революционерам. «Указывают на статью конституции, гарантирующую покупателям конфискованных имений неприкосновенность их собственности, — говорил Лабурдонне. — Но эта статья была и могла быть только простой политической мерой; она могла обеспечивать покупателям владение купленными имуществами, но не могла дать им права собственности на эти имущества. Право собственности дается только исполнением условий, которым подлежит всякая продажа имущества по распоряжению государственной власти; именно тут необходима была бы выдача вознаграждения прежнему владельцу до вступления покупателя во владение продающимся имуществом. Одно из двух: или так называемые национальные собрания времен революции были собраниями незаконными, и в таком случае все их декреты — только насильственные меры, лишенные законной силы; этими мерами у эмигрантов могло быть отнято фактическое пользование имуществами, но не могло быть отнято законное право собственности; или же революционные собрания были законной властью, — тогда эмигранты, по закону лишившись своих имуществ, не имеют никакого права ни на малейшее вознаграждение. Проект, представленный министрами, обманывает

все надежды. Он не дает эмигрантам столько, чтобы удовлетворить их и тем обеспечить покупателей конфискованных имуществ от дальнейших требований со стороны эмигрантов. Этот проект — чистый обман». Таким образом Лабурдонне довольно ясно намекал, что эмигранты могут быть довольны лишь одним тем, когда продажа поместий будет объявлена не имеющей законной силы, и поместья будут отняты у настоящих владельцев и возвращены прежним. Другой роялист, де-Бомон, высказался еще прямее: «Король не имеет власти утверждать незаконную конфискацию имуществ целого класса своих подданных, как не имеет власти отнимать имущество у отдельного человека. Конституция, гарантируя продажу конфискованных имуществ, имела в виду только одно то, чтобы оградить покупателей от судебного преследования со стороны законных владельцев за несправедливое пользование доходами поместий в прежние годы. Что же нужно сделать теперь? — возвратить каждому то, что ему принадлежит: поместья возвратить эмигрантам, а покупателям выдать вознаграждение». Либералы справедливо утверждали с своей стороны, что проект, представленный министерством, составляет только первый шаг на пути вознаграждения эмигрантам. «Мы теперь только вступаем на дорогу вознаграждений, — сказал генерал Фуа, один из немногих либеральных членов палаты. — Закон этот объявляет эмигрантов имеющими право на получение всей ценности их проданных имений. Они скажут, что им заплатили не всю ценность этих имений, и останутся кредиторами общества, кредиторами тем более грозными, что овладели всеми правительственными местами. Естественным залогом, обеспечивающим кредитору долг, служит поместье, за которое взыскивается долг. Какой же покупатель заснет спокойно под страхом такого долга?» Действительно, покупщики конфискованных имений должны были опасаться всего. Даже де-Бомон не высказал еще последней задушевной мысли роялистов. Он говорил о возвращении поместий эмигрантам, но упоминал о вознаграждении покупателей. Когда прения разгорячили членов палаты, явился оратор, высказавшийся откровеннее. Дюплесси де-Гренедан потребовал возвращения поместий эмигрантам без всякого вознаграждения покупателям. Давать им вознаграждение, по его словам, значило бы признавать их права и делать им уступку; а покупка, ими сделанная, была незаконна; следовательно, они не имеют никаких прав, завладели поместьями как грабители и, подобно грабителям, не могут быть вознаграждаемы. «Девятая статья конституции, — прибавлял он, — говорит: собственность объявляется неприкосновенной; но тут дело идет только о настоящем, а не о будущем времени; конституция не говорит, что собственность навсегда останется неприкосновенной. Если вникнуть в истинный смысл статьи, мы увидим, что она может относиться только к собственности, приобретенной

законным образом. Было слишком нелепо перетолковывать закон так, чтобы придавать ему смысл о неприкосновенности собственности, даже приобретенной воровством. В девятой статье конституции подразумевается слово «законный», истинный смысл ее таков: собственность неприкосновенна, когда приобретена по актам, имеющим законную силу».

Намерение роялистов выразилось ясно; трудно описать волнение, произведенное в массе среднего сословия и даже простолюдинов этими прениями. Поместья, конфискованные у эмигрантов, были распроданы по большей части мелкими участками; число покупателей было огромно. Со времени конфискации прошло около 30 лет; большая часть купленных тогда земель перешла уже в другие руки по наследству или через продажу законным путем. Теперь всем этим владельцам угрожала опасность потерять имущество. Династия подвергалась опасности для того, чтобы потомки прежних феодалов могли восстановить свою независимость от короны.

Но для восстановления феодального права недостаточно было стремиться к возвращению феодалам их прежних владений; надобно было также позаботиться о том, чтобы могущество знатных фамилий не уменьшалось от раздробления поместий по праву наследства, принятого французским законодательством. Через несколько времени после принятия закона о выдаче эмигрантам миллиарда франков министерство представило палате пэров закон, восстанавливавший право первородства, которым в средние века поддерживалось феодальное устройство. По гражданскому кодексу — часть отцовского имения переходит непременно в наследство детям, которые все получают поровну; другая часть предоставлена свободному распоряжению отца и может быть завещана им кому угодно; если же он не сделает распоряжения, она также делится поровну между детьми. Роялисты еще не отваживались требовать изменения всех этих постановлений. Они требовали, чтобы та часть имущества, которой может располагать отец по завещанию, не делилась поровну между детьми при отсутствии завещания, а вся переходила к старшему сыну в тех случаях, когда имущество состоит из поземельного владения, платящего не менее 300 франков прямых податей. Сверх того, предоставлялось владельцу такого поместья обращать его в субституцию, то есть делать его майоратом, который бы уже не подлежал при следующих поколениях разделу и вечно оставался бы в руках одного только старшего потомка по нисходящей линии, который притом не мог при своей жизни продать ни всего имения, ни какой-либо части его.

Влияние права первородства и субституций на политическое устройство общества известно каждому. Неминуемым следствием этих учреждений бывает образование поземельной аристократии, быстро приобретающей больше силы, нежели сколько силы



остается у короны. При субституциях и праве первородства титул короля может сохраняться, но власть его исчезает, и государство, нося имя монархии, в сущности становится олигархической республикой.

Проект закона, предлагавшийся теперь, конечно должен был служить только первым шагом к совершенному отменению раздела недвижимой собственности между старшим сыном и другими детьми, с предоставлением всего наследства одному старшему сыну. К счастью, палата пэров отвергла этот проект.

Вильель в глубине души был очень рад несогласию палаты на проект, представленный от его имени. Он сам не одобрял этой меры, как и многих других, которые должен был принимать, подчиняясь требованиям конгрегации.

После смерти Людовика XVIII конгрегация приобрела такое могущество, что уже далеко не каждый роялист мог получить ее покровительство; число прозелитов было громадно; иезуиты, руководившие конгрегацией, стали очень разборчивы в раздаче своих милостей. Многие из роялистских членов палаты были обойдены местами, не получили просимых наград для своих родственников, оттого в роялистской партии начались раздоры. Предводителем недовольных был Шатобриан<sup>10</sup>. Вильель не мог простить ему обмана в испанском вопросе. Тщеславный поэт не был способен заниматься делами в кабинете министерства, но в аристократических салонах провозглашал себя истинным главою министерства, свысока третируя Вильеля; этим усиливался раздор между двумя министрами. Наконец Шатобриан, сердясь на Вильеля за собственную свою ничтожность в деловом отношении, начал и в палате говорить двусмысленные речи. Доведенный до крайности, Вильель отнял у него портфель иностранных дел. Лишившись места, Шатобриан вдруг обратился в противника стеснительных мер, которых прежде требовал с большою горячностью, нежели кто-нибудь. Он сделался журналистом и органом своим избрал «Journal des Débats». Министерство не имело более опасного врага.

Кроме недовольных по личным расчетам, были роялисты, недовольные Вильелем по различию в политических мнениях. С одной стороны, многие видели, что конгрегация заходит слишком далеко, что, например, угрозы покупателям конфискованных имуществ и усилия восстановить право первородства приведут их партию к падению; они требовали политики более осторожной, какой хотел бы следовать и сам Вильель, если бы мог. С другой стороны, находились роялисты, заметившие, что с Вильелем, от природы расположенным к осмотрительности, никогда не пойдут феодальные преобразования так быстро, как хотелось бы этим фанатикам, чуждым всякого благоразумия. Роялисты, бывшие умереннее Вильеля, сгруппировались около Шатобриана, который теперь очень любовно толковал о конституции, прежде



казавшейся ему источником всяких бедствий. Роялисты, осуждавшие медленность Вильеля, имели своим предводителем Лабурдонне, которого не любила конгрегация и потому не допускала в министерство. Обе эти партии постоянно усиливались в палате и начали думать уже о низвержении Вильеля.

Конгрегация вынудила министерство составить проект нового закона о книгопечатании. Обе партии роялистов, недовольные Вильелем, соединились с либералами против нового закона, и Лабурдонне, глава самых горячих роялистов, заговорил языком совершенно либеральным; он обвинял министров в нарушении конституции. «Утомленная политическими волнениями, — говорил он, — Франция хочет покоя. Надежду достичь и сохранить его она поставила в союзе династии с конституцией. Напрасно горсть людей, увлекаемых страстями или руководимых воспоминаниями, надеется разорвать связь между этими двумя гарантиями общественного порядка. Вся Франция равно отвергает и тех, которые желали бы конституции без династии, и тех, которые желали бы династии без конституции; Франция желает, Франция поддерживает тех, которые сумеют неразрывными узами связать эти два блага. Успех ожидает их, если они открыто пойдут под знаменем конституционного легитимизма. Франции обещаны были конституционные учреждения; Франция поддерживает конституцию во всей ее целости. Я подаю голос против министерского проекта». Два или три года тому назад Лабурдонне призывал небесное мщение и уголовные наказания на людей, защищавших конституцию; теперь он сам объявлял, что не хочет поддерживать Бурбонов иначе, как под условием соблюдения конституции. Это было дурным предзнаменованием для министерства. Правда, закон был принят, несмотря на оппозицию Лабурдонне; но из 367 депутатов уже 134 положили черный шар; еще недавно в урне бывало не более 12 или 15 черных шаров.

Принятый палатой депутатов проект закона был перенесен в палату пэров; она отвергла его большинством 113 голосов против 43. Уже давно оппозиция взяла верх в палате пэров. Министерство должно было прибегнуть к назначению 70 или 80 новых пэров, чтобы возратить себе большинство в верхней палате; но почти все эти назначения надобно было сделать из палаты депутатов. Взяв из нее 60 или 70 министерских членов, Вильель слишком ослабил бы в ней свое большинство, и без того быстро уменьшавшееся. С другой стороны, Вильель предвидел, что отсрочивать новые выборы в палату депутатов до истечения семилетнего срока ее существования было бы очень опасно. Роялисты с каждым днем восстанавливали против себя общественное мнение. Хотя сословие тогдашних избирателей исключительно ограничивалось большими землевладельцами, жаркими роялистами, но и они начинали понимать, что реакция против либерализма пере-

ходит границы благоразумия. Вильгельм знал, что через два года роялисты потерпят поражение на выборах. Он надеялся, что в настоящую минуту еще успеет привести выборы к выгодному для роялистов результату. Он решился распустить палату, в которой не надеялся удержать за собою большинство, ожидая, что новые депутаты будут благоприятнее ему. Действительно, распускание палаты оставалось для него единственным средством избежать судьбы, которая постигла герцога Ришелье. Давно уже он был принужден слепо исполнять даже и те требования палаты депутатов, которых совершенно не одобрял. Скоро палата низвергла бы его, если бы он не предупредил удара, распуская ее.

Расчет Вильгельма был справедлив; министр ошибся только в одном: надобно было распустить палату гораздо раньше; роялисты господствовали в ней слишком долго. Они успели слишком ясно высказать свои намерения. Сам Вильгельм так долго подчинялся их неосторожным желаниям, что успел уже безвозвратно компрометировать свое министерство. Выборы, назначенные в ноябре 1827 года, произведены были под влиянием совершенного недоверия нации к людям, которым покровительствовала конгрегация.

Хотя немногочисленные избиратели составляли среди нации совершенно исключительный кружок, но все-таки не могли они не подчиняться до некоторой степени голосу общественного мнения. В прежней палате из десяти членов девять были роялисты; в новой голоса разделялись так: около 170 роялистов, составлявших правую сторону, около 170 либералов, составлявших левую сторону, и в центре около 50 членов, бывших прежде горячими роялистами, но теперь увидевших опасность пути, по которому шли роялисты, и начавших действовать самостоятельно.

На другой же день после того, как стал известен результат выборов, Вильгельм увидел необходимость выйти в отставку. Центр и левая сторона, составлявшие теперь большинство, не хотели и слышать о переговорах с ним; но публика долго ждала перемены министерства, потому что Карл X, соглашаясь с Вильгельмом в необходимости переменить министерство, отвергал не только либералов, не только депутатов центра, но и всех роялистских предводителей, которые в прошлой сессии действовали против Вильгельма.

Наконец необходимо было решиться потому, что заседания новой палаты приближались. Душою нового кабинета был Мартиньяк, роялист, близкий по своим мнениям к Вильгельму, но чуждый связям с конгрегацией и потому могший действовать умереннее. Остальные члены министерства также все были роялисты, понимавшие необходимость разорвать связи с конгрегацией, погубившей Вильгельма. В каком духе начнет действовать палата, это зависело от небольшого числа членов, составлявших центр. Их

голоса давали большинство левой или правой стороне; во всяком случае министерство должно было управлять в их духе.

Первым испытанием силы и взаимных отношений партий служит выбор президента палаты. По тогдашнему правилу палата выбирала пять кандидатов, одного из которых король утверждал президентом. С нетерпением ожидали, чьих кандидатов будет поддерживать центр. Большинство получили два депутата из центра и трое из левой стороны: центр вошел в союз с левой стороной. В досаде на депутатов центра король утвердил президентом одного из кандидатов левой стороны, Ройе-Коляра. Министерство увидело теперь необходимость делать многочисленные уступки центру и левой стороне, плотно соединившимся для составления большинства.

Итак, либералы пользовались теперь довольно значительным влиянием на решение палаты. В каком духе изменятся законы и администрация по требованию этой партии, которую провозглашали враждебной Бурбонам? Семь лет она подвергалась непримиримому преследованию от роялистского министерства, пользовавшегося большинством в палате и властью вовсе не по собственной силе, а только благодаря покровительству Бурбонов: быть может, она теперь покажет нерасположение к Бурбонам? Королем был теперь тот самый граф д'Артуа, который в течение целых сорока лет был из всех Бурбонов самым жесточайшим врагом либерализма: быть может, либералы подумают о стеснении власти, которой располагает их непримиримый гонитель? Читатель едва ли будет ожидать этого после тех фактов, какие представлены в нашем очерке. Либералы теперь видели, что министерство не враждебно им. Каковы бы ни были чувства Карла X, он прежде всего помнил обязанности светского человека, талантами которого обладал в совершенстве; либералы часто являлись теперь во дворец по своим близким отношениям к министерству; король принимал их любезно. Этого было довольно, чтобы они прониклись самыми наивными надеждами. Они воображали, что король понял вред, какой принесла ему ненужная преданность его крайним роялистам; они уже думали, что король разделяет чувства французского общества и готов поддерживать новые интересы против феодальных стремлений. Заблуждение было чрезвычайно нелепо: люди не меняются, имея 65 лет от роду. Но забавные надежды либералов показывали, до какой чрезвычайной степени было сильно в них желание действовать заодно с королевской властью. Они только о том и мечтали, каким бы образом примирить Бурбонов с французской нацией и упрочить их престол.

В течение полутора года, пока либералы господствовали в палате, напрасно стали бы мы искать между решениями палаты хотя одного, сколько-нибудь ограничивающего преимущества королевской власти. Перемен было произведено много, но ни

одна из них не касалась прав престола. Читатель знает, что иначе и не должно было быть. Дело шло о том, каковы будут взаимные отношения разных государственных сословий между собою, каковы будут законы о наследстве, каково будет отношение светского национального образования к иезуитскому и т. п. Во всех этих спорах королевская власть могла бы оставаться совершенно хладнокровной зрительницей; ее собственное положение могло нимало не изменяться от торжества той или другой партии. Если король участвовал в борьбе, то единственно как союзник той или другой партии, из которых и та и другая равно нуждалась в его покровительстве и готова была бы самым усердным образом служить его интересам, лишь бы только он поддерживал ее интересы. Мы возвратимся к этому предмету, а теперь повторим только, что чрезвычайно сильно должны были желать либералы союза с королевской властью, если надеялись на возможность союза даже с Карлом X, который более сорока лет был слепым орудием феодальной партии, и если при первом ослаблении его гонений отказывались от всякого воспоминания о его вражде к ним.

Правда, роялисты кричали, что либералы заставляют короля разрушать свою собственную власть, а Карл X доверчиво слушал обвинения против министров, будто бы изменяющих интересам династии. Но какими действиями либералов и министерства возбуждались такие возгласы, лучше всего покажет нам ход прений о деле, возбудившем наибольшее неудовольствие в роялистах. Эти же самые прения представят нам новое доказательство того усердия к королевской власти, которым так хвалились роялисты.

Если мы скажем, что прения шли о распоряжении, поразившем роялистов в самое сердце, то читателю останется очень небольшой выбор между разными предположениями о предмете такого распоряжения. Читатель без ошибки может сказать, что либералы и министерство коснулись или феодальных прав светской аристократии, или господства иезуитов над французским духовенством: ничто другое не могло бы довести роялистов до крайнего ожесточения. Действительно, дело шло об иезуитах. Комиссия, назначенная палатой, открыла, что иезуиты, господствуя под разными именами над университетским правлением, отважились уже без всякого прикрытия взять в свои руки восемь семинарий, назначенных для образования приходских священников. Между тем по закону орден иезуитов был изгнан из Франции с конца XVIII века, и законы, его уничтожавшие, не были отменены: сама конгрегация, руководившая Вильелем, не отваживалась формально восстановить орден и упорно отрицала его существование во Франции. Теперь палата потребовала действительного исполнения законов, уничтожавших иезуитский орден. Министры видели необходимость исполнить это всеобщее

желание французского общества, потому что никто не мог отрицать противозаконности допущения иезуитов во Францию. Министры убедили короля издать два повеления, которыми отнималось у иезуитов управление школами, открыто им отданными. Иезуиты не изгонялись из королевства, как следовало бы по закону: либералы, как видим, были очень уступчивы; они настаивали только на том, чтобы преподавание не дозволялось таким лицам, которые принадлежат к какому-нибудь из орденов, не допускаемых французскими законами. Мягкость либералов простиралась до того, что даже имя иезуитов не было упомянуто в королевских повелениях: министры ограничились деликатным обозначением их под формою общей фразы об орденах, не допускаемых законом.

Мало того, королевские повеления, отнимавшие управление над школами у иезуитов, назначили в пособие духовным семинариям 1 200 000 франков; казалось бы, такой подарок достаточно свидетельствовал об отсутствии нерасположения к духовенству в либералах. Прибавим, что министром духовных дел был назначен человек из духовного сословия. Но этот человек, аббат Фетрье, епископ Бовесский, не был иезуит, а король, хотя и со всевозможной мягкостью, решился отстранить иезуитов от преподавания. Этого было довольно для того, чтобы все роялисты поднимали ожесточенный крик против личности короля и королевской власти. Роялистские газеты объявили аббата Фетрье Юлианом-отступником, а Карла X — Нероном и Диоклетианом. Епископы собрались и обнародовали декларацию, отвергавшую права королевской власти и говорившую следующим образом: «Нижеподписавшиеся епископы в тайне святилища пред лицом всемогущего судии с мудростью и незлобием по словам божественного учителя рассматривали вопрос о том, что они обязаны воздавать кесарю и что обязаны воздавать богу. Совесть отвечала им, что лучше повиноваться богу, нежели людям, когда повиновение, которым они прежде всего обязаны богу, несовместимо с повиновением, требуемым у них людьми, и по примеру апостолов они говорят: «Non possumus, не можем повиноваться». Под этой декларацией подписались почти все французские епископы.

Повидимому, король был совершенно в своем праве, предписывая исполнить закон. Роялисты громко объявили, что не могут повиноваться королю, и решили напечатать декларацию епископов в числе ста тысяч экземпляров для раздачи во всех церквях королевства. Правительство принуждено было обратиться к папе; он объявил королевские повеления совершенно справедливыми. Тогда епископы должны были покориться по крайней мере формальным образом; но сопротивление роялистов воле короля не окончилось: с той поры одним из лозунгов роялистской партии становится непреклонная защита совершенной независимости преподавания от правительства. Наблюдение правительства за

преподаванием, заговорили роялисты, нарушает свободу совести; оно нарушает конституцию; оно составляет ужасное варварство. В течение тридцати лет, прошедших с того времени, роялисты ни на минуту не прекращали ожесточенных нападений на всякую власть, мешавшую иезуитам снова овладеть светским и духовным образованием.

Феодално-иезуитская партия скоро успела снова овладеть Карлом X, и король с нетерпением смотрел на министерство, не угождавшее всем ее требованиям. Обстоятельство, собственно истолкованное ошибочным образом, доставило роялистам случай убедить его в том, что он вовсе не нуждается в поддержке либералов.

Осенью 1828 года Карл X вздумал присутствовать при маневрах кавалерийского корпуса, собранного близ Люневилля. Восточные департаменты наиболее проникнуты либеральным духом. Масса французского населения была тогда убеждена, что Карл оставил свое прежнее нерасположение к либералам. В самом деле, домашние сношения его с предводителями роялистов оставались придворной тайной; напротив, при всех официальных случаях король был очень любезен с либералами; пожаловал даже орден Почетного Легиона одному из главных между ними, Казимиру Перье; министерство открыто опиралось на либеральную партию в палате. Обманутые этими наружными признаками, жители восточных департаментов с энтузиазмом встречали Карла во время его поездки, приветствуя в короле мнимого покровителя либеральной партии. Непроницательный Карл X совершенно обманулся в смысле приема, какой находил повсюду; он вообразил, что радостные приветствия свидетельствуют не об удовольствии народа от либеральных мер министерства, а просто о безотчетной привязанности нации к Бурбонам. Он возвратился из путешествия с преувеличенными понятиями о своем могуществе над умами французов и через несколько времени, повинувшись внушениям роялистов, решился заменить прежних министров другими, вполне выражавшими тенденцию самых опрометчивых роялистов. 8 августа 1829 года Мартиньяк и его товарищи были уволены, и власть вручена министерству, председателем которого явился князь Полиньяк, представитель партии, неумолимо-враждебной всем новым интересам и самым жарким образом кричавшей о необходимости восстановить старинные феодальные учреждения. Роялистские газеты во всеуслышание растолковали намерения нового кабинета; Франция увидела, что Карл X безвозвратно и безусловно сделал себя исполнителем реакционных желаний роялистской партии. С этой минуты политика партий отказывается от прежних колебаний между свободой и поддержкой правительства. Либералы становятся решительными противниками, роялисты — действительно приверженцами короля, согласившегося быть слепым орудием феодальной партии. Скоро



борьба из палаты депутатов переходит на улицу и кончается падением Бурбонов вместе с роялистами, увлекавшими их к гибели ради достижения целей, не имевших никакого интереса для самой династии и полезных только для феодалов.

Здесь перед последней катастрофой мы остановимся, чтобы, бросив общий взгляд на прошедшее время, точнее объяснить себе, какими отношениями была вызвана и решена эта катастрофа.

Три силы участвовали в подготовке насильственной развязки: королевская власть, либералы и роялисты; исход борьбы, ими начатой, был решен внезапным вмешательством четвертой силы, на которую до той поры никто не обращал внимания, никто не рассчитывал, — вмешательством народа.

Мы ставим совершенно различными силами короля и роялистов; точно так же мы совершенно различаем народ от либералов. Многие сливают обе побежденные силы в одно неразрывное целое, обе победившие силы также смешивают в одном понятии. После предыдущего очерка читатель, вероятно, согласится, что династия и роялисты, действуя заодно в последнем акте реставрации, вступали между собою только в союз, зависевший от временных обстоятельств, не имевший ничего неизбежного по существенным интересам той и другой силы, совершенно различным. Факты, которые представятся нам ниже, укажут, что и союз народов с либералами был явлением только временным. Будем же строго различать один от другого эти четыре элемента и, выставив сущность каждого из них в тогдашней Франции, покажем их взаимные отношения, под влиянием которых совершились июльские дни.

Начнем с королевской власти, направление которой решило ход событий. Монархическая власть может существовать в двух формах: самодержавной и конституционной. Все факты прошедшего говорят, что неограниченная форма монархии возникала из борьбы между аристократией и демократией, опираясь на демократию. В Греции тираны были предводителями демократов и получили свою власть низвержением аристократического устройства обществ. Императоры в Риме также вышли из предводителей демократической партии. То же было во всех новых государствах Западной Европы. Особенно резко выражается это в истории Франции. Вся сила королей была приобретена борьбой против феодалов, в которой короли опирались на массу народа. Людовик XI и Ришелье, наиболее содействовавшие утверждению самодержавия во Франции, оба ненавидели аристократов не меньше, чем Робеспьер, и казнили их с такой же беспощадностью. Сам Людовик XIV, пока еще сохранял умственные силы, держал аристократов под очень суровым ярмом. Подобное явление продолжается до сих пор в тех государствах Западной Европы, где сохраняется монархия свободной от конституции. Австрия побе-

дила конституционные стремления только тем, что в 1848—1849 годах была поддержана демократическими славянами своих восточных областей против аристократических венгров, составлявших главную силу конституционной партии. Этот факт очень знаменателен. Сербь, кроаты, словаки были демократами вдвойне: и по внутреннему своему устройству, и по своему отношению к венграм. У них нет в самых их племенах аристократического элемента; с тем вместе все их племена в общей массе были подчинены венгерскому племени, как будто низшее сословие высшему. Точно так же и венгры были вдвойне аристократами: внутри их племени владычествовали аристократические учреждения и предания, а все племя в целом составляло аристократию венгерского королевства среди подчиненных славянских племен. Таких фактов, когда абсолютизм австрийский торжествовал над своими внутренними врагами только силою низших сословий, бесчисленное множество в его истории. Припомним еще только два случая. Когда галицийские аристократы стали страшны, Вена дала некоторый простор русинскому простонародью, и радикальное движение 1846 года возвратило ей абсолютную власть над Галицией. Через два года Кудлич на венском сейме отвергал всякое примирение своего сословия с тем классом, который всего сильнее поддерживал конституционное стремление. С другой стороны, история конституционных правительств показывает, что они держались преимущественно силою аристократии. Классический пример тому представляет Англия. В самом деле, логическая необходимость приводит к восстанию против неограниченной формы сословие богатых и могущественных фамилий. Они находят обеспечение своей громадной собственности и своему личному достоинству только тогда, когда достигают независимого управления государственными делами. Неограниченная власть монарха представляется для них силой, которая может лишить каждую фамилию ее богатств, может изменить и общественное положение всего их сословия. Притом же неограниченная монархия всегда управляла государством посредством бюрократии, подрывающей все основы аристократического устройства.

Таким образом, если бы Бурбоны во время реставрации заботились о выгодах своей власти, они нашли бы самым выгодным для себя делом поддерживать народ против аристократии. Это стремление возвысило бы их над обеими боровавшимися партиями, которые обе были ограничены узким кругом аристократических понятий. Доказывать аристократизм роялистов нет нужды. Но должно привести хотя два-три факта, которые показали бы ту же тенденцию и в либерализме времен реставрации. Первым и самым ясным признаком аристократических тенденций может служить симпатия либералов к английскому устройству, в котором и до сих пор преобладает, а тогда исключительно владычествовала аристократия. Знаменитейшими учителями либералов

были Монтескьё и Бенжамен Констан. «Дух законов» Монтескьё, служивший настольной книгой для либералов, с первой строки до последней внушил безграничным удивлением к английскому государственному устройству. Бенжамен Констан, преемник Монтескьё в деле теоретического образования либеральной партии, также почти все свои мысли заимствовал у англичан. Даже второстепенные наставники либералов, как, например, Ройе-Коляр, были все проникнуты тем же духом, которого и до сих пор держатся представители французской либеральной партии в строгом смысле слова от Ремюза и Дювержье де-Горанна до Гизо. Иначе быть не могло уже по одному общественному положению либералов. Масса этой партии состояла из людей богатых или по крайней мере очень зажиточных. Они были совершенно довольны прежним (1817—1820 гг.) избирательным цензом в 300 франков прямых податей; при таком цензе большинство людей их партии уже делалось избирателями, а этот ценз предполагает капитал не менее 60 000 франков. Либеральные газеты очень часто прямым образом высказывали свое отвращение от мысли опираться на низшие классы. Приведем один пример из того времени, когда уже предвиделась близость решительной битвы, когда либералы старались собрать все свои силы и дорожили каждым союзником: даже и в то время они резко отвергали призыв народа к участию в политических делах. За два или за три дня до объявления войны знаменитыми июльскими повелениями один из роялистских журналов, смеясь над стремлением либералов доставить власть торговому сословию, говорил: «Либералы не хотят ни владычества солдат, ни владычества мужиков; они хотят владычества купцов. Но чем же мужики хуже купцов? Пусть либералы подумают, что против купцов можно поставить мужиков». Угроза была, конечно, далека от исполнения; роялисты, уверенные в своих силах, не имели еще серьезной мысли обратиться за помощью к поселянам; но в их журналах уже довольно часто являлись тогда намеки о возможности подобной политики. Они уже говорили, что если либералы недовольны тогдашним (1820—1830 гг.) избирательным цензом в 1 000 франков, то можно вместо понижения ценза совершенно отменить его и предоставить право голоса каждому французу, без различия состояния. Таким образом уже намекалось на политику, следовать которой начали роялисты после 1830 года, когда их лозунгом сделался *suffrage universel*. Теперь, пока угроза не была еще серьезна, либералы могли бы оставить ее без ответа, если бы сколько-нибудь колебались обнаружить свои чувства к низшим сословиям. Но они никогда не хотели пользоваться содействием престолярства и потому, не колеблясь, принимали вызов роялистов высказаться об этом предмете. Вот что отвечал роялистам «National», бывший тогда представителем крайнего либерализма между большими газетами: «Газета, совершенно

сочувствующая министерству, говорит нам: «Не хотят ни штыков, ни деревянных башмаков, хотят торговых свидетельств. Чем же торговые свидетельства лучше деревянных башмаков? Советуем подумать об этом». Эта черта еще лучше истории оратора угольщика (об этой истории мы должны будем упомянуть после) характеризует отчаянное положение наших реакционеров. Они стали в противоречие с общественным мнением страны, не могут жить в согласии ни с палатами, законными представительницами страны, ни с газетами, столь же законными ее представительницами, ни с независимыми судебными властями, подчиненными одному закону; разумеется, после этого нужно им искать нацию вне той нации, которая читает газеты, которая интересуется прениями палат, которая располагает капиталами, управляет промышленностью и владеет землей; им надобно спуститься до низших слоев населения, где уже не встречается общественного мнения, где едва ли находится какой-нибудь политический смысл, где копошатся тысячи существ, добрых, прямых, простодушных, но легко обманываемых и ожесточаемых, живущих со дня на день, проводящих каждый час своей жизни в борьбе с нуждой, не имеющих ни времени, ни физического и умственного отдыха, необходимого, чтобы хотя иногда подумать о политических делах. Вот нация, которою окружить престол хотели бы некоторые из наших реакционеров. В самом деле, кто отвергает законы, тот должен броситься в объятия черни». Такой язык был обычным у либералов, когда заходила речь о простом народе. Он достаточно свидетельствует, похожи ли были сколько-нибудь либералы на демагогов. Отношение между ними и роялистами было таково же, как между вигами и тори в Англии. Обе враждовавшие партии отвращались не только демагогии, но и всякого демократизма; разница между ними была лишь в том, что одна партия была более исключительна в своем аристократизме, чем другая; одна хотела исключительной аристократии богатых землевладельцев из старинных фамилий, как тори в Англии; другая, подобно вигам, опиралась на промышленные интересы и, понимая невозможность аристократии в смысле XVII века, расширяла круг этого понятия на все сословие, пользующееся фактическим перевесом в народной жизни. Одна партия хотела возвратить власть над народом сословию, некогда господствовавшему, но утратившему свою силу вследствие революции; другая хотела сохранить преобладание настоящих властелинов общественной жизни; но та и другая одинаково хотела подчинения народа немногочисленному сословию.

При таких обстоятельствах какой путь был самым выгодным для королевской власти? На какую из трех существовавших во Франции сил должна она была опираться: на массу народа, на либералов или роялистов? Здравый смысл указывал на союз с народом, как на самую выгодную политику. Народ в то время

еще не думал о политических правах; забота о его материальном благосостоянии была бы совершенно достаточной приманкой для приобретения его преданности Бурбонам. Если Бурбонам были противны конституция и свобода книгопечатания, они только в народе нашли бы союзника, не требовавшего этих вещей. Не имея ни в роялистах, ни в либералах покровителей себе, оставаясь совершенно беспомощным, народ очень дешево продал бы свой союз. Чтобы купить его любовь, довольно было одной той политики, которой следует каждое дельное правительство и в самодержавных, и в конституционных, и в республиканских государствах, довольно было заботы о возвышении благосостояния в низших классах, от которого, как известно, зависят и увеличение государственных доходов, и внешнее могущество государства. Требуя наименее жертвований, союз династии с народом приносил и наиболее выгод. В ежедневных мелких делах общественной жизни влияние народа чувствуется мало. Не только в самодержавных государствах, но и в Англии и в Соединенных Штатах правительство может издавать множество законов и распоряжений, независимо от народного желания или участия, встречая одобрение или осуждение только в партиях высшего и среднего сословий. Но какова бы ни была государственная политика, она всегда, удовлетворяя одной части этих сословий, возбуждает неудовольствие в другой, по неизбежной противоположности различных общественных интересов и теорий. Таким образом политическая жизнь всегда является тяжбой некоторой части образованных сословий против другой части тех же сословий и против правительства, проводящего интересы этой части. Известно, что тяжба оканчивается в первой инстанции только тогда, когда предмет ее ничтожен: когда же проигрыш одной стороны и выигрыш другой значителен, за решением первой инстанции неизбежно следует апелляция как в частном, так и в государственном процессе. Пока недовольная политикой правительства часть образованных сословий не видит никаких важных мер или не убедилась в непреклонности направления со стороны другой части, пользующейся силою правительства, процесс остается, так сказать, в первой инстанции, ограничиваясь словами и бумагой. Но неизбежно идет это дело к дальнейшему развитию, при котором первоначальные средства ведения тяжбы представляются для проигрывающих уже неудовлетворительными, и должна быть призвана в помощь высшая сила. В государственном процессе после первой инстанции, после слова и бумаги этой высшей инстанцией представляется фактическое, физическое могущество, лежащее во всей целости населения. Таким образом коренное основание всех государственных отношений заключается в расположении населения, как при частных отношениях оно заключается в законе. Я, частный человек, удерживаю свои права только тем, что при всяком важном столкновении указываю на



закон. В государственном процессе ту же роль играет население, и в сущности все основано на предполагаемой вероятности образа его действий в пользу той или другой стороны.

Таким образом и Бурбоны могли оставаться совершенно спокойными за свою власть, если бы надеялись, что сила, на апелляцию к которой переносится дело, объявит себя в их пользу при случае апелляции. Если бы население было за них, они могли [бы] с равнодушной улыбкой смотреть на борьбу парламентских партий, пока им хотелось смотреть на нее, и могли бы легко сокрушить ту или другую партию или и обе партии разом, когда бы им то вздумалось; но к своему несчастью они вовсе не думали сделаться покровителями народных интересов. Чем объяснить эту гибельную ошибку? Как могли они лишиться себя союза, возможного за столь дешевую цену и ограждавшего их от всяких опасностей? На этот вопрос само собою найдется ответ после, когда рассмотрим отношения и интересы двух других общественных сил, либерализма и роялизма, а теперь, занимаясь соображением о том, какие союзы наиболее выгодны были для королевской власти, мы должны поочередно рассмотреть отношения интересов ее к двум другим силам тогдашней Франции, к роялизму и либерализму.

Отвергнув наивыгоднейший для себя союз, оставив народ в пренебрежении, династия могла еще избирать между двумя партиями, на которые разделялись средний и высший классы. Содействие той и другой партии одинаково не могло быть приобретено иначе как подчинением правительства конституционному порядку. Относительно либералов, вообще известных за приверженцев конституции, неизбежность этой уступки не нуждается в доказательствах; нам кажется, что читатель видел ту же самую необходимость относительно роялистской партии, которая обманывала многих своим именем, говорящим о какой-то особенной преданности престолу.

Мы говорили о вражде роялистов к тем королям, которые не поддавались безусловно их требованиям, говорили, что они интриговали для отнятия жизни у Людовика XVI, преследовали Людовика XVIII, что задушевной их мыслью было заставить его отказаться от престола. Во все те периоды, когда роялисты не располагали безусловно правительственной властью (при министерствах Ришелье, Деказа и Мартиньяка), они энергически требовали уменьшения правительственных прав. Когда же они располагали правительственной властью (при министерстве Вильеля), они пользовались ею исключительно для доставления денежного и политического могущества прежним феодальным классам, но не издали ни одного закона, которым увеличивались бы права короля. Избирательный ценз в 1 000 франков, восстановление майоратств, выдача миллиарда франков эмигрантам — все эти меры были выгодны исключительно только старинным аристократическим фамилиям, не имея



ровно никакой связи с интересами королевской власти. Наконец, когда роялисты склонили Карла X на издание знаменитых июльских повелений, они опять имели в виду только выгоды феодальной партии, и перемены, вводимые этой экстренной мерой в устройстве Франции, не приносили никакой выгоды королевской власти. Одно из этих повелений изменяло способ выборов в палату депутатов так, чтобы богатые землевладельцы без всяких соперников посылали в палату своих партизанов. Палата состояла бы исключительно из роялистов — для них, разумеется, это было очень приятно. Но что выигрывала королевская власть? Изменялись ли отношения палаты к ней? Сущность конституционного правления состоит в том, что король ничего не может делать без согласия министров, а министрами назначаются те люди, которых желает большинство палаты, низвергающее их, как скоро становится недовольно ими, — изменялся ли скольнибудь этот порядок? Ограничивалось ли влияние палаты депутатов на министерство, от имени короля управляющее государством согласно воле не короля, а палаты? Нимало. Палата продолжала быть источником и властителем правительства, король попрежнему оставался в зависимости от ее желаний. Другое повеление восстанавливало цензуру для газет и ставило их в совершенную зависимость от министерства. Тут опять очевидно выигрывали роялисты: первое повеление отдавало в их руки палату депутатов и министерство, потому они через министерство владычествовали бы над газетами. Не приобретая власти над министерством, король не приобретал ничего через расширение министерского господства над газетами. Не служа к увеличению его власти, цензура с тем вместе вовсе и не нужна была для ограждения его прав или его личного достоинства: газеты и без цензуры не могли и не имели охоты восставать против его личности и его прав. Не могли, потому что он был огражден от их нападений особенными законами, существовавшими прежде. Не имели охоты, потому что полемика в газетах, подобно прениям в палатах, относилась вовсе не к лицу или правам короля — он был выше прений и полемики, — а только к министерству, налагаемому на короля не его волею, а волею палаты депутатов, и к мнениям партий, которые, повторяем, спорили между собою вовсе не об интересах короля, а о своих собственных интересах, не имевших никакой связи с интересами династии. Королю цензура была не нужна, и ее восстановление не увеличивало его прав. Прочитав июльские повеления, погубившие Бурбонов, каждый убедится, что король не мог для себя извлечь из них никакой выгоды и что роялисты, заставляя его делать опасную для престола попытку, имели в виду единственно свою пользу. Вообще, как мы сказали, если залогом союза короля с либералами могло быть только конституционное устройство, то роя-

листы никогда не думали уступать большей ему власти: они были в этом отношении требовательны никак не менее либералов.

Напротив, они были более требовательны. Союзник вообще показывает себя тем уступчивее, чем более убежден, что наше доброе расположение к нему зависело совершенно от нашей воли; он тем менее ценит нашу дружбу, чем сильнее убежден, что мы не можем сблизиться с его врагами, как бы ни держал он себя относительно нас. Роялисты были уверены, что Бурбоны никак не вздумают серьезно отказаться от покровительства, то есть в сущности от служения их партии; они считали себя имеющими как бы приращенное право на королевское благо-расположение, потому очень равнодушно принимали все, что делали для них Бурбоны, и чрезвычайно обидчиво сердились на династию за малейшее невнимание к их желаниям. Они воображали себя как будто благодетелями Бурбонов, смотрели на них, будто на своих неоплатных должников, обязанных быть предупредительными, любезными до подобострастия к их партии вообще и к каждому из них в особенности. Совсем иное было положение либералов. Они видели, что Бурбоны имеют гораздо больше склонности к роялистам, нежели к ним, потому принимали за чрезвычайную уступку, за достойное самой выпяченной благодарности самоотречение каждую малейшую — хотя бы даже только видимую — снисходительность Бурбонов к либеральной партии. Роялисты держали себя в Тюильри домашними людьми, очень бесцеремонными товарищами хозяина, с которым шепетливо считались каждым сколько-нибудь неприятным для них словом. Но стоило королю сказать при каком-нибудь официальном приеме хотя одно мягкое слово либералу, и вся либеральная партия приходила в восторг. Давая королю медные гроши, роялисты требовали взамен золотых монет; либералы готовы были безвозмездно принести в жертву и себя и все свои богатства, лишь бы только он согласился принять их \*. Конечно, либералы

\* Нет надобности напоминать читателю, что мы говорим о массе либеральной партии, о собственно так называемых либералах. Из 221 либералов, вотировавших знаменитый адрес 1829 года (о котором будем говорить ниже), было пять или шесть человек, имевших другие чувства, но эти люди исчезали в массе, на которую вовсе не имели влияния. Орлеанская партия до 1830 года не смела и думать о близком исполнении своих желаний и была чрезвычайно малочисленна, — к Лафиту примкнуло несколько депутатов только уже вследствие июльских событий, да и то по невозможности найти иное спасение своим монархическим убеждениям, кроме возведения на престол принца Орлеанского. Республиканцев до 1830 года было во всей Франции всего несколько человек, да и те даже среди июльского торжества инсургентов не считали возможным учреждение республики во Франции, — республика представлялась для них отвлеченным и дальним идеалом вроде того, как какому-нибудь китайцу ныне может представляться обращение Китая в европейское государство, чего, конечно, ни один рассудительный человек в Китае не может ожидать видеть при своей жизни. Надобно строго различать теоретические убеждения от стремлений, питаемых человеком относительно практической жизни настоящего вре-

жаловались на Бурбонов, но их жалобы имели тон отвергаемой дружбы. Либералы желали не падения Бурбонов, а только обращения их к либерализму для их собственной выгоды. До такой степени чуждалась либеральная партия мыслей, враждебных интересам династии, что не хотела верить падению Бурбонов даже тогда, когда оно было уже решено битвою на парижских улицах, и если в ком еще остается сомнение об искренней преданности либералов Бурбонам, последние остатки недоверия будут рассеяны рассказом о том, как держали себя либералы в продолжение переворота, против желания либеральной партии произведенного парижским населением.

Союз с либералами должен был бы казаться Бурбонам приятнее дружбы с роялистами, потому что либералы были меньше требовательны, нежели роялисты. С тем вместе он был бы и гораздо важнее для прочности династии. Конечно, ни роялисты, ни либералы не составляли массу населения во Франции; мы уже говорили много раз, что если бы династия опиралась на народ, она могла бы господствовать над обеими партиями, из которых каждая оставалась бы в таком случае гораздо слабее династии. Но мы также говорили, что династия не озаботилась привлечь к себе массу населения заботами о ее выгодах, и народ, никем не призываемый к участию в делах, не налагал еще свою тяжелую руку ни на одну из двух чашек весов политического могущества. На политической арене были только либералы и роялисты. Которая же из двух партий сильнее? В этом не могло быть никакого сомнения. В руках либералов была вся торговля, вся промышленность Франции, они владычествовали на бирже; они располагали кредитом. От Лафита, богатейшего банкира тогдашней Франции, до последнего лавочника или хозяина какой-нибудь маленькой мастерской все буржуа были проникнуты либерализмом. На стороне роялистов была только большая поземельная собственность; но если каждый роялистский землевладелец в отдельности был богаче либерала-землевладельца, владевшего имением средней величины, то массе либералов даже и из поземельной собственности принадлежала часть более значительная, нежели массе роялистов, потому что при раздробленности имений вследствие революционных продаж участки средней величины занимали более значительное пространство территории, нежели огромные поместья, уцелевшие от феодальных времен.

Сами по себе либералы были сильнее роялистов; но еще гораздо выгоднее был для династии союз с ними потому, что он обеспечивал бы их от всякой опасности со стороны массы насе-

мени, определяемых надеждою на возможность. Теоретически каждый из нас скажет, что лучше было каждому без исключения русскому молодому поколению учиться в университете, — на практике мы восхищались бы уже и тем, если бы найдена была возможность хотя одному из десяти наших молодых соотечественников кончать курс в уездном училище.

ления. Это соображение было так просто, что не могло бы ускользнуть ни от одного из друзей династии, если бы они хотя сколько-нибудь знали чувства народа. К сожалению, из людей, близких к Бурбонам, не было ни одного, знающего народ, а были очень многие без всякого понятия о чувствах народа, питавшие к нему недоверие и передавшие это недоверие Бурбонам. По странному сочетанию противоречащих идей в одной и той же голове, сочетанию, которое так часто встречается в жизни, эти люди и сами Бурбоны, не заботясь об удовлетворении народных желаний и нужд, не заботясь даже о том, чтобы хотя сколько-нибудь ознакомиться с ними, питая ужас к каждому движению народа, лелеяли себя уверенностью, что и без всяких посредничеств масса населения проникнута непоколебимой преданностью к Бурбонам.

Мы видели, какой политики требовали со стороны Бурбонов их собственные выгоды и как не нужен, как противен истинному положению их интересов был их союз с роялистами; чтобы еще яснее убедиться в этом, нам должно теперь посмотреть на взаимные отношения общественных сил, спустившись на низшую ступень общественной лестницы, которую мы обозревали с вершины ее. Изложив интересы королевской династии, мы теперь попробуем изложить чувства и интересы массы населения.

Она, как мы говорили, не принадлежала собственно ни к роялистам, ни к либералам. Необходимость слишком тяжелого и продолжительного физического труда для скудного поддержания жизни не оставляла ей в период реставрации во Франции, как до сих пор не оставляла нигде и никогда в новой Европе, времени для постоянного занятия государственными делами. Не имея ни навыка к тому, ни образования, нужного для того, чтобы составить себе систему политических убеждений, народ обыкновенно даже не хотел присматриваться к вещам, которые делаются и в административных сферах. Но эта масса, обыкновенно остающаяся неподвижной в политическом волнении, играющем на поверхности национальной жизни, не лишена совсем преданий и чувств, которые приводят ее в движение, когда затрагиваются.

Во французском народе самым живым преданием было воспоминание о национальной славе, какой блистала Франция при Наполеоне. Под этим воспоминанием таилось еще более сильное чувство привязанности к новому гражданскому устройству и ненависти к старинным феодальным правам, разрушенным революцией. Народ дорожил новыми учреждениями потому, что они улучшили его материальное положение сравнительно с той судьбой, какую имел он в прежние времена. Но, с другой стороны, улучшение, хотя и очень чувствительное, не было так велико, чтобы масса народа была очень довольна своим настоящим.

По сущности своих понятий народ не имел сознательного

предпочтения к той или другой политической системе. Конституцию или, как тогда называли, «Хартию» (la Charte) он едва знал по имени, не связывая никакого смысла с этим словом. Да и самое слово далеко не каждому городскому работнику было известно, — о поселянах нечего и говорить; о том, что он нисколько не дорожил этим словом, излишне и упоминать.

Королевская власть, говорили мы, очень легко могла привлечь народ на свою сторону покровительством его материальному благосостоянию; но она не позаботилась об этом. Однакоже, когда король являлся в провинциях или присутствовал на торжественных церемониях в Париже, толпы народа теснились на дороге и приветствовали его радостными криками. Это происходило не более, как от наивного уважения простых людей к внешнему блеску, но перетолковывалось придворными как свидетельство глубокой привязанности народа к династии. Такое ошибочное понимание дела погубило Бурбонов, ободрив Карла X riskнуть на решительную битву изданием июльских повелений. Но во всяком случае хорошие встречи, какими обыкновенно приветствовал народ короля, доказывали, что масса народа даже в начале 1830 года еще не была решительно враждебна к Бурбонам.

Напротив, она была всегда враждебна к роялистам, не потому, чтобы считала их врагами конституции, о которой сама она не заботилась, а потому, что они были эмигранты, потомки прежних феодалов; народ предполагал в них желание восстановить старинное феодальное устройство, вспоминал, что они сражались против Франции.

Тем самым, что боролись против роялистов, либералы приобретали в народе некоторую популярность, хотя очень мало заслуживали ее. Надобно перечитать прения палат, надобно перечитать сочинения либералов времен Реставрации, чтобы постичь всю невероятную беззаботность их о выгодах массы населения. Они забывали о народе, подобно Бурбонам и роялистам; а когда и случалось им говорить от имени низших классов, они почти постоянно употребляли его имя понапрасну, не умея выразить желаний, понять нужд простонародья. В программе либералов не было ни одной фразы, которая касалась бы средств или по крайней мере выражала бы желание улучшить положение низших классов. Доказательством тому может служить каждое из их знаменитых прений в палате депутатов, каждая из их знаменитых битв на поприще журналистики, каждый их политический манифест. Повсюду провозглашаются отвлеченные политические теории, имеющие занимательность только для зажиточных и образованных людей, нигде ни одной фразы о реформах, которыми непосредственно улучшался бы простонародный быт. В пример сошлемся на один из этих актов, могущий быть самым поразительным подтверждением нашего суждения. Когда войска были принуждены выступить из Парижа, когда либералы спешили



восстановить королевскую власть перенесением ее на герцога Орлеанского, чтобы не дать времени возникнуть в вооруженной массе простонародья требованию республиканской формы, либеральные члены палаты депутатов издали прокламацию, в которой совместили все надежды и желания, способные, по их мнению, увлечь победоносных парижан на сторону вновь учреждаемого правительства. Парижское простонародье безусловно владычествовало тогда над судьбой Парижа и Франции, — либеральные депутаты, конечно, в эту минуту старались по необходимости самым ярким образом высказать все, что в их намерениях могло быть приятно простонародью. Каков же план их правительственной системы? Какие улучшения они обещают народу? Обещаний очень много, и они вот какого рода: верность конституционным началам; восстановление национальной гвардии, избирающей своих офицеров, — она будет охранять конституцию; назначение городских и областных чиновников по выбору; суд присяжных по обвинениям против газет со стороны правительства; точное определение ответственности министров перед палатой депутатов; отменение произвола правительства над судьбою офицеров; ограничение средств для министра к подкупу депутатов повышением в должностях.

Как? Только-то? Да, только. Для неверящих мы сообщим самый текст прокламации, — пусть они увидят, что мы не пропустили ни одного обещания \*. Какую же выгоду получил бы народ, если бы даже все эти обещания были исполнены? Разберем их пункт за пунктом. «При герцоге Орлеанском будет строго

---

\* Вот текст прокламации к народу, изданной палатой депутатов 31 июля:

«Французы, Франция свободна. Деспотизм поднимал свое знамя. Героическое население Парижа низвергло его. Вызванный нападением на битву, Париж доставил своим оружием торжество священному делу, которое тщетно торжествовало на выборах. Власть, отнимавшая наши права, возмущавшая наше спокойствие, угрожала и свободе, и порядку. Мы снова приобретаем и порядок, и спокойствие. Нет уже опасности для прав, приобретенных прежде; нет уже преграды между нами и правами, которые еще остается нам приобрести.

Правительство, которое немедленно обеспечило бы нам эти блага, составляет первую потребность отечества. Французы, те из ваших депутатов, которые находятся в Париже, собрались и в ожидании правильного действия палат пригласили француза, который сражался только за Францию, а не против нее, герцога Орлеанского, к принятию на себя обязанностей наместника королевства. Они видят в этом средство водворением мира довершить торжество справедливейшего самоотвержения.

Герцог Орлеанский предан национальному и конституционному интересу. Он всегда защищал его дело и исповедывал его принципы. Он будет уважать наши права, потому что получит от нас свои права. Мы дадим себе законами прочные гарантии, необходимые для утверждения непоколебимой свободы:

Восстановление национальной гвардии с участием граждан, ее составляющих, в избрании ее офицеров;

Участие граждан в составлении муниципального и департаментского управления;



«соблюдаться конституция» — очень приятно будет это образованным классам, обеспеченным в своем существовании; но мы уже много раз говорили, что все конституционные приятности имеют очень мало цены для человека, не имеющего ни физических средств, ни умственного развития для этих десертов политического рода. «Будет восстановлена национальная гвардия» —

Суд присяжных для процессов газет и книг;  
Законное определение ответственности министров и второстепенных агентов управления;

Законное упрочение положения военных;

Новые выборы для депутатов, получивших должность от правительства.

По согласию с главою государства мы дадим нашим учреждениям развитие, в котором они нуждаются.

Французы, герцог Орлеанский сам уже высказался языком, приличным свободной стране. Он говорит, что палаты соберутся немедленно. Они примут меры для упрочения царства законов и ограждения прав нации.

Конституция отныне будет истиною.

Мы привели этот документ между прочим и потому, что он написан Гизо и был первым актом нового периода его политической жизни, когда он является уже одним из важнейших государственных людей Франции.

В комиссии, назначенной для составления прокламации, кроме Гизо и Вильмена, представителей умеренного оттенка либеральной партии, находились Бенжамен-Констан и Берар, принадлежавшие к самым требовательным либералам. Таким образом, прокламация, вышедшая из совещаний комиссии, может считаться самым верным выражением политической программы целой либеральной партии.

Прокламацию герцога Орлеанского, на которую ссылается прокламация депутатов, по-настоящему не стоило бы и приводить, потому что в ней не заключается ничего, кроме общих фраз с неосновательной похвалой герцога самому себе за мужество, которого он не оказывал. Однако приведем и ее, чтобы читатель видел совершенную пустоту этого документа, также решавшего судьбу Франции.

«Жители Парижа!

Депутаты Франции, ныне собравшиеся в Париже, выразили желание, чтобы я прибыл в столицу для исполнения обязанностей наместника королевства.

Не колеблясь, явился я разделять ваши опасности, стал среди героического населения, чтобы употребить все мои силы для предотвращения междоусобной войны и анархии. Вступая в Париж, я с гордостью надел славную трехцветную кокарду, которую восстановили вы и которую долго носил сам я.

Палаты скоро соберутся; они примут меры для упрочения царства законов и ограждения прав нации.

Конституция отныне будет истиною.

Людовик-Филипп Орлеанский».

Мы приведем также программу самой крайней из партий, игравших заметную роль в июльские дни. Составители этой программы, которая осталась недействительной, потому что показалась всем благоразумным людям слишком уже отважной, были не просто либералы, а республиканцы, то есть горсть людей, ушедших неизмеримо далеко вперед от либералов. Но что же и эта программа обещала собственно для народа? Ровно ничего дельного не обещала она, — вот ее текст, слишком оправдывающий наше грустное суждение:

«Франция свободна.

Она хочет конституции.

в скобках надобно читать: с довольно дорогим мундиром, который удалит от участия в ней простолюдина, — это будет удовольствие, предоставленное людям, могущим тратить деньги на маскарадные костюмы. Но хотя бы и без дорогого мундира — что за радость ходить в караул и на смотры человеку, у которого недостает времени для отдыха после 14 часов работы в сутки? Это право напоминает рассказ старика у г. Печерского о том, как Ваське дали «особенные права». «Выборная администрация» — известно, как дорожит простонародье правом выборов. «Изъятие газет от произвола министров» — но простонародье не читает газет по своему безденежью и безграмотности, какое ему дело до

Она дает временному правительству только право призвать ее к установлению формы правления.

В ожидании того, пока она выразит свою волю новыми выборами, уважение к следующим принципам:

Отменение монархической власти;

Управление государства исключительно людьми, получающими власть от избрания нации;

Вручение исполнительной власти президенту, избираемому на время;

Прямое или косвенное участие всех граждан в избрании депутатов;

Свобода исповеданий; отмена привилегий, даваемых государством одному исповеданию перед всеми другими;

Ограждение армейских и флотских офицеров от произвольного удаления министрами в отставку;

Учреждение национальной гвардии по всему пространству Франции; этой гвардии вверяется охранение конституции;

За эти принципы мы жертвовали жизнью; в случае нужды мы будем поддерживать их законным сопротивлением с оружием в руках.

Как видим, эта программа отличается от прокламации депутатов тремя существенными пунктами: требованием республиканской формы, требованием уничтожения палаты наследственных пэров (оно заключается в выражении: управление государства исключительно людьми, получающими власть от избрания нации), наконец требованием предоставления избирательных прав всему населению Франции (*Suffrage universel*), а не одним более или менее зажиточным людям.

Спрашиваем теперь: какое из этих требований имеет целью существенное улучшение простонародного быта? Чем легче простому народу становится платеж податей, отправление военной повинности, чем улучшаются его отношения к землевладельцам и хозяевам фабрик от замещения слова «король» словом «президент» и тому подобных чисто отвлеченных реформ государственного устройства?

Позднее программа республиканцев была не такова. Они рубили не об одних пустых словах, имеющих смысл для праздных политических споров, — они требовали также: уничтожения обременительных для простонародья налогов на соль, вино и другие жизненные потребности, вообще изменения системы податей для облегчения простонародья; уменьшения армии и изменения системы конскрипции (сокращение срока службы, отмена увольнений от личной службы поставкою наемщика и проч.); они требовали реформы гражданских законов, невыгодных для простолюдина; требовали, чтобы образование сделалось доступным для всех состояний. Надобно, впрочем, прибавить, что все эти требования в 1848 году оказались пустыми словами, — республиканцы не умели совершить ни одной из реформ, обещавших улучшение народного быта по их программе.

независимости журналистики и свободы прений? «Ограждение офицеров от такого же произвола» — об этом нечего говорить. Затем следует ограждение непреклонных убеждений либеральных депутатов от искушения быть подкупленными, и перечисление всех этих благ кончается комплиментами принцу Орлеанскому, — о народе и его судьбе, как видим, действительно нет ни слова. Как нет? Мы позабыли: ведь прокламация начинается комплиментами мужеству парижан, — либералам, как видим, не была известна русская поговорка: «соловья баснями не кормят»; это бы еще ничего, но жаль, что и народ не знал этой поговорки, — иначе с какой стати было бы ему умирать на баррикадах, когда вся награда ему за битву должна была ограничиться комплиментами его мужеству?

Либералы совершенно ничего не делали и не хотели делать для народа; но тем не менее независимо от их собственной воли образовались отношения, которые в случае надобности обеспечивали им содействие народа, — мы старались показать, что эта готовность массы стать за либералов была ими не заслужена, далее мы увидим, что они даже не умели предчувствовать ее, но она существовала.

Самым сильным и самым общим основанием ее было то, что либералы боролись против партии, подозреваемой народом в стремлении восстановить прежний порядок дел и за то ненавистной народу. «Враг наших врагов — друг нам» — это заключение слишком часто ведет к самым горьким разочарованиям; очень часто случается людям, руководясь им, попадать из Сциллы в Харибду, или по русской поговорке — «из огня в полымя»; но тем не менее редко успевают беречь себя от него даже такие опытные в политических делах, такие осторожные и недоверчивые люди, как дипломаты. Что же удивительного, если простой народ мало-помалу поддался этой мысли? Феодалы нападали на новые учреждения, дорогие народу; либералы защищали эти учреждения, — чего же больше? Масса стала доверчива к ним. Правда, защищались эти учреждения либералами вовсе не в том духе, не с теми целями, с какими вводились; смысл одних и тех же слов не был в 1820-тых годах таков, каков был тридцать, сорок лет тому назад. Но где же было народу разбирать такие тонкости? Не у него одного, и у большинства людей образованных сильнейший элемент в умственной жизни — рутина; народ привык любить известные слова и не мог не иметь симпатии к защищавшим эти слова.

Кроме этого общего основания, было другое, более частное, но во многом с ним сходное и почти столь же сильное. Нападая на новые учреждения, реакционеры позорили и все правительства, существовавшие на этих началах, в том числе они беспощадно бранили Наполеона. Либералы сами были не очень расположены к Наполеону — и в 1814 и в 1815 годах оба раза их

нерасположение сильно содействовало падению его. Но роялисты заходили в своей ненависти уже слишком далеко, — либералы, разгорячаемые постоянным спором с ними о всем на свете, принялись пылко защищать и Наполеона. А для народа Наполеон и трехцветное знамя империи были символами славы Франции, побед ее. Либералы явились народу защитниками национальной славы. Это было тем неизбежнее, что роялисты с принцем Конде сражались в рядах коалиционных армий против Франции — как же было либералам не нападать на измену родине, когда изменниками были их враги?

Наконец очень важную роль во всем деле, кончившемся июльскими днями, играл Беранже. Едва ли кто имел такое сильное влияние на исход тогдашних событий, как он. Его песни действительно были любимы народом. Он ненавидел Бурбонов, и народ постепенно привыкал к чувству, которое внушал ему певец его лишений, его надежд. А Беранже ненавидел Бурбонов за то, что они были орудием реакционеров.

Наши рассуждения вышли очень длинные, и нам пора было бы их кончить. Но прежде, чем возвратимся к рассказу о ходе событий, мы хотим оправдаться перед читателем в упреке, которого не только ожидаем, но даже желали бы. Вероятно, не за одну длину упрекнул наше длинное изложение возможного и разумного, — читатель скажет также, что оно лишено всякого реального основания. Мы говорим, что легче и выгоднее всего был бы для Бурбонов союз прямо с народом мимо всяких союзов с либералами или роялистами, но что когда уже не захотели Бурбоны этого союза, натуральнее всего было бы им, если бы только они понимали свои выгоды, соединиться с либералами; что все разумные соображения о собственных интересах, о собственном спокойствии, не говоря уже о славе, должны были сделать Бурбонов покровителями либералов. Все это так, скажет читатель, но рассуждать о подобных вещах — значит то же самое, что доказывать выгодность течения Волги с юго-востока на северо-запад, от Камышина к городу Либаве: вещь оно была бы прекрасная, слова нет, но совершенно несообразная с законами природы. Бурбоны по своей истории, по своей натуре, по всей своей обстановке не могли действовать иначе, нежели как действовали. Так, к сожалению, совершенно так. Напрасно очевиднейшая выгода, настоятельнейшая необходимость указывала им иной путь — в них не было сил итти по этому счастливому пути, в них не было даже способности видеть этот путь. Так, рассудок чуть ли не совершенно бессилен в истории. Напрасно говорить о нем, это пустая идеология. Но если так, почему же не понимают люди хотя этого? Если ослепление рутинной и обстановкой сильнее собственных выгод в человеке, почему же мы не принимаем этого факта, не соображаем с ним наших отношений к человеку?

Есть в истории такие положения, из которых нет хорошего выхода, — не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его. Правда, но что же в таких случаях остается делать честному зрителю? Ужели обманывать себя обольщениями о возможности, даже о правдоподобности такого принятия? Мы не знаем, что ему делать, но знаем, чего он по крайней мере не должен делать: не стараться ослеплять других, остерегаться заражать других идеологической язвой, если сам по несчастию подвергся ей, — оставим надежды ребятам, взрослому человеку неприлично ожидать виноградных гроздов на терновнике<sup>11</sup>. [Пусть евангельская притча о дереве, не приносящем добрых плодов, будет руководительницей наших мыслей. Нет, она кажется суровой нашему мягкому уму — мягкому до того, что иногда чувствуешь искушение приписывать это качество просто размягчению мозга.]

Но возвратимся же, наконец, к рассказу о событиях.

Назначение Полиньяка министром было принято всей Францией как следствие решимости Карла X выйти из границ законности для упрочения колебавшегося господства роялистов. Либералы ужасались, ожидая насильственных мер. Даже многие роялисты, сохранявшие некоторое благоразумие, видели необходимость предупредить короля, что советы слишком опрометчивых товарищей их могут быть для него губельны.

В самом деле, глава министерства Полиньяк был величайший фанатик феодальной партии. Давно он мечтал о сильных средствах к восстановлению старинного порядка. Вильель, опасаясь неосторожных советов его Карлу X, отправил молодого придворного посланником в Лондон; недовольный умеренностью Мартиньяка, король стал думать о вручении управления своему любимцу, который совершенно сходил с ним в убеждениях. Полиньяк был вызываем в Париж для совещаний с королем, — результатом совещаний была решимость идти до последних крайностей для поддержания господства роялистов. Средство к тому найдено было в 14-м параграфе конституции, который давал королю право «издавать распоряжения и повеления, нужные для безопасности государства». До сих пор все партии соглашались, что тут разумеются единственно административные распоряжения, которыми определялись бы только меры и способы исполнения изданных правильным образом законов, а никак не распоряжения, которыми бы отменялись или нарушались законы. Но конгрегация, управлявшая Карлом X и Полиньяком, убедила их в возможности и необходимости другого толкования. Король и его любимец приготовились, если не найдут покорности в палатах, избираемых законным образом, без их согласия изменить основные законы королевства.

Слухи о такой решимости распространились в публике. Министерские газеты подкрепляли их, доказывая необходимость крайних средств со стороны министерства. «Уступок больше не будет, — восклицали они, — битва между правительством и революцией возобновлена». Надобно заметить, что под именем революции на языке роялистов разумелись все новые учреждения в гражданском быту; каждый, находивший невозможным полное возвращение к старине, назывался у них революционером, в том числе даже Ройе-Коляр, при Наполеоне постоянно рисковавший жизнью для Бурбонов, и Гизо, бывший посредником между Бурбонами и остававшимися во Франции роялистами во время Ста дней. «Игра началась, — восклицали роялистские газеты, — и надобно знать, что поставлено на карту с той и другой стороны. Мы ставим на карту престол. Это наша последняя ставка: идет ва-банк против революции». Но трудно будет управлять государством в противность желанию большинства или с нарушением парламентских форм, возражали осторожнейшие из роялистов, предвидевшие опасность игры, начинаемой фанатиками. Министерские газеты отвечали на их предостережения презрительным гневом. «Есть люди, говорящие о большинстве палат, — они удивляют нас. Скажите, важно или не важно покончить с революцией? Вы говорите: да. Прекрасно. Но если большинству палаты придет в голову думать не так, неужели следует отказаться от спасения? Это было бы забавно. Когда план составлен, когда он необходим, следует исполнять его до конца; иначе нельзя спасти общество». Из таких слов были очевидны намерения министерства. Оно решилось не обращать внимания на волю парламентского большинства.

Доведенные до крайности либералы ожидали спасения себе и престолу от приближавшегося собрания палат. Парламентские каникулы кончались. 2 марта 1830 года начались обычным церемониалом заседания палат. Тронная речь открыто выразила намерение правительства прибегнуть к чрезвычайным мерам в случае несогласия большинства с системой министерства. «Пэры Франции, депутаты департаментов, — сказал Карл X, — я не сомневаюсь в вашем содействии к совершению добра, мною желаемого. Вы с презрением отвергнете коварные внушения, распространяемые зложелательством. Но если бы преступные интриги противопоставили моей власти препятствия, которых я не должен, которых я не хочу предвидеть, я нашел бы силу победить их в моей решимости охранять общественное спокойствие».

Вызов был сделан. Не оставалось сомнения в том, что министерство хочет считать преступлением сопротивление палат его системе и намерено прибегнуть к вооруженной силе для подавления беспорядков, которых ожидало само от своих распоряжений. Указание на вооруженную силу было тем оскорбительнее, что не оправдывалось никаким предлогом. Во всей Франции



господствовал ненарушимый порядок. Никто из противников министерства не думал переступать границ закона. Все осуждали опрометчивость речи. Но министерские газеты почли нужным комментировать тронную речь следующими словами: «Мы напомним, что Георг III английский публично благодарил солдат, стрелявших по черни, которая собралась освободить из тюрьмы Уилькса, мятежного члена палаты общин». Мало было общей угрозы вмешательством вооруженной силы; надобно было еще пояснить, что она будет призвана именно против палаты депутатов. Большинство палаты хотело исполнить свою обязанность, выразив королю опасение о гибельности политики, принятой его министрами. Комиссия палаты составила проект адреса, проникнутый тоном почтительным, но печальным. Она считала обязанностью палаты открыть Карлу X глаза на несогласие политики его министров с чувствами нации.

«Среди единодушных чувств уважения и привязанности, которыми окружает вас ваш народ (говорил адрес), обнаруживается в умах живая тревога, возмущающая спокойствие, которым Франция начала наслаждаться, иссушающая источники ее благоденствия и в случае продления могущая сделаться гибельной для ее тишины. Совесть, честь, та верность, которой мы поклялись вам и которую навсегда соблюдаем, возлагают на нас обязанность открыть вам причину этой тревоги.

«Государь! Конституция, которой мы обязаны вашему августейшему предшественнику и упрочить которую твердо намерено ваше величество, освящает право участия страны в обсуждении общественных интересов. Это участие, как и следовало, производится не прямым, а посредственным образом; степень его мудро измерена, оно заключено в точные границы, и мы никогда не допустим, чтобы кто-нибудь осмелился переступить эти границы; но результат его положителен, потому что оно делает постоянное согласие политических видов вашего правительства с желаниями вашего народа необходимым условием правильного течения общественных дел. Государь! Наша верность, наша преданность престолу обязывают нас сказать вам, что это сочувствие не существует.

Высокая мудрость вашего величества да будет судьей между теми, которые не доверяют нации столь спокойной, столь верной, и между нами, с глубокой уверенностью излагающими вашему сердцу скорбь целого народа, желающего пользоваться расположением и доверием своего короля. Преимущества короны вашего величества дают вам средство упрочить между государственными властями гармонию, первое и необходимое условие силы престола и величия Франции».

Комиссия, составившая проект, старалась избежать в нем всякого выражения, похожего на требовательность. Она хотела только указать на несогласие большинства с министрами, остав-

ляя королю совершенную свободу в выборе средств для восстановления согласия. Адрес не говорил даже о необходимости перемены министерства. Он говорил только, что король, сохраняя министерство, должен распустить палату или наоборот, сохраняя палату, изменить политику министерства.

Умеренные роялисты согласились на проект адреса вместе с либералами. Он был принят большинством 221 голоса против 181.

Незначительность большинства, принявшего адрес и составленного голосами умеренных роялистов, показывала, каких ничтожных уступок было бы достаточно для примирения с палатой. Довольно было бы министерству отказаться от своих совершенно излишних угроз, не вызываемых ничем. Но крайние роялисты были глухи. 18 марта адрес был представлен; 19 марта заседания палаты отсрочены; через несколько времени она была объявлена распущенной, и назначены новые выборы. Нельзя было сомневаться в том, что эти выборы еще менее прежних будут благоприятны министерству, которому оставалось тогда или удалиться, или прибегнуть к незаконным средствам. Двое из министров, видевшие безрассудство остальных, вышли в отставку. Полиньяк заменил их другими, более решительными.

Действительно, все члены прежней палаты, вотиновавшие адрес, были избраны вновь; большая часть крайних роялистов прежней палаты не попала в новую. Но и новая палата была проникнута преданностью к Бурбонам. На выборах либеральных членов это чувство выражалось с совершенной ясностью; они одобряли адрес прежней палаты, но понимали его в том смысле, какой придавал ему Дюпен старший: «Коренное основание адреса — глубокое уважение к лицу короля; он выражает высочайшее благоговение к древней династии Бурбонов; он представляет владычество законной династии не только как легальную истину, но и как общественную необходимость, которая ныне для всех здравых умов является результатом опыта и убеждения». Словом сказать, ни либералы, ни умеренные роялисты, составлявшие большинство, не дерзали и в глубине своих мыслей касаться прав престола. Они находили только, что политика крайних роялистов несовместна с положением дел. Крайние роялисты имели теперь выбор между двумя решениями: или оставить хотя на время министерство, чтобы дать успокоиться общественному мнению, или подвергнуть престол страшной опасности из-за желания удержать власть в своих руках. Они избрали последнее.

Палаты должны были собраться 3 августа. Еще в начале июля, когда сделался известен результат новых выборов, министры окончательно составили план своих действий. Они положили, пользуясь четырнадцатым параграфом конституции, распустить новую палату прежде, нежели она соберется, изменить

одной волей правительства закон о выборах и восстановить цензуру. Совещания министров хранились в глубочайшей тайне, но она не могла скрыться от придворного круга. Все посещавшие дворец догадывались, что приближается время насильственных мер, о которых давно говорили газеты. Крайние роялисты с восторгом передавали друг другу выдуманный анекдот об угольщике, который будто бы сказал королю: «Государь! Угольщик — господин в своем хозяйстве, будьте господином в своем».

Иностранные посланники, слышавшие о намерении Полиньяка, единогласно осуждали его; самодержавные государи Европы разделяли мнения проницательных дипломатов о неблагоразумии мер, на которые склонили Карла X его опрометчивые советники. Меттерних, конечно, не слишком любил конституционный порядок, но и он говорил французскому посланнику при венском дворе: «Нельзя вашему правительству насильственно изменять законов, которыми оно недоволено; единственное средство ему для этого — действовать с согласия палат; другого пути Европа не может одобрить; насильственные меры погубят династию». Люди, желавшие предупредить бедствие, искали другого советника, голос которого внушал бы еще больше уважения французскому королю. Они просили русского императора не оставить Карла X своими советами, и покойный государь Николай Павлович имел с французским посланником при нашем дворе Мортмаром разговор, после которого посланник должен был написать Полиньяку: «Мнение императора таково, что, нарушив конституцию, французское правительство подвергнется катастрофе. Если король захочет прибегнуть к насильственным мерам, он понесет за них ответственность, прибавил император; Карл X должен помнить, что союзники по Парижскому трактату приняли на себя ручательство в сохранении французской конституции». Через несколько времени болезнь принудила Мортмара возвратиться во Францию; графиня Нессельроде дала ему письмо к королю, в котором снова напоминалось, что русский император решительно не одобряет никаких мер, противных конституции.

В Петербурге и в Вене знали о приготовляемых повелениях. Но либералы все еще не хотели верить в их исполнение. Они так были преданы династии, что отталкивали от себя мысль о близости катастрофы. Сами за себя они так боялись волнений, что и в министрах предполагали такое же отвращение от поступков, могших вызвать мятеж в Париже. Они не только не думали воспользоваться насильственными мерами министров для возбуждения народа, они даже были уверены, что народ не может быть возбужден к сопротивлению. За два дня до издания повелений один из предводителей либеральной партии Одиллон Барро отвечал говорившим о возможности волнений: «Вы верите в восстание! О, боже мой! Если конституция будет низвергнута, вас поведут на эшафот, а народ, сложа руки, станет смотреть

на это». За два дня до катастрофы он не верил ей и не предчувствовал ее последствий.

Вечером того дня, когда были подписаны повеления, герцог Орлеанский, которому они давали престол, также еще не хотел верить их возможности. Ревнистый роялист Витроль, усердию которого Бурбоны больше всего были обязаны тем, что по взятии Парижа в 1814 году союзные монархии вспомнили о них, описывал герцогу дурные признаки, замеченные им поутру в Сен-Клу. Министры скрывались от него, но он предполагал что-то очень недоброе. «Но что же они хотят сделать? — с беспокойством сказал герцог Орлеанский. — Ведь они не могут же обойтись без палат, не могут выйти из конституции».

Советы Меттерниха и русского императора, просьба Вильеля и всех роялистов, не разделявших ослепления крайней партии, были напрасны. 24 июля министры собрались для окончательного просмотра приготовленных ими повелений. Один из них, Гернон Ранвиль, пытался убедить короля и своих товарищей отложить на несколько времени эти повеления. Другой министр, д'Оссе, желал по крайней мере знать, какими силами будут они располагать для усмирения мятежа. «Имеете ли вы в Париже хотя тысяч тридцать войска?» — спросил он Полиньяка. «Не тридцать, а сорок две», — отвечал Полиньяк, перебрасывая через стол ему список войск. «Как, — вскричал д'Оссе, — я вижу здесь только тринадцать тысяч! Тринадцать тысяч на бумаге — это значит, что на битву только можно вывести семь или восемь тысяч». Но Полиньяк и большинство министров никак не предполагали серьезного восстания. В самом деле, либералы и осуждали по своим убеждениям всякую попытку мятежа, и боялись волнений; народу не было никакой разумной выгоды вступаться в распри между двумя партиями, из которых ни одна не была его партией. Если бы народ не увлекся надеждой на людей, вовсе не заслуживающих этой надежды, Полиньяк был бы прав. Он ошибся только тем, что не принял в расчет бедственного положения народа: отчаяние вовлекло народ в опрометчивость.

24 июля заготовленные повеления были рассмотрены и одобрены министрами. 25 июля министры снова собрались в Сен-Клу, где жил король. Они собрались подписать эти повеления. Молча сели они вокруг стола. По правую руку Карла X был дофин, его сын, по левую руку — Полиньяк. Д'Оссе возобновил свои вчерашние замечания. «Вы отказываетесь подписать?» — сказал Карл X, д'Оссе взял перо и подписал. Экзальтированная решимость, смешанная с беспокойством, выражалась на его лице и лицах его товарищей. Один Полиньяк блистал радостью. Карл X также весело ходил по зале. «Что вы так смотрите?» — сказал он, проходя мимо д'Оссе, глаза которого печально обозревали залу. «Государь, я смотрел, нет ли здесь портрета Страффорда», — отвечал министр.

26 июля явились в «Монитере» пять повелений. Первым из них отменялась свобода тиснения<sup>12</sup>; вторым распускалась палата депутатов; третьим изменялся закон о выборах; четвертым назначались новые выборы в палату депутатов по измененному закону; пятое содержало некоторые частные распоряжения, вытекавшие из второго.

Либералы и умеренные роялисты были поражены печалью и ужасом. Несколько либеральных членов распушенной палаты депутатов сошлись к Казимиру Перье, одному из своих предводителей. Все были в каком-то оцепенении. «Что нам делать, что нам делать?» — повторяли они друг другу. Никто не знал, что отвечать. Один заикнулся было, что должно протестовать. «Нет, мы теперь не имеем права протестовать, мы уже лишены звания депутатов», — отвечали ему. Другие депутаты собрались у де-Лабурда, туда явился Казимир Перье и объявил, что по распущении палаты они уже не имеют звания депутатов, что министры ссылаются на конституцию, опираясь на четырнадцатый параграф ее, что, стало быть, остается одна надежда — на самого короля, который раньше или позже увидит ошибочность пути, на который увлекли его. Весь этот день прошел спокойно. Повидимому, министры торжествовали. Но масса медленна в своих движениях. На другой день началось в ней брожение, которого не замечалось накануне. Через два дня войска были принуждены выступить из Парижа после упорного сражения с простым народом.

Мы не станем рассказывать ход этой битвы: она велась не либералами, и нам нет нужды упоминать о фактах, не относящихся к цели нашего рассказа. Мы хотели только рассматривать интересы и действия двух политических партий, вражда которых составляет самую заметную сторону политической истории Франции в эпоху Реставрации. Только их действия будут занимать нас и в июльские дни.

История роялистов в эти дни очень коротка и проста: они вовлекли несчастного Карла X в гибельную борьбу, которая даже при самом счастливом исходе не могла бы принести равно никакой пользы для королевской власти, — вовлекли в борьбу единственно с целью восстановления старинного устройства, в сущности враждебного интересам престола. Не трудно догадаться, как должны были поступать такие друзья. Пока волнение только что разыгрывалось, они воображали его ничтожным и чрезвычайно радовались ему: теперь-то будет на их улице праздник! Одной сеткой прикроют они либералов! Они уже сочинили распоряжения об арестовании тех, головами которых особенно интересовались (хотя совершенно напрасно, потому что из этих голов большая часть не стоила гроша). Но вот дело начало принимать сомнительный оборот — что тут стали делать роялисты? Ни один, разумеется, не шевельнул пальцем для защиты

короля, свергнутого им в погибель. Хотя бы кто-нибудь из людей, для пользы которых Карл X жертвовал собою, взял ружье для его защиты — не взял ни один. Что уже говорить о риске жизнью за престол? Хотя бы один из роялистов подал кусок хлеба, чашку воды несчастным солдатам, которые сражались в душных улицах, под знойным июльским солнцем, изнемогали от голода и жажды, — и этого никто из роялистов не сделал. Те, которые были в Сен-Клу, до последней минуты хлопотали только о том, чтобы скрыть от короля истинное положение дел. Это им удалось превосходно: до той минуты, когда измученные, разбитые войска, отступая из Парижа, пришли в Сен-Клу, Карл X был уверен, что мятеж подавляется, что вот-вот, через час, через полчаса явится к нему депутация Парижа с просьбой о пощаде раскаявшемуся городу. Эта история известна, рассказывать ее нечего. А что же делали те роялисты, которые находились на месте возмущения? Немногие, честнейшие, покрепче заперлись в свои дома, чтобы даже невзначай как-нибудь не подвергнуться опасности; другие, порасчетливее, уже завязывали сношения с победителями, и, например, великий референдарий<sup>13</sup> Семонвиль разъезжал в коляске по Парижу, непристойными словами ругая безумцев, издавших несчастные повеления. Это — история также известная.

История либералов так же хороша, хотя не так коротка. Мы уже видели их подвиги 26 июля. На другой день, когда некоторые отчаянные головы начали битву, масса либералов перетрусила еще больше. «Плохи дела! — говорил один либеральный мануфактурист своим друзьям. — Дать народу оружие — он пойдет сражаться; не дать — он пойдет грабить». Понятие о движении народа у либералов неотразимо связывалось с понятием грабежа, — таких-то людей бедный Карл X считал революционерами! Но что-то поделявал, например, Лафайет, ужасный предводитель республиканцев? А вот что: по вечеру пришли было к нему посоветоваться несколько воспитанников политехнической школы. Им отвечали, что Лафайет почивает, и будить его нельзя. А что же вообще поделявали либеральные депутаты? Они с похвальной неутомимостью опять-таки собрались у Казимира Перье доказывать друг другу, что не имеют никакого права протестовать, а некоторые прибавляли, что надобно написать письмо к королю — содержание письма можно было читать на их лицах: почти все трусили так, что даже не старались скрывать своего смятения. Даже Вильмен, который не отличался, как увидим ниже, особенно отважными намерениями, говорил, оглядывая дрожавших товарищей: «Не ожидал я найти стольких трусов в одной комнате!» Хозяин Казимир Перье, всегда славившийся пылкостью либеральных речей в палате, дрожал чуть ли не больше всех. У дверей дома под окнами залы, где совещались депутаты, собралось несколько человек молодежи.



На них ринулся отряд конницы — напрасно толкались в запертую дверь безоружные юноши, чтобы укрыться от атаки, — дверей не велели отворять, и несчастные были изрублены под глазами депутатов, и дверь не отворилась спасти их. Зато доктор Тибо, приятель генерала Жерара (тоже одного из предводителей либеральной партии), явился к Витролю просить его ехать в Сен-Клу, чтобы искать примирений с Карлом X.

Ночью (с 27-го на 28-е) население Парижа готовится к битве. С раннего утра начинается она уже в серьезных размерах. Опять являются к Лафайету воспитанники политехнической школы, которые уже и накануне дрались. Республиканский вождь проснулся, — теперь они уже не уйдут без его совета. «Посоветуйте вашим товарищам держать себя смирно», говорит он им. В 12 часов утра депутаты опять собрались, на этот раз у Одри де-Пюйраво, одного из немногих, выказавших мужество в эти дни. Он знал, каковы его товарищи, и пригласил молодежь собраться на дворе своего дома, чтобы уравновесить другим страхом страх, внушаемый Полиньяком. Моген, также отличавшийся мужеством, начал совещание словами: «Совершается революция, мы должны руководить ею; предлагаю составить временное правительство, требую, чтобы оно было учреждено немедленно». — «Временное правительство? — восклицают в ужасе Себастиани, Шарль Дюпен, Казимир Перье. — Что вы? Да ведь это значило бы нарушать законный порядок! Останемся в пределах закона!» Разумеется, предложение было отвергнуто. Но восстание с того утра охватило уже весь Париж; многие части войска дерутся неохотно, некоторые отряды уже колеблются, готовы присоединиться к инсургентам, другие отряды отступают из улиц, которые должны были очистить, успех инсургентов вообще становится вероятен. Депутаты видели это, притом же со двора слышны крики революционеров. Мужество депутатов под этими влияниями возвышается до того, что Гизо читает сочиненную им протестацию депутатов, — вчера депутаты отвергали мысль о ней, теперь согласились напечатать ее. Зато сколько революционной отваги было в этой протестации! Инсургенты, вчера кричавшие только «да здравствует конституция!», ныне уже сражались при криках «долой Бурбонов!» Протестация депутатов была наполнена выражениями ненарушимой верности к королю. Уважение к законному порядку простиралось до того, что депутаты даже не называли себя депутатами, а только «правильно избранными в депутаты»: они признавали этим силу повеления, распустившего палату и лишившего их звания депутатов. Они говорили не о воле самого Карла X, а только «о советниках, обманувших намерения монарха». Еще два дня назад журналисты издали протестацию гораздо более твердую и подписались под ней. Депутатам, не потерявшим рассудка от робости, совестно было сравнить свою прокламацию с прокламацией журналистов; но они не отва-

жились подвергать прениям проект ее, видя, что при всеобщей робости их товарищей прения поведут только к ослаблению выражений, и без того уже трусливых. Они поспешили убедить собрание поскорее принять проект. Но тут возник вопрос о том, подписывать ли протестацию. Без подписей она не имела никакого значения; но большинство депутатов не хотело рисковать, и протестация была послана в типографию газеты «Temps»<sup>14</sup>. Издатель газеты принес бумагу обратно, говоря, что он не хочет напечатать без подписей такое трусливое объявление, за которое все станут смеяться над ним, если не будут знать имена авторов. Это было уже в четыре часа вечера; инсургенты приобрели много новых успехов; мужество депутатов возросло до того, что они после многих споров отважились согласиться на перечисление в заголовке бумаги всех депутатов, находившихся в Париже, без различия присутствовавших и не присутствовавших на совещании; штука хорошая: ведь это были не подписи, а просто исчисление имен, оставлявшее каждому из упомянутых лиц совершенную свободу сказать потом, что его имя помещено в списке без его согласия и ведома. Всех депутатов на совещании было только сорок один; имен было выставлено шестьдесят три. «Вот и прекрасно, — с иронией сказал Лафит. — В случае поражения никто из нас не подписывал, а в случае победы подписали все». Особенной трусостью попрежнему отличались знаменитый Казимир Перье\* и генералы Себастиани и Жерар. Большинство собравшихся депутатов следовало примеру их осторожности. Единственное спасение себе видели они в переговорах с Карлом X, которые при посредстве доктора Тибо вел Витроль. В первый раз Витроль нашел Карла X не расположенным слушать никаких предложений. Когда он возвратился с этими известиями к вечеру, Тибо снова просил его ехать в Сен-Клу с новыми просьбами. «Скажите, что с готовностью исполнят все для охранения королевского согласия от оттенка принужденности, — говорил Тибо. — Если нужно, высшие корпорации парижского управления, члены кассационного суда и апелляционного суда отправятся в Сен-Клу в мундирах; таким образом снисходительность короны не будет казаться уступкой необходимости, а только милостивым ответом на просьбы». Кроме Карла X, депутаты обращались с просьбами к маршалу Мармону, командовавшему войсками в Париже. [Но явиться в главную квартиру маршала представлялось делом столь опасным, что только люди действительно мужественные приняли эти поручения своих товарищей и] Лафит, говоривший с маршалом от их имени, соблюдал достоинство. Он прямо сказал, что если противозаконные повеления не будут отменены, то он «отдаст свою жизнь и состояние в распоряжение парижан». Когда предложения, переданные через Мармона, были отвергнуты в Сен-Клу, он сдержал свое слово. Из ста человек либеральных депутатов, находившихся в Париже,

человек десять выказали такую же смелость; все остальные были без памяти от ужаса. Уже предвиделось, что завтра ни одного солдата не останется в Париже. Уже предвиделось, что инсургенты провозгласят завтра низвержение Бурбонов; но Казимир Перье, вернейший представитель большинства либералов, все еще повторял: «Бурбоны — лучшее правительство для Франции, лишь бы только они отказались от ультра-роялистов». Два раза собирались депутаты этим днем, в двенадцать часов и в четыре часа; в десять часов вечера было назначено третье собрание. Инсургенты приобрели много новых успехов: кроме дворцов Тюильрийского и Луврского и парижской ратуши, почти уже весь город был в их власти; войска были изнурены, отступали со всех позиций, упали духом; переговоры в Сен-Клу и с Мармоном не привели ни к чему; ход событий требовал, наконец, со стороны депутатов мер более решительных. Они чувствовали, что совещание, назначенное в десять часов, не может кончиться одними словами, и что же они сделали? На прежних собраниях из ста или больше человек присутствовало до сорока. В десять часов явились в назначенное место едва десять человек; из них человек семь выказывали мужество; другие трое или четверо явились будто бы только за тем, чтобы показать, каково должно быть состояние духа у остальных, не отважившихся явиться. Лафайет, Лафит, Одри де-Пюйраво, де-Лаборд объявили, что надобно, наконец, прекратить беспорядочное кровопролитие, и что они решились назавтра руководить движениями инсурентов. Гизо сидел молча и неподвижно. Себастиани с волнением объявил, что не может присутствовать при таких совещаниях, и, обратившись к другому депутату Мешену, сказал: «уйдемте». Оба ушли. И остальные разошлись, не решившись ни на что, назначив только новое совещание в шесть часов утра на другой день. При выходе Лафайет был встречен восклицаниями собравшейся толпы. Когда он садился в карету, один из инсурентов подошел к нему и сказал: «Генерал, я буду говорить от вашего имени; я скажу, что вы приняли начальство над национальной гвардией». (Заметим, что национальная гвардия в случае волнений собирается для того, чтобы быть посредницей между войсками и инсургентами; таким образом командование ею имело бы характер не мятежа, а примирения.) «Что вы хотите делать, — закричал приятель Лафайета Карбонель. — Вы хотите, чтобы генерала расстреляли?»

Поутру в шесть часов (29 июля) явилось в назначенное место (в дом Лафита) так же мало депутатов, как вечером накануне. Огромное большинство все еще не верило близости победы. Ночью инсургенты заняли городскую ратушу; войска, кроме двух-трех казарм, оставались только во дворцах. Но перепуганным либералам отступление солдат казалось их сосредоточением с какими-то страшными целями. Многие уже думали только о

средствах оправдаться перед Полиньяком. В девять часов явились к Лафиту еще не более десяти человек. Но инсургенты против ожидания либералов сохраняли все свои позиции, с успехом нападали на войска; Мармон, вчера отвергавший просьбу депутатов о перемирии, теперь уже сам предлагал его. Понемногу депутаты ободрялись, и к двенадцати часам собралось их уже около 30 человек. Лафит открыл заседание изложением необходимости принять деятельное участие в событиях. Лафайет, наконец, объявил готовность взять начальство над национальной гвардией. В эту минуту приходит известие, что Луврский дворец занят инсургентами. До сих пор депутаты слушали Лафита и Лафайета с унылым молчанием, теперь у них развязывается язык, Гизо одобряет намерение Лафайета. Но предложение Могена составить временное правительство все-таки отвергнуто; по предложению Гизо, депутаты решают составить только муниципальную комиссию для управления Парижем в отсутствие правильных властей; таким образом они еще остаются, по своему любимому выражению, «в границах законности». Большинство все еще трепещет ответственности перед Бурбонами. Но вот раздается шум у дверей залы: сержант Ришмон просит, чтобы его впустили; прислуга не соглашается: как можно войти солдату в салон к важным сановникам? Он грозит лакеям эфесом своей сабли и входит в зал. Офицеры и солдаты 53-го линейного полка прислали его объявить, что полк переходит на сторону народа. Депутаты посылают за полком; двор Лафитова дома наполняется солдатами. Депутаты в восторге. Вдруг раздается залп. Невыразимое смятение овладевает ими. Все лица бледнеют. «Нам изменили, нас идут арестовать! Это королевская гвардия гонит инсургентов». Все бросаются бежать. В зале, на лестнице страшная толкотня; многие депутаты вылезают в окна, чтобы спрятаться в саду; двоих нашли потом спрятавшимися в коюшню. В миг Лафит остается в зале один с своим племянником; что же такое случилось? Солдаты 6-го линейного полка последовали примеру 53-го, и, переходя на сторону народа, выпустили на воздух свои заряды. Много времени прошло, пока депутаты оправились от страха и собрались вновь; а между тем одно за другим приходили известия о взятии Тюильри, об отступлении королевских войск к Булонскому лесу, о совершенном очищении Парижа от войск. Когда депутаты успокоились и воротились в залу, битва была уже совершенно кончена. Тогда и Казимир Перье, снова сделавшийся героем, каким являлся в старину на прениях палаты, принял назначение быть членом муниципальной комиссии.

В числе депутатов, разбежавшихся от Лафита, уже не было пяти или шести человек, имевших действительное мужество. Одри де-Пюйраво ушел провожать Лафайета в парижскую ратушу; трое или четверо других с утра того дня управляли инсур-

гентами. Но и они взялись за дело тогда, когда победа уже была решена. Быть может, сами по себе они решились бы на участие в сопротивлении раньше, но робкие товарищи господствовали и над ними.

Лафайет и муниципальная комиссия явились в парижскую ратушу уже по окончании борьбы. Как выигралась победа, ни мало не зависело от них. Но управлять победоносным делом они были не прочь. Впрочем, и в этом занятии они оказались совершенно несостоятельными. Власть, которой они ничем не заслужили, скоро была взята из их слабых рук людьми, еще менее разделявшими опасности, но более ловкими в интригах. Заметим кстати еще одну черту: на крыльце парижской ратуши Лафайет увидел молодого человека с трехцветной кокардой и приказал снять ее: как видим, даже и после совершенной победы в его уме еще не было твердой мысли, что белая кокарда — символ владычества Бурбонов — кончила свое существование.

Опасности уже не было: даже в Сен-Клу убедились, что дальнейшая борьба невозможна. Тогда депутаты начали действовать смелее. Они видели, что парижские инсургенты никак не хотят покориться Бурбонам. Первой мыслью либеральных депутатов было искать других путей к скорейшему восстановлению монархической власти. Депутация за депутацией отправлялась от них на дачу герцога Орлеанского с просьбой, чтобы он принял на себя управление Францией и титул наместника королевства. Изложение происков, интриг и хитростей, которыми была достигнута эта цель, не входит в границы нашего рассказа. Заметим только, что если бы дело зависело от большинства либералов, Бурбонская династия не перестала бы царствовать во Франции. Несмотря на их чрезвычайную робость, находились даже и 30-го числа между ними люди, протестовавшие в пользу Бурбонов против герцога Орлеанского. В собрании депутатов, составившем формальное приглашение герцогу явиться в Париж для управления Францией, Вильмен говорил: «Вы не имеете права располагать короной». Только твердость Лафита, искренно преданного Луи-Филиппу, удержала депутатов от новых попыток для восстановления Бурбонов.

Таковы-то были люди, которых Бурбоны считали готовыми к мятежу. Не только приготовить мятеж или управлять им, но и принять участие в нем никто из них не решился. Он так же ужаснул либералов, как и роялистов. Обе партии одинаково не умели даже предвидеть его. Насколько позволила им робость, либералы в продолжение волнений делали все, чтобы предохранить династию от падения. Они делали ей постоянные предложения примириться с Парижем. Когда же инсургенты против воли либералов низвергли династию, они поспешили восстановить монархию при помощи единственного принца, пользовавшегося популярностью. Они так спешили этим делом, что передали



ему власть без всяких условий, и герцог Орлеанский вступил на престол с теми же самыми правами, какими пользовались Бурбоны. После июльских дней роялисты лишились всякого влияния на правительство, перешедшее исключительно в руки либералов; но, сравнивая власть Луи-Филиппа с властью Людовика XVIII, мы не заметим никакого уменьшения в ней от победы либералов. Правда и то, что не либералы одержали эту победу: они только присвоили ее себе.

Либеральные историки могут находить чрезвычайный прогресс в Орлеанском правительстве сравнительно с Реставрацией. Некоторых перемен во многих частностях и даже в общем духе управления нельзя не признать. Иезуиты утратили прежнюю силу над правительством; газеты, хотя и не могли назвать себя совершенно независимыми от произвола, как в Англии, все-таки сделались несколько самостоятельнее; судебное сословие также приобрело несколько большую независимость от произвола министров и с тем вместе несколько больше прежнего стало подчиняться общественному мнению; оттого правосудие улучшилось; избирательный ценз был значительно понижен. Таких частностей можно набрать много. Но главная перемена состояла в том, что опасность, грозившая новому гражданскому устройству при Бурбонах, теперь миновалась. Впрочем, цена этого выигрыша значительно понижается тем, что и при Бурбонах опасность ограничивалась только словами; на самом же деле самые безрассудные ультра-роялисты и даже сам Полиньяк не отваживались предпринять ничего существенно важного к восстановлению средневековых злоупотреблений. Они мечтали о старинном порядке, кричали о нем, но едва задумывали начать что-нибудь важное для исполнения своих планов, как уже отступали перед действительностью. С 20-го года феодальная партия управляла государством беспрекословно. Что же особенного осмелилась она сделать для осуществления своих теорий? Она составила закон о майоратствах, но такой робкий закон, который мог только раздражать своей несовременностью, а никак не изменить гражданских отношений на самом деле, да и от того она отказалась при первой неудаче. Важнее была выдача вознаграждения эмигрантам. Но как ни кричали некоторые ораторы о политическом значении этой меры, в сущности она осталась не более как выдачей пособия членам и клиентам придворного круга. Бесспорно роялисты враждовали против нового гражданского устройства; но оно укоренилось уже так прочно, что изменить его не было возможности, и вражда оставалась бессильна. Во всяком случае, разумеется, имела некоторую важность перемена, уничтожившая даже угрозы на словах тому, что не было никогда в опасности на деле. Хотя очень мало, но все-таки несколько выиграл новый гражданский порядок через замещение Карла X, По-



линьяка и Шатобриана Луи-Филиппом, Гизо и Казимиром Перье.

Мы не напрасно кончили исчисление выгод новой системы сопоставлением собственных имен: в перемене фамилий состояла существеннейшая часть переворота. В эпоху Реставрации правительственная власть находилась в руках старинных феодальных фамилий; при Орлеанской династии управляли Францией люди среднего сословия. И прежде управление велось в интересах среднего класса: вести его иначе не было физической возможности; но все-таки кое-что успевали сделать потомки феодалов и для своего сословия. Теперь средний класс был избавлен от этих мелочных неприятностей. Сам управляя всеми делами, он мог, разумеется, лучше соблюдать свои интересы, нежели соблюдались они людьми другого сословия, хотя и не бывшими в состоянии нарушить выгод среднего сословия ни в чем существенно важным, но все-таки старавшимися по возможности вредить ему в пустяках.

Выигрыш государства был хотя и не велик, но все-таки несомненен: оно избавилось от опасений, правда, лишенных фактического основания, но тем не менее тревоживших его. Выигрыш среднего сословия был довольно велик. Королевская власть ничего не проиграла от июльского переворота. Что же выиграл простой народ, силой которого среднее сословие освободилось от своих противников? Простой народ сражался без всяких определенных собственных требований; он увлекся тяжестью своего положения к участию в вопросах, чуждых его интересам; он не озаботился продать свое содействие, не выторговал себе никаких условий прежде, чем примкнуть к той или другой стороне. Разумеется, он не получил ничего.

Напрасная борьба династии против новых интересов, нисколько не враждебных выгодам королевской власти; напрасный союз ее с партией, от торжества которой не могла она желать никакой пользы для себя, против партии, искренно желавшей союза с династией, выгодного для династии; оставление народа беззащитным и безнадежным вследствие противоестественного союза династии с феодалами; увлечение народа отчаянием к восстанию, гибель династии без пользы для народа — вот в коротких словах история реставрации. Реакционеры понесли наказание, которого заслуживал их эгоизм; но грустно то, что династия ради удовольствия этих бездушных эгоистов готовила себе ненужную гибель.

## ТЮРГО

**Его ученая и административная деятельность или начало преобразований во Франции XVIII века. Сочинение С. Муравьева. Москва, 1858 года.**

Г. Муравьев довольно исключительно держался начал системы, с которой мы никогда не соглашались. Знаменитый принцип Гурне *laissez faire, laissez passer*<sup>1</sup>, принимаемый за основание не только теории, но и практики многочисленную школу французских экономистов, чуть ли не кажется и ему не только временной потребностью истории, развивающейся резкими переходами из одной односторонней крайности в другую, но и вечным идеалом экономического устройства; идеалом, держаться которого будет не только возможно когда-нибудь по истечении столетий, по развитию механических средств до того, что от безмерного производства вещи потеряют свою меновую ценность, в том роде, как ныне воздух не имеет ее, но которого можно исключительно держаться и в настоящее время, когда владевает золото, торговля, конкуренция, привилегия и монополия всякого рода, когда существует антагонизм между излишком у одних и нуждою у других. Читатель знает, что мы не разделяем такого убеждения, и если бы мы непременно обязаны были выставить в книге г. Муравьева все те места, с которыми мы несогласны, и объяснять причины, по которым находим их не совсем справедливыми, мы должны были бы переписать чуть ли не половину страниц его труда с прибавлением замечаний, на которые потребовалось бы вдвое больше страниц. Но мы не хотим делать этого; мы лучше хотим просто сказать, что книга г. Муравьева, как труд одного из последователей школы Сэ, подлежит всем тем возражениям и заслуживает, с другой стороны, многих из тех похвал, которые применяются вообще ко всей школе. Этим отзывом мы ограничим суждение об общих идеях книги; изложение книги мы должны похвалить: у г. Муравьева не заметно пустых, самолюбивых претензий, которыми так легко щеголять; он

скромно и внимательно воспользовался материалами, какие мог иметь; для человека, знакомого с французскою литературою политической экономии, эти материалы покажутся очень обыкновенными, но для массы публики *Collection des économistes* и тому подобные сборники и сочинения не служат настольными книгами; потому в русской литературе труд г. Муравьева далеко не бесполезен. Он собрал много фактов, рассказал их довольно ясно, — будем ему благодарны.

Этим ограничится наш разбор труда г. Муравьева. Но мы хотим, вовсе не споря с автором, изложить о предмете его сочинения мнение, которое считаем подходящим к истине ближе, нежели взгляд школы Сэ<sup>2</sup>.

Место не позволяет нам исследовать, по примеру г. Муравьева, теорию меркантилистов; мы сосредоточим наше внимание исключительно на теории физиократов и на деятельности самого Тюрго, как ни хотелось бы нам показать, что напрасно так презрительно отзывается о меркантилистах школа Сэ, когда сама еще по уши сидит в меркантилизме[; нам приятно было бы также доказать, что похвалы и порицания, которыми награждает она физиократов и меркантилистов, хороши были для публики, все могут быть обращены в порицание ей самой, что, например, если заслуживают одобрение физиократы за верное понимание недостатков и потребностей своего времени, то вовсе не заслуживают одобрения экономисты, в 1858 году ограничивающиеся пониманием тех потребностей общества, какие были в 1776 году; что если достойны порицания меркантилисты, признававшие золото богатством по преимуществу, то нельзя восхищаться и учеными, признающими удовлетворительность экономического порядка, основанного на владычестве золота. Эти и тому подобные темы представляются нам очень заманчивыми, но мы отлагаем их развитие до другого раза, а теперь займемся одним Тюрго].

Прежде всего мы хотим показать, как смотрят на Тюрго и физиократов экономисты школы, повидимому забываемой г. Муравьевым. С этой целью мы отказываемся от претензии на оригинальность, и читатель вероятно не подосаует на нас за то, что вместо очерка, какой могли бы представить мы сами, он прочтет очерк гораздо красноречивейший.

Над комнатами г-жи де-Помпадур в Версале были темные антресоли; там жил доктор фаворитки Франсуа Кене, человек ученый и умный, проводивший свою жизнь в размышлениях о земледелии, в исчислении его произведений и стремившийся основать на этих исчислениях новую науку. Под ногами его переплетались политические и любовные интриги, а в его тесной квартире собирались за столом философы того времени, Дидро, д'Аламбер, Эльвесиус, Бюффон; собирались друзья, скоро став-

шие его учениками, и в числе их человек, который в свою очередь стал учителем, — Тюрго.

Кене вырос в деревне, он внимательно анализировал то, что видел вокруг себя, и сохранил от деревенской жизни воспоминания, придававшие его беседам грацию и колорит, которых не находим в его сочинениях. Авторитетность его речи, его опытность, оплодотворенная размышлением, новость его взгляда или скорее его определений, систематичность его ума — все это дало ему прозелитов, которых его скромность превратила в почтительных поклонников. Скоро вокруг его кресла составила школа, наполнившая шумом и жизнью вторую половину XVIII века. Предвидя адептов в своих посетителях, он то беседовал с одним, с другим из них наедине, то, собирая их вместе, излагал им с обворожительной серьезностью теории, которые потом имели неизмеримое влияние на ход событий и сущность которых такова:

Человек живет материальными продуктами. Откуда он получает их? Из земли. Итак, существенный характер богатства — его материальность, а истинный источник его — земля.

Но что нужно, чтобы земля служила человеку?

Во-первых, нужна годность поля для обработки, нужны строения для земледельца, конюшни для лошадей, магазины для сельских продуктов. Это называется поземельными затратами.

Что нужно еще? Нужен скот, нужны плуги, разные земледельческие орудия, нужны семена. Это называется первоначальными затратами.

Но это еще не все. Нужны также расходы на множество разных работ, на засев, на обработку земли, на сбор жатвы; нужны также расходы на содержание земледельческих работников, на прокормление домашних животных. Это называется ежегодными затратами.

Из этих трех родов затрат, равно производительных, потому что их общее содействие порождает жатву, поземельные затраты делаются собственником; первоначальные и ежегодные затраты делаются человеком, обрабатывающим землю.

Теперь предположим, что жатва собрана; расходы, сделанные вами для того, чтобы получить этот сбор, нужно будет снова делать вам, чтобы получить новый сбор; таким образом на семена, на корм для скота, на плату рабочим вам понадобится сумма, по крайней мере равная той, какая была нужна в прошедшем году. К этой сумме надо прибавить другую, назначенную на исправление повредившегося плуга или на возобновление других орудий, испортившихся от долгой службы, или на приобретение новой лошади, [вместо лошади] ставшей неспособною к работе. Таким образом из настоящей жатвы надобно для получения следующей жатвы вычесть: 1) всю сумму ежегодных

затрат; 2) сумму на ремонт первоначальных затрат. Это вычеты, остающиеся в руках у возделывающего землю.

Остаток есть процент на поземельные затраты, это доход собственника или поземельный доход.

Налог не может касаться вычетов, остающихся у возделывателя, иначе нанесется смертельный удар будущей жатве, потому что от уменьшения издержек, которых требует обработка, пострадает обработка, а излишнее сокращение законных выгод возделывателя заставит его покинуть деревню и обратиться к городской промышленности. Таким образом, остается истинно свободным, подлежащим произвольному распоряжению только один из всех родов дохода, даваемых жатвой, — это доход собственника или чистый доход. Стало быть, на нем должен лежать весь налог.

Но если чистый доход, слишком угнетаемый налогом, теряет ту значительность, чтобы заинтересовать собственника в возделывании земли, то капитал не замедлит покинуть земледелие. Тогда возделанные поля заменятся пустынями, и великий источник довольства, богатства национальной жизни иссякнет. Из этого следует, что увеличение чистого дохода должно составлять высшую цель правительственных забот. Потому правительство без боязни может вызывать дороговизну продовольствия. Высокая цена хлеба обогатит собственника. Собственник, обогащаясь, будет привязываться к земле; земля с улучшением обработки умножит свои дары, и при распространении изобилия по всей нации посредством обменов мануфактурный работник для уплаты за вздорожавший хлеб будет иметь повысившуюся заработную плату\*.

Таковы были первые выводы Кене; из них легко уже предугадать результат учения, повидимому столь простого и бесхитростного. Как! Превозносимым спасительным средством представлялось повышение цены на хлеб! Дороговизна продукта, которого бедняк получает и без того в количестве, едва достаточном для поддержания жизни. Теория говорила народу, что если насущный хлеб его вздорожает, то и работа народа через несколько времени повысится в цене; но какова будет судьба народа в течение того времени, пока не восстановится равновесие? Да и после того, если мы согласимся, что повышение цены хлеба вознаградится совершенно равным повышением заработной платы (а это подлежит еще сильному сомнению), — если и будет так, какое же вознаграждение придется несчастному, который, не находя работы, не получает платы? Какое вознаграждение

---

\* Очевидно, что распределение земледельческих затрат на три разряда Кене составил сообразно системе половничества, почти исключительно господствовавшей тогда во Франции. По этой системе владелец земли давал полоннику готовые здания; потому Кене и причисляет их ценность к поземельным затратам.

придется работнику, постигнутому внезапной болезнью? Кене забывал, что цифры в его итогах представляют людей и что есть положения, в которых дороговизна хлеба бывает смертным приговором. Потому поднялось сильное неудовольствие, когда тайна новой школы, наконец, разгласилась. Народ, по выражению Гальяни, плохой исследователь причин, но великий знаток результатов, боялся потерять все то, что по идеям новой школы должны были выиграть собственники. Он не доверял теории, отрицавшей солидарность человечества и выдававшей свою основную мысль неблагоприятными, невозвратными словами: одни земледельцы составляют производительный класс; остальные сословия — класс бесплодный.

Действительно, таков был необходимый вывод из основной идеи доктора Людовика XV. Объявив землю единственным источником богатств, он был принужден признать производительным классом одних земледельцев. Ремесленник, купец, доктор, философ, ученый, артист — все они принадлежат к бесплодному классу (*classe stérile*) \*.

Правда, что у Кене и его школы это выражение не совсем соответствовало настоящей их мысли; они вовсе не отвергали пользы различных занятий, которые оказывались как будто бесполезными по их терминологии; но с экономической точки зрения они считали эти занятия имеющими только второстепенную полезность. Один из них, быть может превосходивший всех других блеском ума, Бодо писал к г-же \*\*\*, излагая основные мысли своей школы: «Садясь за простой завтрак, вы видите вокруг себя собрание произведений всех климатов и обоих полушарий. Эти чашки и этот поднос сделаны в Китае; этот кофе родился в Аравии; сахар, который вы кладете в него, возделан в Америке;

---

\* Мы не во всем согласны с очерком, которым пользуемся. Не все примеры выбраны здесь удачно. Труд доктора действительно самый производительный труд; предохраняя или восстанавливая здоровье, доктор приобретает обществу все те силы, которые погибли бы без его забот; точно так же ученый трудится производительно, когда занимается предметом, могущим распространить знание природы или содействовать просветлению ума; но есть много наук, подобных геральдике, пустых по своему предмету и затемняющих ум своей фальшивостью. Мы не думаем, чтобы труды таких ученых, как Несецкий (автор польского генеалогического гербовника), могли быть названы производительными, а при нынешнем состоянии наук большинство ученых трудится над подобными предметами. Из ремесленников непроизводителен труд всех тех, которые производят предметы роскоши. К сожалению, большая часть художников и артистов трудятся для искусства в таком направлении, которое также не может быть названо производительным. Они обыкновенно служат только прихотям роскоши. Из занятий, допускаемых общественной совестью, почти каждое при соблюдении известных условий может быть производительным, то есть служить на пользу людям; но должно признаться, что в настоящее время находится очень много занятий, производимых в направлении совершенно праздном или даже прямо убыточном обществу. Мерилом тут служит классификация общественных потребностей.



металл вашего кофейника происходит из Потози. Этот лен, привезенный из Риги, обработан голландской промышленностью; наши деревни доставили на ваш завтрак только хлеб и сливки». И показавши, что весь земной шар, посредством чудес промышленности и торговли, служит завтраку его корреспондентки, автор называет не более как приятными и считает не более как достойными приличного вознаграждения все эти услуги, для которых надобно было превозмочь тысячи препятствий, презреть бесчисленными опасностями, с мужеством, с энергией, иногда принимавшей ошибочное направление, но все-таки могущественною, — надобно было с торжеством переплыть моря и победить природу.

Если мы спросим, на чем основывалось безотчетное преимущество, отдаваемое Кене и его учениками земледельцам, вот ответ:

«Ремесленник трудясь, философ размышляя, купец перевоза товары, артист доставляя нам наслаждение, — все они требуют средств к существованию. Откуда же получаются ими средства существования, как не из земли? Таким образом земля кормит тех, которые не обрабатывают ее, кормит излишком, остающимся от пропитания тех, которые обрабатывают ее. Этим чистым доходом содержатся все труды промышленности, торговли, умственной деятельности. Поземельный собственник, владелец чистого дохода, — вот истинный раздаватель щедрот природы, сокровищ земли, вот истинный кассир промышленности. Кто, кроме хозяина, возделывающего землю, создающего чистый доход, имеет право на почетный титул производителя? Конечно, ремесленник увеличивает ценность материи, которую перерабатывает; но что из того, если в продолжение своей работы он потребляет равную ценность? Имя производителя заслуживает один тот, кто создает не для себя одного, а также и для других. Это хозяин, обрабатывающий землю, потому что он извлекает из нее, во-первых, свое продовольствие и сверх того, во-вторых, чистый доход, то есть средства, на которые содержится источник, из которого черпают торговцы, артисты, мануфактуристы, медики, писатели, адвокаты, ученые, словом сказать — все, которые, не обрабатывая земли, составляют другую деятельную часть человечества».

Таким образом учение Кене, названное физиократиею, правлением природы, разделяло общество на три класса: класс собственников, составлявший подразделение производительного класса; класс земледельцев или в собственном смысле производительный класс, наконец бесплодный класс, заключавший в себе ремесленников, купцов, артистов.

Если бы физиократы по крайней мере почтили именем производителя страдальца, изнемогающего и умирающего, проводя борозду, на которой созреет колос! Но они боялись бы оскорбить хозяина, нанимающего работников, если бы поставили в один разряд с ними бедного поселянина, им нанимаемого; и в их

глазах даже среди сельского населения отличительным признаком производительного класса был не труд, а расходование денег\*.

Напротив, как завидна, как блистательна была роль, предоставляемая физиократами собственнику! Возведенный ими на первое место в производительном классе, он представлялся обремененным высшей общественной должностью, и для исполнения этой высокой должности ему надобно было только пользоваться своим имуществом. Он один сидел за столом пиршества, его роль была спокойно потреблять свои доходы, а ремесленники и другие члены бесплодного класса приносили к его столу плоды своей промышленности и своего таланта в обмен за остатки его трапезы.

А между тем по странному опасению собственники были поражены ужасом. Кене, как мы видели, требовал, чтобы все налоги были заменены одним поземельным налогом. Собственники увидели только эту сторону теории, которая до чрезвычайности преувеличивала их важность, назначала им пышную праздность и стремилась заменить деревенской аристократией прежнюю военную аристократию. Собственники не заметили, что посредством повышения ценности хлеба Кене хотел косвенным образом собирать с промышленности то увеличение налога, которым, повидимому, грозила его система доходам собственников.

Но физиократы пользовались при дворе силою, при помощи которой могли смело бороться с противниками. Г-жа Помпадур ограждала их учителя своей могущественной дружбой, а Людовик XV защищал их своей беззаботностью. Когда в конце 1758 года Кене издал свою «Экономическую таблицу», первые оттиски сделал король своими руками. Скоро Кене приобрел пылких и преданных помощников. Их тяжелые и темные сочинения принесли бы, впрочем, довольно мало пользы новому учению, если бы оно из книг не перешло в летучие листки. Кене один из первых приветствовал общественное мнение как властелина новых времен. Когда один сановник сказал при нем: «государства управляются аллебардой», он отвечал: «а кто управляет аллебардою?» Физиократы поняли важность журналов, и у них явились журналы.

В то же время образовалась другая школа. Гурне, столь же страстный поклонник торговли, как Кене поклонник земледелия, наблюдал явления, порождаемые старою системою запретов, таможен, привилегий, цеха. Он видел фабриканта, боровшегося с

---

\* В тогдашней Франции, как мы заметили в одном из прежних примечаний, почти все пространство земли обрабатывалось по системе половничества, изредка по системе фермерства. Таким образом, огромное большинство сельского населения было исключено из участия в пользовании чистым доходом или рентой. И если получение поземельной ренты составляет признак производителя, то, разумеется, наемные работники или половники не могли называться производителями в строгом смысле.

фабричными регламентами, торговца, боровшегося с пошлинами, работника, порабощенного цехами. Сколько законов, статуты, регламентов нужно было тогда знать и пересмотреть, чтобы выткать штуку какой-нибудь материи! Если она не была правильно разбита на куски по три локтя, если она не имела указанной длины и ширины, если в основе было больше указанного числа нитей, то грозили штрафы и процессы. И что это были за процессы, в которых фабрикант, не умевший читать, был судим инспектором, не умевшим ткать! Давно уже народы по преимуществу коммерческие, англичане, голландцы, сбросили эти путы, казавшиеся им последними остатками варварства; и Гурне, путешествовавший из любознательности, занимавшийся сам торговлей, видевший от Кадикса до Гамбурга всемирную торговлю в широких размерах, извлек из своей долгой опытности нелюбовь к вмешательству власти в экономические отношения. Нужна была формула для начинавшейся эпохи владычества индивидуализма; Гурне нашел ее: *laissez faire, laissez passer*.

Легко угадать точку естественного несогласия школы Гурне со школою физиократов. Мыслители, поклонявшиеся промышленности и торговле, могли ли согласиться на признание превосходства за земледелием? Действительно, в этом вопросе они помирились не без труда. Но обе школы имели одну общую тенденцию — индивидуализм; и общим девизом их стала формула: *laissez faire, laissez passer*.

В самом деле глава физиократов свою теорию чистого дохода завершал признанием безграничной свободы собственника. Он хотел, чтобы собственник, один, подвергаясь налогу, мог по своему капризу возвышать цену хлеба, держать его в магазинах, не пуская в продажу, вывозить его за границу, словом — располагать хлебом как угодно, находя единственное ограничение своему произволу в таком же праве других собственников.

Таким образом два человека, вышедшие из различных точек, один воспитанный на ферме, другой воспитанный в купеческой конторе, прошедши некоторое пространство на поле теории различными дорогами, вдруг встретились на перекрестке, где надписью столба было слово: свобода. Важно было бы хорошенько понять это слово. Скольких бедствий избежали бы народы, если бы поняли, что нет свободы там, где слабый остается беспомощным. Но прежние стеснительные регламенты так утомили людей, что почти все мыслители безусловно склонялись к противоположному принципу, к простому освобождению индивидуума от всяких обязательств. Собственник и купец, богач и бедняк, каждый предоставлялся теперь самому себе. Думали, что каждый лучше всех других понимает свою выгоду; будущность открывалась этому гордому чувству. Не нужно более ни надсмотрщиков, ни сторожей, ни застав; не нужно опеки, хоть бы с нею уничтожалась и защита.

Потому-то обе школы слились в одну, и под общим именем экономистов они пошли, соединив свои знамена, к двоякому торжеству среднего сословия в земледелии и торговле.

Тюрго — тот человек XVIII века, в котором соединились обе школы; в его трактате «*Sur la Formation et la Distribution des richesses*» выразились все их учения. Напрасно стали бы мы искать в этом трактате новых взглядов, поразительных открытий могущественного гения: Тюрго был почтительным учеником Кене; если сам он, как мы сказали, был почтен именем учителя, он обязан тем исключительно уважению, какое внушал его возвышенный характер. Но историческую важность его сочинения приобретают именно от верности, с какою воспроизведены в них стремления, идеи, софизмы целой школы.

Трактат об образовании и распределении богатств не говорит ничего нового о разделении общества на три класса, о преимуществе земледелия, о сущности и происхождении чистого дохода; он только повторяет мысли, которые мы уже видели у Кене. Потому мы рассмотрим в книге Тюрго только отношение теории экономистов к простолюдинам.

Вот что говорит Тюрго: «Простой работник, не имеющий ничего, кроме своих рук и своего промысла, получает что-нибудь только чрез то, когда ему удастся продать другим свой труд. Он продает его дороже или дешевле; но эта цена, более или менее высокая, зависит не от него одного: она истекает из условия, заключаемого им с нанимающим его. Наниматель платит ему за работу как можно дешевле; имея выбор между большим числом работников, он предпочитает того, который работает дешевле. Итак, работники принуждены понижать цену наперебой одни пред другими. Во всех отраслях работы должно происходить и происходит, что плата работника ограничивается тою цифрой, какая необходима для доставления ему его пропитания».

Да, описание феномена очень верно с фактами. Действительно, так происходит при владычестве индивидуализма в обществе, где каждый имеет в виду только самого себя, на этой арене, где, влекомые конкуренцией, несчастные пролетарии принуждены оспаривать друг у друга работу как будто добычу, с опасностью губить друг друга. Но разве это не беспорядок, не несправедливость, не насилие? Когда с одной стороны сильный, с другой — слабый, свобода сильного разве не угнетение слабого? Глубокие вопросы, их не предлагает себе Тюрго! Принцип, найденный в наши времена, бесчестная и жестокая формула: «чужих дел знать не хочу, в мои никто не мешайся», *chacun pour soi, chacun chez soi* — эта формула, к сожалению, была принимаема Тюрго; а раз допустив принцип, как остановить вывод, если вывод из него гибелен? «Так должно происходить». Да, конечно, «должно происходить», что доля работника уменьшается до границ необходимого для его существования, когда мы возьмем за точку отправ-

ления право индивидуальности; но так ли было бы при системе взаимного обеспечения?

Тюрго превосходно доказывает, что труд рабов мало производителен, потому что работник недостаточно заинтересован в успехе труда; но он позабывает это соображение, когда речь идет о труде работника, свободного по имени, на факте — раба нищеты. Тюрго не возмущается очевидною и несправедливою неравномерностью в страданиях и выгодах при слепой диктатуре системы *laissez faire* — он видит в этом натуральный порядок; он описывает факт и боится судить о нем<sup>3</sup>.

Чрезвычайно живым и проницательным образом Тюрго перечисляет услуги капитала в промышленности и показывает их важность; но, подобно всей школе, представителем которой он является, Тюрго совершенно произвольно и фальшиво смешивает капитал с капиталистом, из необходимости капитала выводя законность владычества капиталиста. И, кроме того, разве труд не так же необходим, как и капитал? И если капитал есть богатство прошедшего, разве не труд извлечет из него богатство будущего? И когда вам говорят, что заработанная плата должна ограничиваться необходимо-нужным для пропитания, неужели не даст на то ответа ваше сердце, если не дала голова? Странные и печальные увлечения логики в ошибочной или неполной системе! Тюрго, человек благородной души, был до того увлечен своим принципом, что теоретически оправдывал ростовщиков. Понятно еще было бы, если бы он, провозглашая право заимодавца, основывал его на общественной пользе; но нет, это право казалось Тюрго столь безусловным, столь независимым от всякой идеи общего блага, что он не хотел даже, чтобы основанием процентов поставляли услугу, оказываемую заимодавцем должнику<sup>\*</sup>; нет, чтобы заимодавец имел право требовать всего, что хочет, довольно было, по мнению Тюрго, что «он — хозяин своих денег».

Какое сравнение с благородными, достойными возвышенного гения прекрасными словами Лоу: «Деньги в ваших руках только затем, чтобы вы пользовались ими, давали им обращение, для удовлетворения ваших нужд и желаний; если вы не хотите сами пользоваться, ваши сограждане должны пользоваться ими; вы не можете лишать себя и других права ими пользоваться, не

---

\* Вот собственные слова Тюрго: «Выгода, которую можно извлечь из денег, полученных взаймы, без сомнения, бывает одною из самых обыкновенных причин того, что кредитор решается занимать с платежом процентов; эта выгода — один из источников легкости, какую находит он в уплате процентов; но вовсе не она составляет источник права заимодавца требовать процентов; этому праву достаточным основанием служит то, что он хозяин своих денег, и это право неразлучно связано с собственностью. Он хозяин своих денег, стало быть волен оставить их у себя, нет ему никакой обязанности давать их в заем; потому, если он дает их в заем, он может поставять этому займу какое хочет условие».



совершая несправедливости и преступления пред государством».

Сравните эти два учения и решите, которое лучше.

Не скроем: Тюрго в великолепных выражениях провозгласил «право работать». Без сомнения, это будет одним из прав его на честь в потомстве. Тогда еще не рушилось устройство, в котором осмеливались объявлять работу феодальною привилегиею сюзерена, — тогда большою заслугою было поставить право работать в числе неотъемлемых прав человека.

Но не станем обманывать себя: Тюрго никогда не достигал того, чтобы признать за человеком «право иметь работу». Он хотел, чтобы беднякам была предоставлена свобода развивать свои способности, но он не допускал того, что общество обязано давать им средства достигать развития. Он хотел, чтобы уничтожены были препятствия, могущие возникать от вмешательства регламентации, но он не возлагал на общество обязанности служить опорой для бедных, слабых, непросвещенных. Словом, он допускал право искать работы, а не право иметь ее — различие существенное, до сих пор еще не вполне понятное.

[Какая польза была, если говорили пролетарию: «Ты имеешь право работать», когда он отвечал: «Как же я воспользуюсь этим правом? Я не могу обрабатывать землю для себя, — родившись, я нахожу ее уже занятою. Я не могу заняться ни охотою, ни рыбною ловлею, — это привилегия владельца. Я не могу собирать плодов, возвращаемых богом на пути людей, — эти плоды поступили в собственность, как и земля. Я не могу ни срубить дерева, ни добыть железа, которые необходимы для моей работы: по условию, в котором я не участвовал, эти богатства, созданные, как я думаю, природой для всех, разделены и стали имуществом нескольких людей. Я не могу работать иначе, как по условиям, возлагаемым на меня теми, которые владеют средствами для труда. Если, пользуясь так называемою у вас свободою договоров, эти условия чрезмерно суровы; если требуют, чтобы я продал и тело, и душу; если ничто не защищает меня от несчастного моего положения или если, не имея во мне надобности, люди, дающие работу, оттолкнули меня, — что будет со мной? Найдется ли у меня сила восхищаться тем, что у вас называется уничтожением произвольных стеснений, сделанных людьми, когда я безуспешно борюсь с условиями жизни? Буду ли я свободен, когда подвергнусь я рабству голода? Право работать будет ли казаться мне драгоценно, когда мне придется умирать от беспомощности и отчаяния при всем моем праве?»]

Таким образом право, понимаемое экономистами в абстрактном смысле, было не более как призраком, способным только держать народ в мучении вечно обманываемой надежды. Право в том смысле, как определяли его экономисты XVIII века, как понимал и провозглашал его Тюрго, могло служить только к замаскированию несправедливостей, которые должны были воз-



никнуть из господства индивидуализма, к замаскированию варварства, оставлявшего бедняка в беспомощности.

Мало того, чтобы сказать: «ты имеешь право»; надобно дать возможность, дать средства пользоваться этим правом.

Мы видели, как ложно и опасно было учение экономистов XVIII века. Но не будем опрометчиво винить их. Они с слепою страстью приняли принцип индивидуализма потому, что противоположный принцип, принцип власти, вызвал против себя безусловную реакцию как необходимость той эпохи. Когда палка искривлена в одну сторону, ее можно выпрямить, только искрививши в противную сторону: таков закон общественной жизни<sup>4</sup>. Будем уважать его, хотя он прискорбен; будем признательны даже к ошибавшимся за их ошибку, если она содействовала исправлению других более важных и гибельных ошибок. Но только для тех сохраним наше удивление, которые, опережая свою эпоху, имели славу предусматривать зорю грядущего дня, имели мужество приветствовать его приход. Возвышать независимый и гордый голос, когда против вас шумит мнение современного общества; бороться с силою, которая оклеветает вас, на пользу толпы, которая не понимает или не знает вас; в самом себе находить свое ободрение, свою силу, свою надежду; с непреклонной душой, с святою жаждою справедливости идти к цели, не озираясь, идет ли за вами толпа, и достигнуть высот, только путь к которым можно указать отставшему своему поколению, и кончить жизнь в горьком одиночестве своего ума и своего сердца — вот что достойно вечного удивления, и в честь тех, которые были способны к такому подвигу, должна возжигать свой фимиам история.

Мы изложили учение Тюрго. Деятельность его была деятельностью доброго гражданина и преданного общему благу администратора. Будучи правителем (интендантом) Лимузенской провинции в то самое время, когда писал свою книгу, он заставил любить, благословлять себя. Благородным употреблением своих доходов он облегчал участь бедняков. Он пролагал дороги. Он научил народ благодетельному разведению картофеля. Он уничтожил в своем интендантстве дорожную повинность. Но заметим, что добро, внушаемое ему чувствами сердца, Тюрго мог совершать часто не иначе, как поступая противоположно своим сочинениям. «Он боролся с эгоизмом, — говорит жаркий его панегирист, Дер, в биографии, приложенной к его сочинениям в «*Collection des économistes*» Гильомена, — он энергически боролся с эгоизмом, иногда прибегая даже к понудительным мерам», — но ведь это значило переступать узкие принципы, на которых сам он основывал право заимодавца. Он устроил (во время голода) «благотворительные мастерские» (*ateliers de charité*) — разве это не было вступлением в систему вмешательства государства в промышленные отношения? В начале инструкции благотвори-

тельными комитетами, которые заведывали этими мастерскими, он написал трогательные, дивные слова: «Облегчение бедствий страдальцев — общая обязанность, общий долг», — разве это не значило осуждать теорию конкуренции, предающей судьбу бедняка произволу случая? Да, Тюрго не всегда был верен своим принципам: не осуждайте его за то, в том слава его.

[Теперь можно судить о том, как] сильна была школа, провозглашавшая в XVIII веке индивидуальное право. Но и общественное право также находило себе защитников, хотя и оставалось в разноречии с общим направлением умов. Из мыслителей, занимавшихся специально экономическими вопросами, такими защитниками были Мабли, Морелли, — но их усилия изменить господствующее направление оставались напрасны. Напрасно также шли против него Жан-Жак Руссо в «*Contrat social*», Эльвеспиус в некоторых местах своего «*Traité de l'homme*», Дидро в некоторых из лучших своих сочинений. Индивидуализм непроборимо овладевал обществом. Мабли сам чувствовал это, и многие страницы его сочинений показывают, что он не скрывал от себя могущества идей, которые оспаривал. Школа экономистов с каждым днем становилась сильнее, и пришел час, когда она достигла правительственной власти.

10 мая 1774 года Людовик XVI вступил на престол; через три месяца Вольтер писал: «Если Людовик XVI будет продолжать, как начал, перестанут говорить о веке Людовика XIV. Он, кажется, благоразумен и тверд, итак он будет великим и добрым государем. Счастливы те, кому двадцать лет, как ему, — они долго будут наслаждаться счастьем его царствования».

Но царствование это началось ошибкой. Людовик XVI, человек строгой нравственности и серьезного характера, взял себе первым министром и руководителем старого развратника, в котором легкомыслие служило только прикрасой систематической испорченности. Скоро по воле графа Морепа все министры заменились новыми. Д'Эгильон уступил место Верженну; Мюи сделался военным министром; Мопу был заменен Мироменилем; Тюрго, сначала сделанный морским министром, скоро получил должность генерал-контролера финансов вместо аббата дю-Терре. В лице Тюрго экономисты достигли власти и не сомневались, что благодаря энергии и бесстрашию нового генерал-контролера их идеи будут, наконец, блистательным образом применены к управлению.

Мы видели Тюрго писателем и администратором: каков он будет министром?

Тюрго имел прекрасную и внушавшую почтение наружность. Воспитанный для духовного звания, у которого похитила его философия, он принес в светское общество привычки чистой нравственности; облагораживаемые его гордостью, они заставляли смиряться легкомыслие других сановников. Если бы довольно

было иметь обширные знания для преобразования и успокоения больного, волнующегося общества, Тюрго был бы достойнее всех руководить реформами в стране, угрожаемой бурными потрясениями: он испытал свои умственные силы во всех отраслях науки и осмотрел, так сказать, все знания.

Но уму его не доставало широты, не доставало ему мощного далекого взгляда, который разом измеряет все результаты принципа. Отсюда его ошибки и противоречия. Бесспорно, он любил народ, — ведь он разрушил монополию цеховых корпораций и тиранию дорожной повинности; но что же предложил он взамен прежнего угнетения? Давая человеку достоинство, он делал его одиноким, его величие он основывал на эгоизме, он провозглашал под именем конкуренции войну между интересами, под именем свободы — оставление бедного беспомощным; он вводил для сильных покровительство системы *laissez faire*, для бедных — произвол случая. Не удивляйтесь, если он в своем Лимузенском интендатстве показывал отеческую заботливость о народе; если, провозгласивши в теории законность лихоимства, он косвенными путями пытался действовать против его унижительного и жестокого владычества; если он силой власти организовал вспоможение бедным, проповедуя в своих книгах поклонение индивидуальному праву, — этому идолу, которому принесено было потом столько человеческих жертв. Тюрго был человек, действительно желавший добра, — мог ли он как практический деятель не опровергать часто своими распоряжениями свои теоретические ошибки? Самая резкая черта его жизни это — именно противоположность между прекрасными его действиями и ложными его понятиями.

Каковы бы ни были его теоретические недостатки, в то время можно было противопоставить ему только одного соперника. Неккеру не могли простить презрения к модным тогдашним мыслителям, гордой независимости его ума. Он изобличил лживость пышных фраз о свободе, которыми [усыпляют] страдания обманутой массы; он понял и отважился сказать, что право жить и быть счастливым — пустой призрак для человека, не имеющего средств к тому; что свобода бедняка — только особенный вид рабства; что все притязания отдельной личности должны иметь мерилом и ограничением общее благо, а судьей — государство.

По высоте мыслей Неккер был, без всякого сомнения, выше Тюрго.

Но идеи Тюрго чрезвычайно облегчали обязанность правителя. Разрушить ограничения и потом оставить все произволу, — вот роль правительства по теории Тюрго. Неккер, напротив, возлагал на правительство обязанность столь же тяжелую, как и высокую. С бдительным участием следить за тревожным существованием бедняка среди запутанных явлений общественной жизни; заботиться о средствах существования для всех и об уча-

стии каждого в священной области труда; быть сильным за слабых, прозорливым за непросвещенных; защищать если не счастье, то по крайней мере кусок хлеба для массы против бездушного царства конкуренции и беспорядков всеобщего антагонизма — вот какими обязанностями, вот какими заботами, по мнению Неккера, заслуживалась честь управлять государством.

Это значило требовать в министре [соединения] таких качеств, каких не дала природа самому Неккеру; потому, достигнув власти, он должен был пасть под бременем собственной идеи.

Опираясь на безусловный принцип, имея целью только разрушать, предоставляя результаты разрушения на проникательность частного интереса, Тюрго мог идти вперед без оглядки. Не мог иметь этой свободы Неккер, проникнутый желанием все устроить и все предусмотреть. Вошедши на высоту власти, он почувствовал, что его силы, его решимость ниже его идеала, в нем явилась робость, что он сам не удовлетворит своим требованиям; он стал колебаться между стыдом быть посредственным или бесполезным и между страхом излишней смелости; он явился тем более нерешителен и смущен, чем дальновиднее был его взор: нерешительность — слабая сторона проникательности.

Тюрго явился выше, Неккер ниже своих сочинений в своей министерской деятельности.

Как только вступил в управление финансами, Тюрго ввел в него учение экономистов, и 13 сентября 1774 года эдикт совета разрешил свободную торговлю хлебом во всем королевстве. Экономисты были в восторге. Тогда Неккер взялся за перо и написал книгу, в которой есть страницы, равно достойные государственного человека и поэта, которая вся от начала до конца проникнута серьезным красноречием и силой сдержанного чувства. Вопрос о хлебной торговле он взял только как случай восстать, во имя народных польз, против системы индивидуализма. Неккер восходил к основным началам общественного устройства и подвергал их анализу, равно возвышенному и смелому.

[Тот, кто вначале поставил несколько столбиков вокруг участка и бросил в него посев, неужели на этом одном основании мог получить исключительную привилегию на эту землю для своих потомков до конца веков? Нет, отвечал Неккер: «такое преимущество не могло принадлежать этой малой заслуге». Право собственности, по мнению Неккера, было основано на предположении своей полезности для общества; у тех, которые отваживались выставлять основанием своего права только самое это право, он спрашивал: «Скажите, разве ваша купчая крепость записана на небесах? Или вы принесли вашу землю с соседней планеты? Или есть у вас какая-нибудь сила кроме той, которую дает вам общество?»

Не менее справедливо Неккер определял свободу. Он не удивлялся, что в тогдашнюю эпоху для людей, натерпевшихся дол-

того угнетения, одно слово «свобода» было уже очарованием и слово «запрещение» отзывалось в их душе как звук еще несломанной цепи; но от его взгляда не ускользнуло, что среди всеобщей борьбы, при неравенстве оружий, свобода служит только маской угнетения. Неужели во имя свободы можно позволить сильному человеку приобретать выгоды на счет слабого? А по выражению Неккера «сильный человек в обществе — это собственник; слабый человек — человек без собственности».

И чтобы лучше показать, к каким несообразностям может приводить идея права, когда смысл ее не истолковывается сердцем, он прибегал к поразительной гипотезе. Он предполагал, что некоторое число людей нашли средства присвоить себе воздух, как другие присвоили землю; потом он представлял, что они изобретают трубы и воздушные насосы, посредством которых могут сгустить или разредить воздух в данном месте: неужели этим людям дозволили бы произвольно распоряжаться дыханием человеческого рода?]

Неккер не нападал на право собственности в его корне, потому что дорожил свободой; но мерилом собственности и свободы он постановлял общую пользу. Прилагая эти принципы к вопросу о хлебной торговле, он выводил из них следствия, прямо противоположные системе экономистов. Отдельному человеку, говорящему «я хочу делать то, что мне угодно», он противопоставлял общество, говорящее: «я не хочу, чтобы человек мог делать то, что мне вредно».

Под тем предлогом, что заработная плата приходит в соразмерность с ценою продуктов первой необходимости, физиократы утверждали, что дороговизна съестных припасов вовсе не противна выгодам народа. Неккер энергически опровергал этот опасный софизм. Хлеб подымается в цене ныне, а через два, через три месяца увеличивается моя заработная плата. В ожидании этого неужели мне должно умирать с голоду? [Неккер восклицал: «Спросите у этого наемного работника, плату которого стараются по возможности понизить, желает ли он дороговизны съестных припасов? Если бы они умели читать, они были бы очень изумлены, узнав, что от их имени требуют дороговизны».

Книга кончалась следующими словами: можно сказать, что небольшое число людей, разделив между собой землю, составили законы для обеспечения своих участков против массы людей, вроде того, как поставлены загородки в лесах против диких зверей. Установлены законы, ограждающие собственность, правосудие и свободу, но почти еще ничего не сделано для самого многочисленного класса граждан. Какая нам польза от ваших законов о собственности, — могут сказать они: — мы ничего не имеем; от ваших законов о правосудии? — нам не о чем вести тяжбу; от ваших законов о свободе? — если мы не будем работать завтра, мы умрем.]

В апреле 1775 года Неккер явился пред генерал-контролером с просьбой о разрешении напечатать свою книгу. Их свидание имело торжественную холодность. На гордость банкира министр отвечал холодностью. Неккер держал в руке свою рукопись и предлагал не издавать ее, если она покажется способною нарушить порядок. Тюрго с презрительным равнодушием отвечал, что не видит неудобства в обнародовании подобных теорий и не боится ничего. Собеседники расстались врагами.

При смутах, возникших в Париже по случаю дороговизны хлеба, Тюрго не сохранил спокойствия государственного человека: но по крайней мере он выказал твердость убеждения. И как легко забыть этот случай, перечисляя множество услуг, ознаменовавших или, лучше сказать, обессмертивших управление Тюрго! Он прекратил постыдные выгоды, дававшиеся придворным откупщикам; отменил ответственность богатых членов общины за исправность платежа податей всеми остальными; уничтожил множество местных сборов и частных привилегий, возвышавших цену на съестные припасы; освободил поселянина от обязанности выставлять подводы при проходе войск; заслужил одобрение всего Парижа, отняв у госпиталя Hôtel Dieu привилегию продавать мясо в продолжение великого поста; улучшил водяные пути сообщения; заботился об усовершенствовании дорог и почтовых сообщений; разрушил феодальные препятствия свободной торговле винами; содействовал учреждению дисконтной кассы для понижения процентов; уменьшил прежний дефицит с двадцати двух миллионов до 15 и притом единственно помощью экономии; оживил кредит честным исполнением обязательств, — сделать все это в двадцать месяцев значило сделать больше, нежели самые могущественные и сильные министры делали в продолжение многих лет.

Но опираясь на Мальзерб, которому доставил место в министерстве, Тюрго думал нанести старому общественному устройству удары еще более решительные. При тогдашнем стремлении публики к переменам сильное впечатление произвела брошюра, написанная под его влиянием. Она требовала отменения дорожной повинности; имя автора не было выставлено на ней; предполагали, что написал ее Вольтер. В лагере привилегированных поднялся вопль печали и страха; предводитель аристократии, принц Конти, негодует; пылкий оратор парламента д'Эпремениль произносит грозные речи; парламент запрещает брошюру. Это значило делать вызов Тюрго; он принял бой, и 3 февраля 1776 года парламенту был сообщен эдикт, отменявший дорожную повинность. Министр заменял ее поземельным налогом, от которого освобождались земли духовенства, но которому подвергались вместе с землями простолюдинов дворянские поместья. Можно вообразить себе, каковы были демонстрации парламента. «Французский народ подлежит подушным окладам без всякого



ограничения (*est taillable et corvéable à volonté*), — восклицает парламент, — это основной закон, которого не может изменять король». Орган аристократии, высокомерный принц Конти, осмелился утверждать, что нельзя заменять дорожную повинность никакою другою податью, потому что эта повинность, исключительно лежащая на простом народе, составляет признак его различия от благородных [и уничтожать ее значило бы снимать с мужицкого лба прирожденное клеймо рабства]. Какой скандал в подобном сопротивлении, обесчещенном подобными основаниями! Тюрго удвоил свою твердость. Он победоносно отвечал в совете на возражения Миромениля, восторжествовал над недоброжелательностью Морепа, увлек за собой Людовика XVI; и в королевском заседании 12 марта 1776 года парламент был принужден внести в свой протокол эдикт, уничтожавший дорожную повинность и цеховые корпорации.

Через два месяца, окруженный союзом яростных врагов, коварно преданный своими товарищами, лишенный помощи Мальзерба, удалившегося в изнеможении из министерства, покинутый графом Морепа, оставленный без защиты Людовиком XVI, Тюрго лишился власти, и его противники стали хлопотать о восстановлении того, что он разрушил.

Мы привели этот очерк, чтобы показать, как смотрят на физиократов и на Тюрго ученые той школы, на мнения которой г. Муравьев обратил, как нам кажется, слишком мало внимания, слишком доверчиво принимая взгляд противной школы. Теперь нам легко обозначить разницу физиократов от людей, которые воображают себя продолжателями их благородных усилий.

Разница вовсе не в том, что физиократы при младенческом состоянии науки принимали начало, односторонность которого обнаружена Адамом Смитом, а нынешние поклонники выставленной физиократами формулы *laissez faire, laissez passer* видят ошибочность их мнения о том, будто бы только одно земледелие — источник производства. На стороне физиократов тут действительно ошибка, но эта ошибка состоит скорее в неудачном выборе терминов, еще не достигших нынешней определенности, нежели в существенном смысле понятий, которые они только не умели выразить с достаточною верностью. Если мы не будем придирааться к словам, в неудовлетворительности которых каждое предыдущее поколение легко может быть уличаемо последующим, если мы захотим вникнуть в основную мысль физиократов и выразить ее той терминологией, какую приняли бы они сами, если бы располагали учеными пособиями, находящимися в руках нынешних экономистов, их знаменитое учение об исключительной производительности земледелия может быть представлено в следующем виде.

Земледелие и другие промыслы, состоящие в прямом отношении к земле, извлекают из нее продукты; часть этих продуктов

обращается непосредственным образом на поддержание человеческой жизни, другая часть передается для обработки таким промыслам, которые уже не извлекают из неорганической природы никаких новых масс вещества, а только видоизменяют различным образом вещество, добытое первыми промыслами. Таким образом очевидно, что размер этих вторых занятий зависит от величины той части продуктов, которая передается им первыми промыслами. Из этого видно также, что первые промыслы служат основанием для вторых. В главнейшем из этих первых промыслов, имеющих дело непосредственно с землей, именно в земледелии, надобно заметить еще две особенные черты, отличающие его почти от всех других занятий. Оно производит почти исключительно предметы первой необходимости, именно: масса его продуктов состоит в средствах продовольствия. По своему основному характеру оно чуждо стремления служить прихотям роскоши и моды; напротив, очень многие из занятий, состоящих только в переработке уже извлеченных из земли продуктов, обнаруживают стремление служить не столько необходимости существования, сколько простому удовольствию, и вообще наклонны подчиняться прихотям моды и роскоши. Эта разница обнаружится, если мы сравним земледелие даже с такими необходимыми производствами, как, например, выделка сукна или домашней посуды. Другая особенность земледелия состоит в доставлении поземельной ренты, которая характером своим отличается от выгоды, доставляемой затратою капиталов.

Некоторые из французских экономистов школы Сэ не соглашались с понятием о поземельной ренте в этом изложении; но в Англии и Германии никто не будет спорить и против этого последнего пункта. Что же касается до остальных, они и во Франции не найдут противоречия. Таким образом, если физиократы выражали свои мысли неудовлетворительным для нашего времени образом, то существенный смысл их идей о классификации занятий и особенностях земледельческого производства в основании своем был справедлив. Нам кажется, что распространяться о неудовлетворительности выражения в старинных книгах и из этого выводить различие нынешних теорий от старинных учений — значит утешаться своею способностью делать придирки к словам.

Но если мы не находим основательным признавать коренную разницу между физиократами и школой Сэ в тех пунктах, в которых находит она свое превосходство над физиократами, зато, с другой стороны, мы видим различие в самом духе этих двух школ, в их отношениях к недостаткам и потребностям двух эпох, им современных. Мы находим разницу именно в том самом, в чем школа Сэ видит свое сходство с физиократами. Подобно нынешним последователям школы Сэ, физиократы предоставляли все отдельному лицу, думая, что общее благо не требует никаких особенных гарантий в экономической сфере. Мы находим, что смысл этого требования ныне совершенно не тот, какой принадлежал

ему во время Кене и Тюрго. Одно и то же слово может быть представителем прогресса или отсталости, смотря по различию времен. Петр Великий строил парусные корабли; это было великим прогрессом. Но если бы теперь, когда доказана неудовлетворительность парусных кораблей по сравнению с пароходными, если бы теперь кто-нибудь стал твердить нам: «стройте только парусные корабли», — такой человек был бы представителем отсталости, регресса. Сорок лет тому назад люди, желавшие улучшить наши пути сообщения, говорили о необходимости соединить гавани Черного моря с центром России посредством шоссе. Кто стал бы ныне доказывать превосходство сообщения Феодосии с Москвой посредством шоссе, заслужил бы только насмешку.

Отношения одного и того же понятия к потребностям различных времен изменяются явлением новых усовершенствований; есть и другой источник перемены. Очень часто случается, что опыт обнаруживает неудовлетворительность средства, которое казалось изъятым от всяких недостатков, пока не было приложено к делу. Это факт, у романтических юношей известный под именем разочарования. Пока во Франции не был приложен к делу *suffrage universel*, очень умные люди полагали, что при помощи его французское правительство устроится гораздо лучше, нежели было прежде. На деле оказалось противное. Пока не было испытано в приложении к Франции английское государственное устройство, почти все умные французы ожидали от него исцеления правительственных недостатков своего отечества. На деле опять оказалось противное. Как быть при таком разочаровании? Умные люди говорят, что оно принуждает к исследованиям двоякого рода. Во-первых, надобно подумать, верно ли было наше понятие о принципе, которым мы очаровывались, и не надобно ли видоизменить формулу, его выражающую; во-вторых, следует подумать, нет ли других принципов, могущих служить ему коррективными средствами. Так, например, умные люди находят, что *suffrage universel* понимался односторонним и узким образом и что каким бы образом ни понимать его, необходимыми коррективными средствами ему должны служить просвещение и децентрализация.

Когда явились физиократы, принцип безответственной свободы индивидуума не был еще испытан на деле; этот принцип, прямо противоположный средневековым злоупотреблениям, казался совершенно достаточным средством для доставления человечеству счастья, отнимавшегося у людей этими злоупотреблениями. С той поры опыт указал многое такое, о чем не догадывались физиократы. Открылось, что, кроме средневековых злоупотреблений, человечество может страдать и от других бедствий, против которых бессилён принцип индивидуальной независимости. Открылось также, что эта независимость понимаема была узким образом. И вот видна теперь из опыта необходимость со-

четать с этим принципом другие принципы и понимать его иначе, нежели как понимался он сто лет тому назад.

Непризнание этих потребностей у физиократов было просто незнанием и потому не мешало им оставаться вполне добросовестными: они не принимали в свою теорию некоторых условий истинного экономического идеала потому только, что в те времена опыт еще не указал надобности принимать их необходимыми элементами общей теории; словом сказать, они просто упустили из виду, но не систематически отвергали понятия, которых не доставало в их теории для полного соответствия с экономической истинной. Когда же обстоятельства ярко указывали в каком-нибудь данном случае на пользу мер, не входивших в отвлеченную их систему, они не колеблясь принимали эти меры, потому что главным делом для них было все-таки желание общей пользы, а не пристрастие к системе. Так действовал, например, Тюрго во время голода в Лимузенской провинции.

Не то с нынешними поклонниками исключительных прав индивидуальности. Они держатся своего узкого пути не потому, чтобы не знали фактов, противоречащих прежней системе: они уже обсудили факты со всех сторон и решили систематически перетолковывать их сообразно с выгодами своей теории или отвергать их. Их ошибки — не от незнания, а от сознательного противоречия. В них система заглушает чувство истины, и самое стремление к добру решили они принимать не более как настолько, насколько оно подходит под их мерку. Это не наивный недостаток, это закоснелость отсталости.

Оттого одни и те же слова «безусловная независимость индивидуума» имеют совершенно различный характер у физиократов и у школы Сэ. Физиократам не мешали они вести общество вперед; нынешние поклонники формулы *laissez faire, laissez passer* — люди старины, не удовлетворяющие требованиям своего времени. То было время, когда человек рвался из средневековых уз, как птица из клетки. Но теперь птица довольно долго уже летала, куда хотела, и чувствует, что если хорош беспредельный простор поднебесья, то много в нем грозных опасностей, часто бывают непогоды, и что если клетка — плохое гнездо и действительно было нужно вырваться из него, то все же плохо быть во все без гнезда, нельзя не позаботиться об устройстве его и нужно думать о том, как бы получше устроить его<sup>5</sup>.

От теории Тюрго перейдем к практической деятельности его как министра. За нее хвалят его писатели всех экономических школ, но нам кажется, что при многих прекрасных сторонах есть в ней один недостаток. Тюрго был хорошим министром, но напрасно был он министром.

Место генерал-контролера финансов давало, говорят, более 150 000 руб. серебром дохода, узаконенного обычаем; при отставке генерал-контролер получал большую пенсию; по влиянию

на внутренние дела он был важнейшим министром в королевстве; генерал-контролер заведывал, кроме финансов, многими из отраслей, принадлежащих ныне министерствам внутренних дел, юстиции, общественных работ. Если бы Тюрго, принимая место контролера, имел в виду почетность его, соединенную с огромными доходами, он не сделал бы ошибки. Но он руководился совершенно иными побуждениями: он хотел ввести порядок в финансы и мирными преобразованиями предотвратить бедствия, которые уже тогда грозили государству. Рассчитывать на возможность этого — значило обольщаться несбыточными мечтами.

В самом деле, хотя несколько присмотревшись к тогдашним обстоятельствам, каждый мог убедиться в невозможности произвести какие-нибудь существенные улучшения.

Характер тогдашней правительственной системы известен. Совершенно ошибаются те, которые думают [определить ее словами], что Франция XVIII века имела [самодержавное правление. Оно] существовало только на словах, а вовсе не в действительности.

[Самодержавное правление предполагает твердую волю и самостоятельное знакомство с государственными делами в короле или гениальность в первом министре, который, пользуясь непоколебимым доверием короля, может действовать независимо ни от кого. Таковы были Людовик XI, Ришелье и Людовик XIV в первую половину своего царствования. Но качества, нами названные, могут являться только при известных условиях, из которых самое главное — существование упорной борьбы для упрочения правительственной формы. Только тогда человек серьезно занимается делами и развивает в себе мужественный характер, пока вопрос очень близко касается его собственных интересов. Только тогда он ищет гениального помощника и, нашедши, дает ему необходимую власть, когда видит, что без его содействия не может сам сохранить своего положения. Только в таких обстоятельствах являлись истинно великие самодержавные государи и великие министры самодержавия, как показывает история. Но когда форма упрочена, характер дел изменяется, а с ним и характер людей. За победой всегда следует отдых, за усиленной деятельностью — ослабление энергии. Тогда дух, создавший форму, ослабевает, уступая место наслаждению формой, открывается простор наклонностям, не имеющим серьезного значения; дела можно вести так или иначе, уже ничего не теряя в личном положении, которое вне опасности, — они ведутся не в духе необходимости, без строгой последовательности, становятся в зависимость от второстепенных желаний. Твердая воля исчезает, знание дел становится ненужным, без гениальных помощников легко обойтись, они становятся неприятны, потому что требуют энергической последовательности; гораздо удобней кажется верить людям, которые уступчивы, которые готовы идти и туда и сюда, по воле

минутного расположения; можно удовлетворять наклонности делать выбор между людьми, основываясь не на их собственных качествах, а на своих отношениях к ним, на их приятности для нас и наших близких. Словом сказать, начинается эпоха личных отношений и наступает владычество камариллы, которая скоро так опутывает волю, что она лишается своей самостоятельности. Имя остается прежнее, но прежнего духа уже нет.]

С начала XVIII века во Франции владычествует под именем короля камарилла. Она овладевает всей дворцовой жизнью до такой степени, что потомки Людовика XI не могут приобретать знакомства с государственными делами. Камарилла стоит между ними и делами, скрывает все, что может скрыть, показывает в извращенном свете то, чего не может скрыть. Камарилла не допускает развития воли [— она окружает мелочными развлечениями, обольщает житейскими удовольствиями, расстраивает единство характера беспорядочностью, изменчивостью своих советов, вытекающих из личного расчета, а не из убеждений, не допуская образовать ни волю, ни ум], она лишает возможности иметь прочный и отчетливый образ мыслей. [Словом, ту личность, около которой вертятся ее мелкие хлопоты, она делает такой же, какова сама, — способной только на мелочи, лишенной и знания и воли во всем серьезном.]

Ментенон, регент, Помпадур, Дюбарри, все другие личности, имевшие главное влияние на дела французского государства в течение трех первых четвертей XVIII века, были олицетворениями камариллы.

Существовало ли достаточное основание предполагать, чтобы с восшествием на престол Людовика XVI изменилось это положение, чтобы вместо управления камариллы возвратились времена Людовика XI или Ришелье? [Ни внешние] обстоятельства [ни личность нового короля] не допускали такого предположения.

[Обстоятельства —] что же такое важное изменилось в состоянии государства, в отношениях между различными сословиями? Все оставалось попрежнему. Правительство не имело внутри никаких опасных врагов, ничто не побуждало его отказаться от беззаботного распоряжения государственными делами по личным удобствам и наклонностям. Правда, вообще дела шли дурно, но они шли дурно уже в течение восьмидесяти или больше лет. Ни порядка в администрации, ни правосудия не было — но что ж тут важного? До правительства это не касалось — оно не встречало сопротивления своей воле; будучи довольно этим главным обстоятельством, оно не находило нужды быть недовольно администрацией или судебным устройством. Финансы находились в расстроенном положении; ежегодно оказывался дефицит — но что ж и тут важного? Камарилла имела довольно денег, о чем же было ей хлопотать, из-за каких благ думать о серьезных переменах? Государственный долг возра-



стал — только и всего; но кому до этого дело? Как-нибудь проценты уплачивались при помощи новых займов и новых податей. Каждый смотрит на вещи с своей точки зрения. Экономисты могли находить налоги тяжелыми, дефициты опасными, филантропы могли горевать о бедственном положении народа, философы жаловаться на дурную организацию государственного механизма; но камарилле было очень хорошо, и натурально она вовсе не желала изменять такого порядка или отказываться от власти, — уже около века она управляла таким образом, почему же ей не оставаться было попрежнему в управлении делами?

[Но король, бесспорно желавший добра, мог взглянуть на вещи иначе и оттолкнуть камариллу от власти? На каком же основании, по каким причинам? Он воспитан был среди камариллы сообразно с ее правилами и расчетами. Она позаботилась не дать ему хорошего образования; она позаботилась не дозволить ему знакомства ни с кем, кроме своих сочленов. Он не знал государственных дел; он не понимал положения королевства; он приучен был смотреть как на людей опасных или как на людей непрактичных на всех тех, которые не сходились в образе своих понятий с камариллой; если бы он был недоволен советниками своего предшественника, он не знал бы, откуда взять других, кроме как из той же камариллы.

Все это он доказал с самого начала]. Вступив на престол, Людовик XVI пожелал иметь человека, на которого мог бы полагаться во всем. [Кого избрать таким доверенным лицом, он сам не знал — так мало занимался он до той поры государственными делами, что ему были даже неизвестны люди со стороны этих занятий, — он знал, кто хорошо, кто дурно танцует, кто хорошо, кто дурно ездит верхом или стреляет из пистолета, фехтует, кто каков по части волокитства, любезности в обществе, кто знаток в гастрономии, кто знаток в лошадях, но кто знаток в государственных делах, этого ему не случилось узнать; об этом доходили до него такие же темные слухи, как до нас с вами, читатель, о том, какие живописцы или поэты считаются мастерами своего дела в Китае. Слышали мы что-то об этом, но как и что, этого мы хорошенько не припомним; что же ему было делать в таком беспомощном положении? Он обратился за советами к тем же членам камариллы — к кому же иначе? Других людей он не знал и не видал.]

Ему рекомендовали разных лиц, в том числе Машо и Морепа; он выбрал Морепа, говорят, потому, что приписал ему по ошибке те [смутные] сведения, какие доходили до него о дельности Машо. Но вернее удовлетвориться другою, несомненною причиною предпочтения, — Морепа был рекомендован ему теткой, принцессою Аделаидою.

Морепа сделался почти всемогущим человеком в королевстве. Только иногда, изредка, какою-нибудь хитростью, супруга короля Мария-Антуанетта успевала сделать что-нибудь мимо этого мини-

стра в удовольствие тем кавалерам и дамам, которые казались ей особенно приятны на балах и в маскарадах.

Старик Морепа был знаменитый эпикуреец, селадон, шутник. О государственных делах он имел очень мало понятия, все делал по личным отношениям; словом, камарилла могла считать его лучшим своим представителем.

Все шло по-старому; были перемены в лицах, по влиянию разных интриг между камариллою, но в делах не было никакой перемены, — мы видели, что она вовсе и не требовалась.

Но эпикуреец Морепа любил наслаждения всякого рода; вдруг он обольстился мечтою, что приятно было бы приобрести аплодисменты от парижского партера — не думайте, чтобы это было фигуральное выражение, вовсе нет, понимайте буквально, аплодисменты театрального партера, те самые аплодисменты, которыми награждаются певицы и танцовщицы. Каким бы способом заслужить эти аплодисменты? Не знаем, как разрешилась бы такая задача, если бы не подвернулась тут жена Морепа. Старый греховодник был женат и по обычаю многих старых греховодников сильно трусил жены. Это еще не все. У г-жи Морепа был приятель, аббат Вери. И это не все еще: надобно прибавить, что аббат Вери учился в школе вместе с Тюрго. Теперь вы угадываете, читатель, как попал Тюрго в министры. Аббат Вери сказал г-же Морепа, что с ее стороны будет очень мило, если она похлопочет за его школьного приятеля, Тюрго; г-жа Морепа сказала мужу, что он должен дать повышение отличнейшему человеку, Тюрго, который уж давно интендантом. «Тюрго! Да ведь это отлично! — подумал Морепа. — Во-первых, жена приказывает, а во-вторых, Тюрго приятель с модными писателями, а модные писатели — любимцы парижского партера. Угождая жене, я перебиваю аплодисменты в свою пользу у Вестриса и m-elle Клерон!» Морепа пошел в кабинет короля, и Тюрго пригласили быть министром.

Таковыми-то судьбами делаются на свете дела, читатель.

Не огорчайтесь этим, а тем паче не осуждайте Морепа. [Вы видите сучок в его глазу — прежде чем укорять за то почтенного человека, посмотрите, нет ли у нас самих бревна в глазу.] Не правда ли, вам случалось определять на вакантное место в вашей прислуге людей, которых вы до той поры в глаза не знали, основываясь только на рекомендации вашей тетюшки или кузины, которую просила похлопотать об этом кандидате ее кухарка или горничная? Ведь вы поступали в таком случае ничуть не лучше, нежели Морепа. И что тут дурного? Ведь из числа лакеев, поступавших к вам в услужение таким образом, попадались очень хорошие люди. Ну, вот точно так же и г-ну Морепа попался очень хороший человек. Но вы скажете, что нанять камердинера или повара — вовсе не то, что назначить генерал-контролера. Такое замечание заставляет меня предположить в вас крайнее незнакомство с ходом дел на белом свете. Поверьте, умственные и нрав-

стал — только и всего; но кому до этого дело? Как-нибудь проценты уплачивались при помощи новых займов и новых податей. Каждый смотрит на вещи с своей точки зрения. Экономисты могли находить налоги тяжелыми, дефициты опасными, филантропы могли горевать о бедственном положении народа, философы жаловаться на дурную организацию государственного механизма; но камарилле было очень хорошо, и натурально она вовсе не желала изменять такого порядка или отказываться от власти, — уже около века она управляла таким образом, почему же ей не оставаться было попрежнему в управлении делами?

[Но король, бесспорно желавший добра, мог взглянуть на вещи иначе и оттолкнуть камариллу от власти? На каком же основании, по каким причинам? Он воспитан был среди камариллы сообразно с ее правилами и расчетами. Она позаботилась не дать ему хорошего образования; она позаботилась не дозволить ему знакомства ни с кем, кроме своих сочленов. Он не знал государственных дел; он не понимал положения королевства; он приучен был смотреть как на людей опасных или как на людей непрактичных на всех тех, которые не сходились в образе своих понятий с камариллой; если бы он был недоволен советниками своего предшественника, он не знал бы, откуда взять других, кроме как из той же камариллы.

Все это он доказал с самого начала]. Вступив на престол, Людовик XVI пожелал иметь человека, на которого мог бы полагаться во всем. [Кого избрать таким доверенным лицом, он сам не знал — так мало занимался он до той поры государственными делами, что ему были даже неизвестны люди со стороны этих занятий, — он знал, кто хорошо, кто дурно танцует, кто хорошо, кто дурно ездит верхом или стреляет из пистолета, фехтует, кто каков по части волокитства, любезности в обществе, кто знаток в гастрономии, кто знаток в лошадях, но кто знаток в государственных делах, этого ему не случилось узнать; об этом доходили до него такие же темные слухи, как до нас с вами, читатель, о том, какие живописцы или поэты считаются мастерами своего дела в Китае. Слышали мы что-то об этом, но как и что, этого мы хорошенько не припомним; что же ему было делать в таком беспомощном положении? Он обратился за советами к тем же членам камариллы — к кому же иначе? Других людей он не знал и не видал.]

Ему рекомендовали разных лиц, в том числе Машо и Морепя; он выбрал Морепя, говорят, потому, что приписал ему по ошибке те [смутные] сведения, какие доходили до него о дельности Машо. Но вернее удовлетвориться другою, несомненною причиною предпочтения, — Морепя был рекомендован ему теткой, принцессою Аделаидою.

Морепя сделался почти всемогущим человеком в королевстве. Только иногда, изредка, какою-нибудь хитростью, супруга короля Мария-Антуанетта успевала сделать что-нибудь мимо этого мини-

## ОТКУПНАЯ СИСТЕМА <sup>1</sup>

К числу особенностей нашей литературы принадлежит какое-то особенное ее расположение к повальным припадкам накидываться вдруг, без всяких новых видимых причин, всеми силами на какой-нибудь предмет, который вчера был совершенно таков же, как ныне, и совершенно таким же останется завтра, а между тем ни вчера не занимал, ни завтра не будет занимать ни одной страницы печатной бумаги, а сегодня служит целью бесчисленных патетических рассуждений. Искони веков, от Рюрика до наших дней, богата была наша Русь взяточниками; в 1856 году взятки вовсе не были ни безнравственнее, ни вреднее, чем в 1852 или 1851, или 1850. Скажите же, с какой стати было так свирепо набрасываться на то, о чем можно было до той поры так удобно молчать? Что за странные люди! Лет пятьдесят очень хладнокровно носили в груди так называемую на высоком языке страшную язву, и хоть бы кто-нибудь когда-нибудь слыхивал от нас об ней, — и вдруг ни с того ни с сего начинаем с жаром бить себя по этой груди и кричать: «Ах, посмотрите, добрые люди, у нас тут глубокая язва!»

Сострадательные люди подошли на наш отчаянный крик и стали смотреть: в самом деле у нас на груди язва довольно вредного качества. Но отчего произошла эта язва, мы никак не решаемся сказать. От случайного ли какого-нибудь ушиба явилась она, или от врожденного худосочия, или от нездорового образа нашей жизни, — этого никто из нас не объявляет добрым людям, в которых старается пробудить показыванием своей язвы сострадание, смешанное с отвращением. Подойдут добрые люди, покачают головами и пойдут прочь: как в самом деле лечить болезнь, причины которой упорно скрывает больной? Это упорное молчание о причинах зла составляет вторую нашу особенность.

Что случилось со взятками года два тому назад, то же самое произошло на сих днях с откупами. Какой новый вред стали приносить с половины нынешнего лета откупа, мы не знаем, да и ни-

кто, кажется, не может сказать, чтобы ныне позволяли они себе какое-нибудь злоупотребление или налагали бы на страну какую-нибудь тяжесть, которой не налагали бы и два и три года, и двадцать и тридцать лет тому назад. На каком же основании вдруг так набросились мы на откупа, с которыми так мирно и молчаливо уживались прежде? Зато какую же безграничностью порицаний и вознаграждаем мы себя за упущенное для порицания время! Если послушать нас теперь, можно подумать, будто откупа — величайшее бедствие нашей общественной жизни, будто они что-то вроде той «идеи» трансцендентальных философов, которая, сама ни от чего не происходя и не завися, производит все. От откупов все бедствия нашей жизни: и бедность народа, и разврат, овладевший значительною частью народа, и вследствие бедности и разврата наше невежество, наше нравственное бессилие, отсутствие в нас понятий о нашем человеческом достоинстве.

Словом сказать, откупа подвергались тому же самому эпидемическому нападению, как взятки; точно так же мы без всяких новых оснований вдруг начали толковать, что откупа — величайшее зло нашей жизни, что с устранением этого зла мы стали бы процветать и благоденствовать; точно так же мы молчим о причинах, производящих это явление, вдруг ставшее несносным для нас.

Действительно откупа — вещь очень не прекрасная, вещь, защищать которую не решится ни один благонамеренный человек. Но признаемся, что нам становилось как-то неловко при чтении большей части статей, направленных против откупов. Мы чувствовали нечто вроде того, как если бы человек, двадцать лет мирно встречавшийся в обществе с каким-нибудь отъявленным шулером, вдруг без всяких новых поводов начал на чем свет стоит порочить этого шулера и доказывать, что если бы этого негодного человека изгнать из общества, то общество значительно выиграло бы. Друг мой, ваше негодование справедливо, но зачем же оно так долго молчало? Я имею дерзость предполагать, что вы слишком склонны к прекрасному правилу мудрости — не давать воли языку, если столько лет скрывали ваше чувство. Видя в вас такого совестливого хранителя вышеупомянутого прекрасного правила, я не могу защититься от мысли, что и теперь оно нарушено вами по каким-нибудь причинам, не имеющим ничего общего с прямою и независимостью характера. Вы представляетесь мне человеком, который не смел дурного слова сказать об Иване, пока Ивана кто-нибудь защищал, и осыпает чрезвычайно благородными и отважными укоризнами того же самого Ивана, увидев, что от Ивана отступились все. Ваше геройство представляется мне усердием вломиться в отворенную уже дверь. Притом же неужели не следует назвать излишним простодушием той мысли, будто общество, подобно вам двадцать лет терпевшее шулера, много

выиграет, если изгонит его? Кто породил, кто воспитал шулера? То самое общество, которое теперь напало на него. Оно остается неизменно; как же вы думаете, что оно взамен изгнанного не воспитает новых шулеров, быть может худших прежнего? Мне кажется, что пока не изменится само общество, напрасно ему изгонять шулеров или негодовать против них. Не против них, а против самого себя должно оно обратить свое негодование. Пока оно не скажет: я само хуже этого шулера, который — только случайный представитель, только один из многих верных слуг моей порочности, пока оно не пересоздаст всех своих обычаев, порождавших различные виды низкого обмана и грабежа, до той поры я не буду много радоваться злополучию какого-нибудь отдельного обманщика.

Но эпидемия заразительна. Все стали говорить против откупов; как же нам отстать от моды, как же нам избежать поветрия? Будем и мы нападать на откупа, не отстанем от других. Хорошо было бы уже и то, если бы нам удалось, подчиняясь поветрию, не забыть, что само по себе это поветрие представляет еще очень мало утешительного; если бы нам удалось хотя несколько показать слабые стороны той моды, которой мы сами должны следовать; если бы нам удалось показать недостаточность нападений на одни откупа.

Откупов защищать нельзя; действительно, они вообще представляются несовершенной формою взимания государственных налогов или пошлин. При системе откупов государство передает часть своих прав нескольким частным лицам и чрез то отчасти лишается свободы своих действий. Каково бы ни было подчинение откупщика местным властям по формальным условиям откупного контракта, откупщик все-таки имеет свой круг действия, в котором распоряжается он. Интересы правительства всегда связаны с выгодами общества; оно всегда до известной степени сознает эту связь и заботится о национальном благе. Правительство не вчера начало, не завтра кончит свои сношения с обществом, оно считает себя вечным его спутником; потому собственная выгода заставляет его щадить силы общества ныне, чтобы самому не остаться без средств, если истощит их. Совершенно не таково положение откупщика: до будущности общества ему нет никакого дела, он думает только о том, чтобы как можно больше собрать с общества ныне; завтра оно увидит себя разоренным, и с этим вместе обеднеет правительство — какая нужда в том откупщику? Он уже кончил свои счета и знать ни о чем не хочет. Его девиз: «после меня хоть трава не расти». Потому система откупов разстраивает нацию, истощает средства, которыми может располагать правительство. Правительство — это хозяин поместья; откупщик — это чеченец, на несколько часов вторгающийся в поместье; можно представить себе, каково будет состояние хозяина после того, как поместье испытает набег чеченца. Нет, наше сравнение



еще не полно: разорительный набег уничтожает только жатву и уже готовое богатство жителей, он не портит самой почвы, он не портит нравственных сил ее населения. Откуп делает и это. Мало того, что он стремится как можно скорее истощить материальные средства населения, — вдобавок он разрушает моральный капитал, которым могли бы скоро быть восстановлены все потери. Для правительства деньги не составляют основного и единственного предмета его действий; они представляются ему только средством для достижения других целей, например, для возвышения своего могущества среди других держав, для приобретения славы, для упрочения известной политической системы, для развития известных общественных учреждений, для поддержания известной законодательной и административной системы. Денежные соображения правительства вытекают из этих желаний и подчиняются им. Таким образом правительство по самой своей сущности никогда не ограничивает своих отношений к нации одними финансовыми видами. В его деятельности всегда есть другая, более нравственная сторона, всегда есть заботливость о национальной чести, о нравственном благосостоянии нации, о справедливости и правосудии. Откуп совершенно чужд всех подобных отношений по самой своей натуре. Единственное основание его существования — чисто денежное, единственная цель и забота его — деньги и деньги. Самый дурной чиновник все-таки хотя сколько-нибудь помнит, что он представитель власти, поддерживающей благоустройство в обществе; как бы превратно ни понималось им это благоустройство, как бы бессовестно ни нарушались им эти обязанности, все-таки сознание о них дает ему в собственных глазах некоторое нравственное достоинство, и все-таки люди, подвергающиеся его решениям или распоряжениям, видят в нем представителя нравственной идеи, — он может быть неверен ей, но она все-таки дает некоторую возвышенность характеру его власти в их глазах: если будут падать упреки, они упадут на его личность, но самым существованием той обязанности, которая лежит на нем, не возмущается общественная совесть; напротив, она признает нравственную сторону порученного ему дела. Совершенно не таково положение откупного агента: он сам знает, что он — только орудие частного прибытка, и общество не признает за ним другого значения; оно не может находить в нем других прав, кроме прав эгоистического корыстолюбия, а этому принципу никто не подумает давать в своей совести прав на власть над обществом. Мы говорим пока еще вовсе не о злоупотреблениях, которые слишком легко возникают из откупной системы, — хороша та вещь, в которой дурны только злоупотребления, — нет, мы говорим теперь о самом принципе откупа. Предположим, что он безукоризненно держится своих законных обязательств, что он ведет свои дела с добросовестностью честнейшего из всех европейских негоциантов; предположим, что агенты его по своему

личному характеру и поведению относительно народа — образцовые примеры доброжелательности, мягкосердечия, прямодушия и всевозможной правоты, — все-таки существование даже и такого откупа тягостно для нравственных убеждений нации, все-таки роль даже и таких агентов откупа прямо губительна для общества, прямо возмутительна для общественного сознания, потому что все-таки откуп есть не что иное по самой своей натуре, как олицетворение корыстолюбия, властвующего надо мною во имя собственное свое, во имя корыстного расчета.

Надобно ли говорить, какими следствиями в народном быте сопровождается падение нравственных принципов? Ослабление любви к труду, ослабление всякой честной энергии, развитие преступлений и пороков всякого рода — вот эти следствия, слишком известные каждому.

Каждое правительство знает это и при первой возможности освободиться от столь неудовлетворительной финансовой системы спешит освободиться от нее. Вред, наносимый откупной системой благосостоянию частных лиц, чувствуется ими еще живей.

Самый простой, самый неразвитой человек понимает разницу между моральным значением правительства и откупа. Подчиняясь правительству, человек сознает, что эта власть основана на нравственном принципе, вытекает из потребностей общественной жизни, имеет своей коренной целью охранение национальных благ; это подчинение не противоречит совести, напротив, требуется ею; оно не унижает, а облагораживает человека, возвышает его в собственных глазах<sup>2</sup>. Но требует ли совесть, чтобы я подчинялся частному корыстолюбию, вредному не для меня одного, а также и для всех моих сограждан? Нет, это унижительно для моего нравственного достоинства.

К этой нравственной причине отвращения присоединяется материальная, экономическая. По самому существу своему откуп необходимо должен брать с граждан гораздо больше, нежели отдает правительству. Доход совершенно верный, не соединенный ни с какими затруднениями, ни с какими шансами дефицита, никакое правительство не отдаст и не отдавало на откуп, — что за охота была бы ему лишаться части такого дохода, величина которого в точности известна и который весь сполна должен поступить в его распоряжение? Потому-то на откуп отдавались всегда только доходы, точную величину которых нельзя вперед определить с достоверностью, — цифры, подверженные риску; и чем более этот риск, тем скорее подпадал источник дохода откупу. Но известно, что риск принимается не иначе, как с вычетом страховой премии. Если есть шанс, что доход с известного предприятия, исчисленный в 100 рублей, может уменьшиться до 60, я не сниму этого предприятия за 90 рублей, не соглашусь дать за него больше 70: что за охота была бы мне подвергать свой капитал риску за 10% прибыли, которые могу я иметь в предприятиях

совершенно верных? Я хочу иметь 20, 30 %, иначе мне не из чего рисковать. Но шанс невыгодный всегда бывает связан с другими шансами, более выгодными, нежели вероятное исчисление: если вместо 100 рублей дело может дать только 70, значит, оно может дать и 130; тогда я получу рубль на рубль. При первой отдаче в откуп хозяин еще может знать с некоторою точностью величину дохода и степень правдоподобия разных выгодных и невыгодных шансов; но, конечно, у меня вовсе не будет охоты отдавать ему точный отчет в ходе моей спекуляции, и чем дольше существует отдача на откуп, тем менее становится известным хозяину настоящее положение дела, так что, наконец, он совершенно не в состоянии будет решить хотя приблизительно образом, как велика моя выгода. Эта неопределенность, с одной стороны, содействует действительному увеличению прибыли откупщика, с другой — дает возможность к самым баснословным предположениям о ней.

Таким образом, самая сущность откупа основана на громадном перевесе суммы, собираемой откупщиком, над суммой, уплачиваемой им государству. Самый честный откуп не может существовать иначе, как собирая с народа 20, 30 или больше копеек в свою выгоду на каждый рубль, доставляемый им государству. Общество платит гораздо больше, нежели получает правительство, государственные потребности обращаются в средство для страшного обогащения частных лиц, спекулирующих на несовершенстве финансовой системы. Гражданин решительно не знает, сколько копеек из рубля, платимого им с таким трудом, достанется правительству: он знает только, что очень значительная часть этого рубля останется в руках откупщика, знает только, что платил бы гораздо меньше, если бы спекулянт не преградил прямой дороги между ним и правительством. К усилению недовольства, внушаемого этою лишнею тяжестью, является соображение, безмерно увеличивающее во мнении народа выгоды, получаемые откупщиком. Правительство не может вычислять вероятной величины дохода иначе, как на основании такого пользования источником дохода, которое сообразно с нравственными основаниями, необходимо лежащими в правительственных отношениях к народу. Мы уже видели, что откуп чужд этих границ; он непременно будет пользоваться и такими средствами, каких не может принимать правительство. Таким образом, не говоря уже о выгоде, доставляемой риском, он имеет новую прибыль, не входящую в соображения, которыми определяется величина откупной суммы. Эта новая прибыль, происходящая от пренебрежения нравственными условиями, служит и к увеличению доходов откупа и к увеличению отвращения против него в обществе.

Истощение тех источников, на которых основываются доходы правительства и его могущество, взимание с народа суммы гораздо большей, нежели какая получается правительством, разрушение нравственных убеждений в народе, ослабление честного

труда — вот неизбежные действия откупной системы вообще, каков бы ни был предмет откупа и как бы честны ни были его поступки в смысле формальной законности.

Но последними словами мы делаем предположение, которому невозможно исполняться в действительности. Сущность откупной системы такова, что с нею несовместно соблюдение законности. Во-первых, откуп не есть правильное коммерческое предприятие, а рискованная игра, в которой нет середины, а есть только или банкротство, или страшный выигрыш. Богатство откупщика не может оставаться почти в одинаковом положении или увеличиваться мерным, довольно медленным образом, как бывает в правильной торговле. Он или разоряется, или с каждым новым ударом костей становится вдвое богаче. При таком громадном риске и выигрыше не может быть речи о правильности действий. Только глупцы играют в штосс честно. Никогда не было примера, чтобы откуп держался границ законности: они несовместны с самою натурою азартной игры. Притом откуп сам дает свои постановления; он, как хозяин, считает себя вправе делать все, что хочет и может. При всякой другой системе злоупотребления бывают возможны или легки вследствие ее несовершенств или посторонних обстоятельств. При откупе они происходят из самой сущности системы и никак не могут быть устранены, пока продолжается она.

Общие последствия откупа могут быть более или менее значительны в государственной жизни, смотря по важности его места в бюджете государства и по свойствам предмета, ему подвергаемого. Само собою разумеется, что чем значительнее отрасль государственных доходов, отдаваемая на откуп, тем сильнее отразятся его результаты на общественной жизни, и чем щекотливее самый источник дохода, тем чувствительнее будут последствия исключительно денежных оснований, на которых он разрабатывается откупом.

У нас отрасль доходов, отдаваемых на откуп, составляет самую значительную статью государственного дохода. По приблизительным вычислениям, откуп доставляет с лишком вдвое больше, нежели государственные имущества, и в два с половиной раза более, нежели таможенные пошлины, один доставляя почти третью часть всех государственных доходов. При такой громадной важности этой статьи понятно, что сила, приобретаемая откупом, оказывается непобедимой почти во всех столкновениях его с другими общественными интересами.

При такой силе, одолевающей всякое сопротивление или, лучше сказать, не находящей ни в чем серьезного сопротивления, откуп извлекает свои доходы из источника самого щекотливого во всем бюджете. Торговля водкою при самом строгом надзоре самой лучшей в нравственном отношении полиции легко обращается в средство развращать народ и обманывать его; легко понять, какого размера должны неизбежно достигать злоупотреб-

ления ею при порядке вещей, описанном нами. Мы не будем подробно говорить об этих злоупотреблениях. В той мере, в какой они известны нам, они известны каждому читателю. Открывать еще какие-нибудь тайные злоупотребления, не очевидные для публики, могли бы только лица, сами совершавшие их; притом же общеизвестные факты сами по себе уже так разительны, что никакие новые открытия не могли бы много усилить впечатление, производимое вещами давно известными. Мы самым кратким образом перечислим эти вещи, всем известные. Рассыропка, то есть подливание воды в водку, обмер при продаже и страшное возвышение цены водки прекрасно раскрыты в замечательной статье г. Бабста, к которой мы отсылаем читателя<sup>3</sup>; г. Бабст говорит, что благодаря откупу народ покупает водку вместо трех рублей за ведро по восьми рублей, и притом на каждой четверти ведра производится обман на половину штофа, вообще в розничной продаже на  $\frac{1}{5}$  часть продаваемого количества, кроме собственно так называемого обмера; сколько воды влито в продаваемое с таким обманом и по такой цене вино, трудно и вычислить. Число миллионов, получаемых откупом от этих проделок, разумеется, не может никто определить с точностью, но г. Бабст доказывает цифрами, что один из этих способов, рассыропление, дает уже никак не меньше 40 миллионов рублей серебром. Кроме денежного грабежа, надобно обратить внимание на урон, приносимый откупам сельскому хозяйству, на нравственный и физиологический вред, производимый порчею качества водки.

В нашем сыром и холодном климате вино так же необходимо простолюдину, как кислая капуста и квас. Долго смеялись над любовью русского мужика к щам и квасу, пока не узнали, что эта пища и это питье служат для него единственными предохранительными средствами от цынги. Точно так же нелепы лицемерные толки против потребности мужика выпить стакан вина после работы в сырости и холоде при малой питательности употребляемой им пищи, при неудобствах его жилища и недостаточности его одежды. Противники употребления вина простым народом были бы правы только тогда, когда взамен стакана водки доставили бы ему обильный мясной стол, которым он теперь пользуется только по великим праздникам, доставили бы ему просторное помещение с чистою и сухою атмосферою вместо грязной, тесной и зловонной избы, доставили бы его ногам обувь получше онуч и лаптей, всему его телу одежду получше дырявого зипуна или истертого полушубка. Теперь народ не может обходиться без вина. Слишком высокая цена этого необходимого напитка делает его доступным только в дни отчаянного разгула, отнимая возможность пользоваться им в умеренном количестве постоянно. Мужик в течение года выпивает гораздо менее, нежели было бы нужно для поддержки его сил постоянным умеренным употреблением вина, зато несколько раз в год пьет его без меры.

Такое пьянство, как в России, едва ли есть где-нибудь, кроме Ирландии, — мы ошиблись, и в самой Ирландии только прежде было, а теперь уже нет такого пьянства. Между тем ни в одной из европейских стран не выпивается в год спиртных напитков так мало, как в России, особенно в Великой России, где откуп достиг издавна полного развития. По отчетам о распродаже водки в Великой России оказывается, что на каждого человека приходится в год не более полуведра; в Царстве Польском пьянства гораздо меньше, а между тем на каждого жителя приходится около ведра водки; в Бранденбургской области, где пьянства еще меньше, приходится на жителя 1,37 ведра в год.

Таким образом откуп уменьшает на половину или даже на две трети то количество вина, которое могло бы выкуриваться в России, и в десять раз увеличивает массу пьянства у нас сравнительно с другими землями. Развитие винокурения по отзывам сельских хозяев было бы лучшим средством поднять наше земледелие и усилить наше скотоводство. Препятствуя этому, откуп должен считаться одной из главнейших причин стесненного положения важнейшей отрасли нашего производства.

Медики говорят, что чем хуже качество водки, тем более располагает она организм к тому, чтобы человек сделался пьяницею. Известно, что в Западной Европе не существует болезнь, называемая у нас запоем. Конечно, могут быть основаниями для нее и какие-нибудь моральные особенности нашего общества, но несомненно то, что важнейшею причиною ее надобно полагать именно дурное качество нашей водки. Это крайняя степень развития губительных действий разных примесей, которыми подправляет откуп вкус слишком рассыропленного вина, чтобы придать ему обманчивую жгучесть. Люди, знакомые по опыту с употреблением водки, свидетельствуют, что похмелье от вина, разбавленного водою и приправленного для вкуса разными жгучими веществами, гораздо тяжелее, нежели от хорошей водки, и что позыв снова налить себя водкою для погашения тоскливого жара, оставляемого прежним приемом, тем непреодолимее, чем хуже водка.

Но все эти вредные последствия злоупотреблений откупа, как ни тяжелы они и вообще для народного хозяйства, и для отдельных лиц, мы считаем еще маловажными по сравнению с самым страшным из всех злоупотреблений откупа, — злоупотреблением, столь же неизбежно вытекающим из его сущности, как и все остальные, — и рассыропление водки, и подмеси, и подавление земледелия и скотоводства, — все это ничтожно по сравнению с прямою заботою откупа о развращении народа. Каждому известно, что если село было зажиточно, пока не существовал в нем кабак, оно неминуемо беднеет вслед за основанием в нем кабака. Отчего это? Неужели в самом деле только оттого, что явилось под руками у мужиков место продажи вина? Неужели сам по себе наш мужик так падок на пьянство, что при первой возможности



начнет пить до тех пор, пока весь пропьется? Если так, почему же в юго-западных губерниях при вольной продаже водки и вольном винокурении было меньше пьянства, нежели в восточных и северных, где был откуп? Нет, дело разрешается, если вы первого встречного мужика или мещанина спросите, что такое кабак. Кабак не просто лавка, в которой продается вино тому, кто приходит купить его, — нет, кабак употребляет всю изобретательность соблазна и плутовства, чтобы стать притоном всех возможных пороков. Он не ограничивается продажей вина желающим, он всеми средствами заманивает покупать его и тех, которые сами по себе вовсе не имели этого желания, — дело коммерческое, как же вы хотите иначе? Это блаженный асиль всего того, что не может быть терпимо ни в каком другом месте. Он всеми средствами зазывает к пьянству каждого окольного жителя. Как усердно и любезно целовальник заманивает его к своей стойке посредством своих агентов! Ни наш незабвенный Излер, ни великий американец Барнум не превосходили любого целовальника изобретательностью в средствах завлекать к себе посетителей. Для посетителя кабак уже приготовил и общество обоего пола. Тут уже готовы ободрять новичка своим примером и просьбами несчастные инвалиды пьянства, — кабак даром содержит, кормит и поит их, чтобы они своей беседой и помощью вели по надлежащему пути мужика, попавшего в этот вертеп. Тут есть и раздражающие вкус к вину закуски. Тут есть и женщины, какие нужны для развития пьянства, они также состоят в штате кабака, содержатся на его счет. У посетителя нет денег, чтобы окончательно напиться пьяну? Это не помеха: кабак разменяет ему на вино любую вещь, какую угодно: кафтан, полушубок, рубашку, сапоги, лошадь, телегу, хлеб, баклагу с дегтем, привешенную под телегой, и все, что угодно, что бы ни лежало на телеге. Этими приятностями и удобствами, доставляемыми обществу, не ограничивается благотворительная роль кабака. К чему бы существовали азили, если бы они не давали приюта людям, преследуемым злобою человеческою? Кабак верен этому высокому призванию. Он служит притоном воров и разбойников, которым заблагорассудится искать его гостеприимного крова. Он не выдаст никому своих доверчивых гостей: их невинность останется неприкосновенна под его бдительным охранением. И те более счастливые артисты, которые имеют притоны свои вне кабака, процветают только благодаря его участию в их отважном промысле. Индустрия упадает, если не находит сбыта своим продуктам; верный рынок — важнейшее условие для ее преуспевания. Кабак подавляет земледелие — неужели он не поймет обязанности своей вознаградить общество за потерю в одной отрасли деятельности поддержкою другой отрасли? Это было бы тупою неблагодарностью, а агенты откупа обязательны до великодушия. За вред, приносимый земледелию, кабак с лихвою вознаграждает нацию

тою помощью, какую оказывает воровству. Краденая или приобретенная грабежом, убийством вещь всегда найдет верный сбыт в кабаке: сюда, к нам, приятели, мы все у вас купим, за все заплатим наличными деньгами или водкою по вашему желанию. Этот род торговли развит до того, что берет во многих кабаках решительный перевес над официальным их промыслом, продажей водки. Они кабаки только по названию, а на деле — исключительно биржи воровского промысла. Утешительным примером того, что конкуренция вовсе не так убийственна для соперников более счастливого торговца, как уверяют некоторые, служит то, что это особенно живое сосредоточение воровских вещей в некоторых кабаках нимало не препятствует очень деятельному ходу того же занятия и во всех других.

Да, и на солнце есть пятна, и в откупной системе есть не совершенно безукоризненные стороны, которых не может вполне одобрить строгий моралист.

Впрочем, мало ли чем бывает недоволен строгий моралист? Нам кажется, он не был бы доволен и тем, что русское общество нуждается в статьях против откупа.

Не по этой одной причине нам было тяжело приниматься говорить против откупа. Неприятность дела усиливалась теми мыслями, которые мы высказали в начале статьи. Странно, до обидности странно видеть людей, говорящих ныне то, чего не говорили они вчера, хотя нет ныне ни одной такой причины воспламеняться этим предметом, которая не существовала бы в такой же сильной степени и вчера; обидно видеть и самого себя в таком нелепом положении. Но есть еще третье обстоятельство, едва ли не более неприятное, чем два первые.

Мы, кажется, не смягчали следствий откупа, — наше изложение не отличалось снисходительностью к нему. Мы доказывали, что все эти последствия необходимо вытекают из самой сущности откупа, не могут быть никакою силою отделены от нее; что пока будет существовать откуп, он будет обманывать правительство, обманывать, разорять и развращать, преднамеренно, систематически развращать нацию. Из этого ясно следует, что единственное средство против откупных бедствий, — не какие-нибудь меры для исправления откупной системы: нет, она неисправима, она не допускает никаких улучшений, — единственное средство против нее — уничтожение ее, замещение откупа акцизом, взимаемым прямо казною без всяких посредников между правительством и нацией, как взимаются таможенные пошлины, налог на соль, подушная и поземельная подать. Как не скрывали мы от себя всей великости бедствий, вытекающих из откупной системы, так не станем уменьшать в своем мнении выгод, которые будут доставлены и правительству и народу через замену откупа акцизом, взимаемым непосредственно казною. Но при всей неизмеримой пользе такого замещения мы не полагаем, чтобы для неко-

рения бедствий и злоупотреблений, которым покровительствует откуп, достаточно было уничтожить его и ввести сбор винного акциза казною.

Так, выгоды подобного замены громадны, и трудно даже исчислить все полезные его следствия. Обыкновенно указываются из них следующие: увеличение государственного дохода с облегчением народа в уплате его; доставление народу дешевой и хорошей водки; развитие употребления напитков, заменяющих водку, — пива и виноградных вин; оживление земледелия и скотоводства. Все эти выгодные последствия несомненны, и нам кажется, что даже можно увеличить их список некоторыми другими, также очень важными.

Исчислено, что при взимании непосредственно казной акциза в 1 руб. 50 коп. с ведра водки, при разрешении свободного винокурения и вольной торговли вином казна будет получать с одной водки больше, нежели теперь доставляет ей весь откуп. Если предположим при свободной торговле водкою потребление только в 1,05 ведра на человека, как в Польше, то для 62 000 000 человек населения России (за исключением Царства Польского и Финляндии) получится расход водки в 65 000 000 ведер, с которых акциз в 1 руб. 50 коп. даст 97 500 000 рублей, — сумма, какой не дает в действительности откуп. Если же потребление дойдет до 1,37 ведра, как в Бранденбурге, количество водки увеличится до 85 000 000 ведер, а акцизный сбор до 127 500 000 руб. При таком акцизе продажная цена ведра была бы не выше 2 руб. 50 коп., вероятно не выше 2 руб. 30 коп.

Этим не ограничится выгода казны, простирающаяся с таким акцизом до 10—15 миллионов рублей уже при потреблении только 1 ведра водки на жителя. Откуп убивает производство пива, расход которого в России (без Царства Польского), по Тенгоборскому, не превышает 0,15 ведра на человека, между тем как в Царстве Польском он доходит до 1,55 ведра, во Франции — до 0,94 ведра, в Англии — до 4,14 ведра. Конечно, у нас расход пива при уничтожении откупа не мог бы не подняться выше той цифры, какой достигает во Франции, столь богатой дешевым виноградным вином\*. Не надеясь быстрого достижения английской (4,14) или баварской (9 ведер на человека) цифры, мы, конечно, останемся ниже действительности, если предположим, что у нас потребление пива скоро поднялось бы до польской цифры. При акцизе в 20 коп. серебром таксе потребление пива дало бы правительству более 19 000 000 руб. серебром дохода.

Несколько лишних миллионов были бы также доставлены казне акцизом на наши крымские и кавказские виноградные вина и

---

\* По Тенгоборскому, потребление виноградного вина во Франции простирается до 8,68 ведра на человека.

пошлинами с иностранных вин дешевых сортов, потому что потребление виноградных вин сильно увеличилось бы, когда бы откуп перестал давить торговлю ими в городах и совершенно изгонять ее из сел.

Таким образом выигрыш в несколько десятков миллионов (30—35 миллионов) рублей несомненен для казны от замены откупа умеренным казенным акцизом.

Мы не будем говорить о том, сколько выиграли бы земледелие и скотоводство от такой перемены. Этот выигрыш надобно было бы оценивать не десятками, а сотнями миллионов рублей.

К выгодам, о которых говорят все, могут быть присоединены еще другие, не менее важные.

Нация не будет колебаться в своих нравственных убеждениях зрелищем учреждения, присваивающего себе власть над обществом исключительно и явно только во имя корыстолюбия, открыто поставляющего своим основанием поправление всех моральных и материальных интересов государства и народа для корысти нескольких частных людей.

Места торговли водкою перестанут пользоваться привилегией безнаказанного содержания всех воров, перестанут служить безопасными притонами для них, верными складочными магазинами и готовыми рынками для всех украденных и награбленных вещей.

Эти места перестанут беспрепятственно употреблять всевозможные противозаконные хитрости для развращения всех слабых характеров, пользоваться всеми средствами заманивать людей к безобразному пьянству, разврату всякого рода и промену всего домашнего хозяйства на водку.

Перечисленные нами выгоды от замены откупа акцизом, взимаемым непосредственно казной, действительно и громадны и несомненны; список их легко было бы увеличить многими другими важными и полезными последствиями такой реформы. Например, с уничтожением откупов спекулятивная предприимчивость и огромное количество капиталов несомненно обратились бы от предприятия, губительного для народа, к предприятиям истинно-полезным, оживилась бы правильная торговля, возникли бы многие мануфактуры, в гораздо большем количестве возникли бы компании, подобные Черноморской, Амурской и Каспийской. Честный труд вообще поднялся бы, не подавляемый наглой надменностью людей, быстро и страшно обогащающих не совсем хорошим делом. Но эта великолепная перспектива все-таки не ослепляет нас относительно главнейшей выгоды, которую многие считают удободостижимой посредством одного только уничтожения откупов. Скажем прямо: пьянство, составляющее главный порок нашего народа, производится не откупом. Откуп, конечно, в значительной степени усиливает его, но не откуп его порождает; уничтожение откупа в довольно значительной степени ослабит

этот порок, но и по уничтожении откупа он останется все-таки чрезвычайно сильным, пока не будут устранены другие обстоятельства, которыми развивается пьянство.

Едва ли нужно догматическим тоном распространяться о причинах, порождающих пьянство; все порядочные люди принимают одни и те же причины этого порока: бедность, невежество, унижительное положение известного человека среди общества и вследствие того упадок в нем самом уважения к себе, безнадежность на поправление своих обстоятельств, безнадежность на получение правды в случае обиды. Указывать эту истину нет надобности, она известна всем; нам кажется только, что в отвлеченном своем виде она не довольно сильно действует на образ суждений, и потому постараемся оживить ее приведением фактических примеров, успешнее действующих на мысль, нежели теоретические соображения.

Мы начнем историей одного молодого человека, которая известна многим из наших читателей. Он говорит, что сделался записным пьяницей вследствие трех случаев: во-первых, без всякой вины он был подвергнут наказанию, которое называется исправительным, но ему показалось позорным, и он пошел запить свой стыд в кабаке. Через несколько времени полюбилась ему девушка, которой и он был мил; отец девушки отдал ее насильно за другого, — он опять пошел запивать горе в кабак. Потом случилось обстоятельство следующего рода: ремеслом наш парень был печник, взялся он переделать печи в довольно большом доме; кончил свое дело как следует, но когда пришел за расплатою, ему стали выдавать не все деньги, которые он должен был получить; парень разгорячился, сказал, что станет жаловаться. «А, ты еще грозить! — отвечали ему. — Ну, так ступай, жалуйся; когда присудят, тогда и отдадим тебе деньги, а теперь не хотим отдавать тебе, грубияну, за твою дерзость». Парень жаловался, но денег все-таки не получил; с рабочими таким образом не успел он расплатиться во-время; за это сам он подлежит суду с заключением в тюремный замок. Разоренный, он видит себе теперь одно убежище — в кабаке. От молодого человека перейдем к рассказу старика, также знакомого многим из наших читателей. Этот состоял на службе и не брал взяток, потому не мог давать взятки и другим. Результатом было, что его удалили от службы. Несколько лет он крепился, поддерживаемый разными надеждами. Наконец последний человек, от которого он мог ждать себе защиты, человек добрый и хороший, прогнал его, даже не захотевши выслушать; тогда наш герой отправился в кабак, жильцом которого и сделался. Скажите, виноват ли откуп в этих случаях?

От истории частных лиц обратимся к быту целого народа, славившегося по всему земному шару своим пьянством. Мы говорим об Ирландии до 1848 года. Положение Ирландии, само

собою разумеется, не имеет ни малейшего сходства с нашим. Все черты быта, начиная с климатических, совершенно различны. Тем интереснее проследить жизнь этого народа и его чувства, прямо противоположные нашим. Сходства, мы сказали, нет ни малейшего, во всем прямая противоположность. Русские нивы чаще всего страдают от засухи; дождь среди лета у нас редкость и благословение божие; в Ирландии жатва страдает только от излишней дождливости климата, и благословением Божиим там бывает уменьшение дождей. Как различна природа, так различен и характер жителей. Мечтательности у русского мужика совершенно нет, он самый положительный и расчетливый из всех европейских поселян, он превосходит в этом не только англичан, но даже французского мужика, славящегося крайней склонностью к скопидомству и отсутствием всяких идеальных порывов; от природы он тяжеловат, серьезен, немногоречив, угрюм. Ирландец веселой живостью характера превосходит парижанина, беспечностью о завтрашнем дне — итальянца; он болтун, он поэт. Русское племя безусловно властвует в сильнейшем государстве целого мира; для нас нелепа даже мысль о возможности иноземного ига или господства иноверной церкви. Ирландец живет под чужеземным ярмом, его родная церковь до последнего времени была гонима, он и теперь видит в своей стране владычество иноверной церкви. Словом сказать, нет ни одной черты, общей ирландцам и нам, начиная природой страны и кончая тем, что у нас есть откуп, а в Ирландии нет его, — нет ни одной черты общей, кроме того, что и в Ирландии до последних годов существовало и у нас существует пьянство в страшных размерах. Рассмотрим же источники этого порока в стране, никогда не знавшей откупа.

Начнем с того, что ирландец вообще был лишен всякой гарантии в том, что поддержится его благосостояние, если он пользуется им; лишен почти всякой надежды достичь его, если находится в бедности. По гнусному устройству, от которого мы, слава богу, были всегда избавлены провидением, каждая лишняя копейка, приобретаемая ирландцем, шла в карман или лендлорду, или миддельмену; если бы в 1842 году бедному Патрику удалось сберечь какой-нибудь фунт стерлингов, единственным результатом было бы то, что в 1843 году миддельмен повысил бы на фунт стерлингов ту плату, какую брал с Патрика за землю. Какая же прибыль была Патрику заботиться о своем хозяйстве или беречь деньги? Он руководился тою уверенностью, что у него будет оставлена только та часть его доходов, какая необходима для продолжения его жалкого существования, а все остальное будет у него отнято. Законы, по которым судили ирландца, были ему чужды, администрация и судебные места смотрели на него как на человека иной породы, нежели они, администраторы и судьи. Это было натурально, потому что правители



происходили действительно из другой породы или из ренегатов ирландской национальности. Нравственной связи между управляемыми и управляющими не было; отчуждение доходило до такой степени, что возникло в уме ирландца совершенное отрицание нравственной обязательности законов и справедливости судов, которым он подчинялся. Разбойники, свирепствовавшие против ненавистной ирландцу касты, были для него героями. Человек, приговоренный к наказанию, казался ему не преступником, а только жертвой несправедливости. И если в числе присяжных, судивших ирландца, бывал хоть один ирландец, он никогда не соглашался признать подсудимого виновным, как бы ни были ясны улики в воровстве, грабеже или убийстве, совершенном против ненавистных англичан. Свидетели отпирались от всяких показаний незнанием. Теперь ясны причины пьянства ирландцев. Ирландец был доведен до безнадёжности поборами англичан; он не признавал, что для него существует правосудие; он полагал, что все законы составлены только для его угнетения, что администраторы и судьи существуют только для того, чтобы поддерживать угнетение, в котором он находился.

Неопровержимым свидетельством того, что действительно и исключительно эти обстоятельства были причиною ирландского пьянства, служит история тех же самых ирландцев после переселения в Америку. Мы не хотим решать, хороши ли вообще американские законы, завиден ли вообще американский гражданский быт. Многие находят, что в Америке владычествует гнусная анархия; быть может, такое мнение справедливо; мы даже разделяем его, но не разделяет ирландец. Он приезжает в Нью-Йорк невежественным, грязным и ленивым пьяницею. Он нанимается в чернорабочие и в первое время работает очень дурно и все выработанные деньги пропивает. Но скоро он замечает, что сколько бы ни выработал он денег, они все остаются в его руках и никто не является отнять у него лишнее, то есть казавшееся лишним бывшему его лендлорду. Он начинает работать прилежнее, чтобы получать больше денег. У него или его товарищей происходят иногда столкновения с людьми, у которых он работает. Эти распри решаются американскими властями так, что решение кажется ирландцу беспристрастным и справедливым. Скоро он убеждается, что администрация и судилища не враждебны ему силы. Он перестает опасаться несправедливостей, и в скором времени, через год, через полтора года, вы видите его переродившимся. Он трудолюбив, бережлив, и привычка к пьянству совершенно исчезла в нем. У него есть уже небольшой капитал, он отправляется в западные штаты, приобретает участок земли, строит дом, становится примерным земледельцем, он заботится дать образование своим детям и сам он, несмотря на свои 40 или 45 лет, выучивается читать.

Из этого факта можно вывести то заключение, что пьянство развивается или исчезает подобно лениности вследствие различных общественных условий, из которых только одно есть откуп.

Заговорив об условиях общественной жизни, мы не можем не припомнить тривиальное сравнение общественного тела с человеческим организмом. При худосочии человек занемогает от таких влияний, которые шутя переносит другой человек, кровь которого здорова. С крепкой грудью я могу почти безвредно жить в сырой комнате, в которой у других развивается чахотка. Что и говорить, сырость комнаты — очень важное неудобство; но не думайте, чтобы, осушив комнату, вы уже излечили худосочие ее жильца. Оно происходит также от других причин, быть может более сильных: вероятно, он употребляет дурную пищу, вероятно, он не имеет порядочной одежды; я даже уверен в этом, потому что, если бы он пользовался благосостоянием, он, конечно, нашел бы себе лучшую квартиру. Это тривиальное сравнение приводит нас к мысли, что разные явления частной или общественной жизни находятся между собой в тесной связи или, снова прибегая к сравнению, что дерево достигает роскошного роста только на удобной для того почве. Каждый год русские бабы и девки по несколько раз трудятся над полотьем сорной травы на своих скудных полях, и каждый год сорная трава вырастает снова. Мы совершенно убеждены в необходимости полотья; недаром у нас есть пословица: «дурную траву из поля вон»; но мы думаем, что подобное занятие вышеупомянутых баб и девок останется работой Данаид<sup>4</sup>, пока их мужья не убедятся в необходимости переработать почву своих полей более глубокою пропашкою: на хорошо обработанной земле меньше остается зерен сорной травы, да и та заглушается дружным, сильным ростом хлеба. Но возвратимся к откупу. В начале статьи мы употребили выражение, что он составляет принадлежность известного периода в развитии финансовых учреждений. Таким образом, он представляется нам только частью целого. А это целое, в свою очередь, составляет только часть общей гражданской жизни и необходимо обуславливается другими ее отношениями.

Рассмотреть, какими условиями общественной жизни развивался откуп, каких улучшений в ней должно желать для того, чтобы по уничтожении откупа не явились в другой форме те же самые вещи, за которые осуждается откуп, — это предмет гораздо интереснейший и важнейший, нежели рассмотрение откупной системы.

## ЗАМЕТКА ПО ПОВОДУ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬИ\*<sup>1</sup>

Г. Кулиш, вероятно, основывается на отзыве многих из художников, считающихся у нас первоклассными, говоря, что последняя картина Иванова — произведение, нарушающее законы искусства и потому лишенное достоинства. Я полагаю, что такое мнение составлено им по отзывам этих художников потому, что они, как известно, заботились о распространении такого суждения в публике, а сам г. Кулиш, по его собственным словам, не видел еще картины Иванова, когда писал эту статью<sup>2</sup>.

Нет спора в том, что в обыкновенных случаях мнение людей, занимающих первые места в известном роде ученой или художественной деятельности, должно иметь для публики большой вес при оценке новых явлений, принадлежащих этому роду. Но бывают также случаи, когда именно прежние знаменитости менее всего могут быть справедливыми судьями. Это именно тогда, когда оцениваемое произведение является попыткой произвести реформу в той отрасли науки или искусства, в которой уже прославились эти знаменитости. Известно, что наши литературные судьи двадцатых годов не умели оценить Пушкина. То же могло повториться и с Ивановым<sup>3</sup>. Общая причина неудовлетворительности такой оценки состоит в том, что знаменитости судят по старым, быть может, устарелым принципам о произведении, возникшем из новых принципов, чуждых пониманию человека, который составил себе известность, следуя прежним принципам. Возможно предположить и другой источник невыгодной оценки нового явления. Знаменитости — такие же люди, как все остальные люди, следовательно могут подчиняться влияниям личных соображений при произнесении того или другого суждения. Кому

---

\* Мы помещаем статью г. Кулиша как сборник писем двух чрезвычайно замечательных наших художников, но, будучи не во всем согласны с выводами, какие делает автор из представляемых им материалов, в особенности не разделяя его взгляд на деятельность Иванова, мы считаем нужным прибавить к статье г. Кулиша заметки, составленные, по нашему желанию, одним из наших сотрудников. (Примечание редакции «Современника».)

приятно сходить с известного, выгодного и почетного места, чтобы собственной рукой возвести на это место другого человека?

Мы говорим это не голословно: с какими чувствами был встречен Иванов в Петербурге, свидетельствуют два факта, известные всем. Некоторые из прежних его сотоварищей не захотели даже отдать ему визита, когда он посетил их по своему приезду в Петербург. Мы в Петербурге так неуклонно соблюдаем внешние формы, что подобное отступление от них [уже] само по себе многозначительно. Прибавим к этому вопрос: многие ли из знаменитостей нашего искусства почли нужным удостоить своим посещением хотя похороны Иванова?

Из этих фактов мы можем заключить, что если приезд Иванова не слишком порадовал некоторых жителей Петербурга, зато внезапная смерть соперника поразила их так, что они, вероятно, сами слегли в постель, — иначе нельзя объяснить их отсутствия на похоронной церемонии.

Как бы то ни было, знаменитости объявили, что последняя картина Иванова очень плоха, ровно никуда не годится, — и мы, разумеется, не дерзнем противоречить их приговору.

Но, не отваживаясь говорить о достоинствах или недостатках картины в техническом отношении, мы представим некоторые замечания [о том, какое значение имеет она в деятельности Иванова], о том, действительно ли «сбился с пути»<sup>4</sup> несчастный художник, и о том, как смотрел он сам на искусство вообще и на свою задачу в истории живописи.

[Прежде всего скажем, что последняя его картина представлялась ему произведением переходного периода в его собственном развитии. Она была начата, когда понятия его об искусстве были далеко не таковы, как в последнее время его жизни. Совершенно бросить огромную картину, стоявшую столько трудов, поглотившую столько любви и жизни его, он не мог — она была уже почти совершенно кончена. Он решился только переделать ее, сколько было возможно. Но он был недоволен собой, стало быть недоволен и ею.

Он сам говорил, что не хотел бы в настоящем виде показывать публике свое произведение, что он вынужден к этому только необходимостью продать ее, чтобы приобрести себе средства продолжать свою многолетнюю работу над развитием своих понятий о том, каков должен быть характер искусства по духу нынешнего времени.]

Тем характером, какой имеет оно теперь, Иванов решительно не удовлетворялся; он говорил, что со времен своего процветания в Италии в XVI веке живопись забывала развиваться сообразно прогрессу общественных идей, что художники нашего времени не должны довольствоваться теми идеями, которые дошли до них по преданию эпохи, уже давно превзойденной новыми успехами цивилизации: новое время требует (говорил он) нового искусства.

«Идея нового искусства, сообразного с современными понятиями и потребностями, — говорил он, — до сих пор еще не вполне проявилась во мне. Я должен еще долго и неустанно трудиться над развитием своих понятий; не раньше, как через три, четыре года, я сам отчетливо пойму, что и как я должен делать; я должен разработать свои понятия, должен определить их; раньше той поры, когда определится во мне идея современного искусства, я не начну производить новые картины. До той поры я должен работать не над изображением своих идей на полотне, а над собственным своим образованием». В чем же должно было состоять это пересоздание искусства, и как готовился Иванов к выполнению такой задачи? Ответом на то может служить случай, которому я был обязан сближением с Ивановым. Художник привез ко мне новое издание одного знаменитого немецкого теологическо-философского сочинения и французский перевод одного из прежних изданий той же книги<sup>5</sup>. «В новом издании, — сказал он, — автор сделал значительные перемены, так что опроверг некоторые из выводов, на которые соглашался прежде из уважения к возражениям Неандера<sup>6</sup>. Мне хочется знать, в чем именно состоят эти перемены. Я вас прошу сличить новое издание подлинника с переводом и перевести для меня измененные автором места». До той поры, видевшись с Ивановым только раза два в обществе, я не имел случая познакомиться с его понятиями о вещах и воображал Иванова таким, каким он изображается в «Переписке» Гоголя<sup>7</sup> и отчасти в письмах, печатаемых г. Кулишем. Я был чрезвычайно удивлен, увидев у Иванова интерес к понятиям, которые совершенно противоположны направлению «Переписки» Гоголя. «Неужели вас так сильно занимают исследования этого философа?» — спросил я Иванова. «А как же? Ведь я должен знать, каким образом понимают ныне передовые люди нашей цивилизации тот предмет, из которого преимущественно берет свои сюжеты искусство. Художник должен стоять в уровень с понятиями своего времени». [Из этих слов] я увидел, что совершенно ошибался в своем мнении о его направлении. Разговор обратился на сочинение, приведенное Ивановым, и другие исследования подобного рода<sup>8</sup>. Из его беседы обнаружилось, что он основательно изучил многие из них. О других он расспрашивал с живейшим интересом. «Мы, художники, — заключал он, — получаем слишком недостаточное общее образование; это связывает нам руки. Сколько сил у меня останется, буду стараться, чтобы молодое поколение было избавлено от недостатка, от которого мне пришлось избавляться так поздно. Вот теперь я, как видите, должен узнавать с большими затруднениями то, что другие узнают в университете. А как трудно отделяться в мои лета от вкоренившихся понятий!» Словом сказать, в этом и следовавших затем разговорах Иванов являлся человеком, по своим стремлениям принадлежащим к небольшому числу

избранных гениев, которые решительно становятся людьми будущего, жертвуют всеми своими прежними понятиями истине — и, приблизившись к ней уже в зрелых летах, не боятся начинать свою деятельность вновь с самоотверженностью юноши.

Глубокая жажда истины и просвещения составляла одну черту в характере Иванова. Другую чертою была дивная, младенческая чистота души, трогательная наивность, исполненная невинности и благородной\* искренности. Мало найдется даже между лучшими людьми таких, которые производили бы столь привлекательное впечатление совершенным отсутствием всякой эгоистической или самолюбивой пошлости. Никто не мог меньше и скромнее говорить о себе, нежели он.

Однакоже как думал он о себе? Как смотрел он на свою картину, на всю свою прошедшую деятельность, чего ожидал от себя в будущем? Он был слишком скромен, чтобы самому говорить об этом. Но я передам сущность его бесед, из которых можно вывести ответ на эти вопросы.

«У нас в России находится много людей с прекрасными талантами к живописи. Но великих живописцев не выходит из них, потому что они не получают никакого образования. Владеть кистью — этого еще очень мало для того, чтобы быть живописцем. Живописцу надобно быть вполне образованным человеком. Если я получу какое-нибудь влияние на искусство в России, я прежде всего буду хлопотать об устройстве такой школы живописи, где молодые люди, готовящиеся быть художниками, получали бы основательное общее образование. Руководителем в живописи молодых художников с таким приготовлением я желал бы быть. В среде их могло бы развиваться новое направление искусства. Я уже стар, а на развитие искусства, удовлетворяющего требованиям новой жизни, нужны десятки лет. Мне хотелось бы положить хотя начало этому делу. Буду трудиться, мало-помалу научусь яснее понимать условия нового искусства, а потом выйдут из молодого поколения люди, которые совершат начатое мною»<sup>9</sup>.

— Но скажите хотя в общих чертах, в каком виде представляется вам новое направление искусства, насколько оно стало уже понятно для вас? — спрашивал я.

— С технической стороны оно будет верно идеям красоты, которым служили Рафаэль и его современники итальянцы. Техника доведена ими до высочайшей степени совершенства. Тут нам не остается ничего иного, как быть их последователями. Ныне в Германии и других странах многие толкуют о дорафаэлевской манере, у нас — о византийском стиле в живописи. Такие отступления назад и невозможны и не заслуживают сочувствия. Формою искусства должна быть красота, как у Рафаэля, мы должны остаться верны итальянской живописи. Но это со стороны техники. Идей у итальянцев XVI века не было таких,



какие имеет наше время; живопись нашего времени должна пропитаться идеями новой цивилизации, быть истолковательницей их. Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации — вот задача искусства в настоящее время. Прибавлю вам, что искусство тогда возвратит себе значение в общественной жизни, которого не имеет теперь, потому что не удовлетворяет потребностям людей. Оно будет иметь тогда и врагов, которых не имеет теперь. Я, знаете ли, боюсь (прибавляя Иванов с своею наивной верой в проницательность своих судей), как бы не подвергнуться гонению, — ведь искусство, развитию которого я буду служить, будет вредно для предрассудков и преданий, это заметят, скажут, что оно стремится преобразовывать жизнь, и знаете, ведь эти враги искусства будут говорить правду; оно действительно так.

— Ну, этого не опасайтесь, — заметил я. — Смысла долго не поймет никто из тех, кому неприятен был бы смысл, о котором вы говорите. Вас будут преследовать только завистники по расчетам собственного кармана, чтобы вы не отняли у них выгодных работ и почетных мест. Да и те скоро успокоятся, удивившись, что вам неизвестно искусство бить по карманам и интриговать.

— Да, — замечал Иванов. — Доходов у них я не отобью, заказов принимать я не хочу. Вот, например, мне предлагали... (И он рассказал о двух громадных и чрезвычайно выгодных заказах) — но я отказался.

— Как отказались? Зачем же? — спросил я в совершенном изумлении и хотел убеждать Иванова изменить его решение.

— Нет, не говорите мне этого, — перервал меня Иванов на первых же словах. — Каково бы ни было достоинство моей кисти, я все-таки не могу согласиться, чтобы она служила такому делу, истины которого я не признаю. Притом же я не хочу быть декоратором, для этих заказов нужна декораторская работа. И ведь я уже говорил вам, что мне теперь надобно работать над самим собой, а не над полотном.

Да, жаль, что Иванов умер так рано, жаль не только потому, что мы потеряли в нем великого художника и одного из лучших людей, какие только украшают собой землю, но и потому, что продление его жизни было бы выгодно для нравственной репутации его соперников: они опытом убедились бы в том, чему не хотели верить, убедились бы, что Иванов не ищет богатства и почетных мест, не хочет перебивать у них заказов и должностей; увидев, что он не опасен ни для их кармана, ни для левого борта их фраков, они, наверное, примирились бы с ним, и русская публика с умилением увидела бы дружбу знаменитостей с человеком, которого они напрасно сочли было сначала своим соперником. Соперничать с ними в том, чем они дорожат, Иванов не

хотел и не умел. С этой стороны он действительно был очень плохим художником.

[Его смерть, конечно, произошла не от яда, — в этом прав г. Кулиш и правы те знаменитости, мнению которых он следует. Действительно, никто не всыпал ему мышьяка в стакан воды, выпитый им вечером перед началом болезни. А сам он купить яду не мог уже по одному недостатку денег, не говоря о другой причине не верить самоубийству, указываемой г. Кулишем и быть может указываемой не совсем верно...]

Иванов [действительно] был несколько лет в настроении духа подобном тому, жертвою которого сделался Гоголь, оставивший памятник своего заблуждения в «Переписке с друзьями». Но, к счастью, Иванов прожил несколько долее Гоголя, и у него достало времени, чтобы увидеть свою ошибку, отказаться от нее и сделаться новым человеком. Его пример свидетельствует, что и заблуждение Гоголя могло быть не безвыходным. Размышление, знакомство с людьми другого настроения, наконец исторические события могли бы и на Гоголя подействовать так, как подействовали на Иванова. Но каково бы ни было дальнейшее развитие Гоголя, об Иванове мы достоверно знаем, что он приехал в Петербург человеком, заслуживающим не только славы по своим талантам, но и уважения и сочувствия всех благородных людей образом мыслей, истинно достойным нашего времени.

## О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕРЖАТЬСЯ ВОЗМОЖНО УМЕРЕННЫХ ЦИФР ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ВЫКУПА <sup>1</sup>

Мельчайшие юридические подробности при обсуждении учреждаемых ныне отношений между помещиками и поселянами чрезвычайно занимают общее внимание. Каждая из них возбуждает по возможности точное и основательное исследование. Гораздо больше произвола замечается у людей, пишущих о крестьянском вопросе, когда речь переходит к определению численной величины того выкупа, который предполагается взимать с поселян за права и имущества, вновь им предоставляемые. Часто нам случалось после [жаркого] спора о каких-нибудь второстепенных условиях, касающихся усадьбы или пределов вотчинной власти, слышать или читать, как легко уступает лишние десятки рублей на выкупе человек, упорно стоявший за какой-нибудь малозначащий оттенок выражения при формулировании понятия усадьбы (если только может быть названо что-нибудь маловажным в таком серьезном деле). «Что касается выкупа, — говорил один из споривших, — то я полагаю, что в наших местах выкуп должен быть определен в 300 рублей». — «По моему счету не следовало бы полагать его больше как в 200 рублей, — говорил его противник, — но, пожалуй, я согласен принять и вашу цифру». Третий собеседник, до той поры бывший самым горячим адвокатом поселян, вовсе молчал, как будто бы не стоило и хлопот проверить цифры; быть может, если бы он потрудился вывести счет на основании защищаемых им понятий, то оказалась бы возможность отстоять цифру гораздо меньшую, нежели 200 рублей; но он молчал, потому что подобная работа требует кропотливого труда. Он не побоялся бы утомительных вычислений, если бы знал, как важен для платящего каждый лишний рубль в уплате; но он не знает, как значительно возрастает обременительность уплаты от прибавки самой незначительной. Мы хотим обратить внимание людей, сочувствующих благу поселян, на громадную важность самого небольшого

увеличения в сумме уплачиваемого капитала при рассроченной уплате.

Еще легче судят о величине процентов, которые будут считаться за остающуюся к уплате сумму. Три, четыре, даже пять процентов — с одной из этих цифр защитник поселян обыкновенно слишком легко переходит на другую, высшую, лишь бы не замедлять спора из-за таких, по его мнению, пустяков. Мы постараемся объяснить, какое громадное влияние на благосостояние должника имеет самое незначительное увеличение процента.

Если уплата производится немедленно, за один раз, тут не нужно никаких соображений и расчетов, чтобы видеть, тяжела или легка для должника уплата. Если я имею наличных и свободных денег тысячу рублей, каждый видит, что для меня легко уплатить 200 или 300 рублей; точно так же каждый видит, что заставить меня уплатить 800 или 900 рублей — значит отнять у меня всякое средство к тем предприятиям, которыми я хотел заняться, имея 1 000 рублей. Если бы выкуп за права, приобретаемые поселянами, поселяне могли уплатить одновременно, их защитники не нуждались бы в длинных соображениях для определения той суммы, какую можно наложить на них без существенного вреда их благосостоянию.

Но все предполагают такую величину выкупа, которая не может быть уплачена поселянами одновременно, так что, по общему мнению, выкуп необходимо должен быть рассрочен на несколько лет. Таким образом расчеты не оканчиваются в один раз, и поселяне остаются на некоторое время должниками.

При рассроченной уплате надобно обратить внимание на три обстоятельства: цифру всей суммы, которая подлежит уплате, величину процента и величину ежегодного взноса для уплаты процентов с погашением капитала. Каждый знает, что чем более капитал, тем дольше будет тянуться уплата при одинаковом проценте и ежегодном взносе; чем больше процент, тем продолжительнее уплата при одинаковой величине капитала и взноса; наконец, чем больше ежегодный взнос, тем скорее оканчивается уплата при одинаковой величине капитала и процента. В общих выражениях это известно каждому, но немногие имеют точное понятие о том, в какой пропорции затягивается срок полной уплаты при известном, повидимому, даже незначительном возвышении капитала и процента. Мы покажем эту пропорцию небольшими, но очень знаменательными таблицами.

Сначала рассмотрим влияние возрастания цифры капитала при одинаковом проценте и ежегодном взносе.

Предположим, что должник ежегодно вносит на уплату займа по 100 рублей; предположим, что капитал, постепенно погашаемый этой уплатой, занят по 3%; спрашивается, в какой пропорции будет возрастать или уменьшаться число лет, нужных

для погашения капитала — в той ли самой пропорции, как возрастает или уменьшается капитал, или быстрее, или медленнее?

Капитал .	1 000 руб.	1 500 руб.	2 000 руб.	2 500 руб.	3 000 руб.	3 300 руб.
Сколько лет нужно производить уплату для погашения его . . . . .	12,06	20,22	30,99	46,88	77,89	115,77
Всего на эти уплаты будет употреблено .	1 206 руб.	2 022 руб.	3 099 руб.	4 689 руб.	7 789 руб.	15 577 руб.

Во второй строке целое число показывает, сколько лет должна производиться уплата по 100 рублей для погашения капитала с причитающимися на него процентами. Десятичная дробь показывает, какая часть уплаты должна быть употреблена по окончании этих лет для совершенного погашения небольшой части капитала, остающейся невыплаченной после прежних целевых уплат. Таким образом для погашения капитала в 1 500 рублей надобно платить по 100 рублей в течение 20 лет, а на двадцать первый год заплатить еще 22 рубля.

Третья строка показывает, какая сумма будет истрачена на погашение капитала в сложности во все продолжение выкупа. Так как величина уплаты принята у нас в 100 руб., то третья строка очень легко составляется из второй через помножение на 100.

Теперь, сравнивая вторую и третью строки с первой, мы легко заметим, что цифры второй и третьей строк возрастают или уменьшаются в гораздо быстреей пропорции, нежели цифры первой. Возьмем за основание сравнения капитал в 2 000 руб. Если мы уменьшим его только на 500 руб., то есть на одну четвертую часть, то число лет, нужных для его уплаты, уменьшится с 30,99 на 20,22, то есть с лишком на третью часть (почти на 35 сотых частей); точно таким же образом уменьшится и сумма денег, которая будет уплачена для его погашения. Иначе сказать, во второй и в третьей строках облегчение будет в полтора раза больше, нежели уменьшение в первой строке. Если же капитал в 2 000 руб. мы увеличим на одну четвертую часть, именно до 2 500 руб., то увидим, что число лет, нужных для его уплаты, возрастет с 30,99 до 46,89, то есть с лишком наполовину (именно с лишком на 51 сотых частей); точно таким же образом возрастет и сумма денег, которая пойдет на его погашение. Иначе сказать, во второй и третьей строках обременение будет в два раза больше, нежели увеличение в первой строке.

Сравнивая во второй и третьей строках каждый последующий член с предыдущим, мы замечаем, что чем далее идут члены к

концу строки, тем с большей несоразмерностью возрастает это обременение; так, прибавив 500 руб. к тысяче, мы увеличим капитал наполовину; сумма уплат возрастет с 1 206 руб. на 2 022 руб., то есть возвысится более чем на две трети (именно с лишком на 67 сотых частей). Приложив к 1 500 руб. еще 500 руб., мы увеличим капитал только на третью часть; а между тем выплачиваемая сумма с 2 022 руб. возрастет до 3 099 руб., то есть с лишком наполовину (именно почти на 53 сотых). Приложим еще 500 руб., — капитал увеличится на четвертую долю, а выплачиваемая сумма возрастет опять с лишком наполовину (с 3 099 руб. до 4 689 руб.), именно с лишком на 51 сотых частей; к 2 500 руб. приложив еще 500 руб., мы увеличим капитал только на пятую часть, а выплачиваемая сумма возрастет с 4 689 руб. до 7 789 руб., то есть увеличится почти на две трети (именно с лишком на 62 сотых частей). Наконец, если мы к 3 000 руб. приложим еще 300 руб., капитал увеличится только на десятую часть, а уплачиваемая сумма возрастет вдвое, именно с 7 789 руб. на 15 577 рублей.

Быстро возрастает непропорциональное обременение должника с каждым самым незначительным увеличением капитала, которого требует с него заимодавец. Каждый новый рубль, прибавляемый к капиталу, составляет для кредитора все менее и менее чувствительную прибавку сравнительно с прежним рублем, а для плательщика — все более и более тяжелое обременение.

То же самое очевидно раскрывается другим способом сравнения разных членов.

При 1 000 рублях капитала из 1 206 рублей, выплаченных должником, 1 000 рублей пошли на уплату капитала и только 206 рублей — на проценты, то есть на каждый рубль капитала должник заплатил  $20\frac{1}{2}$  копеек процентов. При 1 500 рублях капитала должник выплатил 2 022 рубля, из них на проценты пошло 522 рубля, то есть на каждый рубль капитала должник заплатил 35 копеек процентов. При 2 000 капитала должник заплатил 3 099 рублей, из них на проценты пошло 1 099 рублей, то есть на каждый рубль капитала должник заплатил по 55 коп. При 2 500 капитала должник выплатил 4 689 рублей, из них за вычетом капитала остается 2 180 рублей, которые идут на проценты, и оказывается, что на каждый рубль капитала должник заплатил уже  $87\frac{1}{2}$  коп. процентов. При 3 000 капитала должник заплатил 7 789 рублей, из них 4 789 рублей пошло на проценты, то есть на каждый рубль капитала должник заплатил 1 рубль  $59\frac{1}{2}$  коп. процентов. Наконец, при 3 300 рублях капитала должник заплатил 15 577 рублей, из них за вычетом капитала на проценты пошло 12 277 рублей, то есть на каждый рубль капитала должник заплатил 3 рубля 72 копейки процентов.

Для довершения этой страшной прогрессии можно сказать еще, что при 3 333 рублях  $33\frac{1}{3}$  коп. вся сумма уплаты (100 руб-



лей) будет идти на проценты, и ни одной копейки не останется на уплату капитала, так что хотя бы должник платил кредитору десять тысяч лет по 100 рублей, то все-таки, переплатив ему в эти десять тысяч лет целый миллион рублей, он остался бы должен ему все те же 3 333 рубля 33 1/3 коп., и ни одной трети копейки не причлось бы из этого миллиона в уплату первоначальных 3 333 руб. 33 1/3 коп.

Мы рассмотрели, как обременительны для плательщика последствия от ничтожных для получателя приращений в капитале; теперь посмотрим на последствия от возвышения процентов.

Прежде мы принимали определенную величину процента и ежегодной уплаты и брали различные величины капитала; теперь примем определенную величину капитала и ежегодной уплаты и будем брать различные величины процента.

Пусть будет капитал 1 000 руб.; пусть будет уплата 50 рублей. Посмотрим, во сколько лет будет уплачен капитал и сколько в это время переплатит должник кредитору при разной величине процента.

Величина процента .	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
Число лет платежа . .	41,04	42,69	44,54	46,71	49,24	52,30	56,16	61,24	68,66	82,76
Всего должн. платит . . . .	2 052	2 139	2 227	2 335	2 462	2 615	2 803	3 062	3 433	4 138

При 4% капитал в 1 000 руб. дает процентов 40 руб.; положим, что кредитор захотел бы получать только одним рублем больше, — должнику пришлось бы заплатить вместо 2 052 руб. 2 139 руб., то есть один лишний рубль для кредитора потянул бы с должника лишних 87 рублей. Прибавим еще только один рубль кредитору, и должник обременится еще на 88 рублей. Но если вместо 42 руб. с тысячи (4,2%) кредитор потребует 43 руб. (4,3%), должник обременится еще лишними 108 рублями. Прибавим кредитору еще один рубль, и с должника сойдет лишних 127 руб.; еще один рубль кредитору (4,5%), и должник поплатится за то 153 рублями; еще один рубль кредитору, и с должника потребуются на этот рубль уже 193 руб. лишних. Но если вместо 4,6% кредитор захочет брать 4,7%, то есть вместо 46 руб. с тысячи получать 47 руб., должник заплатит вместо 2 808 руб. уже 3 062 руб.; то есть 1 рубль прибыли кредитору влечет 254 рубля убытка должнику. Чем дальше, тем быстрее растет обременение для должника от каждого нового рубля, требуемого кредитором; если вместо 47 руб. с тысячи кредитор захочет получать 48 руб., должник заплатит вместо 3 062 руб. — 3 433 руб., то есть для одного рубля выгоды кредитору будет обременен уплатой лишних 371 руб.; а если, наконец, прибавится еще 1 рубль

кредитору, из кармана должника на этот 1 рубль уйдет лишних 705 руб.

Возвышение процентов так же сильно отражается несоразмерным увеличением выплачиваемой суммы, как и увеличение капитала. Повидимому, совершенно ничтожен лишний рубль процентов на 1 000 рублей капитала, повидимому, совершенно незначительна эта разница на одну десятую часть процента. Действительно, для кредитора она совершенно незаметна: 40 руб. или 41 руб. — увеличение дохода тут совершенно ничтожно; но при каждом таком ничтожном увеличении доходов кредитора с должника летят огромные суммы; за каждый лишний рубль кредитору он расплачивается сотнями рублей, и чем больше прибавляется этих ничтожных рублей кредитору, тем страшнее растут новые сотни рублей обременения для должника.

Если так быстро возрастает продолжительность лет, нужных для погашения, и с нею вместе величина суммы, уплачиваемой должником как при увеличении капитала, так и при увеличении процента в отдельности, то можно предвидеть, что когда оба эти фактора будут увеличиваться вместе, обременительность уплаты для должника будет возрастать еще в быстреей прогрессии. Наглядным образом читатель увидит это из следующей таблицы.

Предположим, что величина ежегодного взноса будет 125 рублей; предположим, что при этой неизменной величине уплаты капитал, начиная с 1 000 руб., будет увеличиваться постепенными прибавками 200 руб. до 2 000 руб.; предположим, что и проценты с каждою новою прибавкою к капиталу будут возрастать с 3 до 6. Мы будем тогда иметь следующую таблицу:

Капитал	Про- центы	Число лет, нужных для погашения	Сумма, выплачи- ваемая в эти годы	Из нее за вычетом капитала идет на уплату процент.
1 000	3	9,29	1 151 руб. 25 коп.	151 руб. 25 коп.
1 200	3½	11,90	1 487 » 50 »	287 » 50 »
1 400	4	18,05	2 250 » 62 »	850 » 62 »
1 600	4½	28,95	3 618 » 75 »	2 018 » 75 »
1 800	5	41,64	5 205 » — »	3 405 » — »
2 000	6	74,18	9 272 » 50 »	7 272 » 50 »

Сравнивая между собою разные строки этой таблицы и пятую колонну ее с первой, мы видим, что сумма, идущая на проценты, возрастает в страшной несоразмерности с величиной погашаемого капитала, иначе сказать, выгоды, требуемые кредитором, несоразмерно малы с обременением должника от каждой незначительной прибавки в требуемом капитале и наоборот: уступки, незначительные для кредитора, имеют следствием чрезвычайно большое облегчение для должника. Основанием сравнения мы возьмем четвертую строку таблицы, именно капитал в 1 600 рублей и требование 4½%. Если кредитор захочет увеличить свое

требование на 200 рублей и поднять процент только на  $\frac{1}{2}$ , из этого возникает для должника обременение на 1 586 руб., то есть почти на половину прежней тяжести, и на проценты пойдет из уплачиваемых им денег 1 386 руб. лишних сравнительно с прежним; если кредитор поднимет свои требования еще на 200 руб. и еще на 1%, из этого возникает для должника новая тяжесть в 4 067 руб., и на уплату процентов пойдет 3 867 руб. лишних против прежнего. Наоборот, если кредитор уступит из 1 600 руб. только 200 руб. и только  $\frac{1}{2}$ %, он облегчит этим должника на 1 368 руб.; если он уступит еще 200 руб. и еще  $\frac{1}{2}$ %, он вновь облегчит этим должника на 767 рублей.

Особенно важны цифры пятой колонны; они страшно растут с каждым незначительным увеличением требовательности кредитора. Если кредитор довольствуется требованием 200 рублей и  $3\frac{1}{2}$ %, должник уплатит только 287 руб. 50 коп. лишних против требуемого капитала, то есть уплатит лишних денег менее нежели  $\frac{1}{4}$  часть. Но когда кредитор возвысит свои требования на 200 руб. и на  $\frac{1}{2}$ %, должник заплатит уже вдвое большую сумму лишних денег, и эта сумма (850 руб. 62 коп.) будет составлять уже почти  $\frac{2}{3}$  против требуемого капитала. Пусть повысится требование еще на 200 руб. и  $\frac{1}{2}$ % (1 600 руб. и  $4\frac{1}{2}$ %), — с должника сойдет лишних денег еще почти в два с половиной раза больше, и на каждый рубль требуемого капитала должнику придется заплатить не менее как 1 руб. 26 коп. процентов. Пусть требование возрастет еще на одну такую же степень, и обременение должника увеличится еще гораздо в большей пропорции: на каждый рубль капитала должник заплатит почти 1 руб. 90 коп. процентов. Наконец, если кредитор потребует 2 000 руб. и 6%, должник принужден будет отдать сверх капитала 7 272 рубля 50 коп., то есть на каждый рубль капитала заплатит 3 руб. 63 коп. процентов.

Итак, мы видим возможность двух отношений кредитора к должнику, отношений, последствия которых с необыкновенной силой отражаются на благосостоянии должника: при требовательности кредитора должник изнемогает под тяжестью лишних уплат, далеко превышающих величину требуемого с должника капитала; при уступчивости кредитора эти лишние тяжести громадными цифрами сбрасываются с должника, и выплачиваемая сумма приближается именно к той цифре капитала, какую должен получить кредитор по действительной ценности проданной вещи.

От этих общих соображений переходя к вопросу о выкупе имущества, предоставляемых крестьянам, мы встречаемся с двумя особенными обстоятельствами, которые, по нашему мнению, должны были бы решительным образом направить сословие, получающее выкуп, к наибольшей возможной умеренности в требованиях.

Ростовщик или рантьер располагает жить процентами, получаемыми от должника, сам отказываясь от фактического участия в промышленных предприятиях; потому интерес его состоит вовсе не в скорейшем получении капитала, проценты с которого уплачиваются должником, а только в возможном увеличении получаемых процентов. Средствами для этого служат оба те источника, влияние которых рассмотрели мы выше. Ростовщик по возможности старается увеличить цифру долга, нимало не стесняясь соображением, что через это затрудняется уплата капитала.

Когда моему векселю кончился срок и я затрудняюсь уплатой, ростовщик с удовольствием возобновляет вексель, приписывая к каждой тысяче рублей новые сотни и тысячи. Если я не мог уплатить в срок двух тысяч рублей, еще меньше вероятности, чтобы через год, через два уплатил я три тысячи; но какое дело ростовщику? Вместо 200 рублей он стал получать по 300 руб. процентов, этим его цель совершенно достигнута.

Совершенно иначе поступает купец или фабрикант, который сам непосредственно употребляет в дело капитал. Он соглашается на всякие уступки и в процентах, и даже в сумме капитала, лишь бы скорее получить его в свои руки. Если ему предлагают два условия: или получать по 5% с суммы в 10 000 руб., но ждать уплаты этого капитала десять лет, или вместо того получить только 6 000 руб., но зато через два года, а в эти два года брать с этих 6 000 только по 3%, — если предложат расчетливому промышленнику выбор между двумя такими условиями, он без всякого сомнения предпочтет брать только по 3% и получить только 6 000 руб., лишь бы срок уплаты сократился от такой уступки.

По тому употреблению, какое помещики должны сделать из вознаграждения, они подходят под разряд людей, занимающихся промышленностью, а вовсе не под разряд ростовщиков. Их выгода не в том, чтобы праздным образом издерживать проценты, уплачиваемые за выкуп, а в том, чтобы как можно скорее получить самый капитал выкупа и употребить его отчасти на покупку новых недвижимых имений, а преимущественно на улучшение хозяйства в своих прежних землях. По очевидной необходимости все дальние проекты изменений в сельских отношениях при изложении способов вознаграждения принимают не постепенную выдачу каждому помещику должного ему вознаграждения малыми ежегодными частями, а одновременную уплату всего должного ему капитала вдруг с платежом процентов за годы ожидания этой полной уплаты. Лучшим для выгоды самих помещиков и, сколько нам кажется, единственным практичным путем к тому представляется тираж облигаций по известной очереди, вроде того, как выплачиваются облигации срочных государственных долгов. В кратких словах план этот излагается следующим образом

Предположим, что должно постепенно выплатить капитал в пятьсот миллионов рублей серебром, приносящий кредиторам 3%. Предположим, что из нескольких десятков тысяч кредиторов, которым следует эта уплата, каждый имеет одну облигацию на всю сумму, какая следует ему к уплате; величина этих облигаций чрезвычайно различна; некоторым кредиторам следует получить всего каких-нибудь 500 рублей, зато другим следует получить по сту тысяч, по пятисот тысяч рублей и даже более. Предположим, что с должников ежегодно получается сумма в 30 000 000 рублей. Выкуп облигаций [легко и довольно быстро] производится по следующему расчету. В первый год из 30 000 000, уплаченных должниками, 15 000 000 идут на уплату процентов всем вообще кредиторам. Затем остается на погашение капитала еще 15 000 000 рублей. По жребии вынимается облигаций на эти 15 000 000, и владельцы вынутых облигаций немедленно получают весь капитал, который имели в долгу. Ко второму году остается неуплаченного долга 485 000 000. Из новых 30 000 000 ежегодного взноса должников обращается на уплату процентов по этому долгу 14 550 000 руб., остальные 15 450 000 идут на выкуп облигаций. Затем к третьему году остается 469 550 000. На них уплачивается процентов 14 086 500, а на выкуп облигаций остается уже 15 913 500 руб. Таким образом с каждым годом все большая и большая часть ежегодного взноса остается свободной за уплатой процентов и обращается на выкуп облигаций. При цифрах, нами взятых, весь выкуп оканчивается почти в 23 года. К 24 году остается невыкупленных облигаций с небольшим всего только 10 000 000, и должники в этот год внесут уже не 30 000 000, как прежде, а всего только около 11 000 000 на выкуп этих облигаций с уплатой на них процентов.

Ясное дело, что при таком порядке уплаты кредиторы не менее должников заинтересованы в возможном сокращении выкупного периода.

К этому обстоятельству присоединяется новое, принимаемое всеми лучшими планами выкупной операции. Мы заметили, что облигации чрезвычайно различны по величине. Мелкопоместные владельцы должны получить тысячи или даже только сотни рублей выкупа; эти лица, не имеющие ни большого кредита, ни наличных капиталов, всего более нуждаются в быстрейшем получении должного им капитала. Потому вообще принимается, что облигации будут подлежать жеребьевому выниманию не все одновременно, а с распределением на серии, так что сначала будут выниматься облигации мелкопоместных владельцев, потом владельцев поместий средней величины и, наконец, облигации больших землевладельцев. Мы не будем здесь доказывать справедливости такого порядка, — она ясна для беспристрастных людей. Но при этой очереди серий именно самые влиятельные в обществе люди, самые сильные по своему богатству и положе-

нию в государстве имеют наибольший интерес в возможном сокращении срока выкупной операции, потому что выкуп именно их облигаций отлагается до последних годов выкупной операции.

Сильнейшим средством к достижению такого результата представляется возможно большая умеренность в требованиях кредиторов как относительно величины капитала, так и относительно процентов, следующих на него до выкупа облигаций.

Чтобы осязательнее показать всю важность этой умеренности для выгоды самих владельцев и особенно значительнейших владельцев, мы представим приблизительные расчеты продолжительности выкупной операции для разных классов землевладельцев при различной величине выкупного капитала и требуемых на него процентов. При этих расчетах мы будем принимать один источник дохода для выкупной операции, именно взимание уплаты исключительно от освобождаемых поселян. Нам кажется, что высший размер платежа на продолжительное число лет не может быть полагаем более как на 4 руб. серебром с души, то есть от 10 до 12 руб. с среднего тягла. Принять высший размер было бы обременительно для поселян, обязанных сверх того уплачивать государственные подати; результатом определения слишком высокой уплаты были бы только недоимки. Чтобы избежать слишком громадных цифр, мы произведем расчет на сто тысяч душ с приблизительным соблюдением той самой пропорции между разными категориями более или менее значительных владельцев, какая оказалась по 9-й ревизии. Но для округления счета и для приближения его к пропорциям, существующим в действительности, мы несколько уменьшаем процентное количество душ, принадлежащих мелкопоместным владельцам, и несколько увеличиваем его в высшей категории владельцев. Необходимость такой перемены ясна сама собой. Из владельцев, имеющих по 70 или 80 душ в известной губернии, найдутся многие, владеющие поместьями сверх того в других губерниях и по общей цифре принадлежащих им душ в разных губерниях переходящие из категории, к которой отнесены по одной губернии, в высшую категорию.

Сообразно этому основанию мы принимаем следующую пропорцию: из ста тысяч душ принадлежат:

- 3 000 душ — владельцам, имеющим каждый от 1 до 20 душ (категория А).
- 15 000 душ — помещикам, имеющим каждый от 21 до 100 душ (категория Б).
- 35 000 душ — помещикам, имеющим каждый от 101 до 500 душ (категория В).
- 15 000 душ — владельцам, имеющим каждый от 501 до 1 000 душ (категория Г).
- 32 000 душ — владельцам, имеющим каждый более 1 000 душ (категория Д) \*

Предположим различные величины выкупа за усадьбу и разные величины процентов, возрастающих пропорционально увеличению выкупа.

\* Точная пропорция такова: А. — 3 420 душ, Б. — 15 270 душ, В. — 35 990 душ, Г. — 14 890 душ и Д. — 30 280 душ.



- I выкуп 20 руб. сер. с души (50—60 руб. с тягла) и  $2\frac{1}{2}\%$  \*  
 II выкуп 40 руб. сер. с души (100—120 руб. с тягла) и  $3\%$   
 III выкуп 60 руб. сер. с души (150—180 руб. с тягла) и  $4\%$   
 IV выкуп 75 руб. сер. с души (187 руб. 50 коп. — 225 руб. с тягла) и  $5\%$ .

Продолжительность выкупной операции и время ожидания уплаты по облигациям для разных категорий владельцев при каждой из этих разных величин будут следующие:

## I

При выкупе в 20 руб. серебром и  $2\frac{1}{2}\%$  вся выкупная операция будет кончена в 5 лет и 5 месяцев. Все владельцы, имеющие менее ста душ, получат выкуп немедленно. Все владельцы, имеющие от 100 до 500 душ, получают выкуп в течение второго и третьего годов от начала операции. В третий год будет выкуплено также несколько облигаций помещиков, имеющих от 500 до 1 000 душ; все остальные владельцы этой категории получают выкуп в четвертый год. Также в четвертый год получают выкуп многие из самых больших владельцев, имеющих более 1 000 душ; остальные владельцы этой последней категории получают выкуп в пятый год и в начале шестого года.

## II

При величине выкупа 40 руб. серебром с души и при  $3\%$  выкупная операция будет продолжаться с лишком 12 лет. Немедленно получают выкуп мелкопоместные владельцы (1—20 душ), а из владельцев второй категории только четвертая часть; остальным владельцам, имеющим 20—100 душ, придется ждать выкупа два и три года. Соразмерно тому увеличится срок ожидания для следующих категорий, и самые счастливые из владельцев, имеющих более 1 000 душ, должны будут ждать выкупа целых 8 лет, а менее счастливые будут ждать 11 и даже 12 лет.

## III

При выкупе в 60 руб. серебром и  $4\%$  продолжительность выкупной операции увеличивается до 23 лет с лишком. Даже мелкопоместные владельцы не все получают выкуп немедленно; некото-

---

\* Ниже мы постараемся доказать возможность такого или даже еще меньшего процента при кратковременном продолжении выкупной операции.

рым из них придется ждать второго года. Что же касается до владельцев следующей категории (20—100 душ), выкуп их облигаций, начавшись со второго года, протянется, еще на 5 лет с лишком, так что последние из них получают выкуп не ранее седьмого года. Что же касается до самых значительных владельцев, имеющих более 1000 душ, самым счастливым из них придется ждать выкупа не менее восемнадцати лет, а другие будут ждать лет двадцать и более; самые последние получают выкуп не ранее как в начале двадцать четвертого года.

Тут уже чувствуется недостаточность источника, который совершенно удовлетворителен при первой величине цифр и все еще достаточен при второй величине. Чувствуется уже некоторая потребность искать в помощь этому источнику каких-нибудь других. Но совершенно неизбежна становилась бы эта необходимость при последних из взятых нами величин, как покажет следующий расчет.

#### IV

При выкупе в 75 руб. серебром и при 5% продолжительность выкупной операции растягивается почти на 57 лет, то есть на целых два поколения; даже из мелкопоместных владельцев только одна девятая часть получит выкуп немедленно, другим придется ждать его по нескольку лет, многим по 7 и по 8 лет, некоторым даже по 9 лет. Раньше девятого года не достанется получить выкупа ни одному из владельцев второй категории (20—100 душ). Вообще выкуп облигаций этой категории будет тянуться целые десятки лет. Конечно, еще дольше придется ждать лицам, имеющим более 100 душ; чтобы дать понятие о медленности, с которой будут удовлетворяться их права, скажем, что самые счастливые из владельцев, имеющих более 1000 душ, не получают выкупа ранее 51 года от начала выкупной операции, а другим придется ждать и 55, и 56, и 57 лет.

Тут, очевидно, уже совершенно недостаточен источник выкупа, принятый нами. Ждать платежа 40, 50, 55 лет невозможно. Какие же могут быть источники для усиления суммы, платимой самими выкупающимися? Очевидно, что государство было бы принуждено приступить к учреждению какого-нибудь нового налога. Но промышленность и торговля уж несут налоги, величина которых не может быть возвышена без обременения этих отраслей деятельности. Акцизы на предметы потребления, как-то вино, соль, табак, также уже установлены. Наконец простолудины несут очень значительную подушную подать. Таким образом предметом нового налога могли бы сделаться только земли, до сих пор бывшие свободными от налога или платившие налог непропорционально малый. Это простое соображение пока-

зывает, что если бы требовательность кредиторов заставила перенести часть тяжести выкупа, непропорционального силам выкупающихся, на другие органы государственного тела, то ближайшим образом весь этот избыток тяжести лег бы на имущества, которые останутся во владении самих же кредиторов.

Здравый расчет указывает, что умеренность требований должна считаться единственным средством для самих кредиторов не подвергнуться усиленным платежам с своих имуществ для удовлетворения своих требований. Чрезмерно возвышая свои требования, они сами себя принуждали бы платить левою рукою тот излишек, который захотели получать правою рукою.

Но если неумеренность требований кредиторов становилась бы в убыток им самим, то, с другой стороны, умеренность в претензиях кредитора доставляет должнику возможность расплачиваться еще быстрее, нежели мы принимали выше. Известно, что организм человека в течение короткого времени может выносить такие усилия и лишения, которые расстроили бы его, если бы растянулись на долгое время. То же самое и с хозяйственным организмом какого-нибудь сословия. Если мы приняли, что на продолжительный срок нельзя обложить выкупающихся платежом свыше 4 руб. в год, то, без сомнения, должники нашли бы возможность произвести уплату несколько большую, если бы повторять ее потребовалось от них небольшое число раз, например всего только два или три раза. С другой стороны, чем меньше срок, остающийся до уплаты кредитного знака, тем менее становится величина процента, нужная для поддержания номинальной ценности этого знака. Если при продолжительности выкупной операции выкупные облигации нуждались бы в сравнении по приносимому ими проценту с билетами государственных кредитных учреждений (3%), то при близости выкупного срока они не могли бы понизиться в цене и с меньшим процентом: кому была бы охота продать по 95 коп. за рубль такую облигацию, которая подлежит через два-три месяца тиражу, дающему очень значительную вероятность выкупной очереди с выдачею за нее полной цены и которая при самых неблагоприятных для нее шансах тиража будет ждать своей очереди очень недолгое время? Сверх того, при умеренности капитала, представляемого суммою облигаций, они меньше будут переполнять рынок, и, следовательно, уменьшится их склонность к понижению. Прибавим еще одно обстоятельство, которому принадлежало бы решительное влияние на величину процента по облигациям коротких сроков. Вклады сумм, принадлежащих казенным учреждениям, дают по новому правилу кредитных учреждений только  $1\frac{1}{2}\%$ . При непродолжительном сроке выкупа для таких сумм был бы выгодным оборотом размен банковых билетов на эти облигации, когда

бы они приносили даже 2% или 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>%. Такой размен, без всякого сомнения, поддержал бы их обращение по номинальной ценности. Кроме всех этих соображений, существует много других оснований для достаточности тем меньшего процента, чем кратковременнее срок всего продолжения выкупной операции. А если конец операции близок, то кредитные учреждения могут довольно сильно содействовать еще большему его сокращению ссудами на незначительный срок, которые легки и тогда, когда невозможна ссуда на долгий срок.

Таким образом, есть легкая возможность сократить в значительной степени и тот недолгий срок уплаты по облигациям при умеренных требованиях, какой представлялся нам выше. Мы попробуем приблизительно показать это на выкупе в 20 руб. серебром. Без всяких пособий, представляемых финансовыми соображениями, истекающими из его кратковременности, мы нашли его продолжающимся 5 лет и 5 месяцев. Но естественная не продолжительность его открывает путь к сокращению его до 3 лет или даже несколько менее. Примем цифру 3 лет и посмотрим, как велики должны быть усилия самих поселян и кредитных учреждений для сокращения ожиданий кредиторов этим сроком.

Во-первых, при умеренности выкупа довольно многие поселяне найдут средства взнести его за один раз. Положим, что при цифре 20 руб. одна десятая часть крестьянских семей найдут эту возможность. Для остальных будет легче в течение двух лет платить по 6 руб., нежели по 4 руб. в течение пяти лет. Платить по 6 руб. несколько лет сряду было бы, сказали мы, невозможно, но возможно сделать два раза чрезвычайное усилие, если немедленно затем начинается льгота.

При сроке выкупной операции в 5 лет с лишком полагалось на выкупной капитал 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%. Но если тираж будет продолжаться только три года, то не будет надобности разделять облигации на категории по значительности поместьев, подлежащих выкупу; тогда и самый последний тираж отлагается на срок столь недалекий, что даже малые владельцы (21—100 душ) могут ждать его. Только мелкопоместные владельцы (1—20) сохраняют свою привилегию получить выкуп именно в первый год. Если же тираж будет происходить не по годичным, а по менее продолжительным промежуткам, например через два месяца или, еще лучше, ежемесячно, тогда едва успеет дойти до провинций известие о номерах, вынутых в первый тираж, как уже будет надобно ожидать нового тиража, с сильной вероятностью удовлетворения тех, которые не попали в первый тираж, и таким образом облигации будут совершенно достаточно поддерживаться в цене уже самыми шансами тиража, не нуждаясь в пособии процентов. Итак, мы полагаем возможным оставить их без процентов. Тогда будем иметь следующий ход выкупной операции:

Первый год 10 000 крестьян внесли полный выкуп по 20 руб.,	
итого 200 000 руб.; остальные 90 000 внесли по 6 руб.,	
итого 540 000 руб.; всего в первый год выкупае.ся	
облигаций на . . . . .	740 000 руб.
Второй год 90 000 душ вносят по 6 руб., всего выкупае.ся	
облигаций на . . . . .	540 000 руб.

Итого в первые два года выкуплено  
облигаций на . . . . . 1 230 000 руб.

На третий год крестьяне вносят только по 3 руб. серебром, итого 270 000; недостающие для полного выкупа 450 000 ссужаются кредитными учреждениями, которые могут сделать эту ссуду, потому что при уплате с души по 2 руб. 25 коп. она погашается в два года. Таким образом нужно содействие кредитных учреждений менее чем на одну четвертую часть выкупной суммы, чтобы срок выкупа сокращался почти наполовину.

Выгода для владельцев очевидна: отказываясь от ничтожного для них получения процентов, излишних для поддержки цены облигаций при столь быстром ходе выкупа и столь частом тираже, они выигрывают то, что получают по своим облигациям удовлетворение вдвое быстрее. Каждый расчетливый хозяин с радостью пожертвует 50 коп. в год (2½ % на 20 руб.), чтобы вдвое скорее получить следующие ему 20 руб. с души.

Выгода крестьян будет также довольно значительна. Они платят:

При тираже в 5 лет и 5 месяцев

При тираже в 3 года

1 год . . . . .	4 руб. — коп.
2 » . . . . .	4 » — »
3 » . . . . .	4 » — »
4 » . . . . .	4 » — »
5 » . . . . .	4 » — »
6 » . . . . .	1 » 16 »

6 руб. — коп.
5 » — »
3 » — »
2 » 50 »
2 » 50 »
2 » 50 »

Итого 21 руб. 16 коп.

Итого: [21 руб. 50] коп.

Но вообще сокращение тиража, о котором мы теперь говорим, предполагается нами гораздо более в выгодах кредиторов, нежели в выгодах должников, потому что 2½ % при рассрочке платежа на 5 лет и 5 месяцев уже не составляют слишком большого обременения (именно всего только около 6 копеек на рубль за все продолжение платежей).

Пожертвование кредитных учреждений для доставления помещикам столь значительной выгоды, как сокращение срока тиража почти на целую половину, будет совершенно ничтожно, если ссуда будет сделана этими учреждениями даже без процентов, как мы предположили; именно в первый год они пожертвуют 13 500 руб. (считая по 3 %) и во второй (так как половина ссуды уже возвратится в этот год) 6 750 руб., всего 20 250 руб., то есть

4 $\frac{1}{2}$  копейки на рубль ссуды. Но и эту потерю мы предположим собственно только для упрощения расчета; срок ссуды так незначителен, что платить по ней проценты будет необременительно для крестьян. Именно, полагая на ссуду 3%, придется собрать в 4-й год вместо 2 руб. 50 коп. по 2 руб. 65 коп., а на 5-й год вместо 2 руб. 50 коп. по 2 руб. 57 $\frac{1}{2}$  коп. с души. Таким образом, если бы при подобном сроке уплаты кредитные учреждения затруднились принять на себя ту небольшую потерю, которую мы предположили, то легко можно было бы избавить их от всякой потери, положив на ссуду по 3%, — этим не обременились бы чувствительно крестьяне при кратковременности ссуды.

Мы начали свои соображения о необходимости умеренной цифры выкупа исключительно в выгодах должника. Но нечувствительно пришли мы к выводу, что также осязательна эта выгода и для расчетливого кредитора. Мы не говорим о пожертвованиях со стороны кредиторов, — опыт отучил нас от подобных мечтаний. Но арифметика показывает нам, что алчность вовсе не есть расчетливость, что, напротив, истинно расчетлив только тот, кто по возможности умерен в своих требованиях, и мы желали бы теперь хотя только того, чтобы кредиторы как можно точнее рассчитывали, какие шансы их ожидают при умеренности и какие при неумеренности требований.



## КРИТИКА ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩИННОГО ВЛАДЕНИЯ<sup>1</sup>

[(К вопросам по опостылому делу, статья первая)]

Wie weh', wie weh', wie wehe.

Goethe, «Faust» \*.

Предисловие. — Первобытность общинного поземельного владения свидетельствует ли против предпочтения его личной поземельной собственности? — Необходимо ли у каждого народа каждому учреждению проходить все логические моменты развития? — [Регламентация и законодательство].

Долго молчал я в споре, который был поднят мною. Равнодушие, с которым были встречены остальными журналами первые статьи мои и г. Вернадского<sup>2</sup>, служившие на них ответом, — это равнодушие мало-помалу сменилось чрезвычайно живым участием. Вот уж много времени, как не проходит ни одного месяца без того, чтоб не явилось в разных журналах по несколько статей об общинном владении. Все говорили об этом вопросе, — я молчал. Бóльшая часть говоривших о нем нападали и на мое мнение, и на мою личность очень сильным образом, — я молчал, хотя в других случаях не отличался способностью оставлять без ответа нападение на то, что считаю справедливым и полезным, и хотя даже друзья мои всегда замечали во мне чрезвычайную, по их мнению даже излишнюю, любовь к разъяснению спорных вопросов горячею полемикою. Я молчал, несмотря ни на интерес, приобретенный для публики вопросом, который так дорог для меня лично, несмотря на бесчисленные вызовы противников, несмотря на частые побуждения от друзей, упрекавших меня и в лени, и в позорной апатии к общему делу, и в трусости. И теперь, когда берусь я за перо, чтобы снова защищать общинное владение, я выдерживаю сильную борьбу с самим собою и не знаю сам, не лучше ли было бы продолжать мне упорное молчание.

\* Как больно, как больно, как больно! (Гете, «Фауст»). — Ред.

Дело в том, что я стыжусь самого себя. Мне совестно вспоминать о безвременной самоуверенности, с которою поднял я вопрос об общинном владении. Этим делом я стал безрассуден, — скажу прямо, стал глуп в своих собственных глазах.

Возобновляя мою речь об общинном владении, я должен начать признанием совершенной справедливости тех слов моего первого противника, г. Вернадского, которыми он объявлял в самом возникновении спора, что напрасно взялся я за этот предмет, что не доставил я тем чести своему здравому смыслу. Я раскаиваюсь в своем прошлом неблагоприятии, и если бы ценою униженной просьбы об извинении могло покупаться забвение совершившихся фактов, я не колеблясь стал бы просить прощение у противников, лишь бы этим моим унижением был прекращен спор, начатый мной столь неудачно<sup>3</sup>.

«Как? Неужели человек, так громко провозглашавший непобедимость доводов в пользу общинного владения, поколебался в своем убеждении возражениями противников, бессилие которых так высокомерно осмеивал в начале битвы? — подумает читатель. — Неужели он чувствует себя побежденным теми фактами и силлогизмами, которые противопоставлены ему?» О, если бы мой стыд перед самим собою происходил из этого источника! Быть побеждену учеными доводами, конечно, неприятно было бы для самолюбия, особенно когда при этом наносятся еще оскорбления личности побеждаемого; но в таком случае скорбь состояла бы в чувстве мелочном, пошлости которого отняла бы силу открыто признаваться перед публикою в своем стыде. Мой стыд другого рода, и как ни тяжел он, он не боится огласки.

Не возражениями противников позорится моя безрассудная надежда на победу. Пусть противники многочисленны; пусть возражения громадны по объему и количеству; пусть даже некоторые из противников принадлежат к тем людям, одобрением которых я дорожил в других случаях, порицание которых было бы горько для меня в других делах: не ими смущен я. С самого начала я говорил, что по вопросу об общинном владении против меня будет огромное большинство русских ученых и мыслителей и те литературные партии, которые уважаются мною выше всех остальных после той, к которой принадлежу я сам. Факт, предвиденный и предсказанный мною самим, не мог смутить меня<sup>4</sup>. Напротив, я удивлялся, не встретив враждебности к защищаемому мною делу в некоторых из наших публицистов, имеющих наиболее авторитета во мнении публики и моем собственном. Отрадной для меня неожиданностью было, что эти люди или не напали на защищаемое мною мнение, или даже выражали свое сочувствие к нему<sup>5</sup>. Не многочисленностию противников был

\* Я говорю не о славянофилах, которых я могу уважать за многое, но симпатии которых не заслуживаю, как они сами объявляют и как я сам чувствую.

удивлен я, а тем, что их не оказалось еще гораздо больше; удивлен, что в их рядах нет ни одного из тех ученых, противоречие которых было бы для меня действительно тяжело. Если не произвела на меня впечатления огромность числа писателей, восставших против общинного владения, то еще меньше могли поколебать мое убеждение доводы, ими выставленные. В начале спора я указывал обыкновенные источники возражений против общинного владения и книги, руководящие мыслями людей, от которых ожидал я противоречия. Мои предположения, что против меня будут повторять чужие слова, давно известные не мне одному и давно опровергнутые не мною, а европейскими писателями, — эти предположения сбылись даже выше всех моих ожиданий. Ни одного нового или самостоятельного соображения не было представлено русскими противниками общинного владения; все их понятия были целиком взяты из устарелых книг и даже не применены к частному вопросу, к которому большею частью вовсе не шли. Из немногих фактов, на которых опирались эти соображения, также не было почти ни одного, который бы прямо шел к делу; а если некоторые и шли к делу, то были подбираемы так неосмотрительно, что свидетельствовали в сущности не против общинного владения, а в пользу его. Словом сказать, возражения были до того избиты, что, признаюсь, я не имел интереса прочесть до конца почти ни одной из статей против общинного владения, которые появлялись после того, как я поместил свою последнюю статью<sup>6</sup> против г. Вернадского в ноябрьской книжке «Современника» прошлого года; с первых же страниц каждого возражения я видел, что бесполезно читать эти бледные повторения того, что уже давно наскучило мыслящему человеку в сотнях плохих французских книжек о политической экономии; даже приятность читать гневную брань против себя, приятность, выше которой нет ничего для писателя, любящего колебать старые и надменные предрассудки, не могла пересилить скуку, приносимую вялыми повторениями общих мест старинной экономической школы<sup>7</sup>. Только теперь, решившись возобновить свои статьи об общинном владении, я стал читать эти возражения и убедился, что не сделал ошибки, предположив их вовсе не заслужившими прочтения.

Итак, не сила противников заставляет меня признать, что я заблуждался, начав говорить в защиту общинного владения. Напротив, со стороны успеха именно этой защиты я могу признать за своим делом чрезвычайную удачу: слабость аргументов, приводимых противниками общинного владения, так велика, что без всяких опровержений с моей стороны начинают журналы, сначала решительно отвергавшие общинное владение, один за другим делать все больше и больше уступок общинному поземельному принципу. Теперь нет уже сомнения в том, что большинство литературного мира считает нужным сохранить от вторжения личной частной собственности, по крайней мере на ближайшее время,

те части земли, которые до сих пор оставались собственностью или владением общества. Такая уступка после первоначального совершенного и резкого отвержения общественной поземельной собственности во всех ее видах могла бы внушать мне некоторую гордость<sup>8</sup>. Но я стыжусь себя.

Трудно объяснить причину моего стыда, но постараюсь сделать это, как могу.

Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения. Примеры малой выгоды ее при противном условии часто встречаются у нас по дворянским имениям, обремененным долгами. Бывают случаи, когда наследник отказывается от получения огромного количества десятин, достоящихся ему после какого-нибудь родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов, доставляемых помещьем. Он рассчитывает, что излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, не стоит хлопот и других неприятностей, приносимых владением и управлением. Потому, когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то по крайней мере предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою, если он находит выгодным для себя ввод во владение. Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получение ренты.

На предположении этих двух условий была основана та горячность, с какою я выставял общинное владение необходимым довершением гарантий благосостояния.

Меня упрекают за любовь к употреблению парабол. Я не спорю, прямая речь действительно лучше всяких приточных сказаний; но против собственной природы и, что еще важнее, против природы обстоятельств итти нельзя, и потому я останусь верен своему любимому способу объяснений. Предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собой разумеется, что если я это делал из расположения собственно к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принад-

лежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях? «Человек самолюбив», и первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне самому. «Как был я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?» Вторая моя мысль — о вас, предмете моих забот, и о том деле, одним из обстоятельств которого я так интересовался: «Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение!» Досада за вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства.

Но довольно мне говорить о своих чувствах и о собственной личности. Как бы то ни было, но пошло в ход глупым образом начатое мною дело об общинном владении<sup>9</sup>. Не все смотрят на него с тем чувством отвращения и негодования, какое внушает оно мне теперь, по разрушении надежд, в которых было начато мною. Теперь, я уже сказал, я желал бы, быть может, чтобы все оно пропало. Другие, напротив, хлопочут о том, чтобы привести его к концу, все больше и больше склоняясь к тем мнениям, какие были выражены мною при начале спора об общинном владении. Дело это уже не может быть брошено. А если дело, которому лучше было бы быть брошено, уже не может быть брошено, то нечего делать, надобно участвовать в его ведении.

Резким полемическим тоном был начат мною спор об общинном владении. Крик этот имел одну цель: заставить обратить внимание на предмет его. Теперь общее внимание обращено на предмет речи и нет надобности ей переступать границы спокойного изложения, чтобы быть выслушанной.

Но, — последняя дань полемическому тону, от которого я отказываюсь по вопросу об общинном владении: мало того, что возможно мне обойтись без полемики, — было бы недобросовестно с моей стороны пользоваться этим оружием тогда, когда нужно не столько обличение ошибок, сколько пополнение пробелов, производимых незнанием или забывчивостью. Дозволительно ли полемизировать против человека, который не соглашается с вами только потому, что не знает первых четырех действий арифметики или не подумал о результате, получаемом из сложения двух с двумя? Говорить с ним горячим тоном — это

и бесполезно для него, и совестно для вас. Он нуждается в уроке из «начатков учения», — в уроке, изложенном с такою популярностью, которая была бы доступна его силам и пробуждала бы деятельность его мысли.

Степень знакомства с современною наукою и привычки к самостоятельному мышлению, обнаруженная противниками общинного владения, предписывает мне стараться о всевозможной популярности при следующем изложении первоначальных понятий, касающихся вопроса о различных видах собственности на землю, владения и пользования землею. Итак, читатель простит мне, если найдет, что большая часть наших страниц посвящена изложению фактов и соображений слишком элементарных: при составлении настоящих статей я имел в виду не тот уровень знаний и сообразительности, какой предполагается в большинстве публики, а только тот, какой обнаружен противниками общинного владения.

Прежде нежели вопрос об общине приобрел практическую важность с начатием дела об изменении сельских отношений, русская община составляла предмет мистической гордости для исключительных поклонников русской национальности, воображавших, что ничего подобного нашему общинному устройству не бывало у других народов и что оно таким образом должно считаться прирожденною особенностью русского или славянского племени, совершенно в том роде, как, например, скулы более широкие, нежели у других европейцев, или язык, называющий мужа — муж, а не *mensh*, *homo* или *l'homme* и имеющий семь падежей, а не шесть, как в латинском, и не пять, как в греческом. Наконец люди ученые и беспристрастные<sup>10</sup> показали, что общинное поземельное устройство в том виде, как существует теперь у нас, существует у многих других народов, еще не вышедших из отношений, близких к патриархальному быту, и существовало у всех других, когда они были близки к этому быту. Оказалось, что общинное владение землею было и у немцев, и у французов, и у предков англичан, и у предков итальянцев, словом сказать, у всех европейских народов; но потом при дальнейшем историческом движении оно мало-помалу выходило из обычая, уступая место частной поземельной собственности. Вывод из этого ясен. Нечего нам считать общинное владение особенною прирожденною чертою нашей национальности, а надобно смотреть на него как на общую человеческую принадлежность известного периода в жизни каждого народа. Сохранением этого остатка первобытной древности гордиться нам тоже нечего, как вообще никому не следует гордиться какою бы то ни было стариною, потому что сохранение старины свидетельствует только о медленности и вялости исторического развития. Сохранение общины в поземель-



ном отношении, исчезнувшей в этом смысле у других народов, доказывает только, что мы жили гораздо меньше, чем эти народы. Таким образом оно со стороны хвастовства перед другими народами никуда не годится.

Такой взгляд совершенно правилен; но вот наши и заграничные экономисты устарелой школы вздумали вывести из него следующее заключение: «Частная поземельная собственность есть позднейшая форма, вытеснившая собою общинное владение, оказывавшееся несостоятельным перед нею при историческом развитии общественных отношений; итак, мы подобно другим народам должны покинуть его, если хотим идти вперед по пути развития».

Это умозаключение служит одним из самых коренных и общих оснований при отвержении общинного владения. Едва ли найдется хотя один противник общинного владения, который не повторял бы вместе со всеми другими: «Общинное владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная поземельная собственность — вторичная форма; как же можно не предпочитать высшую форму низшей?» Нам тут странно только одно: из противников общинного владения многие принадлежат к последователям новой немецкой философии; одни хвалятся тем, что они шеллингисты, другие твердо держатся гегелевской школы; и вот о них-то мы недоумеваем, как не заметили они, что, налегая на первобытность общинного владения, они выставляют именно такую сторону его, которая должна чрезвычайно сильно предрасполагать в пользу общинного владения всех, знакомых с открытиями немецкой философии относительно преемственности форм в процессе всемирного развития; как не заметили они, что аргумент, ими выставляемый против общинного владения, должен, напротив, свидетельствовать о справедливости мнения, отдающего общинному владению предпочтение перед частною поземельною собственностью, ими защищаемую?

Мы остановимся довольно долго над следствиями, к каким должна приводить первобытность, признаваемая за известною формою, потому что по странной недогадливости именно эта первобытность служила, как мы сказали, одним из самых любимых и коренных аргументов наших противников.

Мы — не последователи Гегеля, а тем менее последователи Шеллинга. Но не можем не признать, что обе эти системы оказали большие услуги науке раскрытием общих форм, по которым движется процесс развития. Основной результат этих открытий выражается следующей аксиомою: «По форме высшая ступень развития сходна с началом, от которого оно отправляется». Эта мысль заключает в себе коренную сущность шеллинговой системы; еще точнее и подробнее раскрыта она Гегелем, у которого вся система состоит в проведении этого основного принципа чрез все явления мировой жизни от ее самых общих состояний до

мельчайших подробностей каждой отдельной сферы бытия. Для читателей, знакомых с немецкою философиею, последующее наше раскрытие этого закона не представит ничего нового; оно должно служить только к тому, чтобы выставить в полном свете непоследовательность людей, не замечавших, что дают оружие сами против себя, когда налегают с такою силою на первобытность формы общинного владения.

Высшая степень развития по форме сходна с его началом, — это мы видим во всех сферах жизни. Начнем с самой общей формы процесса бытия на нашей планете. Газообразное и жидкое состояние тел — вот исходная точка, от которой пошло вперед образование нашей планеты и жизни в ней. Великим шагом вперед было сгущение газов и отверждение жидкостей в минеральные породы. В благородных металлах и драгоценных камнях планетный процесс дошел до совершенства в этом направлении. Сравните вековую неразрушимость и чрезвычайную плотность золота и платины, еще бóльшую неразрушимость и страшную крепость рубина и алмаза с шаткостью формы, с быстрым процессом химических изменений в газе и жидкости, вы увидите две противоположные крайности. Но что же затем? Истожились ли жизнь природы достижением крайней прочности, плотности и неподвижности в минеральном царстве? Нет, мало-помалу на минеральном царстве возникает растительное. С одного шага природа от страшной плотности минералов возвращается к меньшей плотности жидкостей: удельный вес дерева занимает средину между удельным весом разных жидкостей. Мало этого сходства в удельном весе: минеральное основание дерева (обнаруживающееся пепельным остатком по его разложению) принимает в соединение с собой очень значительную массу материи в жидком состоянии: все дерево проникнуто жидким соком, который и составляет двигатель его жизни. Но от неподвижности минерального царства осталась в дереве неподвижность на месте, которое раз занято целым организмом, и неизменность в расположении частей, какое раз приняли они одни относительно других. Внешняя форма дерева также тверда; она только нечувствительно расширяется временем в объеме, но за этим исключением постоянно сохраняет одно и то же очертание. Природа вступает в новый фазис развития, за растительным царством производит животное, и этим шагом она еще приближается к формам бытия, предшествовавшим минеральному царству. В организме животного жидкие элементы занимают еще гораздо больше места, нежели в растении. Они даже достигают самостоятельного отделения от твердых частей, огромными массами собираясь в жилах, в сердце, в желудке и других резервуарах животного организма. Твердая основа, которая в растении представлялась на первом плане, в животном отступает вовнутрь, облекаясь мягкими покровами мяса и жира; теряя наружное значение, она теряет и

ту центральную важность, какую имела в дереве, где все до самой сердцевины было твердо: в животном центральные части, важнейшие по своему значению для организма, так же не тверды, как и наружные покровы остова; твердый остов удерживается единственно как опора для мягких частей. Мало того, что жидкость изгнала минеральную твердость из центральных органов: в эти органы проникли газы: животный организм наполнен воздухом, значительными массами сосредоточивающимся в двух основных органах центральной жизни, в легких и в желудке. От минерального царства в растении сохранялось постоянно внешней формы; в животном наружные очертания постоянно изменяются от непрерывной смены разных положений тела. Не осталось и неподвижности целого организма на одном месте: как частицы воды по закону тяготения и под ударами волн атмосферы вечно движутся с места на место, так и животный организм вечно движется с места на место. Животная жизнь становится все интенсивнее и интенсивнее; проходя от ленивого моллюска, почти прикованного к месту, через высшие формы организма до млекопитающих, она достигает своего зенита в человеке. В чем же состоят материальные отличия этого высшего животного организма от низших? В человеке гораздо более развита нервная система и особенно головной мозг. Что же это за масса, развитие которой составляет венец стремлений природы? Масса мозга — нечто такое неопределенное по своему виду, что как будто бы уже составляет переход от мускулов, имеющих столь определенные качества по своей форме и внутреннему составу, к какому-то полужидкому киселю вроде тех, которыми начинается превращение неорганической материи в органическую. Этот бесформенный кисель сохраняет известное очертание только потому, что удерживается внешними костяными оградками; освободившись от них, он расплывается будто кусок жидкой грязи. В его химическом составе самый характеристичный элемент — это фосфор, имеющий неудержимое стремление переходить в газообразное состояние; венец животной жизни, высшая ступень, достигаемая процессом природы вообще, нервный процесс состоит в переходе мозговой материи в газообразное состояние, в возвращении жизни к преобладанию газообразной формы, с которой началось планетное развитие.

Иной читатель посмеется над этими геологическо-физиологическими рассуждениями в статье о юридическом и социальном вопросе. Мы сами готовы были бы смеяться над обзорами теллурической жизни, служащими подкреплением политико-экономических истин, если б не замечали, как много зависит тот или другой взгляд на какой-нибудь, повидимому, чисто практический и очень специальный вопрос от общего философского воззрения. В настоящем случае чтение статей против общинного владения убедило нас, что нерасположение к этой форме поземельных

отношений основано не столько на фактах или понятиях, специально относящихся к данному предмету, сколько на общих философских и моральных воззрениях о жизни. Мы думаем, что истребить предубеждения по частному вопросу, нас занимающему, можно только изложением здравых понятий, противоположных отсталым философам или философским и моральным недосмотрам, которыми держатся эти предубеждения. Потому продолжаем философско-физиологические очерки отношений между разными формами жизни, как бы ни казались забавны такие эпизоды в статьях, которые собственно должны бы ограничиваться сферой специальности. Если такие эпизоды и действительно забавны, то мы утешаемся мыслию, что они будут не бесполезны.

Кто не хотел подумать об общих истинах, изложенных в Гумбольдтовом «Космосе», тот, конечно, принуждает говорить о них и тогда, когда дело идет о каком-нибудь специальном вопросе.

От общего теллурического процесса перейдем к соотношению форм в более тесных сферах и прежде всего взглянем, например, на характер животной жизни в разных ступенях ее развития. Мы уже видели, что высшее произведение этой жизни, мозговая масса, характером своим напоминает какой-то кисель, почти лишенный тех форм и качеств, какими отличается вообще мясо, составляющее преобладающий элемент животного царства. Низшая ступень животной жизни, проявляющаяся в моллюсках и слизняках, имеет совершенно тот же характер: тело устрицы своим студенистым качеством скорее сходно с мозгом, нежели с мясом. Итак, мы видим опять три формы, из которых высшая (мозг) представляется как будто бы возвращением от второй (мяса) к первобытной форме (студенистое вещество).

Возьмем еще теснейшую сферу жизни, именно два высшие разряда из трех обширных классов, принимаемых Ламарком, *animalia articulata* и *animalia intelligentia* \*. С того момента, как проявляется первый признак интенсивности в животной жизни возникновением членораздельности (*animalia articulata*); мы видим, что каждая из отдельных частей, на которые подразделился организм, имеет как будто бы свою самобытную жизнь, кроме общей жизни целого организма. Из этих низших животных есть такие, которые можно делить на несколько частей, и каждая часть преспокойно будет жить по отделении от других. Чем выше мы будем подниматься по лестнице форм, тем сильнее и сильнее общая жизнь целого организма будет брать перевес над жизнью отдельных членов, и, наконец, в разряде рыб преобладание общей жизни целого организма становится до того громадно, что даже исчезают все отдельные члены, и целый организм сливается в один плотный кусок без всяких перехватов и отростков. Но поднимаемся еще выше, и в разрядах птиц и млекопитающих

\* Животные членистые и животные разумные. — Ред.

мы уже видим возобновление прежних форм организма, у которого к основному стержню примыкают отростки с различными перехватами по внешней форме. Однако, если по наружности птица и млекопитающее составляют как будто возвращение от одного плотного куска рыбы к членораздельным формам насекомых, то внутренняя жизнь, жизнь ощущений и стремлений, остается в птице и млекопитающем, как в рыбе, вся сосредоточена в одном общем органическом чувстве с подавлением самобытного значения стремлений, свойственных отдельным органам. Зрение, слух, обоняние для млекопитающего имеют только то значение, что служат средствами для приискания пищи, различения предметов и местностей, удобных и здоровых для целого организма, от нездоровых или неудобных и для избежания опасностей. Даже вкус служит почти только для рассортировки различных питательных материалов по степени их здоровья для целого организма. Конечно, кошка должна чувствовать разницу вкуса между грубою говядиною или пулярдкою; но дайте ей вдруг два куска того и другого мяса, она не станет делать выбор между ними и начнет есть тот, который больше или который скорее попался ей под морду. Даже осязание очень мало служит для животных источником удовольствий, независимых от общих потребностей жизни целого организма. Даже половой инстинкт не занимает их собою как самобытный источник ощущений: его отправления служат только средством для освобождения организма от частиц, излишнее накопление которых расстраивает общий порядок в жизни целого организма. Можно сказать, что все ощущения животных и все их стремления являются только видоизменениями общих потребностей и чувств целого организма, именно отправления желудка и чувства здоровья или болезни. Совершенно не такова жизнь человека. Каждое из его чувств достигает самобытного интереса для него; глаз, ухо и каждый из других органов чувств становится в человеке как будто каким-то самобытным организмом с собственной жизнью, с своими особенными потребностями и удовольствиями. Человек не только по внешней форме, как млекопитающее, но и по самой сущности своей жизни представляется как будто бы собранием нескольких сросшихся самобытных организмов, и общая жизнь всего организма удерживает за собою значение как будто только потому, что служит общею поддержкою развития этих отдельных жизней. Чем выше поднимается человек в своем развитии, чем цивилизованнее становится он, то есть чем человечнее становится его жизнь, тем больший и больший перевес берут эти частные стремления каждого органа к самостоятельному развитию своих сил и наслаждению своею деятельностью. Ощущения, доставляемые зрением, слухом и другими физическими чувствами, различные нравственные ощущения, игра фантазии, деятельность мышления все решительнее заслоняют собою инте-

ресность общего органического процесса для самого индивидуума, и, наконец, этот процесс (питание) сохраняет только тот интерес, какой придается ему наслаждениями отдельного органа вкуса, и вместо самобытного значения он представляется только средством к удовлетворению частного гастрономического интереса или теряет всякую занимательность для индивидуума. Цивилизованный человек, если развит нормально, говорит подобно Сократу: «Я ем только для того, чтобы жить сердцем и головою»; если развит дурным образом, говорит: «Я ем для того, чтобы наслаждаться мой язык и небо». Но никогда цивилизованный человек не чувствует, чтобы сама по себе, без частных гастрономических удовольствий, еда представлялась ему очень занимательным процессом.

Таким образом в конце развития собственно животной жизни, в жизни цивилизованного человека мы видим как будто возвращение той самой формы, какую имела животная жизнь при первом начале своей интенсивности: в цивилизованной жизни человека, как в существовании артикулированных животных, общая жизнь организма решительно отступает на второй план сравнительно с самобытными отправлениями отдельных органов.

Мы обозрели все сферы материальной жизни, начиная общими теллурическими явлениями ее и переходя к сферам все теснейшим и теснейшим, до царства интенсивной животной жизни, и повсюду видели неизменную верность развития одному и тому же закону: высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытному началу развития. Само собою разумеется, что при сходстве формы содержание в конце безмерно богаче и выше, нежели в начале, но об этом мы будем говорить после.

Быть может, наш очерк материального развития от теллурических состояний до мозговой деятельности был слишком длинен; но мы хотели многочисленными подробностями показать неизменную верность природы тому закону, на речь о котором не к выгоде себе навели полемику наши противники, с необдуманном торжеством налегая на первобытность осуждаемой ими формы одного из общественных учреждений. Мы хотим показать всеобщее господство излагаемого закона во всех проявлениях жизни, и, окончив обзор материальных явлений с этой точки зрения, обратимся к такому же очерку нравственно-общественной жизни, составляющей другую великую часть планетарного развития.

Наш очерк растянулся бы на целые томы, если бы мы захотели упоминать о каждой сфере нравственно-общественного развития, в процессе которой повторяется общий закон, о котором мы говорим. Какую бы сторону жизни ни взяли мы, везде увидим господство общей нормы, открытой новою немецкою философиею, и, приведя наудачу несколько примеров, мы просили бы людей, которые захотели бы сомневаться в общем владычестве этой



нормы, указать хотя один факт, на развитии которого не отпечатлевалась бы она.

Начнем хотя с общего органа умственной и общественной жизни, с языка. Филология показывает, что все языки начинают с того самого состояния, представителем которого служит обыкновенно китайский: в нем нет ни склонений, ни спряжений, вообще никаких грамматических видоизменений слова (флексий); каждое слово является во всех случаях речи в одной и той же форме: «я итти дом» говорит китаец вместо нашего «я иду домой». Но язык начинает развиваться, и являются флексии; число их все возрастает и достигает той гибкости всего внутреннего состава слова, какую видим [мы] в семи[ти]ческих языках, достигает того страшного изобилия грамматических наращений, какое видим в татарском языке, где глагол имеет семь или восемь наклонений, несколько десятков времен, целые десятки деепричастий и т. д. В нашей семье на высшей точке этого периода стоит санскритский язык. Но развитие идет далее, и в латинском или в старославянском уже гораздо менее флексий, нежели в санскритском. Чем дальше живет язык, чем выше развивается народ, им говорящий, тем более и более обнажается он от прежнего богатства флексий. Нынешние славянские наречия беднее ими, нежели старославянский; в итальянском, французском, испанском и других романских языках флексий меньше, нежели в латинском; в немецком, датском, шведском, голландском меньше, нежели в старонемецком, и наконец английский язык, служащий указанием цели, к которой идут по отношению к своим флексиям все другие европейские языки, почти совершенно уже отбросил все флексии. Подобно китайцу англичанин буквально говорит уже «я итти дом». В начале нет падежей, в конце развития также нет падежей; в начале нет различия по окончаниям между существительным, прилагательным и глаголом, — в конце развития тоже нет различия между ними (like — 1. похожий, 2. сравнивать; love — 1. любить, 2. любовь).

В грамматическом устройстве языка конец сходен с началом. То же самое во всех формах общежительной и умственной жизни, общим условием для существования которой служит язык. Берем прежде всего внешние черты общежития и, во-первых, ту, для которой язык служит не только условием, но и материалом: способ выражения в обращении между людьми.

Вне цивилизации человек безразлично говорит одинаковым местоимением со всеми другими людьми. Наш мужик называет одинаково «ты» и своего брата, и барина, и царя. Начиная полироваться, мы делаем различие между людьми на «ты» и на «вы». При грубых формах цивилизации «вы» кажется для нас драгоценным подарком человеку, с которым мы говорим, и мы очень скупы на такой почет. Но чем образованнее становимся мы, тем шире делается круг «вы», и, наконец, француз, если он только

скинул сабо, почти никому уже не говорит «ты». Но у него осталась еще возможность, если захочет, кольнуть глаза наглецу или врагу словом «ты». Англичанин потерял и эту возможность: из живого языка разговорной речи у него совершенно исчезло слово «ты». Оно может являться у него только в тех случаях, когда по-русски употребляются слова «понеже», «очеса» и т. п.; слово «ты» в английском языке так же забыто, как у нас несторовское «он-сиця» вместо «этот». Не только слугу, но и собаку или кошку англичанин не может назвать иначе, как «вы». Началось дело, как видим, безразличием отношений по разговору ко всем людям, продолжалось разделение их на разряды по степени почета (немцы, достигнувшие апогея в этом среднем фазисе развития, ухитрились до того, что устроили целых четыре градации почета: 1) Du — это черному народу; 2) Et — это по выражению [г. Н. де Безобразова]<sup>11</sup> для среднего рода людей; 3) Ihr — это для [человеков], занимающих средину между людьми среднего рода и благородными; 4) Sie — для благородных потомков великороссийских, суздальских и ост-прейссенских домов, приходит в результате снова к безразличному обращению со всеми людьми.

То же самое и в costume. В патриархальном народе шейх носит точно такой же бурнус, как и последний из бедуинов его племени, и предок великороссийского потомка [г. Н. де Безобразова] носил такую же рубашку с косым воротом, какую носили тогда люди не только среднего, но и подлого рода. Мы вступили в область цивилизации и [г. Н. де Безобразов] надел сюртук, которого не носят люди подлого рода; но люди среднего рода уже начинают носить такой же сюртук и к нашему ужасу все без исключения уже надели пальто, которым прежде отличался от них потомок великороссийского рода; даже люди подлого рода многие надели пальто, и мы с горестью предвидим скоро день, когда потомки великороссийских родов у себя дома будут носить точно такие же блузы, какие уже приняты у петербургских мастеровых, и когда все без исключения люди даже самого подлого рода будут ходить по улицам в пальто такого же покроя, как великороссийские потомки.

Вместе с личным местоимением второго лица и костюмом проходит три фазиса развития и вся манера держать себя. Человек нецивилизованный и неученый прост в разговоре, натурален во всех движениях, не знает заученных поз и искусственных фраз. Но едва помазался он лоском образованности школьной и светской, он начинает держать себя и говорить так, как не умеет простой человек. Развиваясь мало-помалу, это искусство достигает блистательного цвета в разных педантах и педантках науки и светской жизни, в précieux \*, изображенных Мольером,

\* Жеманницах. — Ред.

в гофолёвских дамах «приятных во всех отношениях» и уездных франтах. Но человек истинно ученый и человек, получивший истинно светское образование, говорит и ходит, кланяется, садится и встает с такою же простотою и непринужденностью, как совершенно простой человек в своем кругу.

Надобно ли говорить, что подобно этим чертам обращения все общественное устройство стремится к возвращению от рангов и разных других подразделений по привилегиям всякого рода к тому однообразному составу, из которого выделились все бесчисленные рубрики? Распространяться об этом мы не имеем нужды: люди, непоследовательность которых принудила нас делать этот очерк, все утверждают о себе, что они знакомы с политическою экономией; в какой угодно экономической книге, даже в Ж.-Б. Сэ и Мишеле Шевалье, найдут они подробнейшее и прекраснейшее объяснение той цели, к которой идет ныне общество по отношению к выделившимся из общего права элементам.

От общего характера общественной жизни и общественного состава перейдем ли к анализу специальных отправлений общественного организма, повсюду увидим тот же путь развития. Возьмем в пример хотя администрацию. Вначале мы видим маленькие племена, из которых каждое управляется совершенно самостоятельно и соединяется в общий союз с другими однородными племенами только в немногих случаях, требующих общего действия, например на случай войны и других отношений к иным народам, также для предприятий, превышающих средства отдельного племени, каковы, например, громадные постройки вроде вавилонской башни и циклопических стен. Каждый член племени связан с другими не только законодательными обязательствами, но живым личным интересом по знакомству, родству и соседским общим выгодам. Каждый член принимает личное и активное участие во всех делах, касающихся того общественного круга, к которому принадлежит. Ученым образом подобное состояние называется самоуправлением и федерациею. Мало-помалу мелкие племена сливаются и сливаются, так что, наконец, исчезают в административном смысле в громадных государствах, каковы, например, Франция, Австрия, Пруссия и т. д. Административный характер обществ на этой ступени развития — бюрократия, составляющая полнейший контраст первобытному племенному быту. Административные округа распределяются все с меньшим и меньшим отношением к независимым от центрального источника интересам, лежащим в самих жителях. Ни в Пруссии, ни в Австрии округ, соответствующий нашему уезду, не имеет живой связи между своими частями; сохранились живые связи составных частей только в более широком разграничении провинций. Но это является уклонением от общего правила, и при первой возможности производится реформа, какую успела уже совершить Франция разделением на департаменты, лишенные органи-

ческого единства, взамен прежних провинций. Члены административного округа, не имея между собою живой связи ни по своей истории, ни по своим материальным интересам, с тем вместе лишены прежнего полновластия в управлении делами округа. Всем заведуют особенные люди, называющиеся чиновниками и полицейскими, по своему происхождению и личным отношениям не имеющие связи с населением округа, передвигающиеся из одного округа в другой чисто только по соображению центральной власти, действующие по ее распоряжению, обязанные отчетом только ей. Житель округа по отношению своему к администрации есть лицо чисто пассивное, *materia gubernanda*. Надобно ли говорить о том, что на этой степени общество не может остановиться? Швейцария и Северо-Американские Штаты по административной форме представляются совершенным возвращением от бюрократического порядка к первоначальному быту, какой имели люди до возникновения обширных государств<sup>12</sup>.

Не касаясь политического устройства, история которого также могла бы служить ярким подтверждением доказываемого нами общего господства нормы развития\*, мы приведем в пример только еще два общественных учреждения.

Сначала общество не знает отдельного сословия судей: суд и расправа в первобытном племени творится всеми самостоятельными членами племени на общем собрании (мирской сходке). Мало-помалу судебная власть отделяется от граждан, делается монополией особенного сословия; гласность судопроизводства исчезает, и водворяется тот порядок процесса, который нам очень хорошо известен; он был и во Франции, и в Германии. Но вот общество развивается далее, вместо судей произнесение приговора вручается присяжным, то есть простым членам общества, не имеющим никакого ученого приготовления к юридической технике, и возвращается первобытная форма суда (1. судит общество; 2. судят юристы, назначаемые правительственной властью; 3. судят присяжные, то есть чисто представители общества).

Как суд, так и военное дело в первобытном обществе составляет принадлежность всех членов племени, без всякого специализма. Форма военной силы везде сначала одна и та же: ополчения, берущиеся за оружие с возникновением войны, возвращающиеся к мирным промыслам в мирное время. Особенного военного сословия нет. Мало-помалу оно образуется и достигает крайней самобытности при долгих сроках службы или вербовке по найму. На нашей памяти еще было то время, когда у нас сол-

\* Модерантисты могут найти очень недурной очерк одной из сторон политического устройства с этой точки зрения у Гизо, которого они уважают. В «Histoire de la civilisation en France» он объясняет постепенные фазисы возрастания и ослабления правительственной власти.

дат становился солдатом на всю свою жизнь, и кроме этих солдат никто не знал военного ремесла и не участвовал в войнах. Но вот сроки службы начинают сокращаться, система бессрочных отпусков все расширяется. Наконец (в Пруссии) дело доходит до того, что решительно каждый гражданин на известное время (два, три года) становится солдатом, и солдатство не есть уже особенное сословие, а только известный период жизни каждого человека во всяком сословии. Тут особенность его сохранилась только в условии срочности. В Северной Америке и Швейцарии нет уже и того: совершенно как в первобытном племени, в мирное время войско не существует, на время войны все граждане берутся за оружие. Итак, опять три фазиса, из которых высший представляется по форме совершенным возвращением первобытного: 1) отсутствие регулярных войск; милиция на время войны; 2) регулярные войска; никто, кроме специально носящих мундир, не призывается и не способен участвовать в войне; 3) снова возвращается всенародная милиция, и регулярного войска в мирное время нет.

От устройства военной силы перейдем ли к ее действию, увидим ту же норму развития. В первобытных битвах сражается отдельный человек против отдельного человека, сражение есть громадное число поединков (битвы у Гомера; все битвы дикарей). Но вот состав бьющейся армии получает все больше и больше плотности, и действие отдельных людей сменяется действием массы; в XVII, XVIII столетиях этот фазис достигает своего зенита. Огромные массы стоят друг против друга и стреляют батальным огнем или идут в штыки, — тут нет отдельных людей, есть только батальоны, бригады, колонны. Русский солдат времен Кутузова стрелял ли в отдельного врага? Нет, целый полк стрелял только в целый неприятельский полк. Неужели на этом остановилось развитие? Нет, появились штуцера, и прежний плотный строй рассыпался цепью стрелков, из которых каждый действует также против одиночного врага, и битва снова принимает гомерическую форму бесчисленного множества поединков.

Мы хотели закончить этим примером. Но зачем же останавливаться на мрачных мыслях о битвах? Дадим для десерта что-нибудь более приятное. Мы пишем не для обыкновенных читателей, а для экономистов отсталой школы; для них самая интересная вещь — внешняя торговля, и для их удовольствия мы займемся этим драгоценным предметом.

У дикарей нет таможенных пошлин, нет ничего подобного протекционизму; каждый торгует с иностранцем на тех же самых правах, как с одноплеменником, сбывает товары за границу и покупает иноземные товары точно с тою же степенью свободы, с какою идет торговля в пределах самого племени туземными произведениями. Но вот люди цивилизуются, начинают заводить фабрики; через несколько времени у них является протекцион-

ная система. Иноземные товары облагаются высокими пошлинами и подвергаются запрещениям для покровительства отечественной промышленности. Неужели на этом остановится прогресс? О нет, вот являются Кобден, Роберты Пили и за этими действительно замечательными людьми маленькие и миленькие существа вроде Бастиа; они доказывают, что протекционизм и несправедлив и вреден, под их влиянием тарифы начинают понижаться, понижаться, и общества стремятся к тому самому блаженству свободной заграничной торговли, которым пользовались в первобытные времена своей неразвитости<sup>13</sup>.

Раз начавши говорить о предметах, приятных для экономистов отсталой школы, мы не можем удержаться от желания еще порадовать их беседою, им любезною. Еще больше, нежели о заграничной торговле, любят они говорить о биржевых оборотах, — каково же будет их удивление, если мы скажем, что и биржа, этот предмет их любви и гордости, возникает именно по закону возвращения каждого явления при высшем его развитии к его первобытному началу в формальном отношении. «Как? Вы говорите, что основные формальные черты биржевой торговли — повторение тех качеств, которыми отличается торговля дикарей?» — спросят наши противники. «Точно так, и вы этому не дивились бы, если бы умели понимать смысл того, что излагается в ваших же собственных книгах», — отвечаем мы. Чем торговля, являющаяся по возникновении биржи, отличается по форме от торговли периода, предшествующего бирже? Она ведется в известном, одном, исключительном месте, в известное, одно, исключительное время — неужели вы не замечали до сих пор, что это — черты, принадлежащие базарам и ярмаркам? Теперь вы сами можете построить тройственную формулу, вас удивившую.

У племен и народов, где торговое движение чрезвычайно слабо, оно недостаточно для того, чтобы поддерживаться постоянно и повсеместно, и потому для него удобнее сосредоточиваться в известные сроки в известных местах. Таким образом оно производится на ярмарках и базарах. Но вот торговля развивается. В каждом городе купец имеет ежедневно покупателей (потребителей), повсюду являются лавки и магазины, открытые в течение круглого года ежедневно. С другой стороны, купцов так много и запрос их к производителям так постоянен, что производитель может продать им свой продукт, когда и где ему самому удобнее, — зачем же он станет дожидаться ярмарки или базарного дня? Таким образом ярмарки и базары, существовавшие в Париже, когда этот город в торговом отношении уподоблялся Козмодемьянску и Царевококшайску, исчезли. Но что же далее? Как возникает биржа? Покупщиков и продавцов становится так много, у каждого из них так много торговых дел и справок, что он не успел бы управиться с ними, если бы должен был искать



поодиночке каждого из нужных ему людей. Потому необходимо назначить место и время, где и когда сходились бы все эти занятые торговыми оборотами люди. Таким образом возвращается первобытное ограничение торговых сделок известным местом и временем.

Мы нарочно изложили ход этого факта с некоторою подробностью, чтобы видна была совершенная противоположность причин, восстанавливающих первобытную форму в конце развития, с причинами, от которых зависело ее существование при начале развития. Доходя до высокой интенсивности, те самые обстоятельства, которые в менее сильной степени были враждебны первобытной форме, обращаются в неизбежный вызов к ее восстановлению. Первобытная ограниченность торговли известным местом и временем (ярмарки и базары) была следствием малочисленности торговых сделок. Когда они становятся довольно многочисленными, эта многочисленность действует отрицательно, разрушительно на первобытную форму; но вот торговые сделки, вместо того чтобы быть просто «довольно многочисленными», становятся «чрезвычайно многочисленными», — первобытная форма возвращается. Избыток качества действует на форму способом, противоположным тому способу, каким действовала более слабая степень того же качества.

Чтобы эта формула была яснее, мы дадим грамматическое выражение ее терминам. Превосходная степень действует на форму способом, противоположным тому, каким действует простая положительная степень. Если, например, человек, имеющий некоторую справедливость («справедливый», просто, в положительной степени), смотрит на человека, совершившего преступление, как на преступника, на человека, преданного низкому пороку, как на человека низкого, гнушается ими обоими, считает достойным казни одного, претерпеваемых несчастий другого (степень справедливости, выражаемая поговоркою «поделом вору и мѣка», выражаемая также уголовными законами и тем «древним» законом, который говорил: «люби своего друга, ненавидь своего врага»), то человек *чрезвычайно* или *совершенно* справедливый относится и к преступнику или порочному обратным образом: он видит в нем несчастного, заслуживающего не презрения или отвращения и ненависти, а сострадания и помощи:

«Слышасте, яко речено бысть древнимъ: возлюбиши искренняго твоего, и возненавидиши врага твоего. Азъ же глаголю вам: любите враги ваша, благословите клянущія вы, добро творите ненавидящимъ вас» \*.

И неужели это есть разрушение, отвержение древнего закона? Нет, это есть его исполнение, его завершение:

\* Матф., глава V, стих 43—44.

«Не мните, яко приидох разорити закон и пророки: не приидох разорити, но исполнити» \*.

Да, это не только заповедь любви и кротости, это — заповедь совершенной справедливости; высшая справедливость не находит преступников, она находит в дурном человеке только несчастного заблудшего, не подлежащего взысканию: *Summum jus — summa injuria, pariter ac nullum jus*. При отсутствии справедливости преступник избегает закона возмездия; при водворении законного порядка он подвергается возмездию, око за око и зуб за зуб; но когда водворяется полная справедливость, преступник изымается от возмездия, *nemini fit injuria*, никто не подвергается страданию ни даже во имя справедливости \*\*.

Собираясь закончить этот очерк, мы хотели представить в заключение его два примера, — и представили четыре или пять, потому только, что не остереглись от множества фактов, представляющихся в подтверждение общей нашей мысли повсюду, к какой бы сфере бытия мысль ни обратилась. Но довольно, довольно. Наш очерк никогда не кончился бы, если мы не сделаем над собою усилия и не остановимся от продолжения этих подтверждений, являющихся нашему анализу в бесчисленном множестве. Общий ход планетарного развития, прогрессивная лестница классов животного царства вообще, высшие классы животных в особенности, физическая жизнь человека, его язык, обращение с другими людьми, его одежда, манера держать себя, все его общественные учреждения — администрация, войско и война, судопроизводство, заграничная торговля, торговое движение вообще, понятие о справедливости — каждый из этих фактов подлежит той норме, о которой мы говорим: повсюду высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытной форме, которая заменялась противоположною на средней степени развития; повсюду очень сильное развитие содержания ведет к восстановлению той самой формы, которая была отвергаема развитием содержания не очень сильным \*\*\*.

\* Матф., глава V, стих 17.

\*\* В латинском языке, который довел до крайнего совершенства определение юридических понятий, слово *injuria* (несправедливость, *injuria est, ubi jus deest*) прекрасно выражает развиваемую нами мысль, что какое бы то ни было страдание, по какой бы то ни было причине претерпеваемое человеком, составляет уже несправедливость: *Injuriam passus sum* — это выражение имеет два смысла: 1) я подвергся незаконному лишению, 2) я подвергся какому бы то ни было лишению того, чем пользовался; во втором смысле говорится, например, *injuriae tempestatum, morborum, temporum* — убытки, приносимые моей ниве непогодами: лишения, которым подвергается мое здоровье от болезней; потери и страдания, наносимые мне неблагоприятными обстоятельствами.

\*\*\* Повторяем, что если кто-нибудь не захочет согласиться на признание всеобщего и неизменного господства этой нормы во всех без исключения явлениях материального и нравственного, индивидуального и общественного бытия, тот сделает нам большое одолжение, указав хотя один факт, который не был бы подчинен этому решительно всеобщему закону.

Все изложенное нами должно было быть знакомо тем противникам общинного владения, которые называют себя последователями Шеллинга и Гегеля. Каким же образом не догадались они, что, налегая на первобытность этой формы отношений человека к земле, они тем самым указывают в общинном владении черту, сильнейшим образом предрасполагающую к возвышению общинного владения над частною поземельною собственностью? Как могли они переносить вопрос на почву, столь невыгодную для них? Тут один ответ возможен: *Quem Jupiter perdere vult* \* и т. д., то есть в русской более мягкой форме: кому по натуре вещей нельзя не проиграть дела, тот в довершение своей беды сам делает гибельные для себя недосмотры.

Неужели в самом деле правдоподобно, чтобы один только факт поземельных отношений был противоречием общему закону, которому подчинено развитие всего материального и нравственного мира? Неужели вероятно, чтобы для этого одного факта существовало исключение из закона, действующего столь же неизменно и неизбежно, как закон тяготения или причинной связи? \*\* Неужели при одной фразе «общинное владение есть первобытная форма поземельных отношений, а частная собственность вторая, последующая форма», — неужели при одной этой фразе не пробуждается в каждом, кто знаком с открытиями великих немецких мыслителей, сильнейшее, непреодолимое предрасположение к мнению, что общинное владение должно быть и высшею формою этих отношений?

Действительно, норма, изложенная нами и несомненная для каждого, хотя несколько знакомого с современным положением понятий об общих законах мира, неизбежно ведет к такому построению поземельных отношений:

Первобытное состояние (начало развития). Общинное владение землею. Оно существует потому, что человеческий труд не имеет прочных и дорогих связей с известным участком земли. Номады не имеют земледелия, не производят над землею никакой работы. Земледелие сначала также не соединено с затратою почти никаких капиталов собственно на землю.

Вторичное состояние (усиление развития). Земледелие требует затраты капитала и труда собственно на землю. Земля

\* «Кого Юпитер хочет погубить, того он лишает разума». — *Ред.*

\*\* Если кому-нибудь мало покажется приведенных нами подтверждений всеобщности этого закона: «конец развития по форме является возвращением к его началу», для такого скептика мы готовы по первому его желанию показать ту же норму в развитии всех половых и семейных отношений, политического устройства, законодательства вообще, гражданских и уголовных законов, налогов и податей, науки, искусства, материального труда; для всего этого не нужно будет нам ни особенной учености, ни долгих соображений, — нужно только заглянуть, например, хотя в Гегеля: у него все это давным-давно уже доказано и объяснено.

улучшается множеством разных способов и работ, из которых самую общую и повсеместную необходимостью представляется удобрение. Человек, затративший капитал на землю, должен неотъемлемо владеть ею; следствие того — поступление земли в частную собственность. Эта форма достигает своей цели, потому что землевладение не есть предмет спекуляции, а источник правильного дохода.

Вот две степени, о которых толкуют противники общинного владения, но ведь только две, где же третья? Неужели ход развития исчерпывается ими?

Промышленно-торговая деятельность усиливается и производит громадное развитие спекуляции; спекуляция, охватив все другие отрасли народного хозяйства, обращается на основную и самую обширную ветвь его — на земледелие. Оттого поземельная личная собственность теряет свой прежний характер. Прежде землею владел тот, кто обрабатывал ее, затрачивал свой капитал на ее улучшение (система малых собственников, возделывающих своими руками свой участок, также система эфитеозов и половничества по наследству, с крепостною зависимостью или без нее); но вот является новая система: фермерство по контракту; при ней рента, возвышающаяся вследствие улучшений, производимых фермером, идет в руки другому лицу, которое или вовсе не участвовало, или только в самой незначительной степени участвовало своим капиталом в улучшении земли, а между тем пользуется всею прибылью, какую доставляют улучшения. Таким образом личная поземельная собственность перестает быть способом к вознаграждению за затрату капитала на улучшение земли. С тем вместе обработка земли начинает требовать таких капиталов, которые превышают средства огромного большинства земледельцев, а земледельческое хозяйство требует таких размеров, которые далеко превышают силы отдельного семейства и по обширности хозяйственных участков также исключают (при частной собственности) огромное большинство земледельцев от участия в выгодах, доставляемых ведением хозяйства, и обращают это большинство в наемных работников. Этими перемнами уничтожаются те причины преимущества частной поземельной собственности перед общинным владением, которые существовали в прежнее время. Общинное владение становится единственным способом доставить огромному большинству земледельцев участие в вознаграждении, приносимом землею, за улучшения, производимые в ней трудом. Таким образом общинное владение представляется нужным не только для благосостояния земледельческого класса, но и для успехов самого земледелия; оно оказывается единственным разумным и полным средством соединить выгоду земледельца с улучшением земли и методы производства с добросовестным исполнением работы.

А без этого соединения невозможно вполне успешное производство.

Таково сильнейшее, непреодолимое расположение мысли, к которому приводит каждого знакомого с основными воззрениями современного мирозерцания именно та самая черта первобытности, которую выставляют к решительной невыгоде для себя в общинном владении его противники. Именно эта черта заставляет считать его тою формою, которую должны иметь поземельные отношения при достижении высокого развития; именно эта черта указывает в общинном владении высшую форму отношений человека к земле.

Действительно ли достигнута в настоящее время наша цивилизация та высокая ступень, принадлежностью которой должно быть общинное владение, — этот вопрос, разрешаемый уже не помощью логических наведений и выводов из общих мировых законов, а анализом фактов, был отчасти рассматриваем нами в прежних статьях об общинном владении и с большею полнотою будет переисследован нами в следующих статьях, которые обратятся к изложению специальных данных о земледелии в Западной Европе и у нас. Настоящая статья, имеющая чисто отвлеченный характер, должна довольствоваться только логическим развитием понятий, знание которых представляется одним из условий для правильного взгляда на дело, а искажение или незнание которых послужило основною причиною заблуждения для лучших между противниками общинного владения.

Из числа этих общих понятий за изложенным нами положением современной науки о преемственности форм непосредственно следует понятие о том, каждое ли отдельное проявление общего процесса должно проходить в действительности все логические моменты с полной их силою, или обстоятельства, благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте, могут в действительности приводить его к высокой степени развития, совершенно минуя средние моменты или по крайней мере чрезвычайно сокращая их продолжительность и лишая их всякой ощутительной интенсивности.

По методу современной науки разрешение вопроса относительно многосложных явлений облегчается рассмотрением его в простейших проявлениях того же процесса. По этой методе всегда стараются начинать анализ с физических фактов, чтобы перейти к нравственным фактам индивидуальной жизни, которая гораздо сложнее, и, наконец, к общественной жизни, которая еще сложнее, а общественную жизнь стараются рассмотреть по возможности в первоначальных ее явлениях, наименее сложных, чтобы облегчить тем анализ чрезвычайно запутанных явлений цивилизации наших стран.

Итак, начнем с процессов физической природы, например с окисления, которое, достигнув очень высокой интенсивности,

становится горением. Посмотрим, каким образом этот процесс достигает степени горения сам по себе, без всяких особенных обстоятельств, например в дереве.

Ветер наломал огромную кучу высохших деревьев. Под влиянием сырости дерево начинает гнить (разлагаться с поглощением кислорода). От этого процесса внутри кучи температура все повышается и повышается, гниение все усиливается с повышением температуры и мало-помалу достигает той степени окисления, которая называется брожением. Брожение усиливается, температура все возвышается; наконец из середины кучи начинает идти гнилой пар, — это значит, температура возвысилась до того, что центр кучи начал сохнуть от собственного жара. Вот через несколько времени вместе с паром из одних частей идет из других уже дым, — центр кучи начал обугливаться. Мало-помалу из черного угля образуется раскаленный, красный уголь; масса раскаленного угля увеличивается, и, наконец, в прилежащих к ней частях вспыхивает пламя.

Какая длинная постепенность, как много степеней! 1) проникновение сыростью; 2) гниение; 3) брожение; 4) просыхание; 5) образование черного угля; 6) превращение черного в раскаленный; 7) появление пламени. (Этот путь так длинен и труден, что мы не знаем, удавалось ли разным массам дерева достичь горения по такому пути хоть пять или шесть раз от самого начала лесов на земле до нашего времени.)

Каждая из этих степеней — логический момент в процессе горения дерева. Сколько времени требует такой ход процесса, мы не беремся решить, но, конечно, требует он не одну и не две недели. Каково же было бы нам, людям, если бы каждый раз, когда нужно нам пламя, мы должны были бы ждать, пока успеем пропитать сыростью огромную массу дерева, потом она станет гнить, начнет бродить и т. д. Не только пришлось бы тогда роду человеческому вымереть всему, не отведав ни щей, ни супа, вымереть с отмерзлыми ушами и пальцами от первой суровой ночи, но и теперь при одном чтении нашего рассказа об этом процессе читателю приходится скучно и чуть ли не тошно от таких длиннейших рассуждений, ведущих — к чему? — к тривиальнейшему замечанию, что гораздо скорее поленья, положенные в печь, зажигаются прикосновением горячей спички или свечи к подложенной под них бумаге, бересте или лучине. «Неужели я нуждаюсь в доказательствах к подобным выводам?» — с гневом спрашивает читатель. Нет, вы не нуждаетесь, — спокойно отвечаю я, — но нуждаются в них ученые противники общинного владения, показывающие такую сообразительность в своих выводах, такую склонность не признавать тривиальнейших истин и науки и обыденной жизни, такую требовательность на доказательства этим трюизмам (как говорят англичане), такую способность понимать смысл самых яснейших



фактов, что вот теперь мы принуждены объяснять им, какой смысл имеет тот очень мудреный факт, что спичка при помощи растопки очень быстро зажигает дрова, положенные в печь, а в следующих статьях будем объяснять, что иной человек умирает бездетным, после другого остается один сын, после третьего человек пять сыновей или больше, также объяснять и доказывать, что солнечные лучи согревают землю и т. д., и т. д. Вы скажете: «Глупо и говорить об этом». Совершенная правда. Но что же делать? Не изложи и не докажи мы всего этого подробно, ученые противники общинного владения сейчас закричат: «Мы не видим, на чем основаны ваши выводы!» и «Ваши выводы неосновательны!» Мы не лишены надежды, что по поводу общинного владения принуждены будем написать целую статью в доказательство существования желудка у человека, — сообразите, каково придется вам, читатель, тогда; утешьтесь же мыслью, что теперь, сравнительно говоря, ваше положение еще довольно сносно. Успокоив вас, продолжаем интересное рассуждение о месте, занимаемом фосфорною спичкою в области философского мирозерцания.

Эта фосфорная спичка даст нам следующие выводы:

1) Когда в одном теле известный процесс достиг высокой степени развития (спичка уже зажглась), то при помощи этого тела он может быть доведен до той же степени развития в другом теле гораздо скорее, нежели как достиг бы без помощи этого опередившего пособия (дрова в печи от нашей спички зажигаются скорее, нежели загорелись бы тогда, когда бы процесс окисления их остался без этого пособия).

2) Это ускорение совершается посредством соприкосновения (зажженная спичка прикладывается к лучине, а лучина положена подле поленьев).

3) Это ускорение состоит в том, что процесс прямо с первой степени пробегает к последней, не останавливаясь на средних (в одну секунду по приложению спички лучина уж производит из себя пламя, через одну минуту производят его и поленья).

4) Средние степени, через которые быстро пробегает процесс, вообще могут быть замечены только теоретическим наблюдением, а не практическим чувством (полено, загораясь от лучины, загоревшейся от спички, действительно несколько подвергается гниению, брожению и т. д., но спросите об этом у вашей кухарки — она никогда не замечала, чтобы сухие поленья, будучи подожжены, подвергались гниению и т. д. Она, напротив, видит, что они «как только подложишь огонь, в тою же секунду» (простите неграмматичность ее языка) так и вспыхнут». На философском языке это отношение выражается так: «не достигая реального осуществления (то есть имеющего практическую осязаемость), эти логические моменты развития не переходят за границы идеального или логического бытия».

5) Если же из быстро пробегаемых моментов некоторые и замечаются практическим ощущением (например, глаз кухарки замечает, что каждая наружная часть полена, прежде нежели даст пламя, несколько чернеет, то есть проходит степень черного обугления, предшествующего вспыхиванию), то они в общем итоге процесса составляют лишь самую ничтожнейшую часть (черные части дерева в каждую данную секунду по массе своей едва ли составляют и одну тысячную часть массы, находящейся в пламени, а по практическому значению своему в отношении к ощущениям и действиям, производимым топкою печи, играют еще менее важную роль, — они разве гомеопатическою дозою участвуют в чувстве теплоты, осязаемой кухаркою, стоящею у печи, и в кипячении горшка щей, приставленного кухаркою к огню).

Эти выводы, столь новые в мире науки, мы изложили с возможно полнотою и с приведением элементов факта, из которых они извлечены нами. Мы опасаемся, что противники общинного владения закричат: «бездоказательно, неосновательно!» Мы желали бы предупредить их [справедливые] сомнения и вместо одного факта (зажигание печки спичкою) анализировать столь же ученым образом двадцать, тридцать столь же многотрудных для понимания фактов, например закваску теста посредством куска кислого теста или дрожжей, отбирание загнивших яблок от свежих, чтобы не испортились свежие, и т. д. Но нельзя же быть слишком предупредительными, наша статья и без того уже чересчур длинна. Читателю, вероятно, слишком довольно и одного анализа растапливания печки. Перейдем же от внешнего физического мира к человеческой индивидуальной жизни и посмотрим, как достигает человек сам собою, без посторонней помощи до употребления той же самой фосфорной спички.

Сначала человек не умеет не только зажигать огня, но и подерживать зажженного: путешественники говорят о дикарях, которые, подобно обезьянам, любят греться у дерева, зажженного молниєю, и горюют, когда оно начинает погасать, но не догадываются подбрасывать в огонь хворосту. Потом человек научается зажигать дерево трением двух кусков дерева — какое торжество для жизни! Но вот придумывают средство ускорять их вспыхивание, вставляя между ними кусок трута. Далее придумывают огниво и кладут на кремь трут. Но трут принимает искру не довольно верно и быстро, — в нем усиливают эту восприимчивость, пропитывая его селитрою. Теперь трут превосходен; но все еще сколько хлопот, чтобы из его тлеющего состояния извлечь пламя: надобно «придуть» его к уголку, потом «придуть» два уголка к лучинке, вложенной между ними. Но вот изобретена серная спичка, прямо сама вспыхивающая от прикосновения к труту: вновь какое великое торжество! Но огниво и кремь кажутся уже слишком хлопотливыми. Вот найдено средство облекать серный конец спички фосфором и упрочи-

вать фосфор в атмосферной среде другими оболочками и при-  
месями.

Какой длинный путь! Человеку нужно было не менее 7 345 лет, чтобы пройти его. Каковы же теперь для каждого отдельного человека результаты того, что некоторые люди дошли столь длинным и трудным процессом до употребления фосфорных спичек? Доставка возможности всем другим людям достичь того же самого, не мучась прохождением этого страшно длинного пути; и выводы для явлений индивидуальной человеческой жизни получаются те же самые, какие были прежде получены нами для явлений физического мира:

1) Когда известный процесс (напр[имер] способ добывания огня) достиг в известном человеке известной степени развития (например, употребления фосфорных спичек), достижение этой степени может быть чрезвычайно ускорено в других людях (именно теперь каким-нибудь дикарям, не умеющим зажигать огня, уже нет нужды тратить 7 345 лет, чтобы достичь до фосфорных спичек — употреблению их каждый может выучиться в две секунды, а приготовлению в два часа).

2) Это ускорение совершается через сближение человека, которому нужно достичь высшей степени процесса, с человеком, уже достигшим ее (именно из Парижа человек с фосфорными спичками приезжает в Центральную Африку или дикарь из Центральной Африки в одно из селений, где уже есть фосфорные спички).

3) Это ускорение состоит в том, что процесс развития с чрезвычайной быстротой пробегает с низшей степени все средние до высшей. (Дикарям нет нужды учиться сначала употреблению огня, потом употреблению серной спички, — они прямо берутся за фосфорную спичку.)

4) При этом ускорении процесса средние степени открываются только теорией, достигают только теоретического существования как логические моменты, почти не достигая или вовсе не достигая реального существования. (Дикари, умеющие теперь добывать огонь только трением двух кусков дерева, выучившись прямо употреблению фосфорных спичек, вообще будут знать только по рассказам, что прежде фосфорных спичек существовали серные, с кремнем и огнивом.)

5) Если же и достигают реального существования эти средние степени, опускаемые ускоренным ходом развития, то лишь в самом ничтожном размере по своей массе и еще в меньшем по практическому значению своей роли. (Очень может быть, что найдутся между дикарями чудаки, которые вздумают возиться с сгнивом и серными спичками и тогда, когда выучатся употреблению фосфорных; но эта причуда будет разве у одного человека из десяти тысяч, да и тот будет возиться с огнивом и серными спичками лишь от безделья и при безделье, а чуть встретится ему нужда работать или потребность быстро добыть

огонь, он бросит свою причуду и черкнет по стене фосфорною спичкою.)

Читатель, не оскорбляйтесь этими длинными рассуждениями, имеющими целью доказывать истины столь же сомнительные, как и то, что человек видит предметы глазами, а не ушами, держит карты (когда играет в ералаш) руками, а не носом, и т. п.: из-за вопроса, доказываемого этими трюизмами, велись и ведутся ожесточенные споры, и, поверьте, мы действительно боимся, что о нас закричат: «Это неосновательно! Это бездоказательно!», когда мы в последних строках статьи выскажем смысл этих анализов философского значения фосфорных спичек и способа растапливать печь. Противники, если только предвидят этот смысл (они высказывают такую сообразительность, что мы не поручимся, предвидят ли они его), без сомнения, уже возмущаются духом и вопиют: «Мы этого не знаем, мы этому не верим! Вы говорите неосновательно, бездоказательно!»

Итак, в индивидуальной жизни средние моменты развития могут быть пропускаемы в реальном процессе известного явления, когда человек, в котором этот процесс стоит еще на низкой степени, сближается с человеком, в котором он достиг уже гораздо высшей степени.

Мы доказали это анализом процесса, принадлежащего к механической жизни. То же самое мы увидели бы в каждом другом явлении всякой другой сферы индивидуальной жизни.

Например, письмо, одна из первых основ умственного развития, идет следующим порядком: 1) изображаются самые предметы (на этом остановились мексиканцы); 2) их изображения сокращаются в иероглифы (на этом застает история египтян); 3) иероглифы сокращаются в идеографы (на этом остановились китайцы); 4) из идеографических знаков возникает алфавит, записывающий одну грубейшую часть звуков, согласные, с пропуском гласных (семитическая алфавитная система); 5) из семитического алфавита возникают наши европейские (греческая система, происшедшая из финикийской), в которых гласные звуки записываются наравне с согласными.

Скажите на милость, кому придет в голову, что когда европейцы примутся образовывать дикарей, вовсе не умеющих писать, то эти дикари сначала выучатся писать иероглифами, потом китайскими знаками, потом еврейскими и, только уже прошедши все эти градации, могут начать писать по европейской системе?

Или в школах этих дикарей надобно будет преподавать географию сначала по гомеровской системе (Океан есть река, и Балтийское море одно и то же с Черным морем, а вся земля имеет вид тарелки), а потом доказывать, что земля совершенно правильный шар, и только потом уже открыть им, что это шарообразное тело — не совершенный шар, а несколько раздуто под экватором и сплюснуто в полюсах?

Мы выбирали такие примеры, которые относились преимущественно к индивидуальной жизни; но по чрезвычайно тесной связи между развитием индивидуума и развитием общества они в значительной степени касались и общественной жизни, например ее материальной обстановки (фосфорная спичка) и умственных успехов (письмо, преподавание наук). Теперь обратимся к таким явлениям, которые принадлежат уже преимущественно к общественной жизни, то есть могут осуществляться не иначе как по инстинктивному расположению или сознательному соглашению общества. Сюда относятся нравы, обычаи, законы и все так называемые общественные учреждения в обширном смысле слова.

Мы сказали, что явления, за анализ которых беремся, принадлежат собственно общественной жизни. Но общественная жизнь есть сумма индивидуальных жизней, и если в индивидуальной жизни процесс явлений может перебегать с низшего логического момента на высший, пропуская средние, то из этого уже очевидно, что мы должны ожидать встретить ту же возможность и в общественной жизни. Это простой математический вывод. В самом деле, пусть не сокращенный благоприятными обстоятельствами ход развития индивидуальной жизни будет выражаться прогрессиею:

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64.....

Пусть в этой прогрессии каждым членом обозначается известный момент не ускоренного благоприятными обстоятельствами развития.

Пусть общество состоит из  $A$  членов.

Тогда, очевидно, развитие общества выражается следующей прогрессиею:

1A. 2A. 4A. 8A. 16A. 32A. 64A.....

Но мы видели, что ход индивидуальной жизни может перебегать с первой ступени прямо на третью или на четвертую или седьмую, и положим, что относительно известного понятия или факта он пошел по следующему ускоренному пути:

1. 4. 64.....

Тогда, очевидно, и ход общественной жизни относительно этого явления будет:

1A. 4A. 64A.....

Кажется, это ясно. Но противники общинного владения или притворяются незнающими, или действительно страдают незнанием самых первоначальных логических приемов; потому разъясним популярнейшим примером эту и без того ясную теорему.

Одно из общественных учреждений есть военная сила; один из элементов ее — вооружение. Не ускоренное обстоятельствами развитие вооружения таково:

1) Обыкновенная дубина; 2) дубина получает каменное или металлическое острие, то есть переходит в копье, которым или

тыкают, держа его в руках, или бросают в неприятеля; 3) уменьшенное копьё последнего рода начинают бросать помощью тетивы, — получаются лук и стрела; 4) совершенствуясь, лук получает линейку с вырезкою для вкладывания стрелы, и образуется самострел; совершенствуясь, линейка с вырезкою превращается в трубочку с продольным разрезом для тетивы; 5) удар тетивы заменяется ударом пороха, лук отпадает, остается трубка, в которой разрез уничтожается, заменяясь затравкою, а стрела сокращается в пулю, — вот уже и ружье, но первоначально это ружье не имеет замка, а зажигается фитилем; 6) изобретается кремневый замок; 7) он заменяется пистонным замком; 8) в стволе ружья делаются нарезки — мы получаем охотничью винтовку; 9) охотничья винтовка не годится для войск, покуда не изобретены для нее особые пули, — они изобретаются, и вот войско вооружается штуцером.

Вообразим себе, что в Новой Голландии живут еще племена дикарей, не знающих никакого оружия, кроме дубины. Вот открыты золотые россыпи; европейские авантюристы (со штуцерами) проникают в места, еще не посещавшиеся европейцами, и находят этих дикарей: спрашивается, понадобится ли этим дикарям переходить от дубины к копьё, от копьё к луку, от лука к самострелу, от самострела к фитильному ружью и т. д., если они прямо будут выменивать у европейцев штуцер?

Этим не кончилось дело.

С каждым родом вооружения соединены известные построения войска. Копье, которое держится в руках, создает фалангу; кремневому ружью соответствует сомкнутый строй; штуцеру — рассыпной строй.

Погодите, и этим еще не кончилось дело.

Различные построения требуют различных качеств от воина. Например, в сомкнутом строю солдат, прослуживший всего только один год, никуда не годится. В рассыпном строю он ничуть не хуже солдата, прожившего хотя бы полтора года в казармах.

Что же из этого следует? То, что у дикарей, о которых мы говорим, в существовании военной силы будет недоставать многих периодов, через которые прошла она в Европе.

Из нестройной дубино-махающей толпы их военная сила прямо обратится в милицию, подобную северо-американской. Они не будут знать ни казарм, ни регулярных войск, ни всего того, что соединено с этими учреждениями. А с этими учреждениями соединен весь тот порядок вещей, который произвел историю континентальной Европы от Карла VII французского и Карла V испанско-немецкого до вчерашнего дня. Из блаженного общественного быта лукиановых скифов и тацитовых германцев эти дикари перейдут прямо к блаженному быту, о котором мы с вами, читатель, можем только мечтать.



История, как бабушка, страшно любит младших внучат. *Tarde venientibus* дает она не *ossa*, а *medullam ossium* \*, разбивая которые Западная Европа [так больно отбила] себе пальцы.

Но мы увлеклись в дифирамб, заговорили с читателем, — мы забыли, что должны беседовать с противниками общинного владения, то есть заниматься азбукою. Возвратимся же к азбучным понятиям.

Нас занимал вопрос: должно ли данное общественное явление проходить в действительной жизни каждого общества все логические моменты, или может при благоприятных обстоятельствах переходить с первой или второй степени развития прямо на пятую или шестую, пропуская средние, как это бывает в явлениях индивидуальной жизни и в процессах физической природы?

Единство законов во всех сферах бытия, зависимость общественной жизни от индивидуальной, математические формулы — все заставляет решать эту задачу утвердительным образом каждого, имеющего хотя какое-нибудь понятие об истории или современной философии, или хотя о Гегеле \*\*, или даже хотя о Шеллинге, или даже хотя о здравом смысле; совершенная достаточность даже одного последнего качества для разрешения задачи, вероятно, с достаточною ясностью окажется из следующих вопросов:

Низшая форма религии, фетишизм, не знает вражды к иноверцам. Но другие языческие формы религии более или менее наклонны к преследованиям за веру. Грубые народы новой Европы также имели инквизицию. Только в последнее время европейская цивилизация достигла того высокого понятия, что преследование иноверцев противно учению Христа. Спрашивается теперь: когда какой-нибудь народ, погрязавший в грубом фетишизме, просвещается христианством, введет ли он у себя инквизицию или может обойтись без нее? Надобно ли желать и можно ли надеяться, что у этого народа прямо водворится терпимость или он начнет воздвигать костры, и эта средняя степень так необходима в его развитии, что напрасно и удерживать его от гонений на иноверцев?

Какой-нибудь народ, живущий в племенном быте, основные черты которого самоуправление (*self-government*) и федерация, принимает европейскую цивилизацию; спрашивается, примутся ли у него прямо высшие черты этой цивилизации, столь сродные

\* «Поздно приходящим дает она не кости, а мозг из костей». — *Ред.*

\*\* Гегель положительно говорит, что средние логические моменты чаще всего не достигают объективного бытия, оставаясь только логическими моментами. Довольно того, что известный средний момент достиг бытия где-нибудь и когда-нибудь, этим избавляется процесс развития во всех других временах и местах от необходимости доводить его до действительного осуществления, прямо говорит Гегель.

его прежнему быту, или он неизбежно введет у себя бюрократию и другие прелести XVII века?

Этот народ, не имея ни фабрик, ни заводов, не имел и понятия о протекционной системе; спрашивается, необходимо ли ему вводить у себя протекционизм, через который прошла и от которого отказалась европейская цивилизация?

Число таких вопросов можно было бы увеличить до бесконечности; но кажется, что и сделанных нами уже достаточно для получения полного убеждения в необходимости применять к явлениям общественной жизни все те выгоды, какие нашли мы прилагающимися к явлениям индивидуальной жизни и материальной природы. Не доверяя ни сообразительности, ни памяти противников общинного владения, мы повторим в третий раз эти выводы, чтобы хотя сколько-нибудь впечатлелись они в мысли этих ученых людей, и по правилу первоначального преподавания опять-таки к каждому выводу присоединим ссылку на ту черту факта, представителем которой служит вывод. Черты эти мы будем брать из последнего вопроса, для большей определенности применив его хотя к новозеландцам, с которыми нянчатся англичане\*.

1. Когда известное общественное явление в известном народе достигло высокой степени развития, ход его до этой степени в другом, отставшем народе может совершиться гораздо быстрее, нежели как совершался у передового народа. (Англичанам нужно было более нежели 1500 лет цивилизованной жизни, чтобы достичь до системы свободной торговли. Новозеландцы, конечно, не потратят на это столько времени).

2. Это ускорение совершается через сближение отставшего народа с передовым. (Англичане приезжают в Новую Зеландию.)

3. Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа развитие известного общественного явления благодаря влиянию передового народа прямо с низшей степени перескакивает на высшую, минуя средние степени. (Под влиянием англичан новозеландцы прямо от той свободной торговли, которая существует у дикарей, переходят к принятию политико-экономических понятий о том, что свободная торговля — наилучшее средство к оживлению их промышленной деятельности, минуя протекционную систему, которая некогда казалась англичанам необходимостью для поддержки промышленной деятельности.)

4. При таком ускоренном ходе развития средние степени,

---

\* На север от Франции лежат два большие острова, которые вместе составляют Соединенное королевство Великобритании и Ирландии. Юго-восточная часть восточного острова называется Англией, а жители ее — англичанами. Новою Зеландию называется группа из двух больших островов, лежащих не очень далеко от Новой Голландии, иначе называемой Австралией. Противники общинного владения выказывали такую сообразительность, что мы считаем не лишним пояснить употребленные нами собственные имена.

пропускаемые жизнью народа, бывшего отсталым и пользующегося опытностью и наукою передового народа, достигают только теоретического бытия как логические моменты, не осуществляясь фактами действительности. (Новозеландцы только из книг будут знать о существовании протекционной системы, а к делу она у них не будет применена.)

5. Если же эти средние степени достигают и реального осуществления, то разве только самого ничтожного по размеру и еще более ничтожного по отношению к важности для практической жизни. (Люди с эксцентрическими наклонностями существуют и в Новой Зеландии, как повсюду; из них некоторым, вероятно, вздумается быть приверженцами протекционной системы; но таких людей будет один на тысячу или на десять тысяч человек в новозеландском обществе, и остальные будут называть их чужаками, а их мнение не будет иметь никакого веса при решении вопросов о заграничной торговле.)

Сколько нам кажется, эти выводы довольно просты и ясны, так что, может быть, не превысят разумения тех людей, для которых писана наша статья.

Итак, два печатные листа привели нас к двум заключениям, которые для читателя, сколько-нибудь знакомого с понятиями современной науки, достаточно было бы выразить в шести строках:

1. Высшая степень развития по форме совпадает с его началом.

2. Под влиянием высокого развития, которого известное явление общественной жизни достигло у передовых народов, это явление может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с низшей степени прямо на высшую, минуя средние логические моменты.

Какой скудный результат рассуждений, занявших целые два печатные листа! Читатель, который не лишен хотя некоторой образованности и хотя некоторой сообразительности, скажет, что довольно было просто высказать эти основания, столь же несомненные до тривиальности, как, например, впадение Дуная в Черное море, Волги — в Каспийское, холодный климат Шпицбергена и жаркий климат острова Суматры и т. д. Доказывать подобные вещи в книге, назначенной для грамотных людей, неприлично.

Совершенно так. Доказывать и объяснять подобные истины неприлично. Но что же вы станете делать, когда отвергаются заключения, выводимые из этих истин, или когда вам сотни раз с самодовольством повторяют будто непобедимое возражение какую-нибудь дикую мысль, которая может держаться в голосе только по забвению или незнанию какой-нибудь азбучной истины?

Например, вы говорите: «Общинное владение землею должно быть удержано в России». Вам с победоносною отвагою возражают: «Но общинное владение есть первобытная форма, а частная

поземельная собственность явилась после, следовательно она есть более высокая форма поземельных отношений». Помилосердуйте о себе, господа возражатели, помилосердуйте о своей ученой репутации: ведь именно потому, *именно потому*, именно потому, что общинное владение есть первобытная форма, и надобно думать, что высшему периоду развития поземельных отношений нельзя обойтись без этой формы.

О том, как сильно налегали противники общинного владения на первобытность его, мы уже говорили в начале статьи. Можно предполагать, что теперь они увидели, как странно поступали, и поймут, что та самая черта, которую они воображали свидетельствующею против общинного владения, чрезвычайно сильно свидетельствует за него. Но арсенал их философских возражений еще не истощен. Они с такою же силою налегают и на следующую мысль: «Какова бы ни была будущность общинного владения, хотя бы и справедливо было, что оно составляет форму поземельных отношений, свойственную периоду высшего развития, нежели тот, формою которого является частная собственность, все-таки не подлежит сомнению, что частная собственность составляет средний момент развития между этими двумя периодами общинного владения; от первого перейти к третьему нельзя, не прошедши [через] второе. Итак, напрасно думают русские приверженцы общинного владения, что оно может быть удержано в России. Россия должна пройти через период частной поземельной собственности, которая представляется неизбежным средним звеном».

Этот силлогизм постоянно следовал за их фразами о первобытности как черте, свидетельствующей против общинного владения. Он также выступался непобедимым аргументом против нас. Теперь люди, прибегавшие к нему, могут судить сами о том, до какой степени он сообразен с фактами и здравым смыслом.

Кончив дело с предубеждениями против общинного владения, вытекавшими из непонимания, забвения или незнания общих философских принципов, мы в следующий раз займемся теми предубеждениями, которые вытекают из непонимания, забвения или незнания общих истин, относящихся к материальной деятельности человека, к производству, труду и общим его законам. Теперь мы говорили о сообразительности философствующих мудрецов. В следующий раз будем говорить о той же способности экономизирующих мудрецов <sup>14</sup>.

Если вы, читатель, так счастливы, что не занимались обучением малолетних детей грамоте, вы теперь, пробежав нашу статью, писанную не для вас, человека с обыкновенным запасом сведений, а для мудрецов, изучавших досконально кто Шеллинга, кто Гегеля, кто Адама Смита, — если вы не были учителем приходского училища, то, пробежав эту статью, можете чувствовать, как утомительна, тяжела обязанность этого бедного труженика.

Согласитесь, редко приходилось вам испытывать такую страшную скуку, какая производится чтением нашей статьи, весь характер которой выражается такою формулою:

бе — а ба, бе — а ба, баба.

Повторим еще. Это что? — б. А это? — а. Что же выходит? — ба. А это? — тоже б. А это? — тоже а. Что же выходит? — тоже ба. Ну, что же выходит, если сложить вместе? — баба.

Повторим еще:

бе а ба, бе — а ба, баба

Повторим еще... и т. д.

Вам было скучно, а ведь вы пробежали статью в полчаса; судите же, каково было нам, писавшим ее, — ведь мы просидели за нею целых три дня.

Но как бедный труженик, приходский учитель, подкрепляет свои силы мыслью о высоком и великом значении своего утомительного дела, так подкреплялись и мы, припоминая, какое важное значение для выяснения всего взгляда на мир имеют трюизмы, изложением которых мы занимались. Они да еще с десятком других подобных трюизмов —

Вот Гегель, вот книжная мудрость.  
Вот смысл философии всей<sup>15</sup>.

Первый наш трюизм — не судите о нем легко: вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению, о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом:

Ich hab', mein Sach' auf Nichts gestellt,  
Und mir gehört die ganze Welt<sup>16</sup>, —

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «пусть будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице праздник!»

А второй принцип — о, второй принцип чуть ли не интереснее даже первого. Как забавны для человека, постигшего этот принцип, все толки о [неизбежности того или другого зла, о необходимости нам тысячу лет пить горькую чашу, которую пили другие: да ведь она выпита другими, чего же нам-то пить? Их опыт научил нас, их содействие помогает нам приготовить новое питье, повкуснее и поздоровее.] Все, чего добились другие, — готовое наследие нам. Не мы трудились над изобретением железных дорог, — мы пользуемся ими.

[Не мы боролись с средневековым устройством, но когда падает оно у других, не продержится оно и у нас: ведь мы же

в Европе живем, этого довольно, — все хорошее, что сделано каким бы то ни было передовым народом для себя, на три четверти подготовлено уже тем самым и для нас: надобно только узнать, что и как сделано, надо понять пользу, и тогда все будет легко.]

Нас давит времени рука,  
Нас изнуряет труд.  
Всесилен случай, жизнь хрупка, —  
Но то, что жизнью взято раз,  
Не в силах рок отнять у нас <sup>17</sup>.